АЛЕКСАНДР ЕГОРОВ

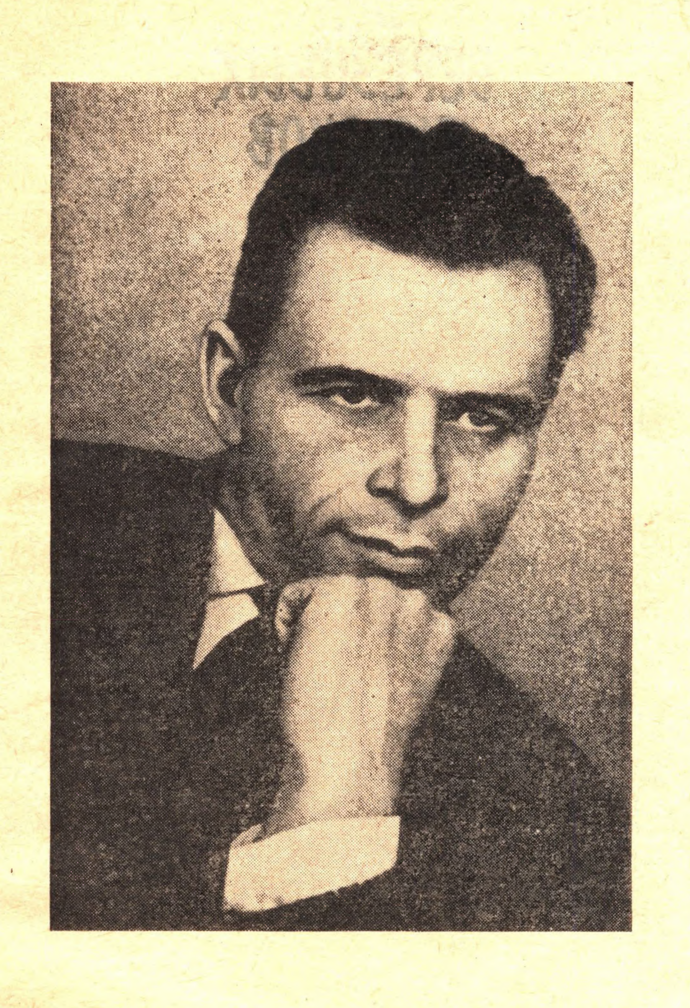
ДОЛ БЕРЕЗОВЫХ ТУМАНОВ





АЛЕКСАНДР ЕГОРОВ

ДОЛ БЕРЕЗОВЫХ ТУМАНОВ



АЛЕКСАНДР ЕГОРОВ

ДОЛ БЕРЕЗОВЫХ ТУМАНОВ

ПОВЕСТИ,
РАССКАЗЫ,
НОВЕЛЛЫ



АЛМА-АТА
«ЖАЗУШЫ» 1987

84 Р7—44
Е 30

Рецензенты:
А СЕРГЕЕВ, П. КОСЕНКО,
члены СП СССР.

Егоров Александр.
Е 30 Дол березовых туманов: Повести, рассказы, новеллы.— Алма-Ата: Жазушы, 1987.— 368 с., порт.

Александр Егоров — участник Великой Отечественной войны. Многие его произведения по тематике связаны с героической борьбой советского народа с гитлеровскими полчищами, с решением нравственных и социальных проблем сегодняшнего дня. В повести «Черные тени войны» автор показывает гуманизм советского солдата, его преданность социалистической Родине.

Рассказы и новеллы А. Егорова овеяны светлым жизнеутверждающим оптимизмом, любовью к отчему краю.

Е $\frac{4702010200-153}{402(05)-87}$ 141—87 84 Р7—44

ПОВЕСТИ



ЧЕРНЫЕ ТЕНИ ВОЙНЫ

I

Прошло, отгуляло чистыми ветрами первое послевоенное лето. Дохнула холодом осень, до боли радостная и печальная осень победного 1945 года.

Ясным золотом выткались сибирские березняки, разбросанные по долинам и нагорьям солнечно сияющими островами-колками; темным багрецом запеклись в логах мрачные в эту пору кусты черемухи; рыжевато-бурыми овчинами глядели на мир пожухлые луга. Все тихо увядало, готовясь к зиме. Даже золото берез отдавало бледностью угасания. И лишь в редких перелесках свежо горели брызги горькой калины...

Ах, калина, калина!.. Алая калина... Невозможно было смотреть на тебя в ту памятную нам, фронтовикам, осень сорок пятого года. Может, запекшаяся кровь невернувшихся с войны виделась нам в красных твоих гроздьях? Может, сочные кисти твои напоминали нам брусничные пятна на белых бинтах свежих ран? Кто знает...

Гордой и тяжкой была та Победа для нас.

Многие уже вернулись с войны домой, а скупые на слова запоздавшие похоронки все еще черным вороньем летали по стране. То в один дом залетят, то в другой.. И казалось тогда нам, что беда не обошла стороной ни единой семьи. Черные тени войны повсюду печально висли над израненной, задымленной пороховой гарью землей.

Елизавета Андреевна Светова похоронки на мужа своего, Петра Степановича, не получала. Но и письма с августа сорок четвертого от него не приходили. Лишь на следующий год морозным февральским утром у калитки ее ограды остановился колхозный почтальон Кондратий, горбоносый сутулый старик, с угольно-черной пугачевской бородой. Сухой, заледенелый снег тягуче

всхлипнул под его тупой деревянной култышкой правой ноги. Дед подвинул к затылку пепельно-сивый беличий треух, будто решая, заходить ему в ограду или подождать хозяйку здесь, у придавленного снегом дощатого забора.

Из-за крутобокой куполообразной горы Маралухи стрельнули тонкие спицы солнечных лучей, и макушки дальних лесистых хребтов окатились багряными сполохами ярого света. Красные окоемы гор над черными полосами пихтачей навевали какое-то тревожное и жуткое чувство. На фоне красно-черных таежных кряжей в печальной позе стоял письмоносец.

Елизавета Андреевна огребала в это утро ограду от вчерашнего снега. Заметив Кондратия, разогнула спину, отставила в сторону широкую деревянную лопату, не спеша сняла латанные-перелатанные варежки и прикрыла сухонькой ладошкой глаза от слепящего поутру снега. Почтальон что-то хотел сказать, да осекся, понурив голову. Елизавета Андреевна, тихо ойкнув, стиснула руками ватную телогрейку на плоской груди: тяжелое предчувствие пронзило ознобом все ее существо. Ей показалось, что все вокруг зашаталось и подернулось туманом; она судорожно схватилась обеими руками за черешок лопаты, чтобы не упасть; сморщилась, как от нестерпимой боли, и крепко сомкнула красные страдальческие глаза.

В ограде несколько раз скрипнула деревянная нога Кондратия. Елизавета Андреевна открыла глаза.

Кондратий помедлил и глухим, дрожащим голосом, как бы извиняясь, сказал:

— Крепись, Лизавета. Казенное письмо-то...

— Охтеньки!— тяжко простонала Андреевна. По впалым бледным щекам ее градом покатились крупные слезы.

— Да ты не убивайся раньше времени. Можа, в письме-то сообщенье о награде Петрована.

— Да уж чо там!.. Какая весть — известно. Не зря-от писем от Пети не было. Заходите, Кондратий Осипович, в избу, я что-то ослабела...

Не похоронка оказалась в том казенном пакете. Без вести пропал Петр Степанович Светов. А это, пожалуй, еще и похуже похоронки. Уж если убит и это доподлинно известно, то отплакал бы, отревел — да и захлопнул бы сердце навсегда. На всю остатнюю вдовью жизнь. А тут — без вести... Значит, совсем ничего не известно о

нем: начисто, бесследно загинул ли под бомбой, в огне ли сгорел, или в плену порешен — кто его знает.

Старый Кондратий уже давно ушел, а Елизавета Андреевна, все еще одетая, какой была на улице, сидела за столом с безутешно склоненной головой и уливала извещение горестными бабьими слезами...

Вот уже второй год пошел с тех пор, как она получила последнюю его фронтовую треуголку. «Обо мне, Лиза, не беспокойся,— писал он.— Гоним мы вражин фашистских с белорусской земли, аж пятки у них сверкают!.. Одно плохо: уж больно болот и топей здесь много. Я же, знаешь — житель горный, к скалам да камням приспособлен. А тут на тебе — трясина. Ну да ничего. Обвыкаю. Ко всему человек привыкает. И к адовому огню — тоже. Только не к смерти да крови. Увидишь иную деревню — и волосы дыбом. Обгорелые трупы деток, стариков. Виселицы... У нас один настрой — гнать и гнать фашистов. Прем на запад — и ни мины, ни топи нам не преграда. До границы уже рукой подать, а там и до Берлина недалече. Победа, видать, близка, скоро и свидимся дома, на родном Алтае. Береги деток наших, Лиза. Деток малых береги. Алена, та — отрезанный ломоть. Своя семья. А восемь галчат под твоим крылом. Как там одуванчик наш, Андрюха? Ведь он старшой в доме. Пусть поболе дров заготовит. Может, к зиме я еще не вернусь. Не скучайте, мои родные. Обнимаю всех и целую. До скорой встречи. Ваш Петро».

Елизавета Андреевна после того, как ушел Кондратий, достала из-за божницы это последнее письмо, перечитала его и зарыдала горше прежнего. Дети спали на широкой печке. Проснулись. Отдернув старую, создеванную из разорванных мешков занавеску, поскакали на пол. Ревели потом все вместе...

Отбесновались седые пряди метелей последней военной зимы. Отпраздновал в мае народ Победу. Прошло лето. Стаи птиц потянулись на юг. В далекой холодной просини осеннего неба то и дело печально перезванивались журавлиные клинья, и столько было грусти, тревожного ожидания в этих хрустальных перекликах улетающих птиц, что Светова, глядя им вслед, чернела лицом от тоски и горя.

Она сгребла в кучу в выкопанном огороде ботву и, прислонившись к изгороди, отдыхала.

— Все летят и летят,— говорила она, запрокинув вверх строгое сухощавое лицо.— Гляди, скоро и снег

сыпанет. Ишь как журавушки идут!.. Чуют зимушку. И опять воевать моей босоногой ораве с лютой стужей. Прокормиться-то как-нибудь прокормимся. Каргошки в ямку ссыпали ведер триста. Тыковки есть. Протянем. А вот раздетыми да разутыми морозы пережить — ой как тяжело!.. Тяжело-то как! А тут еще на беду Андрюха пропал. Как в воду канул, бесенок непослушный. И зачем я при ем причитала да убивалась по Пете? Вот и наплакалась, старая, на свою голову!.. Улетел мой белый одуванчик... Белый одуванчик, шальная головушка...

Елизавета Андреевна никак не могла поверить в то, что ее Петя, кормилец семьи, загинул совсем на войне. Сердце ее отказывалось верить в то, что Петр Степанович где-то сплоховал в бою. Не такой он был... Самый, почитай, добычливый охотник на всем Алтае, он слыл в округе ловким и сильным мужиком. Схватывалось, бывало, мужичье в борьбе по праздникам. И никто-то его не мог уложить на лопатки. Выйдет он на круг. Сойдется с очередным соперником и спокойно так спросит: «Ну, как — стоишь?». «Стою»,— ответит тот, а сам уж ноги напружинит, ждет подвоха. «Держись,— предупредит Петро,— счас лежать будешь». И верно. Вертанется, как молния сверканет,— и уж того мужика ровно косой смахнет. Чмякнется, как припаяется к земле.

Конечно, снаряд не знает пощады. От него не увернешься. И все-таки сметливые да сноровистые, как думала она, меньше зазря гибнут в сраженьях. Сильному да умному, говорят, больше везет...

Днем крутилась Светова в работе, некогда было горе горевать, а вот вечерами, все по дому да по хозяйству переделав, садилась она за стол, раскладывала перед собой фотографии и прошлых и военных лет, смотрела на них, закаменев лицом. И лишь плотно сжатые тонкие губы ее изредка передергивались в судороге да скатывались по щекам крупные слезы.

— Не верю, не верю я в Петину смерть,— шептала она, когда рыдания начинали душить ее и чувства требовали выхода на волю в потоке успокоительных слов.— Нет, не погиб он! Не погиб! Сердцем я это чувствую: жив наш Петро Степанович. Каждую ночь вижу его во сне. Будто идет он ко мне с белыми подснежниками и улыбается. Приветливо так улыбается, а я бегу к нему, бегу и бегу, руки вот этак вперед тяну. Только вот сойтись никак не могу с ним. Просыпаюсь,— Елизавета Андреевна горестно вздыхала.— Значит, жив он. Да вот что-то дер-

жит его... Будто в заперти какой сидит. А может, к партизанам попал, воевал вместе с ними да увечье получил и отлеживается где-нибудь в глухой лесной избушке. А весточку не хочет подать. Должно, покалечен весь до невозможности...

Дети слушали причитания матери с раскрытыми ртами. Так они просиживали допоздна чуть ли не каждый вечер. Светова, спохватившись, что много наговорила детям горестно-тревожного перед сном, смахивала слезы и переводила разговор на другие темы. Много знала она разных побасенок, притчей и сказок. Тем и тешила, врачевала и свою душу и ранимые сердечки сорванцов своих голодраных.

Искренняя вера Елизаветы Андреевны в то, что отец семейства, Петр Степанович, жив, глубже всего запала в сердце пылкого и впечатлительного Андрейки, страстного рыболова, фантазера и мечтателя, главного заводилы всех затейливых мальчишеских игр. Старший из братьев и сестер никак не мог примириться с тем, что их отец никогда больше не вернется домой, не притиснет его, Андрея, к своей могучей груди, не потреплет его пышные вихры белых, как снег, волос, не схватится с ним в шутейной борьбе в оградном закутке у бани, на зеленом ковре из травы-муравушки.

Слишком многое значил для Андрейки отец. Он был для него не просто тятькой, главой семейства. Они ведь, тятьки-то, тоже всякие есть — и черствые, ко всему равнодушные ленивцы, и суровые деспоты, и беспечные ухари-забулдыги. Петр Степанович был для Андрейки всем: и мудрым, многоопытным советчиком, и добрым искренним другом, и веселым товарищем на рыбалке, и взыскательным, не прощающим никаких его промахов и ошибок судьей. Да что там Андрейка! Он все-таки сын, по природе своей, по крови, по вековым традициям долженствующий и любить и уважать родителя. Петра Степановича Светова, героя гражданской войны, непобедимого в здешней округе силача, отзывчивого народного заступника, уважала вся что ни на есть деревня Нагорная.

Никак не мог Андрей представить себе тятьку мертвым. Искренне поверил он и в материнскую легенду о том, что искалеченный Светов отлеживается где-нибудь в лесной сторожке белорусских лесов. Поверил и заболел этой верой по-детски безрассудно, фанатично.

Однажды вечером он не вернулся домой в обычное для него время. Не заявился и ночью. И даже утром.

Два дня мать металась по деревне, пытаясь хоть что-нибудь выведать о сыне. Дружки темнили: да, видели Андрюху, вместе играли, а куда девался потом — не знаем. И лишь один сорванец проговорился: был, мол, Белый (такое прозвище носил младший Светов) с отцовой полевой сумкой, набитой вареной картошкой в мундире и сушеной тыквой...

Сердце у Елизаветы Андреевны оборвалось: сбежал Андрей, метнулся на поиски отца. На другой день сходила в районный центр, заявила о пропаже сына в милицию.

И вот легли теперь на ее сердце две беды: нет никаких новых вестей о муже, пропал и старший сын.

— Наголосила на свою голову,— тяжко упрекнула себя Светова,— хотела себя утешить, а оно вон как обернулось!.. Непутевый ты мой, непослушный бедолага! И куда тебя, не глядя, метнуло, сумасшедшего? Россея-то большая. Затеряешься, белый мой одуванчик!.. Ох, затеряешься, загинешь! Чует мое сердце недоброе — загинешь где-нить из-за дурного своего характера. Да неужто не увижу я тебя боле, соколенок мой ясноглазый, одуванчик мой ненаглядный!.. Господи, горе-то какое!— Елизавета Андреевна до хруста в пальцах сжала сухие бурые таловые прутья огородного плетня.— Горе-то какое...

А журавлиные клинья все шли и шли на юг, в далекую неизвестность Земли, роняя с высоты перистых облаков тоскливые, как вдовьи вздохи, капли прощальных птичьих кликов.

II

Пассажирский поезд, взявший курс на юг, не отошел от Новосибирска и четырех десятков километров, как надолго застрял на небольшой станции: ремонтная служба исправляла путь.

Утро выдалось солнечным, и люди высыпали из душных вагонов на станционную площадь, обрамленную киосками, ларьками, складскими сарайчиками и маленьким базаром с двумя рядками некрашеных деревянных столов. Измученные толчеей в битком набитом народом огромном вокзале Новосибирска, суматошной беготней и злой давкой во время посадки в вагоны, пассажиры вроде бы даже обрадовались вынужденной остановке, подарившей им непредвиденный роздых.

Пожилые женщины не преминули выстроиться в длинные очереди за жареными подсолнечными и тыквенными семечками. Молодайки толклись у базара. Мужики расправляли плечи, «разминали кости», делая все это с видимым удовольствием и напускным возбуждением. Закуривали, сбиваясь в небольшие кучки.

И кого здесь только не было! Самая разношерстная публика заполонила все уголки площади. Толклись тут и дряхлые старухи, которых, казалось, совсем не вовремя гнала куда-то первая мирная осень, когда передвижение масс после войны достигло сверхпредельного размаха и когда попасть в вагон пассажирского поезда было невероятно трудно, а порой почти невозможно; и молоденькие девчушки с бледными бескровными лицами; и белобородые, сгорбленные старики с традиционными узловатыми костылями в руках; и вояки-калеки, едущие домой после длительного лечения в госпиталях; и молодые солдаты с медалями и орденами на новых гимнастерках — всего вероятнее отпускники-отличники, для которых «каптенармусы» не пожалели выделить приличную резервную амуницию: пусть, мол, удивят и порадуют родных и девушек-невест бравым, щегольским видом.

На базаре торговали тем, чем жили сибирские деревни все тяжкие годы войны. Особым спросом пользовался самый лакомый по тому времени и самый, наверно, питательный тогда продукт — молочный варенец, изжелта-белый, с румяными пенками и масляными зернами-катышками. В ход шли также картофельные оладьи, поджаренные бог знает на каком жиру, который сильно отдавал олифой; не залеживались так же у торговок малосольные огурцы, облепленные терпко-духовитым укропом, желтоватые, колючие, спрессованные чуть ли не до каменной тверди куски жмыха. Вот, пожалуй, и весь продуктовый дефицит небогатого послевоенного рынка.

Базар шумел, бойко жил своей торговой стихией. Базар кормил.

Тут, на рынке, толклись, убивая долгие часы вынужденной остановки, почти все основные герои нашего повествования.

Между бревенчатым складом и небольшим винно-водочным магазином пристроилась торговать малюсенькими серовато-коричневыми лепешками дородная тетка с округлым масленистым лицом, скуластая, с длинными черными волосинками-иглами над верхней губой. Из чего были выпечены эти странные лепешки — вряд ли кто

мог догадаться, но оборотистая торгашка нагло именовала их хлебными и ломила за них несусветную цену. Редко кто брал землистые пампушки, но зевак толпилось вокруг изрядно.

На бурую горку лепешек, торчащую из вместительного изгребного куля, с вожделением глядел мальчуган лет тринадцати-четырнадцати, совершенно белоголовый, голубоглазый, с жидкими конопушками на худом бледном лице. Это и был Андрейка Светов, которого потеряла и по которому так убивалась бедная Елизавета Андреевна.

Милиция сняла его с московского поезда уже в Омске. Пожилой капитан вразумительно разъяснил беглецу, что затея его пустая и безнадежная, и посоветовал как, через какие ведомства нужно разыскивать след пропавшего без вести героя войны.

Андрейка поверил убедительным доводам капитана, и его отправили с попутным милиционером до Барнаула, чтобы потом доставить, как эстафету, дальше, в Усть-Каменогорск. Однако в Новосибирске подконвойный сбежал от сопровождающего, предусмотрительно прихватив с собой взятый на него билет. Два дня проболтался в городе, заметая следы, а потом и влез на крышу вагона Лениногорского поезда с незакомпостированным билетом. Уж больно противно да и совестно было ему возвращаться домой в сопровождении милиции.

Есть он хотел до головокружительной тошноты, до острой, ноющей боли в желудке. Вязкие слюни переполняли рот, и он то и дело сплевывал их себе под ноги.

Вид он имел печально-затрапезный. Ни дать ни взять — беспризорная шантрапа нэпмановских времен. Простоволосый, старую полотняную рубашонку прикрывал латанный-перелатанный пиджак — всего скорее когда-то он имел голубовато-серый вид; на плоских бедрах едва держались темные — и тоже все в пятнах разноцветных заплат — с дырками на коленях штаны, которые были до того коротки, что на целую ладонь не доставали до ботинок. Впрочем, нет, не до ботинок (разве такие ботинки бывают!) — до растрепанных головок, отрезанных от кирзовых сапог.

В сажени от него стоял грузный высокий мужик Пантелей Оборотов, в кожаном картузе, в черных шароварах и хромовых, начищенных до блеска сапогах; совершенно рыжий, прямо какой-то огненный, с округло-полным, довольно румяным, лоснящимся лицом, с коричневой боро-

давкой у носа на левой щеке. Он аппетитно, со смачным прищелкиванием жевал листвяжную серу. С сутулых плеч его ниспадала новая салатно-зеленая плащ-палатка.

Алексей Желнов, старший сержант, танкист, выпил без роздыха стакан холодного варенца, отошел от столов, одернул привычным движением рук гимнастерку, звякнув орденами и медалями. Задержался неподалеку от рыжего верзилы — соседа по купе. Уж очень оригинальным типом представлялся ему Пантелей Оборотов. «Ну и экземплярчик,— думал он,— вроде бы и не бывший военный (не та выправка), а офицерскую плащ-палатку с форсом набросил на плечи. Где-то я встречал этого сутулого ухватистого мужика. Уж больно знаком... Такие же горячие языки курчавых баков, такая же бородавка...»

Видел, видел все это Желнов. И не так давно. А где — не припомнит.

Конечно, и на вокзале, и при посадке он с ним не раз нос к носу сталкивался. Переглядывались и в вагоне. Но это сейчас, сегодня, а он его видел совсем в другой обстановке. Кажется, на рынке. Только без плащ-палатки он был. В фуфайке и беличьей шапке. Да, да — точно И рост, и сутулость, и сытое лицо — все то же. И большой ошметок листвяжной серы тогда он вот так же азартно и жадно сек зубами, с прищелком — аж брызги слюны, как и сейчас, выстреливали по сторонам.

А взгляд?.. Ну и взгляд! Такой взгляд цепких изжелта-серых глаз под короткоостой щеткой рыжих бровей никогда не забудется. Нет, не грубой силой был он примечателен. Тут другое. И властные движения колонковых бровей, и пронзительный свет темно-свинцовых зрачков — все это скорее говорило о тонком практичном уме, чем о примитивности и тупости. Но сколько плескалось самодовольства в прищуре этих серых, все время к чему-то прицеливающихся глаз!

А народ меж тем заполонил всю базарную половину площади. Скуластую дородную торговку скрыло плотное кольцо пассажиров. Лепешки все-таки кое-кто брал. Покупатель отходил в сторонку, клал приобретенную пампушку на зуб, нюхал ее и произносил со вздохом: хлебцем вроде бы пахнет.

Случилось неожиданное. Человек шесть-семь (вероятно, беспризорных сорванцов) окружили усатую тетку. Ласково произнеся «сколько, бабка, стоит?», каждый

из них схватил по два-три, а то и по четыре жмыхоподобных диска, и в тот же миг один из них ловко выстрелил ногтем большого пальца в лицо торговки загодя заготовленную добрую порцию нюхательного табака.

В мгновенье ока жулье исчезло. Видно, изрядно натренировалась на подобных операциях беспризорная шантрапа. Впрочем, какая там шантрапа. Сироты войны. Жить-то им надо было.

Ограбленная тетка истошно заголосила. Она чихала, кашляла и ругалась.

— То-ошно-оньки-и-и!— басисто ревела она.— Обокра-али! Помоги-и-те, люди добры-е! Ловите жуликов!

По широкому лицу ее ручьями текли перемешанные с табачным порошком слезы.

В прозрачный осенний воздух врезался резкий милицейский свисток.

Андрейка Светов вздрогнул. Его точно пронзило электротоком: милиции он страшно боялся. Ее только и не хватало ему сейчас!

Милиционер свистел и метался по площади, пытаясь определить в невероятной толчее место происшествия.

— Пока не поздно, надо смыться!— шепнул себе Андрей и метнулся к базарным столикам. Он так круто и резво развернулся, что с перепугу не заметил перед собой здорового рыжего дядьку и с ходу боднул его головой в массивный живот, наступив при этом на сверкающий носок нового сапога.

— Ошалел, тварюга, што ли?!— взревел Пантелей Оборотов, схватив Андрейку за шиворот.— Гляди-ка ты — он ишо и сапог мне весь порешил! Ах ты, шпанюга наглая!— и Оборотов врезал увесистой ладонью по белому затылку шкодника.

— Чего дерешься!— ощетинился Андрей, пытаясь вырваться из рук Пантелея.— Пусти меня, рыжий медведь!

— Я те покажу — рыжий медведь!— пригрозил Оборотов и склонился над испачканным сапогом, не выпуская при всем том своей жертвы. Потрогал левой рукой носок своего хромового чуда.— Ох ты, стерва!— разогнулся он с багровым от гнева лицом.— Весь носок разорвал гвоздишшем каблука! Ну, тварь! Ну, сопливая шантрапа! Да я те счас!..

И мощный кулак рослого Пантелея бомбой взметнулся над белой головой Андрейки.

— Стоп, дядя!— Алексей Желнов коршуном подле-

тел к Оборотову и встречным ударом отбил его кулачище назад.— Не трожь мальца! Не дам!..

— Отойди, солдат!— желто-серые глаза Пантелея полезли из орбит, наливаясь кровью нечеловеческой злобы, из ощеренного рта его вылетела розовая серная жвачка вместе с брызгами слюны.— Не то и ты получишь. Защитник нашелся!.. А ну!..

— Не дам в обиду мальца,— спокойно, но твердо сказал танкист и еще крепче стиснул кисть руки буйного верзилы.— Нечаянно он. Нашли с кем связываться!— перешел он на «вы».

Оборотов крутил правую руку, пытаясь вырвать ее из железных пальцев солдата, но ничего не мог поделать: старший сержант оказался крепким, жилистым малым. Они в упор глядели друг на друга, тяжело и хрипло дыша: от ярости, особенно в драках, людей неизменно берет одышка.

— В чем дело?!— почти над самым ухом Желнова раздался властный и звонкий голос милиционера.— Кто тут кричал? Кого тут грабят?

— Меня-а-а ограбили!— снова заголосила прочихавшаяся от табака торговка.— Меня-а-а!

— Вот он и жульничал!— тряхнул Андрейку Оборотов, который все еще держал его за шиворот.— Он и хапал! У, белобрысая шантрапа!..

— Не шантрапа я!— тихо и зло огрызнулся Андрей, еле сдерживая подступаемые к горлу всхлипы.— Не шашантр-рапа!.. И ничего я не крал. Вот смотри,— и он захлопал ладонями по пустым карманам пиджака и брючишек.

— Малец правду говорит,— Желнов, который уже отпустил руку Оборотова, поправил ремень, гимнастерку.— Я стоял рядом с ним. Вот здесь он был, когда хозяйка лепешек звала людей на помощь. И с места никуда не сходил. Никуда! Ни шагу!

— Да как же с места не сходил!— возмущенно хлопнул себя по могучим бедрам Пантелей Оборотов.— Ишь, какой добренький нашелся! Ворюгу под крыло берешь, солдатик?! Не выйдет! Вот оттуда, от ентого мешка с лепешками он и бег. Сломя голову летел. Вот и вмазал в меня. У, гаденыш ползучий! Вон што с сапогом-то понаделал... Бери его, товарищ милиционер. Бери. Нечего валандаться с ними, с бандюгами да жульем.

— Не торопись, сержант,— Желнов упреждающе поднял руку.— Не виновен малец.

— А ну — пройдемте все,— рассердился милиционер.— В отделении разберемся.

— Да к чему же невиноватых-то забирать!— с негодованием проворчала пожилая остроносая женщина и направилась к милиционеру, оставив на столе свое ведро с огурцами.— Вы не слухайте этого здорового дядьку в кожаной фуражке. Врет он все. А правду говорит солдат. Вот этот танкист с медалями и орденами. Чистую правду говорит. Он, солдат, вот тута и был. Рядышком стоял и малец. Вот эта белая головушка. Больно уж приметный он, вот и запомнила я его, одуванчика.

Андрейка вздрогнул: и здесь его, за тридевять земель от дома, одуванчиком назвали. Надо же. Прилипло прозвище.

— Тетка не брешет,— в быстро образовавшийся круг шагнул чернявый, цыганистый матрос, в тельняшке и бушлате нараспашку.— Правду говорит и танкист. Не крал лепешек белобрысый пацан. Морем клянусь.

— А ну, граждане!— обратился к торговым рядам сержант милиции.— Кто еще подтвердит, что малец, вот этот самый малец, не крал хлебных лепешек?

Женщины-торговки наперебой закричали:

— Да тут он был. Все видели.

— Лепешки хапнули тополевские налетчики.

— А боле некому, окромя их.

— Дак я ж видела, как оне деру дали. Токо пятки замелькали.

— Бездомна сиротня и есть. Што с имя сделаешь? Жрать-то хочется. Охтеньки, скорей бы по детдомам определили страдальцев.

— Хапнули и смылись.

— А куды им деться, сиротинкам?

— Дали стрекача.

— Далеко теперич.

— Улепетнули. Ишши ветра в поле.

— Сняли сливки и навострили гривки.

— Была сметана у болвана. Рот открыл — и все пролил. Так и у нашей Меланьи — каждый день причитанья. Как явится, простофиля, на базар, так откроет весь амбар. Подь ты вся непутевая!..

— Ни у кого, почитай, не воруют. Токо у нее.

— Дак ее, полоротую, жулье завсегда и ждет.

— Едва начнет торговать — и уж орет: караул, обокрали!

— Но, бабоньки. Раскаркались. Не наговаривайте

на Меланью. Не така уж она и простодыра. Не всегда и обворовывают ее. Десятка полтора чулков наверняка набила деньгой.

— А чо бы не набить-то ей! Федор-то лесничий у нее. Говорят, где-то на лесных делянках хлебушко подсевает. Вот и приторговывают лепешечками...

— Э, куда вы, бабоньки, поехали со своими разговорами!— недовольно мотнул головой сержант милиции.— Вы скажите одно: виноват мальчишка или нет?

— Не виноватый.

— Пусти его. Зазря к мальцу пристали.

— Ладно,— махнул рукой страж общественного порядка.— Топай, белый одуванчик. Свободен. Извини, старший сержант. Каждый день здесь такое... Голова кругом идет.

— Ничего. Все понимаю.

— А вам, гражданин хороший, поосторожнее надо, понимаете ли,— строго посмотрел на Пантелея Оборотова милиционер.— А то таких дров можно наломать с вашими фантазиями!.. Ложь, скажу я вам,— штука гадкая, коварная и зловредная. Я это ой как прекрасно изучил по своей милицейской службе. Ложь, она, понимаете ли, что?.. Она глядит на все через подзорную трубу. Да ишо и через кривую подзорную трубу. Блоха ей кажется конем, а червяк — удавом. Так-то, гражданин...

По торговым рядам прокатился смешок.

— Пошел Митрич лекции читать!— ласково улыбнувшись, тихо проговорила седенькая старушка.

— Чудак он.

— Добрый и справедливый чудак. Другой бы хап — и всех в кутузку. А он разобрался, чо к чему. По всей праведности. По совести.

Широкий обруч толпы, невесть как быстро собранной вокруг Оборотова, Андрейки и Желнова, начал таять.

— Учтите все это, товарищ!— милиционер тронул ладонью широкую грудь Пантелея.— А сапог?— вздохнул он с притворным сочувствием.— Сапог — дело наживное. Конечно, сапожки у вас что надо. Самый что ни на есть шик. Жаль... Ну, ничего. А сам-то вы кто такой? И куда путь?..

— С Алтая, стало быть, я. Гостил у родного брата. В Новосибирске.

— Пасечку имеете? Или в лесничестве работаете?

— В лесничестве. На Убе.

— Ну, ну. Так я и думал. Благостные края. Что

ж, бывайте. А я пойду к моей ненаглядной Меланье. Разберусь, что там и как. Еще раз извини, старший сержант.

— Да что там... Всего доброго!

Овощной закуток базара опять оживленно заколготил, засудачил:

— Пошел к своей красавице подружке Митрич.

— Счас ублажать начнет. А та слезу на черные крысиные усы пустит.

— Ну ты и скажешь, кума!..

— А глите-ка бабы, рыжий-то гад хром. Может, на фронте изувечен? А мы поносили его почем заздря.

— Не, не нюхал он пороху. Ничо солдатского в ем нету.

— Нету, бабоньки, нету.

— И-и, рази вояки таки?!

— По ряшке видно — в тылу отсиделся.

— Митрич одним взглядом его душу высветил. В лесничестве, грит, наверно, робишь?

— У Митрича глаз наметан.

Еще три или четыре раза вспыхивали на базаре в этот день ссоры или драки. Поля сверхпредельных напряжений военных лет оставили в душах людей мириады своих слепков — в крови, в сознании, в атомах клеток нервной системы, — во всем огромном человеческом биополе, в самой атмосфере, и чувствительные, тончайшие струны этой памяти подсознания легко отзывались на любые силовые давления, высекая и на пустом месте бури страстей. Такова война. Таковы ее последствия. И тут уж ничего, как говорится, не попишешь...

Черные тени отгремевших боев долго виснут над пораненной землей, над людьми...

Наконец где-то уже в полдень железнодорожники дали зеленый свет поезду. Последние пассажиры, как и водится на Руси, прыгали на подножки вагонов уже на ходу поезда.

Восьмой вагон, как впрочем и другие вагоны, был набит до предела, когда уже ни одного человека ни посадить, ни положить буквально некуда.

Желнов и Светов оказались в числе запоздавших пассажиров. Алексею удалось-таки в самые последние минуты закомпостировать билет Андрейки, и они прыгали на подножку уже последнего вагона. Желнов сперва подбросил вверх Андрейку, а уж потом сам, опять до-

гнав вагон, в акробатическом прыжке взлетел чуть ли не на верхнюю ступеньку подножки.

— Ловко вы, дядя Леша!— похвалил его Андрей.

— Во всем нужна сноровка, друг. Солдат обязан быть прыгучим. А танкист в особенности.

— Знамо,— понимающе согласился Светов.

— Ну что ж, Андрей, держи хвост бодрей! Теперь порядок,— Желнов потрепал белые непослушные вихры беглеца и рассмеялся.

— Да, теперь порядок!— солнышком засиял и повеселевший Андрей.

— Наша взяла.

— Ох уж мне этот порядок!— осуждающе покачала головой кондукторша.— Нельзя же так прыгать-то, товарищ танкист. И голову сломать можно. Билеты есть?

— Есть. Вот они. Этот только закомпостировали. Потому и опоздали. Уперлись бюрократы. И все тут. Нельзя да нельзя.

— И все-таки добились своего?

— Ну да. Нет ничего недостижимого, мамаша. Пришлось разрядить обойму свежих анекдотов, пару веселых баек — и лед тронулся.

— Веселый ты человек, танкист.

— В наше время иначе нельзя. Пропадешь.

— И то верно. Ну, давайте подымайтесь. Не торчите на подножке. Нельзя. Да и пробирайтесь в свой вагон. У меня тоже тут... Под завязку. Того и гляди — вагон треснет.

— Хорошо, хорошо. Идем. Ну, Андрей, поехали. За медом, за орехами.

— Поехали сверкать прорехами!— в тон Желнову хихикнул Светов.

— С вами не соскучишься...

— Спасибо за прием, мамаша.

— Счастливо добраться до дому!

— И вам удачной поездки.

Кое-как пробрались в свой, восьмой вагон.

— О, потерянные прибыли!— обрадованно вздел руки вверх цыганистый матрос.— А мы думали, что танки сыграли с палубы за бортик. Тю-тю.

— Нет, ничего, все обошлось,— Желнов протиснулся к своему месту, в самый уголок «купе».— И танкисты целы и пехота. Как — сойдет мой Андрей за пехоту?

— Сойдет. Мужик что надо. Такой бой выдержал! И с каким противником!— темноглазый матрос кивнул

головой в сторону Пантелея Оборотова, который возвышался глыбой среди мелкокалиберных пассажиров соседнего купе вагона и смачно уминал отварную курицу.— С таким, пожалуй, и я бы не решился сойтись. Гигант. Хозяин медвежьего царства. За один присест курочку урабатывает. Не то что мы. Похрумкаем огурчиков да шиш с маслом — и сыты.

В вагоне хохотнули. Пантелей поперхнулся, поправил расстеленную на коленях серую холщовую тряпку, над которой ел курятину, обжег взглядом моряка и отвернулся. А развязный матрос продолжал дурашливо куражиться:

— Конечно, от курятинки и мы бы не отвернулись. Но вот беда: не водятся куры на кораблях. Снабдили меня двумя банками тушенки. И весь мой мясной цех. Все подчистил. Мы теперь с танкистом варенцом питаемся. В лучшем случае. Ну а как дела, Андрюха, у твоего брюха? Кишка кишке похоронный марш не играет? Давно курятинкой не баловался? Вижу: давно. Да, дружок, истомленная на поду русской печки курочка — сладкая, но, увы, пока несбыточная мечта людей войны. Заметь, Андрюха: людей войны. А вот, видно, кое-кто жил и в войну, как в раю. Я знавал таких. У-у... Народец, скажу я тебе, Андрей!.. И горсти снега зимой не вымолишь. Пинка по кормовой части — пожалста. За милую душу. Есть такие жмоты, есть... Ведь есть же, уважаемый папаша?— обратился он с голубиной нежностью к Оборотову.— Как там вас по имени-отчеству-то?

— Пантелей,— буркнул рыжий гигант.— Пантелей Тимофеич.

— Пантелей Тимофеич,— повторил, закатив темнокарие глаза матрос.— Уже в самом имени и отчестве,— он потряс указательным пальцем над своим ухом,— в самом имени и отчестве есть что-то медовое, нежное, доброе. Народное!— и он снова многозначительно метнул вверх смуглый указательный перст и задержал его в выжидательной паузе над живописными буграми своих роскошных смолевых волос.— На-род-ное,— произнес нараспев речистый морячок,— а народ не живоглот. Он всегда сострадает. Сочувствует. Жертвует. Всегда помогает. Делится последним... По глазам вашим, Пантелей Тимофеевич, я давно усек, что вы сожалеете о случившемся на базаре. Сожалеете, раскаиваетесь и жаждете мира с нашим Андрюхой. Я даже угадываю вашу тайную мысль. Вам жутко хочется угостить его курятинкой.

И вот эту румяную поджаристую ножку вы специально отложили в сторону. Для него. Для Андрюхи. Да стесняетесь дать. Ведь угадал я?

Оборотов перестал жевать, соображая, что ответить этому наглому балаболке в полосатой тельняшке.

— Угадал, угадал!— разулыбался моряк.— Ну, ничего. Я вам помогу. Нет, задок не нужен. Отломите. Вот так. Только ножку. Морской порядок. Все по-людски. Получай, Андрей. Ша, ша. Не крути белой головой. Садись сюда. Старший сержант, помоги-ка ему. Вот так, таким манером,— моряк обернулся к Оборотову.— Спасибо, Пантелей Тимофеевич!— и он сделал поклон головой.— У вас душа истинного христианина.

Под скулами Оборотова, у самых срезов красных лоскутков баков, пульсировали, вздуваясь, упругие желваки.

— У тя, паря, случаем, мозоли на языке не вскочили?— сердито потряс головой Оборотов.— Без привязи он у тя язык-то. И как токо эдакого баламута за борт не спровадили! Прямо диво.

— А я, Пантелей Тимофеевич, вторую половинку войны в пехотуре ломил. В окопах да блиндажах блаженствовал. Там и привык к трепу мой язычок. Без него, без балагурного трепа, никак нельзя было. Заела бы ржа-тоска. Вам не довелось хлебнуть траншейных сладостей? Извиняюсь за любопытство. Нет? Ногу-то... не в боях?

— Нет, не в боях,— Оборотов нервически крутнул головой, не рывком, а с замедленным, подспудно подступающим напряжением.— Не в боях. Брехать не приучен. А нога... Это с детства. Под сенокосилку сдуру врюхался. Вот и вся моя правда. Врать не стану.

— А кто ж врет-то? Всех нас война отучила врать. Лицом к правде поставила. К жестокой правде, Пантелей Тимофеевич. Как, бывало, мы певали-то?.. Разобьем, мол, врага малой кровью. На его же земле... А грянула она, всамделишная-то война — и заметались. Волосы дыбарем. Не успели и глазом моргнуть, как свои же побитые задки в Волге-матушке замочили. Вот тут-то и покатилась по всей России волна народной правды: «Вставай, страна огромная...» От пяток до макушки мороз заходил... Жизнь или смерть. С этой правдой и до Берлина дотопали. А врать зачем? Никто теперь, папаша, не должен врать. Ложь — штука злая и коварная, как сказала на станции милиция. На одном конце слукавишь — дру-

гим концом тебя же по кумполу и саданет. Вот так. Таким манером. Не всех, конечно, правда проняла. Коекого и краем не задела. Вас вот, к примеру, Пантелей Тимофеевич... Андрюху зря оклеветали. Совсем зря. Поподлому, по-сволочному оболгали. Схватили бы парнишку... А там разбирайся. Ну да ладно. Обошлось... Пока обошлось,— смуглолицый матрос одарил Оборотова долгим, предупреждающим взглядом неистовых темных глаз,— а там посмотрим... Эх, замитинговался я тут на палубе! А мне же, папаша, приспело время ботинки драить. До зеркального блеска. Достал кроху ваксы. Ух и прифрантюсь сейчас!

— К параду, что ли?— насмешливо осклабился Оборотов, ощерив желтые крупные зубы.

— К параду,— не задумываясь, подтвердил матрос.— В ближайшей бухте наше судно посетит адмирал.

— Тьфу. Пустомеля.

— Не адмирал, конечно. Берите выше. Прекрасная девушка. Плод почтовых знакомств. Не знаю, может быть, фотограф лоск навел. Но на карточке — сибирская мадонна. Впрочем, пардон... Не сглазить бы. Молчим. Молчим.

Матрос вынул из небольшого серого чемодана щетку, завернутую в газету ваксу и стал пробиваться сквозь пассажирские заторы к тамбуру.

— Болтун!— фыркнул вслед ему Оборотов.— Прости господи.

— Не скажите,— решительно возразил Рулев, бородатый мужик лет пятидесяти.— Матрос хыть и гремит, как то ботало на шее коровы, но и правду-матку сплеча режет, золотые мои. И не скользяком, а в самое что ни на есть нутро. В самые печенки-селезенки... Эх, елочки зеленые!..

— Нервинный он, заводной,— проговорила женщина с накинутым на голову черным полушалком.— Навидался, видать, страхов парень...

Оборотов не решился ввязываться в спор с мужиком, который так лестно отозвался о матросе: почуял какую-то огромную скрытую силу и волю в этом лобастом бородаче, в его синих, пронзительно-тревожных глазах под суровыми лохматыми бровями.

Наступила пауза. Андрей торопливо доедал ножку курятины, усердно грыз хрящи, старательно облизывал пальцы, не поднимая глаз. Ему было стыдно. Курятина хоть и сладка, да задарма досталась ему. А еще вернее:

не совсем честно. Матрос просто отобрал, вырвал из рук рыжего эту духовитую, облепленную жареным луком ногу. Ну и шут с ним,— успокоил он свою совесть.— У жмота Пантелея, должно, харчей навалом. В желудке шибко хорошо стало. Будто праздник какой!.. И все одно нехорошо... Вроде бы украли. Нет, подальше надо держаться от матроса. С ним и до беды недалеко. Поближе к дяде Леше буду. Честняк он. И в обиду не даст. И от худого отведет...

Оборотову край надо было пойти в тамбур или, если это доступно, если нет большой очереди,— в туалет, чтобы обиходить, протереть тряпкой обувь и хорошенько разглядеть, не велика ли ссадина на носке левого сапога. Надо ж как прочертил гвоздишшем белоголовый заморыш! И по самому видному месту. Тварюга такая!.. Совсем новые сапоги. Считай — ненадеванные. А, может, не наскрозь? Скорее нужно мокрой паклей оттереть.

Пробиться в тамбур в сторону хвостовой, северной части поезда, гораздо легче. Но туда ушел моряк с просмоленной, как у черта, рожей. Встречаться в тамбуре с ним не хотелось, и Пантелей Тимофеевич, прихватив тряпицу, уперся руками в колени, медленно поднялся, расправил спину и двинулся по узкому проходу вагона в сторону головы поезда, припадая на левую хромую ногу.

Людские голоса в вагоне стихли, только слышно было, как энергично отстукивают ритмическую скороговорку колеса: все до-мой, все до-мой, все до-мой... Стремительное движение поезда ощущалось всеми порами. Чувствовалось, как он жадно глотает пространство степи.

Каждый думал о своем. Война хоть и закончилась, но ее беды еще долго будут давить на плечи людей своей свинцовой тяжестью.

Сколько судеб,— изломанных, исковерканных, горем опаленных,— собрано лишь в одном-единственном вагоне! Да что там в вагоне! В одном его открытом купейном отсеке! Самые разнообразнейшие судьбы...

Оборотов — человек с широкой предприимчивой натурой. Нога у него и в самом деле покалечена в детстве,— вернее, в отроческую пору. Только не сенокосилкой подрезало ему жилу, как это рассказывает он всем, ублажая свое самолюбие придуманной легендой, легкое увечье ноги имеет совсем иную историю и природу. Сеноко-

силок тогда, в середине двадцатых годов, и в помине не было в его родной Солоновке, люди обходились одними литовками.

Колченогость свою получил он в препакостном деле. Захотелось Пантелею с его озороватым дружком Федькой полакомиться сотовым медом, а своих колодок их родители не имели. Узнали они, что дед Митроша, лесной отшельник, поскакал на коне в районные магазины, и тут же метнулись в Черную яму, к лесной сторожке, где и были разбросаны меж кустов на горном лугу около двухсот пчелиных колодок пасечника. Дед на беду вороватых сладкоежек заглянул сперва, на всякий случай, в солоновскую лавку, а там в аккурат подвернулось почти все то, в чем он позарез нуждался. Набил он покупками две кожаных сумины, перекинутых через седло, подумал о том, чего ему еще недостает, махнул рукой и поспешил снова на пасеку, где подоспело дел невпроворот.

Разорители пчел успели вытащить из колодки лишь одну сотину, как объявился дед. Подслеповатый хозяин подумал, что налет на его добро совершили настоящие бандюги, и схватил ружье, заряженное картечью. Ребятишки вовремя заметили Митроху и метнулись через изгородь к лесу. Дедок пальнул им вдогонку. Шальной картечью и прошило ногу Пантелейке Оборотову.

Дед Митроша, когда узнал о случившемся, впал в отчаяние: добрым, незлобивым был он по своей натуре, да и детвору боготворил.

Набил два ведра сотовым медом и поехал к Оборотовым справлять мировую.

— Ну пошто вы полезли в колодку-от!— с досадой говорил он, глядя на Пантелейку, лежащего с забинтованной ногой.— Пришли бы так, супостаты, ко мне, в гости. Дак рази бы я не угостил вас, окаянных! Я же за милу душу попотчевал бы вас самыми отборными сотками. Эт как все не попуте вышло!..

Миром тогда все кончилось. Правда, Пантелей, кроме всего прочего, еще и получил добрую трепку...

Озлобился он после этого случая душой. Ведь не всю же колодку хотели разорить! Зачем она им вся-то? Только один кусмень и взяли, чтобы хоть раз в жизни медом-то досыта упиться. А он, дед-то, сразу за ружье. Мог бы и совсем загубить. Ишь какой праведный! Еще и укорять, стыдить начал: пошто в гости не пришли? За милу бы душу попотчевал!.. «Тоже мне потчевальник нашелся!— возмущался Пантелейка, поглаживая пораненную

ногу.— Токо ружьем и можешь потчевать! Копни поглубже, так, поди, скряга из скряг. Не был бы жадюгой — не пальнул бы».

Но больше всего возмутило потерпевшего поведение отца. Как глянул на два ведра, туго набитых отборным сотовым медом, так тут же и заюлил перед дедком. А когда тот уехал, еще и за ремень схватился!.. Отодрал. Больного-то, увечного... Какая же тут справедливость? Горло перехватывало у Пантелейки от обиды...

Когда поднялся с постели и понял, что остался хромоногим на всю жизнь, и вовсе замкнулся в себе, ожесточился. Сторонился детских игр. Боялся насмешек. А тут еще и озороватый Федька мало-помалу отдалился от него. Не захотел дружить с колченогим. Сам же подбил Пантелея на разор пчелиной колодки, а теперь, вишь ли, нос от калеки отвернул. Сперва Пантелей глотал слезы унижения и досады, тосковал по утерянной дружбе, а потом озлился на Федьку. Злость со временем перешла в ненависть. И однажды бывшие дружки встретились в безлюдном проулке, грубо оскорбили друг друга и схватились в яростной драке. Кулаки у Пантелея оказались увесистее, и он побил Федьку. Побил с мстительным торжеством, с радостью.

С тех пор он не стал задираться с обидчиками при народе, на виду у всех. Нет, он молча сносил насмешки и копил злобу. Дома много работал, пилил и колол дрова. По десять-двадцать раз делал подтяжки на турнике, и мускулы его вспухали от упругой силы.

При встрече один на один с обидчиками кулаки и выручали его обычно. И он все больше и больше начинал верить в могущественный авторитет грубой силы, в авторитет своей изворотливости. А в 1929 году, когда ему стукнуло двадцать, устроился на работу лесничим, оженился, отделился от отца, отгрохал себе добротный дом на берегу благодатного ключа Поперечный с пышными травостойными луговинами и ягодными полянами. Пристроил к избе сарай, амбар, баню и зажил себе припеваючи с безропотной, туповатой, но очень работящей жинкой Акулиной. Обзавелись скотиной, птицей, распахали целики под пашню, и дом их стал ломиться от всякой снеди.

Когда в наспех созданных местных колхозах района из-за организационных неурядиц, перегибов, а потом и страшных засух, начался голод, это бедствие обошло вотчину Пантелея Оборотова стороной. Больше того, он даже изрядно нажился на горе людей. Выменивал в се-

лах на мясо, сало и зерно всевозможные вещи: чугунки, кастрюли, костюмы, сапоги, шубы. Обзавелся даже патефоном, велосипедом. Авторитет его, как мужика делового, сноровистого, быстро рос. Колченогий Пантелейка обернулся вдруг «уважаемым» в округе Пантелеем Тимофеевичем. Глуховатый, с хрипотцой голос его стал жестким, повелительно-отрывистым. В робких изжелта-серых глазах появился нагловато-самодовольный блеск, цепкость и колючая острота ухватистого, высокомерного проныры-дельца.

В середине тридцатых годов дела в колхозах пошли на поправку, но еще два-три лета Пантелей Тимофеевич куражился, заносился в могуществе своего удельного владения в урочище ключа Поперечного В 1936 году хлеба в солоновском колхозе уродились добрые, но довольно сорные после долгих недородов. На прополку их выходили и старые и малые. Работали люди усердно, а вот кормить их на полевых станах, считай, пока нечем было, кроме жидкой затирухи-болтушки. Пантелей Тимофеевич и в эту пору сманивал иных подростков пышными белыми калачами на свою единоличную пашню.

Но потом спесивость Оборотова-младшего стала стремительно таять. Колхозы год от года добрели, хозяйство их поднималось как на дрожжах. В 1938 году уродились такие богатые хлеба, что зерно буквально некуда было девать. Люди отказывались получать хлеб на трудодни: все сусеки были забиты отборной «пашеничкой». Колхозный кладовщик Егор Булаев и конюх Матвей развозили причитающееся зерно по домам и ссыпали его ворохами прямо в оградах сельчан. Приберете, мол, все равно, Диво дивное творилось в деревнях Алтая после стольких лет голодовок!

Душа народа после долгих невзгод праздновала, ликовала, тешилась и в труде, и в великом роздыхе. Водились по вечерам хороводы (то был, видно, последний их всплеск), шумели, каруселились в веселых игрищах, гремели музыкой и песнями революционные празднества.

И, может быть, в том и сила и счастье наше, что докатила нас эта могучая волна радости, искренней веры в святое дело до сорок первого года!

Не радовался этому половодью золотого света жизни лишь Пантелей Оборотов. С угрюмым раздражением смотрел он на янтарные вороха пшеницы в оградах сельчан и сипло, ожесточенно бурчал:

— У-у, с ума посходили от достатка! Хлеб где попа-

дя разбрасывают, окаянные. Каждый Фрол в гору пошел. Носы позадирали. Уж и здоровкаться стали через губу. Скольких, считай, спас я от голодной смертыньки, а они уж все позабыли. Бывало, за версту шапку сбрасывали: Пантелей Тимофеевич! А теперич: Пан-те-леша!— Оборотов, передразнивая говорящего солоновца, дергался весь от возмущения, точно на шарнирах:— Пан-те-ле-ша! Тьфу, обормоты несчастные!..

И ведь ничем не выделялся он в деревне — ни глубоким умом, ни талантом там каким. Разве только изворотливостью, грубой ломовой силой да небывало огненной рыжей мастью. А вот поди ж ты — пожил на хуторском отшибе, в райском лесном закутке, понажился на людском бедствии — и уж весь насквозь пропитался психологией собственника, спесивой кулацкой заносчивостью. И главное, в то время, когда народ и думать-то позабыл о кулаках.

В войну Оборотов опять воспрянул духом. Все мужское население округи ушло на фронт, кроме стариков и подростков. Его не призывали: хром. И он, по-прежнему обитавший в яме Поперечного ключа, сызнова оказался на особом положении. Был у него один сын, Гоша, здоровый, рослый, да вот умом, как и мать, не вышел. Даже в школе не учился. Но в хозяйстве лесничего оказался вполне пригодным работником. Когда отец уезжал в какой-либо город по торгово-обменным делам, Гоша с матерью брали все заботы по лесному кордону на себя. Дом-теремок Оборотовых, как и в первую половину тридцатых годов, ломился от достатка. Каждая коммерческая поездка главы семейства пополняла поперечинскую крепость очередной порцией материальных ценностей.

Матрос Василий Шапов, надраив ботинки, все еще стоял в тамбуре, докуривая самокрутку, щуря жгучие темные глаза, наблюдал, как вьются выпущенные изо рта сизые кольца махорочного дыма.

Шапов пытался представить картину встречи на ближайшей станции с Верой Жарковой. Телеграмму из Новосибирска дал — должна прийти на свиданье. Должна. Письма-то какие нежные писала. А может, они, девы-то почтовых романов, по одному стандарту любовные письма шпарят? Тешат для забавы солдатские души. И это возможно. Тоже ведь истосковались по женихам!.. Что

ж, в это дело надо сразу внести ясность. Полную ясность.

Совсем в ином душевном состоянии пребывал в противоположном тамбуре этого же вагона Пантелей Тимофеевич Оборотов.

— Решил обутки, треклятый обормот!— склоняясь над сапогом и тщательно ощупывая царапину на глянцевито-черной коже, вслух, с хрипотцой шептал он.— Совсем решил! Хучь и не наскрозь пробуровил, а весь вид испортил. И какая нечистая сила метнула его на меня! Стоял, стоял — и на тебе! Шматанул как угорелый. Да ишо и прямиком на сапог! Стервененок шалапутный!.. В дышло тебя закатай! Не мог помимо-от пролететь. Што-то надо тут придумать?.. Лаком затру. А может, варом сподобней? И так и етак попробую... Сношу все одно — не бросать же. Хорошо, что вторы точь-в-точь такие же купил. Ровно кто надоумил. Токо в мешок здря я их сунул. Надоть было — в чемодан. Хых ты! Ну да ладно...

Оборотов разогнулся, выпрямился во весь свой недюжинный рост, потер поясницу.

— Все как-то не так пошло у меня в дороге,— вздохнул он.— Рыношны дела обтяпал с наваром, без приключений, а тут — на тебе!.. И курицу всю сразу не к чему было, дураку, выставлять напоказ. Изо рта, считай, самый добрый кусмень вырвали! Повечерять хватило бы. Вот оглоеды наглюшшые!.. На чужо-то добро все горазды, язви тя...

Ему никак не удавалось успокоить свою разгневанную душу. Плескал и плескал он на нее, как на раскаленные камни, желчные вскрики, злую ругань, а она все одно не могла охолонуть, без конца пыхая и взрываясь угарным чадом и паром, как та истопленная по-черному старая деревенская баня.

Восьмой вагон находился в странном состоянии... Не в состоянии того тихого успокоения, когда все заряды эмоций спалены и между людьми не осталось никаких недомолвок, а того настороженного затишья, какое случается между частыми боями и перестрелками на горячих точках линии фронта. Вроде бы тихо, но уже чувствуется, что та и другая сторона готовятся к новым действиям.

Только что случившееся на станции, разговоры в вагоне, балагурство разбитного матроса, за которым и дурак мог уловить запальчивый вызов угрюмому вели-

кану лесничему, не оставили никого равнодушным. Каждый давал всему этому свою оценку, каждый пытался осмыслить неприятную стычку между пассажирами со своих жизненных устоев, чтобы, в случае чего, держать свою позицию. Мало ли что может случиться в вагоне. Матросик-то вон какой шебутной. Все гоношится и гоношится. Того и гляди рванет на себе тельняшку и в драку бросится.

Этого, кстати, довольно сильно опасался Дементий Афанасьевич Рулев, синеглазый бородач, о котором мы уже упомнинали, не менее рослый и плечистый, чем Оборотов. Какая-то сдержанная, потаенная, но мощная душевная сила угадывалась в Дементии Афанасьевиче. Она ничуть не выпирала, эта сила, не выплескивалась, как у горячих натур, она лишь едва светилась в пристальных васильковых глазах, прикрытых лохматыми, нахохлившимися бровями. Там, в глубине этих синих глаз, билась и тревога, и боль, и острая щемящая тоска,— и великое неутешное горе, и озарение ясной исповедальной мысли.

Тихим и незлобивым был он в общем-то по своей натуре, как большинство истинных таежников. Вот уже около десяти лет проработал Дементий Афанасьевич на колхозной пасеке. И не потому заточил себя в самое дальнее и уремное урочище речки Кучихи, что имел характер отшельника, а просто потому, что там в 1936 году не оказалось пчеловода, а ему, по совету врачей, край надо было поселиться где-нибудь в сосновом и еловом лесу, чтобы хоть немного поправить подорванное здоровье. А выбора не было, и он, поколебавшись, согласился принять на себя захудалую артельную пасеку.

Как в самую разгульную пору весны неожиданно сильные заморозки обдают чернетью нежнейшие лепестки розовых, голубых и белых бутонов кандыков и подснежников, так и окопы первой империалистической войны прихватили ледяным дыханием смерти хрупкую юную душу Дементия, не по-сибирски робкого, жидковатого тогда еще в кости, длинноногого парняги с Алтая. Хотя трусостью природа напрочь обделила его, и свист пролетавших снарядов, и близкие разрывы их, казалось, ничуть не пугали и не беспокоили его. А вот тих был и безропотен до невероятности. И безотказен. До ожесточения трудолюбив.

Зато в атаке солдат-молчун не терялся, как иные новобранцы. И хлипковато бы вроде выглядел, как тот

бледный травяной стебелек, который высоко пробился к небушку в тени, а в руках крепость имел недюжинную.

Только после боя он, как всегда, сникал. Русоволосая голова вдавливалась в плечи, синие глаза стекленели. С неуемной болью, каким-то детским ужасом и страхом смотрел он на обезображенных тяжелыми ранениями солдат. На распухшие, зловонные трупы он и вовсе не мог глядеть, солодковый смрад их угнетал и мутил всю его душу.

«А ить там,— думал он о распухших синих трупах,— а ить там гниют и те, кого и я подстрелил и заколол. Боже ж ты мой! Боже ж ты мой!.. Зачем все это?»

К концу второго года войны тяжелое ранение избавило его от сырых и вшивых окопов. Почти год валялся в госпитале. Еще год отлеживался в постели дома, куда доставил его солдат-однополчанин.

Гражданская война хватила его лишь краешком. Уже отгулял по Алтаю и Прииртышью черный смерч кровавых анненковских эскадронов, последние осколки которых вытурил за границу партизанский полк «Красные горные орлы Алтая». Казалось, все, конец военному лихолетью, но тут объявился на Катуни еще один контрреволюционный очаг — многочисленная, хорошо вооруженная банда Кайгородова. Рулев поправился к тому времени, выдобрев в крепкого рослого мужика, и его сразу же призвали в конную часть особого назначения. Многоснежной и лютой на морозы зимой чоновцы преодолели пихтовые леса, скалистые ущелья сурового Холзунского хребта и с ходу скатились лавиной на головной отряд бандитов...

В начале тридцатых годов видавший виды партизан стал одним из активнейших организаторов колхозов. На Катуни судьба бросала его в самые горячие схватки с белобандитскими отрядами, но домой он вернулся без единой царапинки, а вот кулацкой пули из-за угла не миновал Дементий. Стреляли в спину, пуля угодила под левую лопатку и прошла грудь навылет.

Без сознания доставили его в больницу Шемонаихи. Могучий организм помог Рулеву выжить, выстоять в борьбе со смертью, но руководить колхозом он уже не смог. Чах на глазах, и вот тогда-то и пришлось ему поселиться в глухой лесной пасеке...

Шумных ссор по пустякам, оголтелых драк Дементий Афанасьевич органически не выносил. Грубые беспричинные передряги между людьми претили всему его

существу, всей его жалостливой, доброй натуре. Грубая, злая сила мира жестокости и без того насквозь прошила черными суровыми шнурами всю его истерзанную, искореженную горем душу.

Дни и ночи Отечественной войны не принесли в его дом ни единой светлой вести. Ни единой. Были только похоронки. Одна всеобщая народная радость и была: день Победы.

И вот уже осенью сорок пятого года сердце Дементия Афанасьевича опалила долгожданная весть: живым оказался средний сын Гриша. Из госпиталя просили срочно приехать за ним.

Сильно плохим принял его отец. Контузия, тяжелейшее ранение в голову оставили Григория с большими провалами в памяти, раздражительно-нервным, с несколько нарушенной координацией движений.

— Ничего, ничего, родной мой!— шептал уже в вагоне отец, склонившись над средней боковой полкой, где лежал Григорий.— Ничего, милый. Потерпи. Доберемся до Кучихи — и я тебя отпою травами да медом, ровно живой водой. И головные боли пройдут, и ходить, золотой мой, легко будешь. Я ведь тоже вон как изувечен был, а теперь бегаю, что конь. Потерпи. Счас уснешь. Допей настой-то до конца. Вот так. Эти травки успокоительны. Я как чуял: прихватил с собой. Ты только не шевелись, золотой мой. И разом уснешь. Оно и полегчает.

И Григорий уснул и спокойно спал несколько часов кряду. Дремал, сидя на нижней полке, и вконец измученный дорожными хлопотами, заботами о сыне Дементий Афанасьевич. Темно-русая окладистая, в мелкой кудрявой вязи тонких волосинок борода его то вздымалась вверх, когда он вскидывал кустистые брови и бросал беглый взгляд на полку со спящим сыном, то опять, когда сон смеживал красные веки его глаз, падала на широкую грудь, обтянутую рубахой-косовороткой из синего сукна.

— Ты, деда, спи давай, пожалыста,— тихо сказал застенчивый, лет тридцати с виду, крепкий в кости Набиден Оразалинов, с округлым улыбчивым лицом.— Спи. А то, я вижу, совсем умаялся. Клюешь носом, клюешь. Зашем мучить себя? Давай ложись на мои колени. Вот сюда. Я шинель положу. Давай, давай, дедушка. Вот так.

— Да ты и сам поди, солдатик, извелся за дорогу-то?

— Нишево, нишево. Я крепкий. Как это русские говорят? Двужильный.

— Только как мне?.. Вдруг что? — Рулев, тяжело и озабоченно вздохнув, глянул на русоволосый затылок сына.

— Спи, спи. За воякой я присмотрю маленько.

— Ну, спасибо, сынок! Сам-то по чистой демобилизован или на побывку?

— По чистой. Я, как и ваш, из госпиталя.

— Понятно. На вид справный. Стал быть, все в порядке, золотой мой?

— В порядке, дедушка, в порядке, — светло просиял добродушный и спокойный джигит, и полные, чуть набухшие от улыбки щеки его запунцевели от румянца.— Руки, ноги целы — и хорошо. Работать можно. А это ой как много!

— И то правда, сынок.

Рулев навалился на расстеленную на коленях смуглолицего казаха старенькую шинель, поелозил на левом боку, укладываясь поудобней, блаженно почмокал губами, как человек, которому нежданно-негаданно выпали давно желанные минуты безмятежного покоя, провел ладонью правой руки по мягкому ворсу кудрявистой бороды и затих.

Старший сержант Алексей Желнов достал из-под бокового столика самодельный, сколоченный из фанеры и покрашенный черной масляной краской чемоданчик, поставил его на колени и, щелкнув задвижкой, отбросил крышку. Задумался. Что же почитать? Считай, полчемодана занимали, казалось, совсем несовместимые по тематике книги и брошюры. Среди них выделялись большой, довольно потрепанный том «Войны и мира» Толстого, «Государство и революция» Ленина в скромном издании, повесть Тургенева «Ася», «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Энгельса, пухлый сборник материалов для художественной самодеятельности. Под книгами россыпью, точно крупнокалиберные патроны, лежали разноцветные тюбики масляных красок, кисти.

— Дядя Леша, а это что у вас? — широко распахнул голубые глаза Андрейка.— Что это такое? — повторил он и вдруг метнул на Желнова испуганный взгляд, затем оглянулся и тихо, заговорщики прошептал.— Снаряды?

Танкист рассмеялся. Потряс головой: ну, даешь, мол, Андрей.

— Нет, не снаряды,— Желнов извлек из чемодана два тюбика.— Краски.

Прыснул, еле сдерживая смех, и Набиден Оразалинов.

— Ах и придумал ты, Андрей! Снаряды! Совсем ишо дитя... Снаряды очень большие.

— Я думал, что это...,— насупил белесые брови Андрей,— что это от... ПТР.

— У противотанкового ружья не снаряды,— не повышая голоса, монотонно, не спеша выговаривая трудные слова, пояснил Оразалинов.— Петеэр имеет патроны. Бронебойные. Вот такие. Много будешь стрелять — один танк подпалишь. Не подпалишь — все равно не огорчайся. Пехотуру успокоишь, а уж она, милая, гранаты в ход пустит. Жаркие бутылки. Зубами броню грызть будет. Ей, матушке, от танков бежать никак нельзя. Это гибель. Словом, дело жаман. Плохо, значит.

В проходе появился Василий Шапов, молодцеватый, возбужденный, в самом благодушнейшем настроении.

— Ну как вы тут, братва фронтовая, не заскучали без меня?

Набиден Оразалинов приложил к губам два пальца.

— Тиха, матрос. Вишь: папаша спит. Не шуми. Давай человеку отдохнуть.

— Пардон. Все понимаю,— поднял две ладони вверх Шапов.— Ухожу под жидкий грунт.

— Как это — под жидкий грунт?— хихикнул Андрей.

— Во глубину океана, значит, Андрей. Словом, молчу.

— Да вы, дядя Вася, можете не молчать,— поправил его Светов.— Токо не шебушитесь. Не орите. И правда, дедушка умаялся.

— Да какой он дедушка!— заухмылялся моряк, присаживаясь на самый угол нижней полки — напротив спящего Рулева.— Его борода и старит только. Этот таежный мужик еще кулаком быку хребтину разом перешибет. Одним ударом. Не кулак, а кувалда.

— Как у рыжего бульдога!— фыркнул Андрейка.

— У кого, у кого?— недовольным тоном переспросил Оразалинов, и темные скобки негустых бровей его сомкнулись у переносья.

— Ну, у этого...,— Светов шкодливо сморщился, втянул голову в плечи.

— Разве так можна, Андрей?— укоризненно покачал головой Набиден.

— Ну, у этого...,— замялся пристыженный Андрюха,— у Пантелея Тимофеевича. Я нечаянно. Как-то само вылетело. Уж больно похож он на злого бульдога. Морда — во! Рот ощерен. Того и гляди — гавкнет!

Сказано это было вроде бы сдержанно, с опаской, но вместе с тем так ершисто и с такой комичной интонацией, что вагон громыхнул от взрывного смеха. Напрасно недовольно морщился джигит Оразалинов: ни младший, ни старший Рулевы не проснулись. Сон вымотанных дорогой людей оказался сильнее любого смеха, любого грома.

— А это ты, Андрей, хорошо прошелся по Пантелею,— вытирая слезы, похвалил мальчугана матрос.— Метко врезал. Ничего не скажешь. Есть чувство слова.

— Не надо за это хвалить,— протестующе возразил Набиден Оразалинов.— Не надо. Нельзя о людях зло говорить. Все люди — люди.

— Люди-то, люди,— заводно, с обычным своим возбуждением, с занозистым полемическим запалом, поскрипывая зубами, заворчал Шапов,— но и люди разные бывают.

— Конечно, разные,— не принимая злого, повышенного тона моряка, спокойно согласился джигит с удивительно добрыми и какими-то по-детски доверчивыми ясными карими глазами.— У каждого свой характер, свои привычки. И добрые и худые. Если только яд в человеках замечать — сам ядовитым станешь. Хуже змеи будешь. Так больше жить не надо. Война по всем нам шайтаном прошлась. Сколько бед принесла на землю!.. Ойбай, ойбай!.. Ожестошились мы. Все, все. Теперь душу лечить надо. Лечить добром.

— Эх как хорошо ты говоришь, джигит!— так весь и взъерошился матросик. Даже хотел на ноги вскочить, да не рассчитал, стукнулся затылком во всю свою взрывную силу о среднюю полку, под которой сидел.— А, черт!

— Доска не прогнулась, дядя Вася?— под общий хохот озабоченно поинтересовался Андрей, хлопая светлыми ресницами хитровато прищуренных глаз.

Шапов, принимая шутку, внимательно ощупал толстенную полку:

— Нет, не прогнулась.

— Значит, слаба ваша голова!— разочарованно вздохнул балагур и опять сорвал одобрительный хохо-

ток. Смеялся и матрос, которого ничуть не задели беззлобные колкости разбитного мальчугана.

— А с тобой, Андрюха, синеть от скуки не придется. Язычок, что перцовый стручок.

— А моя бабушка Апраксия, покойница, царство ей небесное,— молитвенно вздохнул Светов,— любила говаривать, дядя Вася: робкие тихони всегда в загоне. Или еще так: не имей пчелка жала — всякая тварь бы ее обижала.

— Хорошо усваиваешь, Андрей, уроки предков. Насчет жала твоя бабуля метко заметила. Уж коли пчеле без жала худо, то человеку и вовсе без него нельзя. Замордуют. А вот, Андрюха, уважаемый джигит... Я извиняюсь, не скажете ли, как вас звать? А то неудобно: в одном вагоне едем, говорим. Может, еще и земляки.

Тонкие темно-бордовые, с пунцовым отливом губы Оразалинова расплылись во все полноватое лицо в теплой улыбке:

— Набиден зовут меня. Набиден Оразалинов. Будем знакомы, матрос,— и он протянул Шапову руку.— С Уланского района я. Не землячки?

— Я с Зайсана. Потомственный рыбак. Но все равно — земляки. Восточноказахстанцы. Так о чем же я хотел сказать-то? А, вот о чем! Это я с Андрюхой-горюхой диспутенцию начал разводить. Так, мол, и так, Андрей, ты про острое целительное жало преподносишь нам на блюдечке народную истину, а джигит Оразалинов, бывалый, как я вижу по нагрудным колодкам, фронтовик, свою философию выкладывает: не трожь, не обижай гада, урезонивай любого подонка, шлифуй его нравственность добрым словом. Он тебя ножом, а ты его сладким пирогом. Он тебе плевок в рожу, а ты ему: так, дорогой, негоже. Ха-ха!

— Однако и совсем злым не надо быть,— не меняя доброжелательного тона, проговорил Набиден,— а то душа сгорит и сердце черным пеплом засыпит. Не отличишь тогда, где доброе, а где злое.

— Ша, ша, пехота!— Василий поднял вверх руки в эффектном ораторском жесте.— Ты что же — в атаку-то с хаханьками ходил? Фашиста по головке гладил? Со штыком же бежал, зубами скрипел!— у матроса перекатывались под смуглыми скулами упруго пульсирующие катыши. Судорожно крутнув головой, он скрипнул зубами, будто готовился выбросить себя из траншеи под страшную и жуткую команду: в атаку.

Оразалинов отвел в сторону глаза, не принял и на этот раз вызова на горячую перепалку.

— То была война, матрос... Там жизнь и смерть на одной узкой тропе,— Набиден выставил перед собой ребро ладони.— Сюда пропасть. Туда пропасть. Кто кого — другого разговора в бою нет. А теперь — мир. Война за спиной. Штыком говорить нельзя. Повидали кровь. Хватит. И кровь, и страх, и ярысть — все было. Грубые стали. Отдыхать, говорю, душой надо.

— Да уж страха натерпелись,— вздохнул, приоткрыв глаза, Рулев.— На войне страшно всем. Не для людей эти страхи... Кто помыкался в окопах, тот это знает.

— Спите, деда, спите,— сказал Набиден.— А мы будем тише.

— Сплю, сплю.

Разговор в восьмом вагоне прервался: в проходе появился безногий калека в выцветшей военной гимнастерке, на левой стороне которой сияли мастерски, с любовью сработанные орденские колодки, на правой — багряные ленточки ранений. На юном, известково-бледном лице его лежала печать острого физического страдания и той горькой, неподдельной робости, когда человек еще не привык унижаться, прося подаяние. Ног у него совершенно не было, и он сидел на крохотной тележке, как обрубок; передвигался с помощью рук. За ним шла, потупясь, девочка лет десяти со старой гармонью в руках.

Инвалид остановился посредине прохода, девочка подала ему гармонь и он, пробежав по ладам быстрыми тонкими пальцами, запел печальную, видимо, собственного сочинения военную песню. Закончил ее на тоскливой, надрывной ноте:

Но пал я в бою, как подбитый орленок.
Калекой вернулся в родное село.
Не слышно под окнами смеха девчонок,
А месяц горит так призывно, светло!..

Никто в вагоне не проронил ни слова. Молча и сурово глядели люди на бедного парня. Они видели в нем нечто большее, чем инвалида-фронтовика. Прерванный песней разговор и сама эта песня вызывали поток схожих картин и понятий, связанных в единый узел судьбы народа. В одном человеке, жестоко искалеченном войной, как бы сфокусировалось все: и трудная великая Победа над фашизмом, и боль страшных невозвратных утрат, и слезы миллионов сирот...

Тянулись руки к шапке-ушанке, которую держала девочка. Звенели серебряные и медные монеты. Шапка в тонких руках подростка вздрагивала.

Набиден Оразалинов вынул из кармана пятерку. То же самое сделал затем Алексей Желнов. Василий Шапов пошарил рукой в одном кармане, в другом. Бросил в шапку тройку. Дементий Афанасьевич отдал всю подчистую мелочь и прикрыл ладонями лицо: не мог глядеть на то, как пробирался по проходу на своей колесной подставке калека-фронтовик.

Желнов залез на верхнюю полку, постелил под голову жесткую шинель и лег на спину, устало вытянув ноги. Спать он страшно хотел, но не мог: велико было нервное напряжение. В сознании навязчиво прокручивалась фраза, произнесенная Рулевым: на войне страшно всем. Не для людей эти страхи... Да, старик многое повидал, прошел, может быть, через империалистическую, гражданскую... И все же, видимо, это только его личная правда, только его индивидуальный опыт, вынесенный им из трех войн. Страшно, пожалуй, на фронте всем. Особенно поначалу. Особенно в первом бою. Не все об этом рассказывают, как-то неудобно человеку признаваться в собственных слабостях. И к тому же это временное душевное состояние постепенно проходит, уступая место безразличию и новым привычкам. Нет, к самой смерти, то есть к смерти как таковой, человек никогда не привыкает и всегда с содроганием думает о том роковом мгновении, которое может оборвать и его жизнь. Но что-то потом происходит... Ты уже не кланяешься любому свисту пули или снаряда, не вздрагиваешь от каждого взрыва. В силу вступают какие-то таинственные защитные психологические факторы.

Желнов улыбнулся, углубившись в воспоминания. Улыбка потом сошла с его сухощавого лица, узкие брови сползлись у переносья. Странно, минуло с тех пор, когда он прибыл на фронт, каких-то полтора года, а кажется, что позади целая военная вечность. И не мудрено: столько пережито за это лихолетье! Калейдоскоп событий, каждодневные испытания как бы растянули в пространстве и времени дни и ночи войны.

III

Без малого два месяца, в мае и июне 1944 года, отдельный штурмовой батальон, в который попал Алексей,

находился на передней позиции I-го Прибалтийского фронта. Несколько раз новички попадали под бомбежки и артиллерийские обстрелы, но все это случалось так неожиданно и проходило так скоротечно, что «салаги», в основном сибиряки 1926 года рождения, даже не успевали напугаться.

В начале июня командование 43-й армии отвело от линии фронта отдельный штурмбат вместе с другими частями и провело учение по розыгрышу предстоящей операции «Багратион».

День стоял пасмурный, хотя дождя и не предвиделось. Просто небо затянула легкая пустая наволочь, сквозь которую нет-нет да и пробивался тусклый диск солнца.

Бойцы отдельного штурмового батальона в полном боевом снаряжении заняли исходный рубеж на небольшом плешивом угоре с низкорослой травкой, без единого кустика. По приказу полагалось окопаться. С левого фланга, где почти в каждом отделении находились бывалые старички, застучали о мелкий камушник походные лопатки. На самом пупке угора и справа, до самого крутого среза, сплошняком лежали не крещенные огнем и свинцом «желторотики». Никто из них не окапывался. Держали в руках лопатки, с ухмылкой переглядывались.

Желнов мало кого знал в своей третьей роте. Перед самым учением почти каждое отделение части еще раз перетрясли, перегруппировали, и познакомиться друг с другом солдаты еще как следует не успели. Рядом, слева от Алексея, лежали, широко разбросив ноги, два брата-близнеца, Иван и Степан, сероглазые, остроносые. И ростом тютелька в тютельку — перепутать можно. Их Алексей знал еще по Семипалатинскому учебному полку. Были они родом, кажется, из Зайсана. За ними и еще за тремя солдатами сиял светлой струйкой белобрысый висок поэта со странной фамилией Сало, тоже восемнадцатилетнего юнца. Перед отправкой из Семипалатинска на фронт Алексей читал его стихи на прощальном полковом концерте. Хорошие, звучные, зажигательные стихи. Вот вроде бы и все знакомые. Э, нет, вон еще один земеля, Аскар, коренастый крепыш из Тарбагатая, второй номер пулеметного расчета. За ним, у небольшого серого валуна, распластался кто-то очень длинный-предлинный, сухопарый, со впалыми, глубокими глазницами. И пожилой. Ах да! Это, кажется, тот самый москвич, которого солдаты сразу почему-то прозвали профессором.

Два дня назад его удивил старшина Ладов, бывалый вояка, решивший вдруг приспособить под портсигар трофейную итальянскую гранату, очень легкую, с красивым красноватым пластмассовым корпусом. Осколков она не давала, но взрывалась со страшным грохотом. Оглушала и контузила противника, стерва, здорово. Ничего не скажешь. Новички не только наслышались об этом, но и сами уже испробовали ее взрывную силу, и поэтому, когда пышноусый старшина, вооружившись перочинным ножиком, начал преспокойно вскрывать красный корпус боевой гранаты, чтобы выпотрошить из нее смертоносную начинку, профессор в ужасе отшатнулся от него, с возмущением воскликнув: «Что вы делаете, батенька?!» А старшина только посмеивался и продолжал раскупоривать гранату. «Приготовились,— сказал он.— Раз, два, три. Вот и все»,— и желтовато-табачный порошок высыпался на землю.— Прекрасные портсигары получаются из этих адовых гранат, доложу я вам, профессор! Культурно и... качественно работают итальянские рабочие!»

Профессор с облегчением вздохнул, а потом с укором проговорил:

— Нельзя так играть со смертью. Раз получится, два получится, а затем... может и непоправимое случиться...

— Нет, коли толково знаешь свое дело — никакой осечки не будет. А вы курите, профессор?

— А что?

— Да у меня еще такие гранатешки есть. Мигом и для вас портсигар сработаю.

— Нет-нет, я не курю!— прикрывая лицо руками, поспешно выкрикнул москвич под общий хохот солдат.

Он, профессор, тоже не окапывался. Беспечно наблюдал за ползущим по тонкой былинке ядовито-зеленым жуком, ставил на его пути другой, сорванный им стебелек,— должно быть, изучал повадки насекомого.

И вдруг над залегшей пехотой раздался тонкий, с подвыванием, визг; почти в то же мгновение воздух сотрясли резкие взрывы мин; и противный свист сотен осколков прошил все пространство зеленого угора. Черноогненные клубы разрывов окатили солдат мелкими камнями и ошметками земли.

Еще не было команды, еще никто не ругал молодых штурмовиков за разгильдяйство, а уж лопатки дробно и споро застучали о галечник.

— В чем дело?! Почему прохлаждаетесь, не окапы-

ваетесь?!— возмущенно кричал пышноусый старшина, который, пригнувшись, бежал позади боевых порядков третьей роты.— Приказы на то и есть, чтобы их выполнять! Живо окапываться!

— Да окапываемся, окапываемся,— проворчал Сало.

— Окапываемся,— зло передразнил Сало старшина Ладов.— Поздно хватились. Раньше надо было за лопаты браться. Это на КП заметили, что вы филоните... Ну вот и врезали по нам одним залпом. Для науки. Благодарите минометчиков. Хорошо стреляют. Дали точный перелет... Живо, живо! Да поглубже. А то в бою спать будете.

Больше никаких недоразумений не произошло. Учения прошли хорошо, со всей наглядностью реального боя. Когда батальон ринулся на прорыв «линии обороны противника», солдаты повели на ходу огонь со всех видов оружия. Это было что-то невообразимое и ужасное. Поток свинца угрожающе и беспощадно шумел, как ураганный ливень. Впереди высилась сплошная стена соснового леса с красноватыми зубцами стволов. Желнов бежал рядом с братьями-близнецами, нещадно строчил из ППШ и отметил про себя: «Хорошо, что палим в сторону леса, а то бы шальные пули понаделали бед. Лужайка подобрана что надо».

На другой день после занятий перед участниками, в том числе и перед воинами отдельного штурмового батальона, выступил командующий 43-й армией Афанасий Павлантьевич Белобородов. Желнов слышал, как перешептывались впереди стоящие бывалые вояки, давая командующему самые лестные отзывы.

— А генерал-то бравый. И не из робкого десятка, говорят.

— Нашенский мужик. Крепкий и хваткий.

— С таким и воевать хорошо.

— Я его давно знаю, еще с сорок первого. Башковитый генерал, сурьезный. Дурняком солдат в бой не попрет. У него, как у того Жукова, все с хитрецой, все с прикидкой.

Генерал стоял на каком-то возвышении, не то на пне, не то на снарядных ящиках, у самой кромки густого ивняка, как на фоне зеленого занавеса. Алексей плохо его видел. То маячила вскинутая вверх рука, то алело разгоряченное лицо.

А командующий армией говорил о крупных и решающих победах советского народа за три истекших года

войны, об освобождении Украины, об успешных действиях белорусских партизан.

— Враг понес в зимней кампании огромные потери. Красная Армия уничтожила, причем начисто уничтожила шесть бригад, тридцать дивизий противника, наполовину обескровила еще около ста пятидесяти фашистских дивизий. Но агрессор все еще силен. Только в этом году его армия получила больше семнадцати тысяч новых самолетов, около девяти тысяч танков. Гитлер перебросил с запада к нам сорок свежих дивизий. Что ж, крепок орешек. Но сильны теперь и мы. И самолеты, и танки, и грозная артиллерия — все у нас есть! Есть и вы, чудо-богатыри. И командование верит в вашу стойкость и мужество, в вашу военную выучку, в вашу святую ненависть к злейшему врагу. Помните, солдаты и командиры, там, за линией фронта, изнывает под кровавой пятой фашистских извергов белорусский народ. Гитлеровские вандалы сожгли, смели с лица земли несметное число сел многострадальной Белоруссии, истребили сотни тысяч мирных жителей. От вас и только от вас, дорогие мои, доблестные мои воины, зависит скорейшее избавление советских людей от коричневой чумы германского фашизма!..

А вскоре в одну из темных ночей отдельный штурмовой батальон спешно передислоцировался на новое место. Шли скрытно и тихо. Наказ солдатам был дан строгий: не звякать, не брякать, не курить, не кашлять. Бесшумно заняли линию обороны. Каждому штурмовику предстояло быстро, до рассвета, окопаться, тщательно замаскироваться.

Хорошо зная, что учения остались позади и началось настоящее дело, солдаты работали усердно и споро. Благо белорусская земля оказалась податливой, и ячейки углублялись не по часам, а по минутам.

Алексей Желнов тщательно нарезал из целика зеленые травянистые бруски и, отложив их в сторонку, сноровисто заработал лопатой. К чему, к чему, а к лопате-то он приспособлен сызмальства. Топор, лом, пила да лопата — самые ходовые инструменты в деревне, что и говорить. Вон профессор, видать, к земляному делу не приучен. Пыхтит, вертится туда-сюда, а все еще с нарезкой бруствера не управился. Помочь бы ему. Если все пойдет у меня ладно,— подумал Алексей,— подсоблю.

Только бы до зорьки управиться, черт ее возьми. Да вряд ли. Восток уже малость отбеливается. Вот ты оказия какая. Надо поднатужиться.

Лопатка шла в землю, как в масло. Грунт, должно быть, очень сырой. И верно. Вишь, как липнет к лопате. Чуть ли не после каждого выброса земли Алексей вынужден был сбивать вязкие комья с лезвия резким ударом о траву. В грязи вымарывался и черенок. Приходилось и его чистить травой.

— Тьфу ты!— негромко проворчал Желнов.— Ну и землица!..

— Тише ты!— прошептал профессор.— Ведь сказано: не разговаривать.

— Знаю, знаю,— перешел на шепот и Алексей. Приминая ботинками нетоптаную луговую траву, он подошел к долговязому соседу.— Пошевеливаться надо. Скоро рассвет, а вы и дерн еще не содрали. А вам ямка ох какая нужна! Как под телеграфный столб. Давайте помогу. Смотрите, как надо.

Желнов расторопно нарезал из дерна крупные кирпичи для маскировки.

— Уберите пока их в сторону,— распорядился он.— Это чтоб впопыхах не завалить землей.

Вырыв без продыха полуметровую яму, Алексей, тяжело дыша, плюхнулся на травянистый закраек ячейки, с наслаждением расправил спину.

— Теперь ройте сами. Да пошустрее. А я пойду свою ячейку добивать.

— Спасибо... Как вас звать-то?

— Лешка.

— Спасибо, Алексей. Будем знакомы. Николай Германович, научный сотрудник,— рослый солдат склонился перед Желновым, подавая ему руку.— Желаю вам удачи в бою.

— И вам удачи. Боязно мне за вас... Какой-то вы...

— Какой? Длинный, неуклюжий?

— Да нет. Не то. Как бы вам сказать?.. Неопытный. И жизнью, видать, неломаный. А главное: нет у вас никакой сноровки. Ну, прямо начисто нет.

— Сноровки?

— Ага. Это плохо для пехоты. Вы уж хоть не робейте. Мой отец, он еще в ту, первую империалистическую, воевал, частенько говаривал мне: робких да квелых, Ленька, пуля в первую очередь находит.

— Она любого найдет — и храброго и трусливого.

— Конечно, всякое бывает... Это так. И все же... Коли растеряешься — добра не жди.

— Вот в этом вы правы, дорогой. А сам-то вы как — не теряетесь?

— Не знаю... Я ведь тоже на фронте впервой.

— А, молодое пополнение. С Востока?

— Ага.

— Сколько лет-то?

— Да восемнадцать стукнуло.

— Не страшно?

— Страшно всем... Пообвыкнем. Но я хоть верткий.

Москвич беззвучно рассмеялся.

— О, это уже неплохо.

— Ладно, заговорились мы тут... Давайте рыть. Развидневается.

— Что, что?

— Развидневается, говорю. Светает.

— А, понятно.

После затяжного рабочего запала, когда ячейка углубилась четверти на три, Желнов устало опустился на корточки в своем нехитром убежище и, откинув голову назад, унял частое дыхание. Резко пахло сырой землей, смятой, порезанной лопатой травой. Но более всего выделялся пресный, с пряной горчинкой дух порванных корней дерна. Вчера налетели тучи, пробрызнул мелкий парной дождик, и воздух все еще дышал озонированной влагой, хотя черно-синее небо было теперь идеально чистым. Крупные ясные звезды трепетно вздрагивали, шевелились, как золотые светящиеся паучки.

Над миром повисла тягучая тишина, будто не было здесь никакого фронта, никакой войны. Люди той и другой противной стороны молчали, должно быть, кто-то спал, кто-то приходил в себя после долгой земляной работы. Над всем властвозали теплая июньская ночь. звездное небо, темные кущи смиренного леса.

И вдруг где-то слева по линии фронта, кажется, в плотной куртине густого тальника раздался первый, пробный удар соловья, и затем над самой ивовой рощей, над мокрой луговиной, где окопалась пехота, над низкорослым лесом нейтральной полосы, перечеркнутым тонкими тесемками предутренней испарины, рассыпалась длинная очередь трелей. Да, именно очередью, а не трелью показались эти песенные птичьи раскаты Желнову. На фронте все в мире воспринимается по-особому, через новые рефлексы, обретенные в грохоте огня, в скрежете

металла. И еще долго солдату, прошедшему через ад войны, будет многое видеться и слышаться совершенно аномально. Даже обычный рев коровы может показаться протяжным звуком выстрела реактивного миномета. Даже одинокое дерево в ночи почудится вдруг застывшим взрывом тяжелого снаряда...

Только в третий, или даже в четвертый заход мелодичные переборы соловья Алексей воспринял как живое, восхитительное чудо волшебного крылатого певца, и замер от восторга и щемящей тоски. Песнь соловья — будто летучий сказочный подарок бойцам первой линии из иного, совсем-совсем иного земного мира — из сказки их прошлого и такого далекого бытия у родных очагов.

А ночное черно-синее небо блекло, линяло, чтобы приобрести потом новые, и тоже сочные, голубоватые тона. С запада, где угадывался настоящий густой таежный лес, потянул свежий ветерок, который, казалось, задувал наверху — один за другим — звездные светлячки. От болот нейтральной полосы засновали клочки жидкого туманца. Отдельные тонкие струи его цеплялись за зеленые кисти еще нерасцветшего кипрея, за светлые метелки конского щавеля, белыми бинтами накручивались на темные стволы ольшаника.

Восточная кромка неба поначалу затеплилась лиловым светом, а затем алым, и на всем, что виднелось вокруг, засияли, запыхали отблески рассветного зарева — и на росной траве, и на тесемках редкого тумана.

И вот из-за рваного среза синего леса брызнул золотой сноп солнечных лучей, и вселенское время, как добрый чародей, подарило Земле и всему живому на ней новый день.

Желнов огляделся. Зажмурился, ослепленный солнцем ясного утра. Придирчивым взглядом окинул бруствер, которым замаскировал свою ячейку. Вроде ничего. Чистая работа. Брусочек к бруску, даже и стыков не заметно. Обратил внимание на два могучих, широких и длинных листа девясила — светло-зеленых, с веером золотых прожилок. Матушки мои, да как же они сохранились?! Как же он не смял, не растоптал их ночью, когда укладывал вокруг ячейки бруствер?! Какие они свежие, упруго-напористые, так и ломящиеся к свету и жизни! Алексей высунулся по пояс из своего укрытия и склонился над чудными листьями-языками мощного девясила. Вгляделся в них и ахнул: на сочно-бархатистой зелени их чутко подрагивали от малейшего движения воздуха

крупные, с добрую горошину, алмазные, насквозь пронизанные солнечными искрами росные, а может быть, и дождевые капли. Меж этих невероятно больших драгоценных слитков пыхало, светилось сплошное мелкое водяное сеево. Не языки травы-девясила, а гигантские изумрудные ладони, полные сказочных сокровищ.

Алексей знал целебные свойства девясила. Когда его отец надрывал живот, ворочая бревна, мать варила настой из девясила и жерновника и отпаивала им пострадавшего. Помогало. И даже здорово.

По натуре своей Желнов не был склонен к суеверию, но на этот раз он с каким-то непонятным для себя волнением взял из окопчика винтовку и поправил ее стволом один, видимо, чуть поврежденный ночью им девясиловый лист. Лист благодарно выправился, и удивительно: ни одна росная бусина не сорвалась с него на землю. Нет, не суеверный порыв правил поступком Алексея. Это было нечто абсолютно противоположное и более значительное. Смерть на фронте витает всюду, она как бы незримо сидит рядом с каждым человеком и ждет своего коварного мгновения. Здесь все противоестественно и антижизненно, и в упрямо сохранившихся в целости листьях стойкой травы солдату привиделась совсем иная символика: торжество красоты земли и неодолимой силы бытия. Жизнь предстала перед солдатскими глазами накануне кровавой битвы как великое и редчайшее благо. И движением вороненого ствола новой винтовки он как бы оберегал эту жизнь от беды, как бы защищал ее от черных напастей большой огненной смерти.

А мелкая водяная крупа, росные катышки на огромных зеленых ладонях девясила едва заметно пульсировали, вбирая в себя, словно в волшебные зеркала, и золотую пряжу солнца, и зелень леса, и лазурную продымь неба. Дунул ветер, листья вздрогнули, и в водяной сыпи рухнуло, сломалось все отраженное мироздание...

В этот день состав отдельного штурмового батальона остался без горячей пищи. Да ее, вероятно, никто и не планировал. Нельзя было в первый же день выдать противнику новое пополнение в первом эшелоне фронта. Подкрепились солдаты сухим пайком. Желнов запил пайку хлеба остатней водой. Баклажка еще вечером была полная, но пока он возился со своей и профессорской ячейками, почти всю ее и осушил, охлаждая свой «ра-

диатор». А пить хотелось дьявольски. Жаль, малой оказалась баклажка.

К полудню солнце изрядно припекло, и горло совсем перехватило сушью. К тому же вчера вечером, перед самой передислокацией, штурмовиков накормили таким густым и жирным, с большими кусками тушенки супом, что у солдатиков, как кто-то метко отметил, затрещали пупки. Это было пречудесное совмещение первого и второго, и такое варево даже как-то язык не поворачивался назвать простой баландой. И хоть повар ничуть не скупился, разливая по котелкам свой «королевский суп», кое-кто заходил к кухне по второму разу. Плотный, сытный ужин пехота запила крепким чаем. Но все равно, где-то уже через часик, солдаты начали прикладываться к фляжкам.

В тыловом учебном полку такого не бывало. Кормили курсантов, чего уж там скрывать, предельно скромно. Шагали, бывало, они с полевых занятий, и в башку им лезли одни и те же соблазнительные картины с всевозможными домашними яствами из прошлой мирной жизни — с горками восковых блинчиков, облитых топленым маслом, с румяными шаньгами, пельменями, с варенцом, в котором плавали поджаристые пенки. Ни о чем другом и ни о ком думать не хотелось — даже о девчонках.

Вбегали по команде в столовую. По команде садились за длинные деревянные столы. Кто-то нарезал из хлебной булки ровные пайки. Затем один курсант закрывал глаза, другой клал руку на пайку и спрашивал: «Кому?» Первый отвечал: «Шаброву...» Обид не бывало. Правда, везучим считал себя тот, кому доставалась горбушка: размер у нее хоть и тот же, зато масса плотнее. Значит, и хлеба должно быть вроде бы больше.

Желнов сперва съедал суп вместе с хлебом. Получалось плохо: аппетит распалялся еще сильнее. Потом он стал сначала уминать всю пайку, а уж затем разделывался с обычной жидкой затиркой. И так оказалось несытно. Тогда он сделал наоборот. Выхлебывал в первую очередь всю болтушку. И только после этого брался за пайку. Жевал всухомятку, с чувством, с толком, с расстановкой. Оказалось, что именно так есть лучше, рациональнее. Мало-помалу курсанты «втянулись» в норму тылового довольствия.

В чем тут дело — он не знал, но, видно, какой-то, еще неизвестный науке, психо-физиологический эффект здесь есть. Да и то сказать: к чему только человек не приспо-

сабливается в экстремальных условиях! Нужда, как известно, на выдумки хитра.

И вот фронт...

Солнце палило между тем все сильнее и сильнее. Благо, от сырой земли ячейки веяло прохладой, и это несколько заглушало жару. К тому же, в откопанной яме появилась вода, и с каждым часом ее становилось больше.

— Алеша, водицы случайно у вас нет?— робко спросил хриплым голосом профессор.

Он был без пилотки и без каски. Некрупная голова его на тонкой шее, с хохолком темных волос на затылке чем-то напомнила Желнову голову косача, и он улыбнулся.

— Что, и вы опорожнили баклажку?

— А она у меня сразу пустая была. Хотел чаем наполнить, да забыл.

— Так и у меня воды нет. Я-то, правда, брал, да всю выпил.

— Что будем делать?

— Не знаю. У меня, например, в ячейке полно воды. Скоро по колено станет.

— Предлагаете пить из-под себя?! Да вы что?

— А что? Такая же вода. Вроде бы родниковая. Из земли прет.

— Вы еще и шутите, Алексей,— обиделся москвич.— А мне не до шуток. Еле говорю. Так хочется пить!.. Все во рту пересохло.

— Да и я не шучу. Жажда штука такая... Приспичит — всего напьешься.

— Нет, я не смогу.

— Ладно. Счас что-нибудь придумаем.

Однако придумывать не пришлось. Небо точно кто-то распорол ножами сразу в нескольких местах, и мощные взрывы тяжелых снарядов пошатнули землю. Зашуршали, истошно засвистели осколки. Вражеские артиллеристы допустили большой перелет. Желнов видел все взрывы, снаряды легли метров двести-триста от окопавшихся бойцов, и над луговиной будто высоко взнялись косматые стога сена.

Алексей глядел на эти застывшие, медленно оседающие черные стога широко распахнутыми от испуга и удивления зелеными глазами. И только тогда, когда оглушительно ухнули очередные, уже совсем близко, смерчевые разрывы и шею обжег рядом пролетевший

осколок, он рывком упал на заполненное водой дно своей ячейки.

Артналет почти с каждой минутой набирал силу. Вой снарядов, грохот разрывов потеряли первоначальный ритм. Все смешалось в один огневой кошмар, в сплошной гул и гром. Земля дрожала, судорожно покачивалась, куда-то кренилась...

Алексею казалось, что некоторые снаряды летели прямо в него. Душераздирающий звук приближался с неотвратимой быстротой. Урчащий вой мгновенно переходил в сверлящий визг и вдруг, на какую-то долю секунды, захлебывался, чтобы тут же с грохотом адская сила с безумным остервенением тряхнула земную твердь.

— Ну, все, все, этот в меня!— вслух бормотал Желнов.— И точно, точно в меня!— и он весь съеживался, чувствуя всем своим существом, как сверлит его этот ненавистный воющий и визжащий звук, летящий прямо к нему. Прямо в него...

Раздавался взрыв. Дергалась, словно от боли, земля. Нет, мимо. Рядом. Раз слышен взрыв — это ничего. Плохо, когда уже ничего не услышишь, не ощутишь. Лишь мгновенная раздирающая боль — и больше ничего. Один мрак. Смерть...

А новый звук, тот роковой и страшный звук, который близится к тебе, уже снова давит тебя вниз, заставляя сжиматься в комок и шептать, а может быть, даже и кричать что-то прощальное, что-то противоестественное, ужасное, недостойное человека: «Все, все... Теперь все!.. Прощай жизнь!.. Мама ж ты моя!»

Очередной гром взрыва вызывал вздох облегчения: пронесло.

«Неужели всем так же боязно, как и мне?— молнией высеклась у Желнова стыдливая мысль.— Неужели каждому, каждому страшно умирать?! А то как же!— озлясь на себя, усмехнулся он.— Жить всем хочется. Что они, другие-то, хуже меня?! Вон профессор, может, большой ученый. Может, такое думает сотворить, а его сюда, в пекло! Как он там, Николай Германович?— Алексей вздернул голову и уметил в соседней ячейке длинную, не по голове пилотку.— А, живой. Не задело. А вот братьям-близнецам, пожалуй, всех страшнее. Каждый переживает и за себя и за другого, родного ему человека».

Довести до конца эту мысль Желнову не дал очередной грозный пикирующий визг летящего снаряда. Каза-

лось, зачем бы пригибаться человеку в окопе при такой ситуации?! Ведь если взрыв накроет ячейку, то все равно разнесет тебя на куски — скрючишься ты в три погибели или останешься в прежней расслабленной позе. Но нет, какая-то неведомая и неотвратимая сила гнет тебя вниз, заставляя утягивать голову в плечи, сжимать кулаки, до боли стискивать зубы.

— Ну, опять!..— А, черт!— и Алексей, инстинктивно зажмурившись, придавил себя почти к самой воде окопа.

И ячейку с мутной глинистой водой, и самого Желнова сперва упруго подкинуло вверх, а затем жестко и неистово бросило в сторону. В ушах тонко, по-комариному зазвенело. На голову, шею и спину полетели комья влажной земли.

Алексей тряхнул головой, сбрасывая с себя вязкий суглинок. И только хотел выпрямиться, чтобы оглядеться, как небо вновь огласилось нарастающим визгом множества снарядов. Видно, враз саданули две-три батареи. Мощные взрывы следовали один за другим, и Желнов впервые со всей ясностью ощутил, как хрупок и податлив перед дьявольской силой огня планетный монолит, который бешено вздрагивал и качался, будто начисто потерял свои твердые, устойчивые свойства. Именно это страшное явление, а не сами взрывы поразили Алексея. Земля тряслась и дрожала, словно студень.

— Осатанели, собаки!— выругался Алексей.— Засекли, наверно, новые окопы. А может быть, здесь, на передке, всегда так? Что ж, поживем — увидим. Если, конечно... поживем...

Артналет как внезапно вспыхнул, так внезапно и оборвался. Воцарилась неимоверная тишина. В ячейках зашевелились зеленые пилотки и каски. Солдаты приподнимались в своих нехитрых укрытиях, оглядывались.

Потерь, как быстро выяснилось, не оказалось, если не считать одного контуженого.

Желнов встал во весь рост, потянулся, расправляя затекшую до боли спину, и устало прислонился к заброганному ошметками грязи брустверу.

— Как самочувствие, Николай Германович? Да вы живы, целы?!

— Жив, цел,— послышался тяжелый вздох москвича.

— Не царапнуло?

— Нет, нет. Не могу в себя прийти...

— От «морской качки»?

— От всего. Это что-то ужасное!..

— Ничего, попривыкнем.

— Лучше бы совсем не привыкать. Да уж что теперь!.. Война. А вам, Алексей, не страшно было?

— Да как сказать?..

— Как есть, так и говорите.

— Страшно, конечно. Почему-то казалось, что почти все снаряды в меня летят.

— Значит, все люди одинаково себя чувствуют в этом аду. Мне то же самое казалось... Каждый снаряд так и впивался в меня своим визгом. Это невыносимо. Неужели так будет всякий день?

— Кто его знает. Да ведь скоро пойдем на прорыв.

— Да, скоро. Вы правы.

— Когда пойдем, вы уж особенно не отрывайтесь. Держитесь к кому-нибудь поближе. В атаке без взаимовыручки плохо. Это я от стреляных вояк слышел.

— Хорошо, Алексей. Учту, если, конечно, буду что-нибудь соображать.

Разговор соседей по ячейкам неожиданно прервался. Где-то, не так далеко, ухнуло два взрыва. И опять все стихло. И снова в ушах, как после артналета, по-комариному тонко зазвенело. Надоедливый писк исходил откуда-то сверху. Казалось, звенело в голубом мареве летнего неба жаркое солнце. Алексей даже запрокинул голову, чтобы убедиться, так ли это. Солнце ослепило. В пламенном зеве его, знойно млея, напряженно трепетал белый прозрачный расплав. Желнову почудилось, что солнечное сердечко млеет, тревожно бьется на каком-то последнем пределе, на какой-то застывшей, но хрупкой грани, и стоит лишь ткнуть в него штыком или даже соломинкой — и оно лопнет, словно мыльный пузырь...

В глазах поплыли темные пятна, и Алексей закрыл лицо руками.

— Что с вами?— не без тревоги спросил Николай Германович.— Напекло?

— Напекло,— неопределенно ответил Желнов и вытер пилоткой потный лоб.

— И меня напекло. От жажды даже мутит...

— Сей момент... Попросите своего соседа справа, чтобы передал по цепи старшине нашу просьбу.

— Какую именно?

— Насчет питья. Можно ли, мол, раздобыть где-нибудь воды. Ну, в воронках, что ли...

— Понятно.

Разрешение поступило. Но старшина дал строгий наказ: передвигаться только по-пластунски. Немецкие позиции хоть и за леском, да кто его знает...

Желнов, прихватив баклажки, надев большую, не по своему размеру каску, отправился на поиски воды. К новым выворотам не было смысла ползти. В них, поди, и воды еще нет, а если есть, то, наверняка, один рыжий кисель. Взял курс к небольшой старой воронке. Тонкая зеленая трава щекотала подбородок, обдавала лицо парным медвяным духом. Особенно одуряюще пахли белые и лиловые катышки редкого здесь клевера. Алексей ткнулся носом в теплое разнотравье, зажмурился. Хорошо-то как! Сразу вспомнился покос, знакомый Лаврушкин лог на фоне черных зубцов горных кряжей родного Алтая. Старшие братья, Тимофей и Сергей, шли впереди. Сочно вжикали размашистые косы. Он, Лешка, малость отставал и не потому, что недоставало еще силенок, а уж больно соблазнительно горела среди мелкой кашки россыпь румяной, пропеченной на солнце клубники, дьявольски душистой и крупной, с голубиное яйцо. Алексей, глотнув слюну, придерживал очередной взмах литовки, порывисто склонялся над щетиной кошенины и хватал пригоршней самую заманчивую кисть с ягодой. Давил клубнику языком и, сладостно мыкая от наслаждения, вновь с веселой силой взмахивал острой косой. В-ж-жик,— с ядреным хрустом смахивало лезвие густую траву, обнажая дрожащие гроздья багряных сосков ягоды, все еще сверкающих светлыми крупинками утренней росы.

А потом, при коротком роздыхе, опрокинув в рот несколько пригоршней клубники, Алешка падал на валок травы и устало разбрасывал в стороны руки. Голова шла кругом от бражного настоя белоголовника, серебряных султанов кислички, желтых шаров омика. И небесное светило было такое же знойное, ослепительное. И так же трепетно млел и дрожал его зыбкий осередыш. Только не было ощущения тревоги, хрупкости предельного напряжения солнечного сердца. От всего веяло покоем и красотой. Даже от блеклого расплава солнца. Внизу, у ключа, заросшего талом, кричала перепелка. Кого-то звала к себе. А может быть, пить просила. Звенели кузнечики. Хорошо-то как было! Покойно и радостно.

Только здесь, на фронте, у края вечно бдящей над тобой смерти, сполна, с острой болью осознаешь всю ценность и прелесть того, что осталось там, за начальной

чертой войны,— дом, мирный труд, милые, несказанные картины родного края...

— Что вы там, Алексей?!— забеспокоился Николай Германович.

— Ничего, ничего,— отмахнулся Желнов и проворно заработал руками и ногами, время от времени поднимая голову, чтобы не сбиться с выбранного направления.

Ну, вот и старая, с затвердевшими краями воронка. Вода светлая. Правда, малость с неприятным ржавым налетом. Но все-таки нормальная, прозрачная. А главное: мокрая,— пошутил, веселя себя, Желнов.

В воде покачивались отраженные куски неба, рваные узорные вершинки недалеких кустов ивняка. Сперва сам попью,— решил Алексей и снял с головы каску, чтобы зачерпнуть воду, но, вздрогнув, замер: на дне ямы из бурой земли торчали кончики посиневших пальцев человеческой руки. Где-то рядом, наверно, вот в этой большой воронке, разорвало солдата (своего или чужого — кто его знает) и сбросило сюда его останки.

Рука с каской опустилась на закраек ямы. Алексей стиснул зубы, осиливая подступившую к горлу тошноту. Метрах в ста от него звучно хлопнул разрыв шальной мины, он даже не шелохнулся, даже не поднял головы,— таким сильным оказалось его потрясение.

— Алеша!— снова приподнялся в своей ячейке профессор.— Что с вами? Не ранены?

— Нет, нет. Я так... Думаю... Вода в воронке мутная. Поищу другую.

— Осторожнее там. А может быть, ничего и не надо? До ночи как-нибудь потерпим. Возвращайтесь, Алексей. Ну ее, эту воду!.. А то еще...

— Тихо, тихо. Не кричите. Я мигом.

Он все-таки раздобыл воды. И даже очень чистой. С родничком воронка оказалась, что ли? Отдал полнехонькую фляжку соседу, докарабкался по-лягушачьи до своей ячейки и плюхнулся ногами в мутную жижу.

— Ну, вот и все... Дело сделано. Живем.

— Спасибо, Леша!

— На здоровье, Николай Германович.

— А я, знаете ли, Алексей, все о нашем разговоре размышляю. О войне. Какая сила решала судьбу сражений прошлых войн? Хитрый ход одного полководца и хорошо организованные действия воинской массы. И все. А сейчас? Сейчас, с одной стороны, необходимо определенное количество совершенной военной техники, а с дру-

гой — требуется уже не один гений — плеяда, да, да, батенька, целая плеяда талантливых полководцев, а в солдатской армаде — масса героев,— с достоинством, с большим эмоциональным нажимом сказал профессор. И неизвестно, сколько бы времени он еще рассуждал о героях современной войны, если бы снова, в который уж раз, не разорвала воздух серия мощных взрывов.

— Сколько же можно?!— с искренним и потому не менее наивным возмущением проговорил после долгой паузы профессор, поднимаясь над ячейкой.— Пора бы и передохнуть.

— Они бьют периодически, по расписанию. Так, для острастки. И для самоуспокоения.

— Для самоуспокоения?

— Ну да.

— Что ж, пусть бухают!— вновь оживился Николай Германович, как бы стряхивая с себя временную душевную слабость.— Мы им дадим для самоуспокоения!— выкрикнул он уже с каким-то мальчишеским задором и заговорил с горячим пафосом, несколько напыщенно, перемежая живые фразы привычными для себя обкатанными штампами.— Мы их, голубчиков, так успокоим, что они навек потеряют аппетит к нашей земле. Сломал в России себе шею не один самонадеянный воитель. Свернет наш народ хребет и еще одному маньяку. Властолюбцы-авантюристы не обладают комплексом диалектического мышления. Конечно, не глупы все они там... В том-то и страшны они, что слишком умны в своих жестоких замыслах. Но весь генштаб их, вместе с Гитлером,— воплощение самого вероломства. Вероломства и жестокости. Нацизм насквозь пропитан философией жестокости Ницше, Шпенглера... «Хищная нордическая раса», «человек-зверь»— вот их проповеди. А жестокость всегда живет рядом с вероломством и авантюризмом. Все планы фашистов, заметьте, авантюрны. Они трагичны по своей сути. В начале любой авантюры — начало ее поражения...

— Что-то тут я вас не пойму, Николай Германович... До Москвы ведь доперли они. До Волги.

— Было такое, было... Я не отрицаю.

— А по-вашему получается, что Гитлер вроде бы сам собой захлебнется своим же вероломством.

— Что вы, что вы, батенька! Я такого не говорю. Да, авантюризм, причем всех мастей,— коварен, нагл и беспощаден. В этом его сила. В этом он и опасен. И страш-

но опасен. Заметьте: страшно опасен. Потому и докатились они до Волги. Потому и залили полмира кровью. Но авантюризм, Лексей Батькович, почти всегда односторонен, прямолинеен. И в этом его главная роковая слабость. Не учла прямолинейная философия фашистов силу нашего народа. Советского народа. Вот какая тут тайна зарыта. У меня вот тут вот,— профессор похлопал себя по голове,— все продумано о войне. С высших политических и философских позиций, разумеется. А хлебну еще пороху здесь, на фронте — пойму войну еще и снизу. Правду солдатскую познаю. И такое тогда напишу я о войне, что это будет, уверяю вас, нечто оригинальное... Я ведь на фронт-то добровольно... Родом отсюда, из Витебска. Не мог усидеть в Москве... Вы все примечайте, Алексей, анализируйте. Берите факты из газет, то, что видите,— и думайте, сопоставляйте. Истины рождаются на крутых изломах истории. Все об этом знают, но великих истин мы все-таки добываем мало,— профессор помолчал, подумал, почмокал, почмокал сухими губами, потом открутил крышку у баклажки и, запрокинув голову, сделал два крупных глотка.— Если погибну, Алексей,— то вы не забудьте о наших окопных беседах... Я выживу — уверяю вас: не забуду.

— Да зачем вы так?— с некоторым суеверным испугом проговорил Желнов.— Не надо об этом...

— Ничего, ничего... Надо, Алексей, правде в глаза смотреть. Прорыв будет тяжелым... Не все пройдем через укрепленную линию... Такое это дело... Каждый квадрат у них пристрелян. А тут еще эти болота... Я, знаете, страшно боюсь их. Это еще с детства. Почему — не знаю. Почти каждую ночь вижу сон: ступаю в трясину — и тону... Просыпаюсь с потом на лбу. Это мучительно. Просто невыносимо.

— А вы не думайте об этом.

— О чем?

— Ну, о болотах.

— Как не думать? Оно, брат, думается...

— А вы выбросьте это из головы. Будто болот вовсе и нет на свете. И здесь тоже. Видите, какие вокруг луга. Вот об этом думайте. О лугах, о лесе. Легче станет. Совсем другие сны в голову полезут.

— Откуда вы знаете, что в мою голову полезут иные сны?!— удивился, усмехаясь, Николай Германович.— Почему вы так думаете?

— По себе знаю.

— Что, вас тоже когда-нибудь донимали навязчивые сны?

— Ага. Но не только сны. Страх, тоска... Я же вам говорил: в начале войны мне пришлось в охотники податься... Почти всю зиму один и пропадал в тайге, в горах. У черта на куличках. Днем — ничего. Ночами жутко было. Прямо хоть кричи. Прямо хоть бросай все!..

— Сколько же вам лет-то было в ту пору?

— Так сколько?.. Пятнадцать.

— Да-а... И что же вы? Как боролись со страхом? С плохими снами?

— В первую зиму взял я с собой в избушку, в лес, две книжки, какие попались,— какой-то научный журнал без обложки и учебник «Основы психологии», толстый такой... По журналу на два раза прошелся — скучно стало. А вот психология задела. Читал и думал, читал и думал... Уж больно кстати все приходилось Ну, и многое, конечно, понял... Главное, вот что решил сделать: научиться отвлекаться от плохих дум, от тяжкого настроения. Это что-то вроде само... самогипноза.

— Ну, и как?— с большой и даже с какой-то веселой заинтересованностью, с изумлением спросил Николай Германович.

— Всякие варианты испробовал...

— С трудом давалось?

— Ага. Со скрипом, с пробуксовкой. Больше всего сказки помогли.

— Сказки?!

— Ну да. Я их сам себе рассказывал. Рассказываю, рассказываю — и засну. Когда все сказки, какие знал, перебрал раза по три, придумывать стал... Так, всякую чепуху. И ничего. Засыпал. А вот сны мучили, как вас. Ведь когда я в лес-то подался, немцы к Москве подходили... Ушел. И все. Никаких вестей. Каково там?!— думал. Вот сны-то и вязались один страшнее другого. И Москву-то фашисты взяли, и в родную деревню нагрянули... Все в плен меня брали и истязали... Заору, проснусь... И весь в слезах. Вот как было...

— А потом? Как потом?

— Потом я начал придумывать что-нибудь о войне... ну, всякие там истории о войне. Хорошие такие истории. О победах над фашистами.

— Гм. Любопытно, любопытно. И подействовало? Помогло?

— Да как... Помогло. Мало-помалу — и сны другие

пошли. Почти каждую ночь одну и ту же картину видел. Бегу это будто я по большому-большому полю. Как по карте. Города вижу, деревни... Кругом снаряды рвутся. А я все бегу вперед с винтовкой и бегу вместе с другими нашими солдатиками. Бежим, кричим ура, фашистов бьем. Одну деревню освобождаем, другую... И вот все в таком духе... В победном. В радостном.

— Это очень даже интересно, Лексей Батькович!

— И худые сны — как рукой.

— Как рукой?

— Ага. Сняло как рукой. Вот так и вы: думайте.

— Что ж, спасибо за совет.

Приглушенные лучи закатного солнца бросали мягкие оранжевые блики на кружевные округлые купы тальниковых кущ, на сизые гребни дальнего леса, плотной грядой убегающего направо, к северу, на ровный луг нейтральной полосы, искрапленный, как оспой, темными воронками.

Желнов поглядел на солнце, прямо, пристально, как недавно, в полдень. Оно уже не слепило, и розовато-желтый зев его был спокоен, не колыхался и не дрожал, будто кто-то укротил его ярую энергию, сняв с нее предельное зыбучее напряжение. Кроткое солнце, клонясь к синему горизонту, ласково и, казалось, сострадательно, с озабоченностью прощалось с уставшей от войны землей.

Алексей глянул на профессора. Тот, неуклюже навалившись на бруствер, спал с приоткрытым, словно у ребенка, ртом. Одна рука у него подпирала голову, на другой, левой руке, лежала винтовка. Заходящее солнце резко прописало огненным шнуром его тонкий нос, острый подбородок, выдвинутый вперед кадык. Лицо профессора казалось от этого колоритным, точно было расцвечено сочной и яркой акварелью. Но выглядело оно плоским, как на барельефе.

Желнов торопливо достал из вещмешка блокнот с твердыми зелеными корками, карандаш и за несколько минут набросал портрет спящего профессора в обнимку с винтовкой, и в рисунке, к радости художника, сохранилась эта кажущаяся полуплоская объемность Николая Германовича. Барельеф спящему солдату,— подумал Алексей. Память о войне. Скорбная память о жестокой войне... Желнов перелистал блокнот, который напо-

ловину был уже заполнен беглыми карандашными набросками,— в основном солдатскими портретами. Вот поэт Сало накручивает на ногу, чему-то улыбаясь, обмотку. А вот два брата-близнеца. Сидят спина к спине и деловито опустошают свои котелки. А это старшина Ладов «раскурочивает» итальянскую гранату. Пышные усы вразлет. Одна бровь круто вздернута. На губах хитроватая ухмылка.

Разглядывая рисунки, кое-где нанося карандашом дополнительные штрихи, Желнов заметил, что они как бы озарялись изнутри красноватым светом. Он поднял голову и понял, в чем дело. Солнце, зависшее почти над самой чертой горизонта, превратилось в огромный оранжево-алый шар, окруженный клочками перистых облаков, пурпурно-золотистых, жарких, точно раскаленных в кузнечном горне. Казалось, не только небо, но и весь мир горел багряными сполохами.

Алексею почудилось, что чистый розовато-алый, почти остывший солнечный шар опускался не в дымную краплаковую наволочь горизонта, а в океан крови... Желнов на минуту закрыл глаза, а когда вновь открыл их, то увидел, что от солнца осталась лишь одна верхняя багряная краюха. Но вот и она истаяла в темной окалине зари, и сразу же вокруг стало сумеречно и неуютно. Повеяло прохладой.

Вода в ячейке достигла между тем четверти две. Днем она не замечалась. Нет, не то, что не замечалась, а попросту не мешала и даже, наоборот, как-то приглушала жару, а вот вечером, после заката солнца, кисельная жижа в ячейке не замедлила обернуться пренеприятнейшим неудобством. Промокшие до самых коленок ноги скоро озябли. Потом от них пошел озноб и по всему телу.

— Э, так дело не пойдет,— поежился Алексей.— Надо что-то придумать,— и он оглядел свою нехитрую ячейку, постукал кулаками по земляным стенкам.— Крепки. Надо бы что-то здесь устроить. Что-то такое, на чем можно сидеть, дремать, не касаясь воды. А?— спросил Желнов сам себя, подумал и добавил:—А что? Пожалуй, кое-что можно и придумать. Сооружу-ка я тут куриный насест. Нет, не куриный насест. Решетку,— он посмотрел на тальниковые кусты, что маячили слева и сзади его, и обрадовался:— Вот и строительный материал под рукой. Прекрасно.

Прихватив с собой лопату, Желнов пополз к зарослям тальника, разгребая левой рукой густую низкорос-

лую траву. У первых кустов со стороны нейтралки заготавливать «сырой материал» не стал: еще заметят с той стороны и огонь откроют. Горя не оберешься.

Углубившись в гущу ивняка, нарубил лопатой беремя палок и кое-как доволок по-пластунски их до своего обетованного пехотного укрытия. Отдышался.

— Желнов, что собираешься строить?— послышался насмешливый голос откуда-то справа. Там, за профессором, вроде бы расположились братья-близнецы.— Что строить-то удумал, спрашиваю? Дзот?

— Дзот не дзот, а решетку над водой сработаю. Не очень-то приспособлен я в луже спать.

— Давай, давай!— хохотнул солдат.— Завтра примем твою работу.

Темная просинь сумерек сгущалась быстро. Небо без зари казалось теперь каким-то отчужденным, студеным. Прочиркнулись первые звезды. Стояла необычная для передовой тишина. Ни единого взрыва, ни единого выстрела, будто и не властвовала вовсе над людьми мировая война.

Уже в потемках Алексей доделал свое спасительное сооружение из толстых палок, которые он настелил крест-накрест над водой, прочно закрепив их концы в земляных стенках ячейки. Поверх плотной решетки набросал травы. Облегченно вздохнул, поглядел на чернобархатный небосвод, сплошь опрысканный звездами, и, обняв винтовку, неуклюже свернулся калачиком на своем зыбком навесе.

Рано утром батальону доставили в бидонах завтрак. Вчерашний горячий обед, как узнали солдаты, постигла печальная участь: кухню разбило прямым попаданием снаряда. И сегодняшний суп со сдвоенной порцией мясной тушенки выдала уже другая, новая походная кухня.

Плотно подзаправившись, Алексей размотал длинные черные обмотки, мокрые и грязные, сползал к ближайшей воронке с отстоянной водой, сполоснул их, расстелил посушиться на траве сзади ячейки. То же самое проделал и с портянками.

— Ну ты даешь, Желнов!— не то осуждающе, не то с одобрением заметил один из братьев-близнецов.— Расположился, как у тещи в гостях. А что, если не ровен час в атаку?

— Нет, дружок, без артподготовки не бросимся на прорыв.

— А если?..

— Босиком рвану. Легче бежать будет.

— Куда?— хохотнули на пару близнецы.— Обратно?

— Нет, к болотам. Там, говорят, плоты. Кто первый, тот поплывет, кто последний — ко дну пойдет. Буль, буль...

— Алексей, вы как-то нехорошо шутите,— укоризненно проговорил профессор.

— Не бойтесь, Николай Германович. Старшина говорил: впереди у нас больших болот нет. Гиблые трясины где-то слева.

— Ну, это еще ничего.

К полудню обмотки и портянки высохли, и Желнов с удовольствием обулся.

— Ну как?— поинтересовался профессор.

— Отлично. Лучше некуда. И в окопе сухо, и в ботинках то же самое.— Алексей сел на срез ячейки, с восточной ее стороны, и свесил ноги над спасительным настилом.— Не мешало бы и вам, Николай Германович, сообразить что-нибудь такое же. Давайте, помогу.

— Нет, если сделать настил, я в ячейке не помещусь.

— А вы удлините ее. Я тем временем палок нарублю. Потолще. В стенках выемки нарежем. Уложим настил, набросаем травы и будете лежать за милую душу. Как на пышной постели в люксе.

— Н-нда, в люксе,— иронически вздохнул профессор.— Хорош люкс.

— Ну, ладно... Люкс не люкс, а что-то вроде охотничьего топчана смастерим. Идет?

Николай Германович уже открыл рот, чтобы ответить Алексею, но сказать ничего не успел: в вышине занялся характерный, теперь уже до чертиков знакомый новичкам провизг. Какой-то солидный и серьезный провизг со странным пофыркиваньем, будто летело там, вверху, над лугом с окопами, не металлическое чудище со смертоносным нутром, а живое существо. Профессор инстинктивно втянул голову в плечи и, искоса бросив на пронзительно голубое небо беглый взгляд, словно мог что-то на нем заметить, нырнул в свое тесное убежище.

— Вот и смастерили!— с досадой проговорил он.— Началось...

Взрыв оказался потрясающе мощным, точно поблизости рванули большим зарядом скалу. Грязевой фонтан вздыбился в тылу, метров семьсот от окопов первого эшелона. Следующий снаряд ухнул через минуту-другую уже гораздо ближе к позициям батальона. Потом впереди,

метров двести-триста от окопов, отрывисто тявкнули дуплетом две мины. Отдаленно пропели осколки.

Алексей не прятался. Так и остался сидеть на краю ячейки. Болезненно морщась, он пристально вглядывался в черные веера разрывов, силясь запомнить в деталях эти жестокие образы ежедневного фронтового кошмара навсегда. Впрочем, понятие «навсегда» для бойца первой линии слишком относительно. Оно, это самое «навсегда», может оборваться и через день, и через час, и сию минуту...

Фашистские орудия и минометы били разрозненно и редко, но методично, вероятно, противник соблюдал какой-то свой установленный постоянный маневр: мешать в определенное время нашим частям производить любые свои действия нормально, без помех, и в спокойной обстановке. Снаряды и мины рвались и впереди окопавшихся солдат, и на их позициях, и где-то далеко в тылу, за спиной.

В вышине раздался непривычный для уха звук — сперва что-то взвыло, с этаким ненормальным перекосом, какой случается, когда на граммофонной пластинке заедает игла, потом заскрежетало, сердито зафыркало. По направлению звука Желнов безошибочно определил: прямиком в него. Звук не пролетал мимо, не удалялся, а как бы шел из одной зависшей точки, возрастая и усиливаясь. Алексей сжался, притиснув кулаки к груди. Что-то тяжелое тупо ударило в землю, прямо под самый зад Желнова. Мускулы сработали мгновенно, словно от импульса электротока, и Алексей со всего маху шлепнулся в свою ячейку. Треснули сломанные палки, чавкнула под ногами вода.

— Все, все, все, смерть, смерть,— запаленным, сдавленным голосом шептал он.— Счас... Да ну же, сволочь!— ожесточенно выкрикнул Алексей, не вынеся мучительного ожидания страшного конца — и торопя его — Ну!!!

Через все тело, через все существо его словно пробежали холодные иглы и вонзились в сердце. Боль, судорога в предчувствии огня и сумасшедшего, раскалывающего мир звука...

— Прощай, жизнь!.. Прощай, белый свет!.. Да зачем это все, мать ты моя родная?!!

Взрыва не было. Желнов расслабленно затих. Все силы его разом сгорели. Сколько времени он лежал в

мертвенном оцепенении — в сознании его не укладывалось. Минуту? Две? Три? А может, полчаса?

Поднялся тогда, когда силы к нему окончательно вернулись и мозг заработал с лихорадочной быстротой и четко.

— Живой. Взрыва не будет. Что же там такое плюхнулось?— он разгреб руками вдавленную траву, черную зернистую землю и увидел кусок темно-серого металла. Это был минный хвостовик, его, по всей видимости, зашвырнуло высоко вверх, а затем и бросило вниз, под самый зад Желнова.

— Алексей, что там у вас произошло?— в который уже раз спрашивал, не поднимая головы, профессор.— С кем вы говорили? На кого кричали?

— Ни на кого. Вот полюбуйтесь.— Желнов поднял над собой искореженный хвостовик.— Да поднимайтесь, не бойтесь.

— Что это?

— От мины. Осколок. Прямо под меня угодил, леший его!..

— Хорош осколочек! И слона таким можно ухлопать.

— Пожалуй. Перепугался я, Николай Германович,— жуть. Руки вот... Все еще трясутся. Лежал, ждал взрыва, смерти... Вот и кричал что-то...

— Закричишь...

Желнов никак не мог унять противную дрожь в руках и злился сам на себя. Вроде бы и бывал в тайге в переплетах. Да еще в каких! А вот поди же ты — перепугался, как никогда.

Он глядел на свои мелко дрожащие руки и вспомнил совсем другое: подраненную им белку. Стрелял он без промаха, а тут, когда нажимал на спуск дробовика, под ногой слегка осел снег, и заряд задел белку лишь одной дробиной. С ветки ее смахнуло, и она голубым комком вместе со снегом свалилась вниз, под кряжистую, разлапистую пихту и затаилась. Когда Алексей подошел вплотную к торчащему из сверкающего снега черному пушистому хвосту и наклонился, чтобы взять очередной трофей, зверек неожиданно вздыбился, ощерился, сердито уркнул и неуклюже побежал к иссиня-красному комлю старого хвойного дерева. Обычно охотники в таких случаях добивают подранка вторым выстрелом. Алексей даже не вскинул ружья. По неровному следу убегающей белки бордовым бисером выстелилась кровь.

Белка беспомощно прыгала на пихтовый ствол, цара-

пала лапками крокодиловый панцирь коры и беспомощно срывалась вниз. Желнов, изловчившись, схватил зверька в руки и прижал к себе. Пленница скалила тонкие острые зубы, норовя укусить обидчика, гневно шипела, а потом вдруг сникла, и только черные бусины глаз испуганно, недоуменно и вопросительно глядели на человека. Ее бил озноб страха. У несчастной были повреждены лишь передние лапы, и выходить подранка, конечно, не составило бы особого труда. Алексей, успокаивающе погладив по спине судорожно трясущуюся белку, сунул ее в большую холщовую торбу. На нем были мягкие, бескаблучные самодельные сапоги, чирки, он размотал с голенищ одну из ременных подвязок и нетуго завязал сумку, чтобы пушистая красавица, чего доброго, не выскреблась наружу. Охота к промыслу пропала, и он зашагал по неглубокому осеннему снегу в свою избушку, осторожно придерживая одной рукой торбу, знал: бедняжке очень больно, и любое резкое движение только усилит ее муки.

Где-то перед самым новым годом, одев лыжи, он отнес в ближний густой пихтовый лесок выхоженную им пленницу и выпустил ее на волю. Белка, радостно уркнув, прыгнула на ближайший сук. Скрываться в зеленой заснеженной шубе хвои вовсе не собиралась, «плясала» на сучке и звонко щелкала языком в такт своим резким веселым движениям, и глаза ее, похожие на две черных блестящих икринки, лучились при этом неописуемым восторгом.

— Благодарит, что ли?— вслух размышлял Алексей.— Похоже. Иначе давно бы убежала. Ишь ты — так и исходит от пляски. А ну, шагну к ней,— и он почти вплотную приблизился к стволу дерева.— Смотри, хоть бы что. Не удирает. Тварь, вроде бы с одним инстинктом, а понимает. Вон как ластится. Прямо умора.

Желнов наскреб в кармане телогрейки несколько хлебных крошек и, положив их на ладонь, протянул зверьку. Белка, не переставая щелкать, безбоязненно приблизилась к руке и не спеша съела весь гостинец, мотнула головой, что-то поправляя во рту красным язычком, и доверчиво поглядела в самые глаза охотника. Так смотрят только в глаза друга.

— Больше ничего нет,— сказал Алексей, улыбаясь, и, круто развернув свои лыжи, заскользил по мягкому снегу к зимовью.

Белок он после того, как принес в избушку подранка,

стрелять не стал: не мог. Благо, план его уже шел к завершению. Каждый день он проверял лишь деревянные кулемы, поставленные им на колонков, хорьков и горностаев, и кое-как довел охотничий сезон до конца...

«Зверушек жалко стало убивать,— зло усмехнулся Алексей, сидя на травянистом закрайке ячейки и упираясь ногами в разломанную решетку.— А вот теперь меня самого... убивают,— он посмотрел на руки, в которых держал злополучный хвостовик.— Ничего, дрожь унялась... Что будет, интересно, со мной, если доживу до конца войны? Дрожать, конечно, уж не стану так. Привыкну. Ко всему привыкну... И к смерти. Поотираюсь рядом с ней в окопах — и сживусь. А вот с жалостью как? Может, вместе с дрожью и она уйдет? А? Эх, люди, люди!..»

— Алеша, а как ваш надводный навес? Держится?

— Нет, сломался. Я ж сиганул со всего маху...

— Ну вот... Напрасно работали.

— Да нет, не напрасно. Коротких палок много. Мне только две длинных вырубить и аварию я устраню.

— Да зачем, Алеша?! Может быть, завтра все и начнется...

— Тем более, надо постараться,— с упрямой улыбкой возразил Желнов.— Проведем здесь с комфортом последнюю ночь. Пусть запомнятся нам наши первые окопы.

— Я бы рад был, если бы они стали последними.

— Типун вам на язык, Николай Германович!— с искренней суеверной боязнью одернул профессора Желнов.— Наболтаете еще...

— Да я вовсе не то имел в виду...

— А, понял... Лично я готов рыть окопы до самого Берлина, лишь бы до победы дотопать.

— Готов и я то же самое делать. К сожалению, судьбы людские на войне слишком непредсказуемы.

— Это так... Ну, ладно. Я пополз на лесозаготовку.

— Давайте. Все равно ведь делать-то нечего.

Уже в чаще тальника Алексей, перехватив ремнем нарубленные палки, еще раз с горьким вздохом произнес про себя поразившую его сознание фразу: «Эх, люди, люди!..» Посидел, подумал, потом прилег на мягкую траву, терпко пахнущую цветущей кашкой, вытянулся, вольно разбросав ноги и положив голову на вязанку тальничин. Посмотрел сквозь зеленую мережку ветвей на фосфорически сияющее голубое небо. Хорошо-то как! Чудо-то

какое — жизнь!.. А вот если завтра начнется...— Кого-то уже не будет... Кто-то уже не увидит ни этого неба, ни этих зеленых узоров из листьев. Ни травы. Ни цветов. Ни родного дома... Ничего.

С острой болью, со спазмами в горле он почувствовал в себе нарастающую неприязнь к войне. К этой Большой Смерти с Большой Косой в костлявых руках... К ее страшной несправедливости. К ее железной прожорливости.

И в то же время в его сознании, в его душе оставалось другое, прежнее, то, что было до увиденных им синих пальцев человеческой руки, торчащей из залитой водой воронки, до первых взрывов снарядов... Это было высокое гражданское чувство. Боль за поруганную землю. Ненависть к врагу.

Ему тотчас же припомнился непогожий весенний день...

Молодые солдаты, прибывшие на запад из Сибири, выгрузились тогда из товарных вагонов военного эшелона где-то километров за сто до линии фронта и маршем двинулись к передовой.

Молча и угрюмо шли по израненной снарядами дороге. Дул, не утихая, ветер. Моросил студеный дождь, который затем перешел в мокрый снег. Тяжелые хлопья били в лицо, залепляли глаза.

И уже через полчаса солдаты промокли насквозь. Тело ныло от холодной влаги, отвердевшие шинели будто налились свинцом; бойцы понурили головы, ссутулились.

— Запевай!— неожиданно хлестко и даже как бы зло крикнул командир роты автоматчиков.

Ну, дает старший лейтенант! До пения ли было тут, когда окоченевшие ребятки еле двигались, едва взмахивая руками.

— За-пе-ва-ай!— повелительно и еще более настойчиво повторил командир.

Солдаты недовольно косились на офицера, тихонько поругивались.

И вдруг, к их великому неудовольствию, ротный запевала Росников, упрямо тряхнув головой, уверенно запел. Автоматчики слабо и недружно подхватили. Пели с хрипотцой и фальшиво, но вскоре разогрелись, приободрились, голоса зазвучали слаженнее и чище. Видно, в каждом из шагавших в строю возбудилось и вскипело чувство гордого непокорства, желание ярой борьбы с ненавистной небесной хлябью.

Рота вошла в полуразрушенную деревню. Там и здесь на остатних буграх сгоревших изб, печально и жутко торчали черные стволы печей, обугленные доски, столбы...

Росников продолжал властно, с дерзким вызовом запевать, и автоматчики подхватывали уже разом во весь голос:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна...

Песня гремела сурово и сильно. Она словно вырывалась из одной гигантской груди и, разрывая ветер, крепчая с каждым мгновением, густой и мощной лавиной улетала куда-то далеко за деревню, ведомая чьим-то неистово звенящим подголоском, который, как трепетный жаворонок, набрав высоту, вдруг истаивал в кромешном небе вместе с низовым потоком басов.

Из уцелевших домов выходили женщины, старики, ребятишки и с изумлением глядели на солдат. Бледные, изможденные лица их теплели. Старики взволнованно потряхивали седыми головами, бабы сжимали в руках концы платков и шалей.

А солдаты шли ровным строем, энергично, на полный развод плечей взмахивали руками, с оттяжкой чеканили шаг, точно уходили с парада в бой. Мокрый колючий снег им стал уже нипочем, головы у всех были высоко подняты, глаза горели.

Желнову казалось: пусти бы кто-то бойцов вперед во всю их немыслимую силу — смели бы любую преграду...

Вот эта сила, рожденная, вскипевшая тогда в нем на марше, до сих пор жила во всем его существе. Она не угасала. Только билась, клокотала где-то в глубине души, подспудно, звала к борьбе, к отомщению, к беспощадному уничтожению тех, кто жег села, разрушал города, убивал невинных людей...

Но здесь, на передовой, эта сила все больше и явственнее вступала в противоречие с жестокими реалиями войны, войны как таковой, со всеми ее мерзостями насилия и разрушения, с разорванными в клочья телами, с посиневшими пальцами рук в воронках, с распухшими зловонными трупами в поле, среди цветущих трав... И возникла другая сила, сила неприятия крови, и она смущала новичка, повергала его в смятение.

Отдохнув, вволю насладившись тихим покоем, безмятежным трепетом листвы над головой, Желнов пополз к

ячейке своего пожилого соседа, волоча за собой вязанку тала. Ткнувшись носом в длинные, очень знакомые с детства листья, задержался. Оглядел растение, дотянулся ртом до чистого ядреного листа, сорвал его губами и с хрустом разжевал, ощутив на языке острую, освежительную кислоту. Щавель. Надо потом побольше заготовить и есть, чтобы меньше пить затхлую воду из воронок.

— Вылазьте, Николай Германович,— Алексей расстегнул пряжку широкого армейского ремня и выдернул его из-под тальничин.— Мигом сейчас сплетем насест. Поспите сегодня ночь мирово. Как петух в курятнике.

Профессор приподнялся, уперся руками в края ячейки и не без труда выдернул ботинки из вязкой донной грязи. Мутная жижа звучно хлопнула под ногами, запузырилась.

— Ложитесь здесь,— приказал Алексей.— Будете подавать мне палки.

В работе он поделился с профессором своими раздвоенными чувствами по отношению к войне.

— Может, это плохо для солдата то, что у меня такой перекос в душе?

— А что, Алексей, очень уж противна вам война?

— А вам?

— Противна.

— И мне. Война — это что-то... Это что-то не для человека.

— И прекрасно, что вы так думаете. Берегите это чувство в себе, Алеша, оно святое. Не бойтесь его. Храните его как живой горячий уголек. Дуйте на него. Не давайте ему затухнуть. Тогда и войну пройдете человеком. И жить потом будете человеком.

— А что, можно жить и не человеком?

— Разумеется. Разве достойны фашисты называться людьми в полном смысле этого слова? Не достойны.

— Это так. Хуже волков они... Хуже всякого зверя.

— Не лучшим образом выглядели и полчища Чингисхана. И сам Чингисхан, этот мстительный и жестокий властолюбец. Заметьте, Алексей, вот что. Во все времена на маковку гребней завоевательных войн всегда взлетает злобный и кровожадный изувер. Таков был Чингисхан. Таков и Гитлер. Стихии насилия именно вандал и нужен. Она выбрасывает его наверх как щепку.

— Ну а Гитлер, видать, зверюга из зверюг.

— Вы, Алеша, зверей особо-то не обижайте.— Николай Германович взялся за волокнистый кусок коры и со-

драл с толстой талины зеленую ленту лыка, обнажив скользкую лимонного цвета заболонь.— Звери себе подобных не уничтожают. И живут обычно за счет малых жертв. Люди пользуются всеми благами земли. И пользуются ими часто безоглядно, однобоко, без учета последствий своих действий. Древний стереотип: хватай, что можно. Нужен лес — вали его сплошь. И валили. И оставляли на огромных пространствах горячие Сахары. Приглянулось мясо дикого зверя. Хватались за луки, за ружья. И вид исчезал... А в войнах и того хуже. Человек замахнулся на самое себя. Вот какая здесь страшная суть... Чем смертоноснее военная игрушка в наших руках, тем больше миллионов людей сметает она с земли. Тут срабатывает какая-то неотвратимая закономерность. И если не остановить этот процесс...

— То жизнь сойдется в одном колесе.

— В каком колесе?— недоуменно поднял жидкие брови профессор.

— Ну все, значит, придет к нулю.

— Ах вот вы что имеете в виду. Да, да. Все становится ясно, когда посмотришь на эти вещи в комплексе. По законам диалектики. Односторонний ум, даже гениальный ум, в отрыве от нравственности,— коварная штука.

— Получается какая-то несусветица, несуразица,— Желнов повертел в руках короткую желтую, ободранную от коры заготовку, задумался, прикидывая, куда ее пристроить.

— Что за несуразица, Алексей?

— Так как же... Выходит, человек и самое разумное и самое опасное существо на земле?

— Не совсем так. И так. И не так в общем-то.

— И так и не так,— с усмешкой повторил Желнов.— Надо точнее... Вы, Николай Германович, кору с коротышек не сдирайте.

— Почему?

— С неободранной корой палки гораздо прочнее.

— Ах, да! Извините... Заговорился, а о пустяке не подумал.

— Пустяк пустяку рознь. Бывает, что и малый пустяк оборачивается большим крахом.

— Бывает. Согласен. Так о чем же мы говорили, Алексей? А, вот что я хотел сказать. Конечно, нравственное развитие человека как бы все время притормаживается... Сколько уж страшных джинов выпустил ум че-

ловека из кувшина природных сил!.. А всех ли опасных джинов хочется людям обуздать? Нет, не всех.

— Вот видите, значит, я прав.— Алексей наконец-то пристроил короткий таловый обрубок в ячейке. Встал, потоптался ногами по решетке.

— Да, в какой-то степени вы правы, и все-таки судьба человечества небезнадежна,— профессор подвинул к брустверу ячейки последние талинки.— Я оптимист. Марксизм утверждает: подлинная история человечества начинается с коммунистической эры.

— Только с коммунистической? Значит, пока...

— Никакого пока. В семнадцатом году мы уже сделали один шаг в эту самую эру. Мы теперь далеко не те... Вот почему и ненавистна нам война. Звери они. Не мы. Ты содрогаешься при виде трупов, а вот они — нет. Они спокойны. Они сжигают живых людей и при этом весело поют под губные гармошки... Тебя мутит от крови... Что ж, ты этого не бойся. Это хорошо. Мы — люди. И в этом наша сила. В добре. Именно Добро и одолевает Зло. Прав был бородатый мудрец...

— Ну, вот и все. Строительство закончено. Принимайте, Николай Германович, люкс военного образца.

— Спасибо, Алеша,— Николай Германович опустил на решетку сухие голенастые, смешные в обмотках ноги.

— На здоровье. Ну, как?

— А знаете, недурно,— профессор свернулся калачиком, подтянул длинные ноги к животу.— И даже спать можно. Еще раз покорнейше благодарю.

Как-то вечером, уже в сумерках, снабженцы доставили в батальон несколько десятков нагрудных бронированных щитов — панцирей. Говорили: для эксперимента. Достались они не многим, но оглядывали, ощупывали, примеряли их все.

Бывалые фронтовики тотчас смекнули: ну, раз одарили штурмовой батальон диковинной новинкой — стал быть, неспроста, скоро начнется. Всего вернее — завтра утром все и загремит.

Солдаты — дошлый народ. Угадали. Час разгрома группировки немецких войск в Белоруссии наступил. Войска четырех советских фронтов, растянутые с юга на север более чем на тысячу километров, были полностью готовы к осуществлению грандиозной операции «Багратион».

Восьмисоттысячная группа фашистских армий «Центр» чувствовала себя самоуверенно за мощной, глубоко эшелонированной обороной, за многочисленными сильно заболоченными реками и речушками. Девятьсот танков и самоходок, тысяча триста самолетов, около десяти тысяч орудий и минометов — вот какой «кулак» противостоял частям наших фронтов.

Генеральное наступление в Белоруссии предстояло открыть войскам I Прибалтийского фронта 23 июня 1944 года.

Накануне стояла чудесная ясная погода, а к ночи звездное небо перечеркнули длинные космы темных туч. Правда, к утру плотную тяжелую хмарь разогнало и над лугами, над сырыми застойными лесами посветлело. В далекой мерклой вышине густыми бело-сизыми птичьими клиньями плыли с востока на запад тягучие, спокойные в своем небесном величии облака, пышные перистые хвосты которых, подсвеченные с тыла восходящим солнцем, отливали серебром и мягкой позолотой. В проемах межлесья дыбился, миражно мерцал белесый туман. И матовое, зыбкое небо, и выкрапленные редкой росой травы, и продымь тумана — все блекло сияло в текучем тревожном озарении. И только западный окоем, куда целились светлые, чешуйчатые клинья туч, сурово копил в себе темно-бурый, почти черный, непроглядный мрак.

В траншеях и ячейках-времянках на наших позициях люди готовились к прорыву. Еще раз проверялись автоматы, винтовки, гранаты, пулеметы.

Алексей Желнов, достав из вещмешка блокнот, записал на отдельном чистом листе: «Ну, кажется, началось... Вот она передо мной настоящая война, во всем ее облике». Подумал, о чем бы еще написать, но мысли как-то не вязались, и он, тщательно обернув блокнот промасленной, а может быть, даже просмоленной коричневой бумагой, снова положил его в мешок, в самый низ, под комплект боеприпасов. Вынул оттуда две книжки с обгоревшими обложками — растрепанный философский словарь и непухлый томик малого формата с работой Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Подобрал он их еще весной, во время привала в одной из начисто разрушенных и сгоревших деревень. В ворохе сизого пепла у длинного фундамента, где, видимо, размещалась некогда школа, валялось десятка два-три уцелевших книг. Все они были на белорусском языке и лишь эти две — на русском. Алексей сдул

с них пепел, повертел в руках. Что делать? Повздыхал солдат, повздыхал, да и бросил в вещмешок две эти книги — на всякий случай. Сгодятся, мол, в окопе. Однако у Энгельса солдат нашел много интересного и мало-помалу увлекся книгой. Подчеркивал карандашом поразившие его фразы, по нескольку раз перечитывал их. Пригодился и словарь, в который Алексей заглядывал чуть ли не с каждой новой страницей работы Энгельса.

Давно книги были не единожды проштудированы, но солдат не бросал их: сроднился, видно, с ними в окопах накрепко. Вот и сейчас он бережно обернул их, как и блокнот, той же коричневой промасленной толстой бумагой, чтобы не промокли в воде, и положил в вещмешок. Посидел, думая о предстоящем бое, о болотах, купели в которых, судя по всему, батальону все равно не избежать. Потом представил яростный треск автоматов из вражеских окопов, разрывы мин и гранат и отметил: хорошо тем, у кого нагрудные щиты. Пулемет, конечно, прошьет и панцирь: не велика броня. А вот автоматные «семечки», мелкая осколочная рвань наверняка не проклюнут металлического нагрудника. Не та у них сила.

И Желнов, размышляя об этом, впервые с острой болью ощутил хрупкость, незащищенность человека на войне. Ведь какая-то совсем ничтожная свинцовая или железная малость, какая-то кроха в виде пистолетной пули или плюгавенького минного осколка, попадая в солдата, разом подкашивает его, как смахивает, повергает наземь сочную прядь росной травы острая коса. Конечно, в бою сплошь все уязвимо. Дьявольски убойны современные средства войны. Но танкист прикрыт толстенной, в целую четверть, стенкой брони, а тело бегущего в атаку пехотинца, облаченное в тонкую зеленую униформу, по сути настежь открыто любому смертоносному жалу оружия.

Тяжка участь пехотинца, идущего в бой в первом эшелоне...

День 23 июня, день прорыва фашистской обороны приближался. Все напряженно ждали первых раскатов орудийного грома. Вчера наши артиллеристы наделали переполоху внезапными залпами. Штурмовики поднимали головы из ячеек, удивленно переглядывались: неужели началось?

За серьезный оборот дела приняли наш мощный артналет и немцы. То там, то здесь заговорили и их батареи.

Однако вскоре надрывный, клокочущий гул канонады внезапно оборвался, как и начался. Это была, видать, репетиция, предпринятая советским командованием, но возможно,— и обычная разведка боем.

А утром 23 июня над фронтами стояла жуткая тишина. Так бывает в природе перед большой грозой.

Алексей зачем-то вынул из мешка книги, повертел их в руках. Более тонкую снова вернул на прежнее место, толстую приложил к груди, примерил: вроде бы ничего, подходит. Вместо панциря. Закрывает часть живота и, если немного сдвинуть влево — сердце. Пулю бумага, само собой, не задержит, а осколки наверняка увязнут в ней. В двух-трех местах продырявит словарь — не страшно. Пользоваться можно будет. А вот коли самого свалит — ничто тогда уж не потребуется...

Висла удивительная тишина над землей. Удивительная и тревожная. Но самым странным и непонятным было то, что молчали в это лилово-блеклое утро и птицы. То, что животные безошибочно предугадывают стихийные бедствия в природе, перемену погоды, Алексей прекрасно знал. Но безмолвие крылатых певчих сегодняшним утром, перед самым сражением, изумило и озадачило его более всего. Ведь военные бойни — не естественные катастрофы, а чисто человеческие бедствия, ничем не связанные с жизнью остальных обитателей планеты.

Впрочем, так ли все это на самом деле? Люди — тоже одно из природных звеньев, и быть может, то несуразное, противожизненное, что творят они на земле в страшных масштабах, вселяет птицам и другим животным больше тревоги, чем самому ему, сверхразумному существу — человеку. Возможно, близость к природе гораздо прочнее связывает их чувства с нитью бегущего в невидаль времени, и они, наши меньшие братья, давно уж предугадывают нечто такое, что недоступно пока нам, гордым преобразователям всего подлунного мира.

Может быть, пернатые даже покинули фронтовую зону? Кто его знает...

Где-то что-то тихо звенькнуло. Или проскрипело? Не кузнечик ли подал свой робкий голос? Нет, пожалуй, не он, не кузнечик. Всего скорее все сущее вокруг, все живое и неживое зазвенело от тягостного напряжения...

И вдруг тишина лопнула, раскололась, точно рвалась, разваливалась с треском, с громом и гулом сама наша планета. Это прокатились огненные волны артиллерии по всей линии I Прибалтийского фронта. Рваные,

сердито-энергичные залпы множества батарей, натужный клекот «катюш», разрывы снарядов — все смешалось в сплошной грохот, вой и оглушительный треск. Снова, в который уж раз для солдат, земля, к которой они прижимались, потеряла свою монолитную твердую устойчивость. Она, как некая вязкая масса, ходила ходуном, мягко вибрировала, упруго и судорожно, точно подранок, дергалась.

За ближним леском взнялся смрадный, иссиня-бурый дым, вспучились красноватые от солнечного света клубы пыли и пепла, и вскоре вся западная сторона подернулась текучей лилово-сизой пеленой, которую то там, то здесь разрывали трепетные пожарные сполохи.

Казалось, артподготовка длится бесконечно долго. Солдаты, целиком и полностью захваченные разрушительной огненной картиной, вызванной артиллерией, пребывали в немом оцепенении. Редко кто занимался каким-либо делом. Вот только старшина Ладов, самый, пожалуй, бывалый боец из тех, кто пойдет сейчас в атаку в составе штурмового батальона, внешне выглядел так, как будто вокруг шло самое обычное фронтовое дело, к которому он давно привык, как к перемене погоды.

Ладов уперся правой ногой в переднюю стенку ячейки, достал из кармана расписной бордовый кисет, развернул его на коленке, не спеша оторвал от газетного клочка ровный квадратик бумаги, свернул аккуратную папиросу. Прикурил. Затянулся, упоенно закатив глаза, едким и терпким дымом махры.

Профессор глядел только вперед широко открытыми глазами и никого вокруг не замечал. То и дело облизывал тонкие сохнущие губы. Машинально раскрыл баклажку, которую накануне заправил чистой водой, отпил один глоток. Острый кадык его передернулся на задранной длинной шее, как затвор.

К артиллерийской канонаде добавился новый рокочущий гул, который возник на большой высоте и шел как бы отдельно, не смешиваясь ни с какими другими наземными звуками, и он все нарастал, ширился, набирая грозную силу. Это двигались большими стаями наши пикирующие бомбардировщики ПЕ-2.

Затем над линией фронта, уже очень низко, прошли штурмовики ИЛ-2. Один из них, видимо, напоролся на крупнокалиберный снаряд. Только что шел самолет — и вдруг его нет. Мгновенный взрыв разнес машину вдребезги, и вниз медленно полетели куски и клочья. Обид-

нее всего было то, что разнес штурмовика свой же — нашенский снаряд. Фашистская артиллерия молчала.

И вдруг громы смолкли. Желнову показалось, что он попросту оглох. Потряс головой, мелко повибрировал мизинцем в ухе, в другом. Все равно ничего не слышно. Нет, какие-то голоса улавливаются. О чем и кто кричит? Наконец он точно различил одно-единственное и властное слово команды:

— В атаку!

Оно катилось эстафетой из конца в конец по окопам. Первым из их роты на бруствер выскочил Ладов. Поправил пышные русые усы, снизу, над верхней губой изжелта-рыжие, от табачного дыма. Посмотрел на молодых, все еще сидящих в ячейках солдат, которые недоуменно переглядывались меж собой, будто им не верилось, что все уже началось. Ладов сурово сдвинул брови и повелительно, с гневной ноткой в голосе прокричал нараспев: «В ата-аку-у!.. В ата-аку, соколы мои!» И, видя, как бойцы, сбрасывая с себя оцепенение, живо и точно бы виновато задвигались, подаваясь вперед, чтобы выпрыгнуть наверх, старшина едва приметно улыбнулся: знал он по себе эту первую в жизни для человека атаку.

— Вперед, вперед!— выкрикнул он опять уже сурово, строго и легкой трусцой побежал по зеленому лугу, увлекая за собой штурмовиков.

Цепь двигалась споро и ровно. Первая цепь... Та цепь, которая должна сейчас грудью броситься на оборонительный рубеж противника.

Желнов, обегая частые воронки, а то и перепрыгивая через них, вдруг почувствовал, что ноги его сделались какие-то вялые, непослушные, точно их начинили ватой. Ишь как подсекаются при поворотах и на прыжке. «Да я вроде бы и не боюсь?— удивился Алексей.— А вот действует что-то, черт возьми! От страха все-таки, наверно. И сердце как-то щемит... Да что же это такое?! В лесу с медведем встречался — и ничего, а тут... А если в траншею ворвусь?.. Нет, надо как-то взбодрить себя!»

И он посмотрел налево по цепи, направо. Все бежали с бледными, сосредоточенными лицами и глядели широко распахнутыми глазами только вперед, только туда, где неприятель, откуда будут стукотить пулеметы, трещать автоматы. Никому не было дела до него, Алексея Желнова. Каждый двигался как бы сам по себе. И в то же время под какой-то неотвратимой магической властью общего силового поля нарастающей людской массы.

Можно делать отдельному человеку все, что угодно,— никто не заметит в этом почти механическом, отрешенном от всего мира движении к одной цели — вражескому рубежу. Алексей тихонько рассмеялся. И вновь поглядел влево, вправо. Ничего. Можно и дальше веселиться и даже взлягивать — никто и ухом не поведет. Он хохотнул еще несколько раз. Передернул плечами, словно сбрасывая с себя груз психологического и телесного оцепенения.

Э, смотри-ка, ничего. Помогло ведь! Желнов почувствовал себя раскованней. Бег его вошел в четкий, вполне управляемый ритм. С глаз словно упала пелена, и мир, воспринимаемый до этого общими туманными пятнами, прорисовался во всей реальной ясности, во всем буйстве ярких летних красок. Впереди, между двумя густыми ивовыми рощами, ослепительно всплеснулась серебряной россыпью застойная вода с торчащими из нее острыми зелеными саблями куги, с розовыми и зелеными листьями-ладошками, редко разбросанными на плаву там и сям. Справа, у одинокой молоденькой березки, вспорхнутой светло-зеленым парашютом у самой кромки ивняка, кровянистыми сгустками алели два цветка-близнеца жгучего татарника.

Растущую силу и уверенность все более и более ощущал в себе Алексей Желнов. Ему стало смешно, как он только что, веселя себя, хохотал с сумасшедшим наверняка выражением лица.

Десятка два бойцов ринулись в проем между густых кустов, залитый болотной водой. Брели не спеша, прощупывая ногами вязкое дно, вздымая вверх винтовки и автоматы ППШ. Вода подступала к поясу, а порой подпирала чуть ли не под самое горло.

— Ну, вот и выкупались,— спокойно пошутил Ладов.— А то сегодня с утра душно. Живее, живее, ребятки! Оружие не мочить...

Звучно хлюпая водой, выбрели на сухой луг. Впереди горбился небольшой пологий угор, поросший густой невысокой рожью. За ним, за хлебным взгорком, маячили редкие кусты ольхи и тала, за которыми угадывались вражеские траншеи и которые все еще молчали. Неужели немцы не ждали? А может, драпанули? И такое могло случиться.

— Вперед! Бегом!— раздался сзади чей-то хриплый голос.

Алексей обернулся: это был лейтенант, новый коман-

дир их роты, высокий и грузный, не очень скорый на шаг блондин.

— Вперед! Вперед!

Едва цепь приблизилась к хлебному полю на угоре, как небо прорезали тонкие протяжные стоны летящих мин, и почти сразу же ахнули, один за другим, резкие взрывы, взбившие над зеленым молодым хлебом крупные, ядовито-черные, раскидистые земляные снопы. А тягучие, натужные стоны уже вновь цедились с дымного, с ржавой пригарью неба. И, соприкасаясь с полем, осатанело рвались там и сям. Рвались с каким-то наглым неистовством, зло, точно всюду угрожающе и отрывисто гавкали здоровенные старые псы.

— Гав-гав-гав!.. Гав-гав-гав!— билась в озверелом лае вся нейтральная линия.

Желнов бежал ровным и твердым шагом, ничуть не чувствуя робости. И, видимо, не потому, что уже в какой-то мере привык к адовому огню, а всего скорее оттого, что на испуг попросту не оставалось ни единого мгновения: все стремление, всю волю, все сознание захватил в себя бег по кромешному полю. Картины, явления менялись с немыслимой быстротой. Жадные, воспаленные глаза фиксировали мельчайшие детали. Ничто не осмысливалось, не переживалось. На это тоже не хватало даже малой крохи времени. Факты текучего боя откладывались в памяти — и более ничего. Все бежало, металось, горело, лопалось в урагане мгновений, будто время сдвинулось, сорвалось с тормозов и закрутилось в бешеном хаосе своего конца.

Слева, шагах в шести-семи от Алексея, и чуть впереди тяжело переваливался нагруженный заряженными дисками пулемета ДШК тарбагатайский чабан Аскар. Каким чувством он уловил, что мина летит прямо в него — уму непостижимо. Аскар упал, втянувшись головой в землю. Алексей это хорошо видел. И в ту же долю секунды там, где он лежал, взвился, чиркнув огнем, черный смерч взрыва. Еще мгновение. Еще картина с оседающей в глубокую воронку землей. Лишь Аскар уже исчез, будто его вовсе и не было. Только валялась отброшенная в сторону коробка с дисками...

Еще секунда, другая... И все это уже позади. Будто кануло в вечность.

А зычное жесткое гавканье рвущихся мин, кажется, все более учащалось и сатанело, словно рвущиеся с цепи невидимые псы исходили в своем последнем безумном

исступлении. Точно кто-то подступал к самому их горлу и они готовы были разорвать на куски весь мир...

Братья-близнецы Иван и Степан так же находились в поле зрения Желнова. Хватило какого-то мига, чтобы узнать их по одинаковым остроносым лицам. Они бежали впритык друг к другу — локоть в локоть.

Мина грохнула прямо перед братьями. Иван (у него была более светлая гимнастерка) оказался ближе к взрыву. Алексею показалось, что его как-то даже крутнуло, и он упал не так, как обычно падают в беге насмерть сраженные люди. Его бросило на землю с разворотом и на спину, лицом в небо. Степан, выронив винтовку, в ужасе замер. Он был еще жив несколько мгновений. По правой его руке, прислоненной к виску, ручьем стекала алая дымящаяся кровь.

Миг, другой... И Степан, глядящий вниз, на убитого брата, вдруг, разбросив руки, пластом рухнул прямо на своего Ванюшу, как бы обняв его в прощальном порыве...

Взрывы, не утихая, захлебывались в своем гневе, брызгая осколками. К визгу, надсадному стону, грохоту, прибавился сухой треск и басовитый стукоток. Это встрепенулись вражеские автоматы и пулеметы.

Алексей вместе с несколькими бойцами уже почти добрался до макушки пологого хлебного угора, как вдруг солдат, бегущий справа, пал, запутавшись ногами и руками в тонкой проволке, специально набросанной фашистами на чистый взгорок как препятствие. Желнов, глянув под ноги, удивился, как это он-то мог пролететь через такой плотный проволочный настил из этой чертовой Спирали Бруно и даже не споткнулся о него.

Слева, внизу, у основания горушки, где кончалась нива и тянулась полоска высокого тала, настойчиво махал рукой Ладов, зовя к себе бойцов с ржаного поля.

— Давай вниз!— крикнул Желнов бойцу, который уже выпутался из тенет проволки.— Беги за мной!

Бежать было нелегко. Алексей высоко взбрасывал ноги, прямо, с вытянутыми носками вонзал их в землю и так же вертикально вновь выдергивал вверх. Только так можно было беспрепятственно преодолеть густой настил из тонкой запутанной проволки.

— Эх, черт подери, хорошо, что пом-ком-взвода так гонял в учебном полку по э-той про-во-ло-ке сво-лочной!— вслух кричал Желнов. Кричал раздельно, по слогам, в такт своего бега:— На-у-чил ду-ра-ка, так пе-ре-так! Спа-си-бо е-му!..

Страха теперь уже абсолютно никакого не было. Управляло Алексеем, толкало его вперед одно возбужденное ошалелое состояние.

— Гав-гав, тяв-тяв!— рвались вокруг мины разного калибра.

Возле пышноусого Ладова, держащего в одной руке автомат ППШ, собралось десятка полтора солдат. Три бойца и командир взвода поджидали их несколько впереди, у невысокого яра с огромным корнем-выворотнем и двумя толстыми, высокими, иссеченными осколками тополями.

— Вперед!— скомандовал Ладов.— За мной! Бегом, бегом, ребятки!

И только штурмовики успели метнуться за старшиной, как у корня-выворотня оглушительно грохнул крупнокалиберный снаряд, взметнувший ввысь громадный фонтан черной грязи и гари. Желнов замер и закрыл от щемящей боли глаза: там, у самого корня-выворотня стояли они, три бойца и командир взвода.

Когда он разомкнул глаза, выброшенные вверх комья и грязь уже осели. Вниз падали лишь щепки и клочья одежды. С сучьев двух тополей свисало что-то такое, похожее на длинные розовые и лилово-голубые плети лиан. Узловатые плети курились парком, сея на землю алое прозрачное крошево.

— Не стоять, вперед!— яростно и, как показалось Желнову, зло заорал Ладов.— За мной!— и он, размахивая автоматом, бросился на яр, мимо того места, где несколько секунд назад коряжился выворотень, за которым укрывались три солдата и лейтенант.

Траншеи оказались совсем рядом, и бойцы, ведомые Ладовым, пошли на них, стиснув зубы, без крика «ура», молча. Протяжные крики «ура» доносились откуда-то справа. Видно, там дружно атаковала вражеский оборонительный рубеж цельная, неразрозненная рота штурмовиков.

Заполошно, словно от испуга, затрещали автоматы. Лишь пулеметы с прежней методической настойчивостью продолжали отбивать ровные строки: «Ды-ды-ды-ды-ды»...

Не сбавляя шага, Ладов швырнул вперед красную итальянскую гранату, последнюю из своего личного трофейного боевого запаса. Бросил не туда, куда бежал сам и Желнов, а много правее, в то место траншеи, где мелькнуло несколько немецких касок и куда спешили

(он это заметил наметанным глазом) с десяток наших молодых бойцов.

Почти одновременно с оглушительным взрывом безосколочной гранаты прямо перед Ладовым вынырнул из-за бруствера уже немолодой со светлыми, остекленелыми глазами фашист и прицельно выпустил в старшину автоматную очередь, который глянул в этот миг на бегущих справа штурмовиков-салаг.

Когда фашист, опять же прицельно, бил, удивленно выпучив глаза, второй очередью в грудь старшины, успел секануть по нему из ППШ и Ладов. Второго фашиста, вскинувшего на него автомат, он не видел, так как ударил для верности, еще одной короткой очередью по немцу, который медленно оседал в глубоком окопе.

Упругая сила ног вырабатывалась у Алексея с детства, в прыжках по камням горных речек. Молниеносный выпад его вперед и спас Ладова. В ярости и смятении Желнов видел немца как бы в тумане, но тем не менее граненый штык винтовки, рывком выброшенный им вперед, угодил в самую грудь автоматчика и легко, с хрустом пронзил ее насквозь, придавив, пришпилив фашиста к земле противоположного ската траншеи. Не без труда выдернул Алексей окровавленный штык обратно, и руки его как-то сразу обмякли. Туман заволок глаза...

Кто-то обнимал его, прижимая к себе одной рукой, обдавая лицо жаркой махорочной гарью. Ах, да это же старшина! Это ж у него такие пышные колючие усы!..

— Ну, браток, и выручил ты меня!.. Ну, спасибо тебе, земеля!.. Скосил бы он меня... Скосил бы, как пить дать скосил!.. В бок ведь саданул бы. На груди-то у меня панцирь, а вот бок открыт... А ну-ка, а ну-ка поглядим, что тут у нас?

Ладов внимательно оглядел гимнастерку с белевшей на ней медалью «За отвагу», которую одел перед боем.

— Так и есть!— с изумлением и восторгом воскликнул он.— Одна дырка, другая, третья... Не пробили пули щиток! А я-то и дивлюсь, что это немец строчит в меня и глаза пучит, как сумасшедший? А он, видать, и впрямь спятил. Бьет в упор, а мне хоть бы хны. Ну, брат, дела... От двух, стал быть, смертей я увернулся. Значит, повезет и дальше. Дотопаю до самого Берлина. Тьфу, тьфу, тьфу, однако!..

— Вот так-то, не надо загадывать,— пролепетал, приходя в себя, Желнов и тоже сплюнул:— Тьфу, тьфу, тьфу!..

И оба рассмеялись, разрывая этой веселинкой путы тревоги, страха, лютой злобы, потрясений — всех тех нечеловечески темных, ярых и тягостных чувств, какие подспудно испытывает в бою всякий, даже самый хорохористый и отчаюжный храбрец.

Треск немецких автоматов, басовитый рык пулеметов, хриплый лай минных разрывов — все это неожиданно стихло. Кое-где лишь тараторили ППШ да раздавались хлесткие выстрелы наших винтовок. Стало ясно: немцы не выдержали натиска советской пехоты. Драпанули.

— Смотри-ка, браток,— Ладов ткнул автоматом вперед, в сторону глубокой выемки в стене высокого соснового леса, куда тянулась, то пропадая, то вновь появляясь, серая лента проселка.— Немец чешет на лошади. По длинному чубу видно: офицер. Срежь-ка его, охотник.

Желнов торопливо вытер штык о траву и, убрав его, передернул планку прицела, щелкнул затвором. Целился с колена. Длинные космы волос фашиста трепались на ветру, как пряди кудели.

Желнов не успел нажать на спуск. Всадник разом пропал за полоской ракитника. Как провалился.

— А, дьявол!— поднимаясь, досадливо взмахнул рукой Алексей.

— А ты не жалей, браток. Не надо... Он же улепетывает. Пусть живет!.. Не такой уж и жадный наш народ на смертоубийства. Пусть живет!— старшина произносил хорошие, просветленные добрыми чувствами и здравыми мыслями слова, а голос был металлически жесток.— Пусть живет!— процедил он сквозь зубы еще раз и вздохнул, и столько было в этом глубоком вздохе искренней человеческой боли и горечи!— Ну, а коли еще в бою встренется — найдет свою черную участь, гадина!

— Найдет, найдет!— прошептал Желнов, задыхаясь от всего пережитого и от того, что только что случилось здесь, у траншеи. Ему было нехорошо.

Сзади подвигалась цепь пехоты второго эшелона.

— Вперед, за мной!— скомандовал Ладов тем штурмовикам, которые задержались вместе с ним у траншеи.

И они пошли не спеша по направлению к проему соснового бора. Справа свежо, по-изумрудному ядовито зеленело узкое поле, убегающее вдоль дороги к хвойной чаще. Слева, прижимаясь к высокому смешанному лесу, тянулись мочажины, поросшие низкорослым кустарником и редкими кущами краснотала.

Ладов свернул бойцов на мочажину; и они то брели

по пояс в воде, то броском преодолевали небольшие чистые прогалы, обрамленные развесистыми куртинами тальника.

По самому закрайку болотистой низины, где не было воды, но не виделось и единого малого кустика, догонял трусцой свою роту длинноногий, сухопарый профессор: каланча каланчой на фоне узкой полоски поля. Желнов заметил его не сразу. Оступился в глубокую топкую яму, выкупался по горло. Когда свернул в сторону, чтобы миновать этот провал, тогда и увидел Николая Германовича. Тот, кажется, тоже узнал его, улыбнулся и помахал рукой.

— Сюда давайте!— громко закричал Желнов, встревоженный тем, что профессор бежал во весь свой внушительный рост, не таясь, у всего мира на виду.— К нам, в кусты.

Настойчиво замахал рукой Николаю Германовичу и Ладов. Но тот бежал, ничего не понимая, и беспечно улыбался. И вдруг на полшаге вздрогнул, вскинул руки и, как подсеченный, рухнул на мелкую траву, похожую на густые хлебные всходы.

— От дурень!— с досадой крутнул наклоненной головой Ладов.— Сняли... Снайпер снял!

— Можно сбегать к нему?— с мольбой спросил Желнов.— Может, ранен. Санитаров не видно...

— Беги,— поморщился старшина.— Только на чистине ползком, а то и тебя сымут.

— Ладно. Сам знаю...

Нет, пуля сразила Николая Германовича наповал. Угодила она ему в самое переносье и вышла навылет в затылке, обрызгав волосы кровью... К горлу Желнова подступил саднящий ком.

— Не уберег!— выдавил он из себя.— И как это я упустил его из виду?!.

Глянув на Ладова, горестно развел руками: все, мол, кончился профессор.

— Забери документы и бегом ко мне.

На коротком роздыхе поредевшая третья рота отдельного штурмового батальона приводила себя в порядок.

Желнов в этот первый день наступления не досчитался еще одного знакомого и, быть может, самого дорогого ему человека — поэта Сало. Видно, тоже загинул, как и профессор.... Как Аскар. Как братья-близнецы...

Вечная память им, героям этой страшной войны!..

Наконец-то доставили горячее варево! Ели сосредоточенно, молча.

— Солдат Желнов!— нарушил гнетущую молчанку Ладов.

— Я, товарищ старшина.

— А у тебя, браток, так же, как и у меня, гимнастерка-то продырявлена.

— Не вижу.

— А вон, на груди. Прожгло, должно быть, осколком.

— И правда. Вот те раз!

— Ну, у меня щиток, панцирь этот. Сберег. А что у тебя?— Ладов разгладил свои пышные буденовские усы и, хитровато сощурив глаза, широко улыбнулся.— Может, заговорен? Может, бабкиной молитвой околдован?

Солдаты прыснули в котелки. Повеселели. Отходчива и забывчива душа у российского человека. Даже после самых тяжких потрясений он быстро приходит в себя и чуть что, при малейшем поводе, тотчас же впадает в шутовство и балагурство. А может, вовсе это и не забывчивость? Возможно, это самый простой и верный способ сохранения в себе сил для дальнейших испытаний, сбережения в душе человечности.

Может быть, оттого и не подергивались окалиной жестокости наши солдатские сердца?

Алексей расстегнул гимнастерку, таинственно посмотрел на ребят и, произнеся «ахалай-махалай», вынул из-за пазухи большой и плоский коричневый сверток.

— Что это, браток?— заинтересованно, уже без всякой усмешки спросил Ладов.

Солдаты открыли рты, оторвались от своих котелков.

— Это?— Желнов нарочито медлил с ответом.

— Ну, это. А что же еще!

Алексей не спеша разворачивал слипшуюся коричневую бумагу.

Ложки по-прежнему оставались в солдатских руках. Все ждали чуда.

Чуда не произошло.

— А это, ребята, вот что,— спокойно сказал Алексей и поднял над головой книгу.

— Что это?

— Книга.

— Кни-и-ига-а?!— в голос разочарованно протянули солдаты.

— Ну да. Книга. Чтобы не промокла в воде, я ее и обернул промасленной бумагой. И сунул вот за пазуху.

Как-то же надо было защищаться от осколков. Панцирь-то у старшины — во всю грудь. А я хоть книжечкой прикрылся!

Солдаты грохнули в хохоте так, что склоненные над ними осиновые листья трепетно, как от ветра, задрожали. Оно не так уж и смешно все это было. Просто сердца бойцов, прошедших через ад, жаждали разрядки. Жаждали веселья.

— А вот и осколок в книжке!— Алексей повертел словарь туда-сюда.— Прошил листы напрочь.

— Смотри-ка ты!— поднял брови Ладов.— Радуйся, браток. В рубашке родился.

— Нет, не в рубашке,— с напускной серьезностью возразил Желнов.

— А в чем же?!— подыграл ему командир.

— Не в чем, товарищ старшина,— поправил его Алексей и поучительно поднял у виска указательный палец.— Не в чем, а просто... с головой!

Солдаты окатывали смехом любую более или менее удачную реплику начинающегося самодеятельного импровизированного спектакля.

— Книжка — это что!— с пренебрежительным равнодушием махнул рукой Желнов.— В карманах брюк у меня другие вот защитные штукенции,— он торжественно извлек из бокового кармана два индивидуальных санитарных пакета.— Здесь только два. Но секли-то по мне прямой наводкой спереди и справа. А правый-то карман я как раз и набил до отказа. Вот глядите.

— Ничего себе!— воскликнул кто-то из солдат.— Цельный сусек.

— А я-то думаю,— подхватил другой,— что это там у него такое торчит?! Прямо диву давался.

— Чего ж тут дивиться. Вот, полюбуйтесь!— Алексей с превеликим трудом вытащил из вместительного кармана четыре желтоватых от болотной воды пакета и встал, чтобы нагляднее показать все то, что случилось с ним в бою.— Один пакет, видите, цел. Во втором, вот посмотрите, сидят три осколка. Третий тоже цел, а вот в четвертом — прямо жуть. Гляньте, какая охальщина застряла в бинте. Не осколок, а пэтээровская пуля! А куда она, интересно, летела, эта охальщина?— Желнов приложил пакет к правому бедру, примерил его и так и эдак, провел рукой в воздухе, изображая примерное направление полета злополучного осколка, и округлил в искреннем испуге глаза.

— И если бы не этот бинт?— Ладов, обращаясь к бойцам, хотел что-то еще сказать, но глуховатый голос его утонул в громовом ударе хохота.

Желнов не знал, куда себя девать, и лишь растерянно моргал глазами. Улучив паузу, с укором и горькой обидой спросил:

— Братцы, да смеяться ли над этим надо?!

Лучше бы он этого не говорил. Новым девятым валом взлетел солдатский гогот. И Алексей, сокрушенно вздохнув, отдал себя стихии веселого разгулья.

— Э, погодите-ка, братцы!— предупредительно поднял руку Ладов.— Тут, пожалуй, не до смеха,— и он, озабоченно глянув на солдат, строго сказал:— Красноармеец Желнов, да у вас же брюки в крови!

— Как — в крови?!— Алексей наклонился, оглядывая себя.

— Да так... На том самом месте.

Солдаты уже не могли смеяться, а только стонали, катаясь по траве.

— Сымай брючишки и давай сюда свои бинты. Перевязывать будем.

— Ну, паря, остался ты, выходит, безоружным на всю свою жисть!

— Да не ржите вы! У человека горе, а они...

Рана оказалась ничтожно пустяковой. Даже не рана, а так себе — осколок лишь кожу сорвал в паху. Но потешило все это солдат на славу.

А по проселку громыхали, поднимая клубы рыжевато-бурой пыли, ходкие, мощные и грозные в своей посадистой устремленности вперед Т-34. Танки раскатисто, солидно рыкали на поворотах и подъемах. И в этом басисто-зычном рыке слышались уверенность и то богатырское, знающее себе цену спокойствие, которое никого не запугивает, а только предостерегающе предупреждает.

Танки шли в образовавшийся прорыв. Шли на Витебском направлении и дальше на запад, в обхват борисовско-минской группы немецких войск.

Отдохнули, побалагурили, посмеялись солдаты и снова, сдвинув брови, зашагали вперед — навстречу смерти и Победе. Да, навстречу горю, крови и... смерти.

Война — не праздник, не торжество Разума и Добра.

Это Горе и Зло. И противно было духу нашего солдата это мерзкое военное дело. Может, оттого еще и шутействовал он на привалах и коротких роздыхах между боев, чтобы приглушить в себе боль увиденного и совершенного на войне...

А страх? Был ли страх? Да, был... Что уж там!.. Сперва он потрясал как ужас. Как ужас первого боя. И как боязнь за себя. А потом? Потом был только страх. Он всегда шагал с солдатами рядом. И он был какой-то странный этот страх. Это была скорее неизбывная боль. Боль за всех. И за себя. И вообще за Человека.

IV

Поезд продолжал деловито катить к недалекому теперь уж Барнаулу. В однообразном успокоительном ритме постукивали стальные колеса, покачивая шаткие скрипучие вагоны. Все меньше плескалось за окном червонного золота березовых колков, все чаще мелькали оранжево-бурые стволы сосен.

Желнов очнулся от забытья. А может быть, даже немного вздремнул. Но ему показалось, что он ни минуты не спал: прерванный калекой разговор пассажиров продолжался с прежним настроем. И что самое любопытное, так это то, что говорили по-прежнему Шапов и Рулев и как раз о том, на чем оборвался их незлобивый спор о самом насущном человеческом вопросе — о войне и мире.

— Согласен!— упрямо гнул черные цыганские брови Шапов.— Душа наша другой жизни просит. А крови еще немало прольется...

— Типун тебе на язык, сынок!— с тяжким вздохом пробурчал, видимо, тоже только что проснувшийся Рулев.— И этой кровушки по горлышко.

— По горлышко, отец. Несколько десятков миллионов душ пороховой дым на небеси унес. По сравненью с этой первая мировая — так себе. Пристрелка.

— Да уж скажешь!— несогласно протянул Дементий Афанасьевич.— И та накостомелила, елочки зеленые! Одно душегубство. Кабы не революция — не знаю, что и было бы.

— Вот видите, деда: революция и помогла одолеть резню народов. А чем помогла? Штыком. Опять же сила силу одолела. Добро — хорошо. Но одно оно горы не свернет. Потому я и говорю: будут еще битвы. И кровь будет...

— Ну, заладил! Война, золотой мой, всем теперь осточертела. Фашизму голову свернули. И все. Навоевался народишко. Хватит.

— Вашими бы устами, да мед пить! Не все в мире так просто. После Победы я в Германии работал. На заводах... Прямиком оттуда. На побывку. Многое усек я в Германии, деда. Многое,— Василий многозначительно потряс рукой.— Вот так. Таким манером.

Желнов было начал читать «Войну и мир», но отложил книгу. Приготовился слушать, что скажет сухопутный морячок, Тихонько соскользнул с полки. Раскрыл чемодан.

— Это масляные краски,— сказал он Андрею, заметив, с каким жадным любопытством разглядывал тот диковинные штучки. На, смотри,— Алексей вывалил ему в подол пригоршню тюбиков.

— Сроду таких красок не видывал!

— Так вот, многое, говорю, я узнал в Германии... Многое. Работали вместе с немцами. Один длинный белобрысый фитиль, Фридрихом звали его, мало-мало по-русски кумекал. Все глядел на нас и усмехался. Потом как-то на перекуре и сказанул мне: «Зачем вам эта тирьмо. Старье эта». Несколько раз так заговаривал он со мной. И все американцев нахваливал. Вот кто, мол, рот не раскрывает. Рвут, мол, самое главное. И все он, этот Фридрих о каком-то подземном заводе талдычил мне. Название такое... витиеватое? Забыл. Не то «Дора-Вер», не то «Дора-Миттель»... Нет, забыл. Так вот, американцы, говорит, все самое ценное хап, хап и увезли с собой. Он вот так подставлял мне ладошку и дул на нее: «Фью, ничефа нет. Эта самий польшой секрет Гитлера». Как теперь я соображаю, намекал он на ракетный завод. Уж куда еще секретней!

— Да и атомную бомбу американцы, должно, у них же, у немцев, тяпнули,— сказал Рулев, широко зевая спросонья.— Как пить дать — у них.

— Вот так. Таким манером. Мы думали о вечном мире, о дружбе, а союзнички хватали самые горячие головешки из затухшего костра войны. Про запас. На будущее. А против кого этот запас? А? Против кого, Дементий Афанасич?

— Так яснее ясного...

— Вот так. Таким манером. Так что ушками хлопать нам никак нельзя. Одному Гитлеру капут. Но может и

другой Чингисхан объявиться. Нашу бригаду возглавлял капитан Ерошин. Между прочим, московский профессор. Так и он говорит: не все головы фашистской гидре отрубили. Оживет. Вот что я имею в виду, уважаемая пехота, когда предрекаю будущие битвы. Битва за мир. Битва против новых Чингисханов. А тут без кровавой драки не обойтись.

— Как это понять тебя, Вася? Воевать против войны? Так это опять война и будет,— нахмурился Оразалинов.

— Драться,— не значит: воевать. Зубы в кровь ломать надо, чтобы не было новой мясорубки! Вот о чем я толкую, Набиден. Хватит с нас одного урока.

— Какой урок ты имеешь в виду, Василий?— Желнов закрыл чемодан, поставил его на прежнее место.

— Урок тридцатых годов.

— Всех тридцатых годов?!— с сомнением повел бровями Алексей Желнов, подумал и недоуменно пожал плечами.— Не пойму я тебя, моряк.

— Урок последних лет этого трагического десятилетия,— уточнил Шапов и, снисходительно посмотрев на танкиста, помолчал. Многозначительно улыбнулся, обвел пристальным взглядом всех слушающих, и, с весом нажимая на каждое слово, заговорил с видом человека, который решился наконец открыть людям великую тайну.— Мало мы думали в эти годы — вот о чем, я, танкист, говорю. Мало задумывались. Шахматист, между прочим, обдумывает каждый ход. Каждый ход! Вот так. Таким манером.

— Мы о войне, о жизни, а ты, золотой, о шахматах.

— Ша, ша, папаша. Не перебивать. Я изложу свои мысли, а уж потом бейте меня. Можете и за борт смайнать. Так о чем я?

— Да о шахматах,— добродушно, подзадоривающе усмехнулся Рулев, как усмехаются детям, которые пытаются в азартной игре сделать что-то такое, что явно не по их силам.— Давай вали, примазывай шахматы к политике.

— Вот, вот. Спасибо за совет, э-э-э... Как вас?

— Афанасич.

— Да! Дементий Афанасьевич. Начнем с шахмат.

— Давай, давай, матрос. Вали кулем, потом разберем.

— Разберем. Так вот. Неумело мы играли в шахматы. Совсем не так, как играли за первую семилетку после Зимнего. Сто раз тогда мы были на волоске от ги-

бели. А выстояли. А могли и загубить дело. Но в самый нужный момент делали новый ход. Неожиданный ход. Сумасшедший с точки зрения здравого смысла. И единственно верный с позиций стратегии умнейшего гроссмейстера. Например, НЭП.

— Ну и туману ты напустил, дядя Вася!— сострил Андрейка.— На рифы не напорись.

— Не напорюсь, Андрюха. А перед войной мы играли... как бы это сказать? Упрощенно. Да, упрощенно. Проверенный ход ферзей. Испытанный ход ладьей. И все...

— Ну, ты и загнул, паря!— изумился Рулев и несогласно затряс своей курчавистой бородой, как веником, с которого стряхивают прилипший мусор.— Войну-то мы выиграли, матрос!

— О войне другой разговор. Я имею в виду то, что предшествовало войне. Ведь ее могло вовсе и не быть. Войны-то. Вот так. Таким манером. Совсем могло и не быть,— Шапов скрестил руки на груди, ожидая возражения.

— Как это могло не быть?— Дементий Афанасьевич раскрыл рот и устремил синий свой взгляд на моряка, как на некую невидаль. В своем ли ты уме, мол, речистый морячок?— Никакая сила не могла Гитлера остановить. Только к власти пришел, а уж планы строил на нашу пагубу. Таких безумцев ничто не может остановить.

— Ха, ха!— зло рассмеялся Шапов.— Значит, нет управы на таких злыдней? Так, что ли? Лапки вверх — и жди, когда они замахают дубинкой! Нет, нет! Нет и еще раз нет.

— А что же, золотой мой, можно было доспеть супротив Гитлера? До войны-то? Руки связать? Не тут-то было. Пытались обуздать. Да бешеный конь все недоуздки порвал.

— Вот мы и подошли к самому главному. Пытались обуздать. Да, вот именно: пытались. Но не с той стороны. Ходы на мировой шахматной доске делали только фигуры самого верхнего эшелона. Пешки не двигались. А без пешек даже Алехин и Капабланка, Хосе Рауль Капабланка,— уточнил для большего форса Шапов,— так вот, я и говорю, даже Алехин и Капабланка не выиграли бы ни единой партии.

— Ну, опять туман сгущается!— прошелся насчет заумных заходов моряка Рулев и подмигнул Андрею.

— Пардон. В шесть секунд развеем ваш туман...

Сперва одно уточнение. Дело совсем не в Гитлере. Вернее: не в одном Гитлере. Фюрер — боцман на палубе. А музыку заказывали главные капитаны.

— Однако призагнул ты тут, товарищ,— усомнился Оразалинов.— Гитлер все-таки самый главный басмач-бандит.

— Я и не спорю. Да, фюрер был главным дьяволом-бандитом. Но за его спиной стояла наиглавнейшая шайка. Козырные короли — музыканты смерти.

— И кто же они, эти главнейшие козырные злыдни?— Рулев уже не улыбался со скептическим равнодушием, он сразу как-то посуровел, уловив в задористо-заносчивой трепотне моряка нечто серьезное и непростое; в обычный мягкий голос его добавилась металлическая жесткость; глаза почти совсем утонули под насупленной крышей лохмистых бровей, и лишь высверки синих зрачков выбивались из глубины впалых глазниц.

— Кто, спрашиваете, самые главные козырные злыдни?— переспросил Василий Шапов и умело выдержал ораторскую паузу.— А вот кто. Короли машин, пушек, танков и самолетов. Главные режиссеры буржуйского мостика. Ненаглотные акулы. Это им нужны были просторы Востока. Заметьте: чем крупнее акула, тем бешеней у нее аппетит. Закон природы.

— Дядя Вася сел на акул,— озабоченно вздохнул Андрей.— Далеко теперь уплывет.

— Да ты, матрос, давай ближе к берегу,— посоветовал Набиден.— Про буржуев мы тоже мало-мало знаем.

— Я и держу курс прямиком к бухте. В шесть секунд отдам швартовы. Помните, я только что упоминал о белобрысом фитиле? О немце, с которым работал?

— Ну, помним.

— Помним, помним. Валяй дальше.

— Толковали мы с ним частенько о том о сем. Сидим мы как-то в закутке и травим баланду. О войне. Я его прямиком, без увилок и спрашиваю: так, мол, и так, сукин ты сын, фашист недобитый, скажи мне на всю чистоту, все ли вы поголовно верили Гитлеру, в свою скорую победу? Он подумал так, искоса посмотрел на меня простоквашными бельмами и сказал: «Все. Все, кроме коммунистов. Но их тогда мало осталось». У меня холодные мурашки по спине забегали. А во что, спрашиваю, еще вы верили? Он прутиком мусор перебирает и спокойно начинает припоминать: «В силу и чистоту арийской крофи, ф свою висшую сутьпу на симле. В величие своего

туха, своей силы. В то, что коммунизм — сараза планеты и его надо уничтожить». И еще что-то он плел. Уж и не помню. «Все, все верили?»— еще раз спросил я его. Он и не взглянул на меня. Только скулы у сволочи обострились. «Все»,— говорит. Вот так. Таким манером, деда. Все. Все сплошняком верили в эту ложь! Оттого и война началась. Вот о чем я хочу сказать. Вот к какой мысли курс держу.

— Но ты еще и не об этом хотел сказать,— заметил Рулев.— Сбился с курса, моряк. Ты ж хотел поведать о том нам, какую промашку дали мы перед войной.

— Не надо, деда, так в лоб насчет промашки,— матрос сделал предупредительный жест рукой и нарочито боязливо оглянулся.

В вагоне засмеялись.

— Сразу и струхнул!

— Ладно, пусть будет промашка. Семь бед — один ответ. Пока нет огненного... жмота — можно все говорить. Да я и не боюсь ничего. Не раз на верную смертыньку ради победы ходил. А уж правду-матку и подавно не устрашусь резануть.

— Режь, послухаем,— Рулев откинулся на стенку, разгладил бороду, приготовился слушать якобы с самым серьезным видом, а васильковые капли глаз так и пыхали лукавыми огоньками. Дементий Афанасьевич, которого задели было за живое несколько занозистых фраз Шапова, снова вдруг остыл к его громким пророческим откровениям. Так, пустомелит матрос. С незауздапным нравом парень.

— Ни с одним белобрысым фитилем я говорил в Германии. Спрашивал и других немцев о том же самом. Мне истина нужна была. Для науки. Как победителю. И все утверждали одно и то же: все истово верили Гитлеру и Геббельсу. Любую ложь их на веру принимали. Во как оболванили всю нацию. И короли пушек Германии верили фюреру. И не только Германии. Исподтишка аплодировали фашистам козырные тузы Англии, Франции, Америки. Аплодировали и науськивали их на нас: ату большевиков! А народы молчали. Молчали! Ложь околдовала умы и сердца людей. А что же мы? Нет, мы не сидели сложа руки. Действовали. И активно. Встречались с дипломатами, ручкались. А с нами играли в кошки-мышки. Вот так. Таким манером. Усекли?

— Пока не усекли,— простосердечно признался Рулев.— Что-то туговато доходит.

— Дойдет,— успокоил его вошедший в ораторский экстаз Василий.— В шесть секунд дойдет. Наши тайные дипломатические ходы в верхних эшелонах — как горох о стену. Никого не пронимали. Все сводилось к нулю. А мы фасонились. Мы имели гордый вид и флотскую походку. Нас не запугать. А ложь тем временем уже подымала девятый вал войны. Вот так. Таким манером.

— Ну и что мы могли доспеть, паря?— Дементий Афанасьевич откинулся от стенки вагона, потер ладонью левую сторону груди, поморщился.

— Как что?!— вскричал Шапов.— Все могли. Все, все могли сделать.

— Ну а что ж все-таки?— не отставал Рулев.— Ты выложи, коли знаешь,— и тише, с лукавинкой добавил.— И коли не боишься, золотой мой.

Матрос, пригнувшись, чтобы опять не ушибиться о полку, встал и сделал в узком проеме между ног сидящих пассажиров два шага туда-сюда и остановился перед бородатым пасечником в гордой позе уверенного в себе полемиста.

— И знаю!— тщательно отливая и с некоторым апломбом, с эмоциональным нажимом выдавая каждый слог, каждое слово, сказал он.— И не боюсь. Ничего. И никого. Со страхами у меня морской порядок. Страхи я оставил там, в пехотурских окопах.

— Тогда говори. Валяй.

— Всех свистать на палубу надо было.

— Эк, куда хватил! Кого всех и на какую палубу?

— На самую что ни на есть большую палубу. На самую огромную! Вот так. Таким образом. И все народы. Вот эти самые пешечки, без которых не может состояться ни одна игра на доске. На любой доске. И на нашей земле-матушке, в том числе. Ша, ша, папаша. Не перебивайте. Я говорю! Так вот, перед всеми народами надо было бить во все наши колокола. Звонить о правде нашего народа. О том, что мы не лютые звери, не сибирские медведи, которые вдруг решили проглотить весь мир. А уж если кто и лютый зверь, так вот он — германский фашизм.

— А что, и не писали об этом в газетах?— тряхнул бородой Рулев.— Писали. Хоть и в пасеке я живу, а газеты читал.

— Не будем, деда, в люлички-тралички играть!— посуровел Шапов. Иссиня-смуглое, мулатское лицо его налилось вишневой соковиной.— Да, писали... Да о том

ли писали-то? Уж говорить, так говорить надо на чистоту. Это вот где сидит у меня, уважаемый папаша, уважаемая пехота! Пешки-то мы пешки, но и у нас голова на плечах есть. Никакой правды они не знали о нас. Никакой! А знали только ложь, только гаденькое вранье своих очумелых фюреров. Вот так. Таким манером. Я ведь многих немцев пытаю об этом в Германии. Заело. Обида заела. И злость. Хотел хоть одного встретить такого, кто бы знал правду о нас. Не встретил.

— Так в каки ж таки колокола надо было нам бить, матрос?

— В колокола высшего уровня. В самые звонистые колокола. Их звон проникает всюду.

— Непонятно, моряк. Разъясни.

— Ну и въедлив же вы, папаша! Надо ж и самому соображать. Самые главные наши колокола я имею в виду. Фашисты пускают по свету ложь, а мы им в ответ с высшей колокольни!.. А у нас — о том нельзя, о другом — нельзя... Мы в колокол-то только раз, по праздничкам. А тут в кровь зубы ломать надо было! Борьба за души народов — эта игра своит свеч. Стоит и крови. Вот какие битвы я имел в виду, уважаемые пехотинцы, танкисты и уважаемые пасечники. Головешки-то про запас не зря новые Чингисханы таскали из Германии. Боюсь, чтобы мы опять не расслюнтявились когда-нибудь. Вот о чем болит моя душа. Тихими молитвами горящие головешки из волосатых рук не вырвешь.

— Да, головешки-то хороши,— призадумавшись, вздохнул всей своей широченной грудью Рулев.— Одна матушка рванула — и нет города. Какой город-то? Запамятовал.

— Два города, папаша,— сверкая бельмами жгучих темных глаз, с весом уточнил Василий Шапов.— Два города. Хиросима и Нагасаки. Только в Хиросиме одним махом свыше ста сорока тысяч!..

— Всех начисто?

— Есть и калеки... Но и они, как говорят, не жильцы. Я ведь политзанятия, папаша, веду. И все это точнехонько знаю.

— Надо же, надо же... Сто сорок тыщ!

— А лет через десяток тышшу бонб иделают,— прошепелявила из-за соседней перегородки старушка.— Вот тода и шарахнут. И будет конец света, как в писании сказано. Геена оненная всех и спалит. Охтеньки мнеченьки!.. Дожили до страхов адовых.

— Вы, бабуся, не причитайте, не кивайте зазря на геенну огненную,— Василий Шапов заглянул за соседнюю перегородку, где народу поднабилось еще больше.— И рай и ад в руках человека. Сам человек и бог и дьявол. Вот дьяволу рода человеческого и надо скрутить руки. Когти рвать в кровь, но скрутить, пока не поздно, бабуся. И тут прянички да молитвы не помогут. Добрыми словесами душу кодлы-дьявола не умягчишь, пехота. Не умягчишь. Души, говоришь, ожесточились? Что ж, это не так уж и дурно. Не так уж и дурно. Гитлеру шею свернули. Но гадов еще много. И там, у них. И здесь, у нас. А с гадами да подонками-хапугами говорить надобно жестко. А порой и жестоко. Вот так,— Василий сжал кулак перед носом пасечника.

— Да жесткого-то мы и так по уши нахлебались!— прошептал Рулев, отстраняя в сторону кулак моряка.— По ушки, золотой мой. Ох, что это я?.. Ну, матрос, с тобой тут доболтаешься...

— А вы не бойтесь, папаша. Мы говорим сейчас совсем не о том. Мы говорим о подонках, которых война и краем не обжигает. Вас-то она опалила,— Шапов стрельнул темными глазами на боковую полку.— Не печальтесь. Мы свое сработали. А вот что делали в тылу такие, с позволения сказать, патриоты, как эта наша рыжая крыса,— сей вопрос все еще открыт. Ух как я его вижу! Ну всего, всего вижу насквозь. Хваткий, оборотистый мужик! Ни к каким чертям родственникам там он не ездил. Торганул, набил сидора добром — и домой шпарит. С чистой совестью... Чхать ему на совесть. Она у него, совесть-то, и не ночевала. Вот и полечите его душу добром, уважаемый джигит. Ничего не выйдет! Приятные симфонии не для шакалов.

— И все-таки, моряк, отойти душой нам надо после войны. Потеплеть надо сердцем. Вот я о чем. Всем людям подобреть надо на земле. Иначе всем плохо будет. Совсем жаман.

— Подобреть — это хорошо,— сурово ухмыльнулся матрос.— Это хорошо. Да вот мало одной доброты-то в наше время. Мало, джигит. Порядок железной рукой наводится.

— Не спорю. Порядок нужен. Однако и у железного порядка есть своя плохая сторона. Фашист тоже железный порядок хотел на всей земле поставить. Концлагеря, газовые печки-душегубки — все это их железный порядок.

— То, джигит, фашисты...

— У любого человека, какой к себе гребет,— одна дума: свалить все счастье и добро в свою юрту. Буржуй ли это или наш пройдох. Согласен я с тобой: буржуя совесть не пробирает. А нам, советскому человеку, по совести жить надо. Без совести, не с чистой рукой коммунизм не построишь. Ты политграмоту знаешь. Я тоже долго в госпитали лежал. Всю политграмоту прошел,— весело, под общий смех, заключил Оразалинов.

— Ну тут мы с тобой стыкуемся. Тут мы идейные единомышленники, Набиден. А вот в отношении к нашим гадам — здесь у нас позиции разные. О, вот и сам лесничий Оборотень пожаловал...

— Не Оборотень, а Оборотов,— поправил Пантелей Тимофеевич матроса и сел на свое прежнее место.

— А, пардон,— извинился Шапов.— Оборотов, Оборотов. Вот мы сейчас и сделаем маленький экспериментенц, уважаемый Набиден. Возьмем на пробу совесть нашего Пантелея Тимофеевича.

— Свою совесть на пробу бери!— огрызнулся Оборотов.— А мою не трожь. Я честный работяга.

— Прекрасно. Прекрасно. Значит, честный работяга? Хорошо. А скажи-ка нам, честный работяга, зачем, с какой стати, из каких таких честных принципов вы хотели оболгать неповинного мальчишку, нашего Андрюху, а?

— А што я такое лгал?!— короткоостые щетки рыжих бровей лесничего полезли вверх по узкому лбу.

— Как что?— искренне изумился Василий Шапов.— Вы уже и не помните?

— Я отвечал на вопросы товарища милиционера. И все.

— Ха! Ха!— матрос так весь и передернулся, затем подбоченился и спросил Оборотова в упор.— А кто же соврал, что именно Андрей тяпнул лепешки у толстой усатой торговки — я, что ли? Кто? Говорите, Пантелей Тимофеич, я или вы оболгали мальчишку?

— Вот прилип!— Оборотов побагровел, заморгал желтовато-серыми глазами. Коричневая бородавка, похожая на крупную божью коровку, конвульсивно запрыгала в тике на его левой щеке.

— Ну вы же хорошо знали, что он не крал лепешки, а ткнули на него. Почему?

— А кто знат, откуда он бежал. Он же в брюхо мне саданул,— значит, убегал.

— Пантелей Тимофеевич, не лукавьте!— это, не вытерпев, подал голос Алексей Желнов.— Я почти рядом стоял с вами. И Андрей здесь же был. Рядышком. Между мной и вами стоял. И вы его видели. Когда шли по базару к тому месту, где остановились, еще рукой его отстранили и проворчали: белоголовый оборвыш. Ведь так?

— Да ворчал вроде... Но это я так, не на него. Его я не видел. Токо когда он шарахнулся в меня и сапог мне порешил, тогда я его и уметил. Вот вам крест...

— Э-э, не надо, Тимофеевич, божиться,— урезонил лесничего Рулев.— Малец стоял перед твоим носом. Перед самым носом. Уж соврал, так признайся, елочки зеленые!

— Все он видел!— пренебрежительно махнул рукой на Оборотова Желнов.— Сапожок ему стало жалко, он и обозлился на Андрея. В кутузку хотел его упечь. Вот уж кто злой на людей, Набиден, так это Пантелей Тимофеевич. Вот злость так злость. Какая-то слепая злость. Как можно жить так среди людей? Андрея пожалеть бы надо, а вы...

— Э-э, никого он не жалеет!— процедил сквозь зубы Шапов, и вороненые цыганские брови его, густые, размашистые, заходили ходуном у переносья.— Вся жалость его шерстью поросла.

— Да нельзя уж так шибко-то, матрос,— попытался охладить пыл спора Дементий Афанасьевич.

— А почему нельзя, отец? Почему? Он сплеча рубить может, а мы нет? Кошка напакостит — ее носом тычут. И помогает.

— Да што я тебе такого доспел, матросик?— заерзал на сиденье Оборотов, рот его ощерился.— Сказал, што видал — и отчепись от меня.

— Не сказал, что видел, а соврал как самый наипоследний подлец. Хоть бы извинился!.. У-у! Нечего злые-то зенки в сторону воротить.

— Ишо я и извиняться! Обозвал меня по-всякому, а я должон извиняться. Шапку перед ем ломить!..

— Вот тебе, джигит, хороший мой человек, самый ярчайший пример непробиваемости философии хамства! Полечи-ка его душу добром. Тебя кондрашка хватит, а его бронированное сердце и не екнет. Вот так. Таким манером. Вся его житейская философия и совесть вот там, в пузатом чемоданище и вот в этом его сидоре. Тряхни-ка их — сколько добра вывалится!

— Я чужого не беру, и ты на мое добро пальцем не тычь!— затрясся в яростном гневе Оборотов.— А будешь гавкать — на станции за милицией схожу,— зубы его клацали — то ли от гнева, то ли от страха.

— Только на это и способен!— брезгливо сморщился Шапов, возбужденно поворошив свои черные пышные вихры.— Все тут ясно. В казарме мы таким темную играли. Живо шелковые делались. А с этим и связываться противно. Не тронь дерьмо — вонять не будет.

Поезд замедлил ход. Заскрипели тормоза, застучали буфера вагонов; в окнах проплыли первые домики поселка.

— Кажется, небольшая станция. Следующая моя,— просияло смуглое лицо матроса.— Надо за кипятком смотаться. У кого свободные котелки? Давайте. Отоварю кипяточком. Деда, есть посудина?

— Есть, есть, золотой мой. Бери.

— А у тебя, танкист?

— Я тоже побегу. Давай на пару. Веселее будет. Андрей, сиди здесь. И никуда. Понял?

— Понял. Будь сде.

Когда поезд тронулся, Оборотов снова вышел в тамбур: не хотелось ему оставаться в вагоне в качестве мишени и принимать удары злого языка вертлявого и болтливого матроса. Хорохорится, хорохорится. Наполеон какой нашелся! И то-то он знает, и это-то понимает. Хвастун. Трепло огородное. Балаболка заводная. Бу-бу-бу, бу-бу-бу! Возьмем на пробу — совесть!.. Оболгал мальчишку! Вся жалость шерстью поросла! Тьфу, мololо несусветное! И носит же земля таких!..

Он стоял у закрытой двери тамбура и тупо глядел в стекло. Нет, не на то, что он видел за окном, не на мелькавшие телеграфные столбы, не на пейзажи осенних сибирских полей, а смотрел именно в стекло, но почти ничего не видел, не замечал ни самого окна, ни картин природы. Перед ним стояло, стояло неотступно конопатое лицо белоголового оборванца Андрейки. А чуть в сторонке за ним маячил расплывчатый силуэт матроса, и только темные, как ночь, глаза шалого морячка означались явственно и четко, и они, эти жгучие дьявольские глаза, разбойно глядели на него, Пантелея Тимофеевича, и пронзали все его существо какими-то сильными гипнотическими токами.

А за окном прозрачно дымилась в легкой испарине после недавнего дождя осенняя степь Кулунды, залитая косыми потоками света вечернего солнца. Яркими заплатами выделялись редкие темно-коричневые квадраты вспаханной зяби; ядовитым изумрудом мелькали небольшие полосы озимых хлебов; повсюду на сжатых полях торчали, как правильно расставленные пешки, золотые суслоны снопов. В отдалении проплыло, как сказочное видение, синее, с темными крапами многочисленной пернатой дичи озеро, отороченное со всех сторон зеленым разливом камышей и броскими багряными куртинами осиновых колков. В оврагах и впадинах, заросших тальником и кустарником, путались, извивались белесые тесемки тумана. А у самого горизонта уходила в бесконечность, туда, куда и падало закатное солнце, темная гряда соснового ленточного бора.

Ничего не видел этого вконец расстроенный Пантелей Тимофеевич. В окне что-то мелькало там — и все.

— Затравили, язви их!— возмущался он. Все против него. Как сговорились. И горлопанистый матрос, и фасонистый танкист, и этот маленький белоголовый хорек. И Оборотов, в который уж раз, со вздохом сожаления посмотрел на процарапанный носок хромового сапога. Вот что вытворила сопливая шантрапа! И какая нечистая сила бросила его на сапог?!

«Тьфу ты!— сплюнул он в сердцах.— Уж как не повезет, так не повезет... Все комом в дороге пошло, будто черная кошка дорогу перебежала. То одно, то другое... Ишь ты какой прыткий нашелся!— с возмущением прошелся он по адресу Василия Шапова.— Тряхнуть добро мое удумал! Не твоими руками, не твоим горбом нажито, трепач! Я те тряхну! Так тряхну, что только пяточками сбрякаешь. Далеко-далеко... Горлопан несчастный!.. Взбеленился, как угорелый. А все из-за этого... из-за белоголового змееныша. Зыркает-то как он на меня, а! Как зыркает! И никакого там отца не ишшит он. Так, шаромыжничает по вагонам, а они его пригрели. Ну коли што — раздавлю как таракана!»— Оборотов до боли стиснул свои крупные крепкие зубы, представив себе, как с неистово яростной силой поднимает одной рукой за густую куделю волос ненавистного ему беглого оборванца, и с нетерпеливым остервенением, с жуткой радостью бросает его из межтамбурного прохода вниз, под мельтешащие, гудящие ветром колеса вагона.

«Нет, нет! Што это я!— испуганно, со страхом поду-

мал он.— Сразу же схватят. И все узнают. На меня и ткнут пальцем. Нет, нет. Ошалел я, што ли? Вот если так, што никто ничо не узнает — тогда куды ни шло. Тогда и рыскнуть можно. И грех на душу взять. Если все по уму, по путе да для нужного тебе дела, то грех душу не отянет. Не отянет!— Оборотов тяжело задышал, расстегнул дрожащими пальцами ворот рубахи.— Грех в тягость, когда оплошку дашь. Вот уж тогда изведешься в черной тоске и злости. Это и есть твое прегрешение. Греха вообще, должно, и вовсе нет. Никак его представить нельзя! Ну што это такое? А ничего. Пусто. У кажного человека свои прегрешения и свои радости. Што грех для тебя, в чем твое счастье — в этом сам ты лучше всего и разберешься. А один грех для всех — это обман. Тараканы тоже живые твари. Но вот я их давлю. И это хорошо. А людишки иные не хуже тараканов бывают. Одна пакость. Одна морока от них, как от паразитов. Так где же тут грех? И не мешать им пакостить — грешно. И со свету сживать их — тоже вроде бы нельзя. Нет, тут с общей-то вышки правды не найдешь. У кажного своя правда. Только не все надо громко делать, а то ить кому твоя-то правда поглянется? Носи ее у свово же сердца и не выставляй напоказ. И ничего грешного не будет. Коли што на пользу, так и робеть не следовает. Но штоб никто не знал. Тогда и душа будет чистая, без сомнений. И бог простит. Все простит. Иначе бы давно покарал меня... А оно вишь как: может, я вовсе и не грешен!»

Может, я вовсе и не грешен... Давно уже научился вот так вот успокаивать себя, оправдывать свои нечистые поступки Пантелей Тимофеевич. И ничего. Помогает. Меньше стал мучиться и страдать. Хотя не всегда удается обмануть самого себя.

Может, я вовсе и не грешен — так подумал он, стоя в тамбуре вагона, и память сразу же оживила страшные картины его первой большой вины перед людьми, перед своей совестью. Не помогли успокоительные слова, все нутро его обдало противной изморозью. Волна стужи подступила к самому сердцу и точно сжала его со всех сторон тысячью иголок озноба. Оборотова бросило в дрожь, как тогда мартовским утром, под старой пихтой с сухой, расщепленной молнией вершиной, когда он в диком смятении глядел на толстые косички черных, с проседью волос, торчащих из-под лохматой барсучьей шапки алтайца Ванайки, на его светло-коричневую, в

тонких прорезях морщин шею и судорожно сжимал в руке холодную, окольцованную медью рукоять охотничьего кинжала.

— Нет, никакого прегрешения тогда и не было,— шептал Пантелей Тимофеевич, унимая противную дрожь в теле.— Никакого прегрешения...

V

В начале марта зима 1939 года прихватила заснеженную тайгу Алтая последними крепкими морозами. Слежалый, утрамбованный февральскими метелями снег хорошо держал таежника на лыжах, и старый охотник Ванайка решился наконец-то пойти за Холзун, на приемный казахстанский пункт, до которого от Хайдунского стойбища было гораздо ближе, чем до Чуйского тракта его родной Ойротии. Ванайке край нужно было сдать мешок звериных шкурок и запастись припасами на весну и лето, а может, и на весь следующий сезон.

С утра отправился в путь. Долго поднимался на чистую гриву Холзуна, а потом, на крутом уступе седловины, остановился передохнуть, расстегнул меховую телогрейку, сорвал с головы шапку. Мокрые от пота волосы его с двумя косами закурились парком на морозе, подергиваясь поверху тотчас же серебряной паутинкой куржака.

— Якши, якши!— восторженно проговорил он, увидев горы южной половины Алтая, глубокую, затянутую голубым маревом впадину Бухтарминской речной поймы.

Игольчатые от хвойного леса хребты громоздились один за другим, как гигантские рваные валы. Первый вал, черный и остистый от густых пихтачей, плескался внизу, под ногами охотника, широкой соболиной полой; вторая волна, тоже вся сплошь в острозубых гребешках хвойников, отливала сочной океанской синевой; а там, уже за широким долом Бухтармы, мягко слоилась нежно-голубая, еле уловимая зыбь самых дальних горбатых кряжей Алтая. Захватывающие, неправдоподобно грандиозные горные просторы!

— Якши, якши!— повторил старый охотник и поцокал языком, выражая знак своей самой большой радости. С горами он встречался, как со старым и добрым другом. Давно он не бывал здесь, в Казахстанской стороне. Товарами и припасами обзаводился, как всегда, в родном аймачном центре, а вот теперь решил, что ему, старому,

сподручней ходить к Бухтарме. «Однако много ближе»,— рассудил он.

Солнце быстро клонилось к вечеру, и там, внизу, в провалах Бухтарминских падей, уже копилась густая синяя сумеречь. Широкие лыжи Ванайки, подбитые гладкой камусой — шкурами с конских ног,— почти не проваливались в плотный снег и скользили по нему мягко и легко. Ванайка то раскатисто шел, то стремительно катился по уклону вниз, не делая ни одного лишнего и неверного движения, точно был намертво влит в прочные кожаные юксы лыж.

Сзади, на маковках Холзунского хребта еще пылали последним жаром алые блики уходящего солнца, когда охотник подошел к деревянному пятистеннику лесничего Пантелея. Он попеременно поднимал обе ноги и резко ударял палкой по одной лыже, потом по другой, отбивая с них налипшие комья снега. Залаяли собаки.

— Кто там пожаловал?— раздался за тесовыми воротами встревоженный голос Оборотова.— Кого так поздно принесло?

— Я, Пантелеша!— весело отозвался охотник.— Ванайка, друзя твоя. Мало-мало ночевать надо.

Загремели щеколды створных ворот, и вскоре распахнулась боковая входная тесовая калитка. Оборотов, вскинув руку, подставил к глазам ладонь, вгляделся.

— Не узналь?— расплылось в улыбке скуластое сухое лицо старика.— Прошель пятый ход, как твоя ходиль. Твоя дом ночеваль. Соболь дарил.

— О, язви тя,— Пантелей Тимофеевич осклабился, виновато склонил голову набок.— Едва признал. Ну, проходи. Только малость погоди. Собак привяжу. Не то разорвут. Акулина!— крикнул он уже за воротами.— Акулина! Эй, слышь, Акулиша! Чаю завари. Гость у нас. Бражки малость плесни, солонины на стол поставь.

Черемуховым цветом пенилась в стаканах цветочно духовитая, терпкая, на хмелю настоянная золотистая медовуха. Уже после первого стакана в голове у Ванайки приятно зазвенело, и все вокруг стало расплывчатым и веселым — и зеленоватые цветастые шторы на больших окнах, и темные в золоченых рамах иконы на божнице в переднем углу, и широкая койка с узорным синим покрывалом, с горкой пышных розовых подушек, и новая вороненая двустволка, висящая над ней на дорогом ковре.

Вся горница Оборотова точно покачивалась, плясала, озорно подмигивала Ванайке, и ему было хорошо, как никогда. Хотелось говорить и говорить хозяину теплые приятные слова. Так славно угощает старого охотника, что даже появилось желание обнять его. Он большой и, должно быть, очень сильный человек. И еще, наверно, шибко добрый этот Пантелеша, потому что весь такой красный и теплый, как огонь в горящей на столе лампе.

— Я типе соболь дарю опять, Пантелеша,— Ванайка отодвинул от себя стакан из-под медовухи.— Больши не надо медоух. Чай пить надо. А шкурька соболь якши. Шибко якши. Шапку шей Кулине. Якши баба будет.

— Да ты уж, друг, не бросался бы добром-то своим,— начал было робко урезонивать охотника Оборотов.— Чай и себе нужно. Дети, небось, есть?

Ванайка, сияя от внезапно накатившейся на него радости, отрицательно тряс головой, хлопал рукой по широченной спине хозяина. На толстой, зависшей губе Пантелея Тимофеевича копилась, набухая, желтая от только что выпитой медовухи слюна, горячая волна ожидания большого фарта заволокла его глаза радужным туманом; полные лоснящиеся щеки как-то изнутри густо заалели, засветились, точно доведенный до красноты металл в кузнечном горне. В пожарном буйстве крови совсем как-то затерялась бородавка у носа; даже рыжие баки подле ушей казались в зареве румянца светлыми языками.

— Детей мало моя,— успокоил хозяина гость.— Один дошка. Один внука. Сечас шкурька сдам. Куплю дошка платя, внука — якши рубашки. Много-много рубашки. Моя нисего не надо. Скоро помирать надо. Шибко худой Ванайка. Шибко старый.

— Ты што, дорогой!— с возбуждением воскликнул Оборотов.— Ты ишо крепкий старик. Таки переходы через белки делашь!.. Рано, рано тебе на покой.

— Моя знает. Моя все чует. Хожу. Горы вижу. Прошаюсь. Люблю горы...

— Да брось ты...

— Правда, правда... Конес моя... Много надо тебе сказать. Давно хотель. Не мог.

— Говори, друг, не стесняйся. Седни у нас праздник,— оскалясь в улыбке, Пантелей Тимофеевич во всю ширь раскрыл свой большой желтозубый рот.

— Никому люди не говори. Секрет.

Улыбка на лице хозяина медленно гасла. И вот уже

губы его плотно сжались, огоньками пыхнули изжелта-серые буравчики глаз и стали вдруг прятаться в мягком сощуре под рыжими, короткоостыми разводьями подвижных бровей.

— Большой секрет. Моя тебе, Пантелеша, только говорит.

— Ладно, валяй!— голос у Оборотова сипло дрогнул.

— Шортов клюш твоя знает?

— Ну, конечно. Там я кулемы ставлю на колонка.

— О, якши, якши!

— Летом там артель золото бутарой добывает. Доброе золото идет.

— Золото моя и говорить хочет. У Шортов клюш камень лежит. Большой, большой. Как аил. Как дом.

— Знаю, знаю.

— Осень быль. Мало-мало осень. Давно, давно. Моя совсем молодой быль, ходиль Бухтарма. Дробь надо купи. Хожу камень-аил. Люди кричаль. Шибко кричаль. Потом тихо, тихо. Моя ходиль. Люди мертвый уже быль. Вот так лежаль,— Ванайка показал, что двое недругов лежали, перехватив друг другу горло мертвой хваткой.— Яме лежаль. У ног месочек. Как кисета.

— Как кисет?

— Ага, ага. И золото. Много, много!

— Да ты што?!

— Ага, ага. Вот такой. Как тараканки. Якши золото.

— И што же ты, друг мой сердешный?..

— Моя шибко пугался. Золото моя не надо. Моя чужой не надо... Нисо не надо.

— Понимаю,— тихо вроде бы совсем сказал Пантелей Тимофеевич, а горящие глаза его говорили совсем о другом. Весть о золоте перехватила ему дыхание. Левая волосатая, в конопушках рука нервно заскользила по груди.

— Моя боялся. Поди скажи — моя же виноват будет. Ты убиль.

— Ну?

— Я закопаль люди.

— А золото?!

— И золото закопаль. Как быль — все закопаль земля. Там лежит. Камень-аил. Большой-большой пихта. Старый пихта. Вершинка гром ломай. Сухой, сухой вершинка. Там могиль. Там золото...

— Вроде помню,— наморщил лоб Оборотов.— Посмотреть бы самому на месте — поди вспомнил бы.

— Смотреть надо — я и говорю. Завтри подем. Рано утром подем.

— А может, ничего и нет там? — с тревогой усомнился Оборотов.— Давно ведь, говоришь, было.

— Давно, давно. А золото есь.

— Да как знать-то? Должно, зря и сходим,— Пантелей Тимофеевич равнодушно зевнул.

— Не зря, Пантелеша! Совсем не зря! Золото там. Никто могиль не трогаль. Моя проверяль. Завтри подем.

— Добро, добро. Сходим. Хучь и семь верст киселя хлебать, а сходить надо. Любопытно все ж. А вдруг, правда?

— Правда, правда.

— Тогда давай ишо по одной.

— Нет, шай надо. Голова боли.

— Мясо сперва ешь, Ванаюшка,— Оборотов выскреб из большой чашки остатки говядины в тарелку охотника.— Подкрепляйся. В мясе вся сила. Тебе ведь ишо к Бухтарме шпарить, а потом обратно на белок скребтись. Много силы надо. Ешь. А я стакашек медку опрокину. Твое здоровье, Ванаюшка!

— Сам будь здорова, Пантелеша.

Отправились к Чертову ключу на зорьке. Впереди легким привычным шагом скользил по старой лыжне Ванайка, сзади, едва поспевая за ним, шел грузный Оборотов, который нес на плече перехваченные бечевкой лом, деревянную и железную лопаты. Падь Поперечного Ключа еще спала в роздыми сумрака уходящей ночи, кутаясь в черные шубы густых пихтачей. Лишь на востоке, на голубой промоине рассвета четко выделялись графические росчерки стрел могучих алтайских хвойников.

Шли молча. В размеренном ритме поскрипывали прихваченные морозом сыромятные ремни юкс — лыжных креплений Оборотова; лесничий гремел поправляемыми на плече лопатами, звучно, точно загнанный, сопел носом. Алтаец же шел почти бесшумно; казалось, широкие лыжи его не шаркали по снегу, а плыли по синему воздуху, как по воде, сами собой, без усилий охотника; и ременные юксы его лыж ничуть не скрипели, видно, все у старого охотника было сработано ладно, мастерски, так, как и подобает лесному жителю.

Оборотов на мгновение остановился, чтобы поправить инструмент на плече, прислушался, задержав дыхание.

«Ровно тень, язви его!— с завистью подумал он об охотнике.— Ни скрипа, ни шипа».

Где-то через час Ванайка свернул с накатанной лыжни и пошел целиком, направляясь наперерез к Чертову ключу через крутой увал.

Солнце уже окатило золотым полымем света угор, на который поднимались лыжники, и снег ослепительно сиял во всей своей девственной чистоте. От зеленоватых прямых стволов осин тянулись через всю широкую проплешину угора длинные тени, похожие на туго натянутые голубые струны, у самой гривы горушки, куда и шагали путники, кроваво горели в солнечных лучах еще не оклеванные птицами гроздья рябины.

Ванайка, поднимаясь в гору, с силой хлопал по снегу лыжами, чтобы камуса лучше цеплялась за снег и не соскальзывала назад. После каждого его притопа лыжей вниз срывались и скоро катились, будто наперегонки, стаи белых сыпучих катышков.

«Ишь как споро в гору-то прет!— удивился Пантелей Тимофеевич.— Ровно молодой».

Однако нет. Остановился охотник, выдохся. И когда он обернулся, Оборотов заметил, как сипло, тяжело дышит старик, одергиваясь испариной. Молча постояли. И вскоре опять глухо захлопали по снегу широкие лыжи Ванайки.

«Годы свое все-таки берут,— продолжал размышлять об охотнике Оборотов.— Я думал: неизносный. Ишь как плечи-то ходуном заходили. Умаялся. А идет передом. Не уступает лыжни. Гордость, видать, заедает, язви тя! Чудной. Никак не пойму я его. И зачем это, с какой такой стати решил он кладом-то меня одарить? Самому золото не нужно, што ли? Ну, сам одрях. Помирать, положим, собрался. Так ить сродственники есть! Ну и глупой. Оно, конечно, с золотом мороки много. Да и опасно. Где взял? Откуда? И пошло... Умная голова, само собой, и золотишко к месту пристроит. А вот он, видать, боится. Али чужо добро брать не хочет? Кто его знат. Чудной, чудной калмычонок. А может, там золота-то кот наплакал? Так, слава одна... Ну, а коли правда кисет полон самородков?»— перед глазами Пантелея Тимофеевича в полной яви предстал пузатый холщовый мешочек с россыпью тяжких слитков солнечного металла, и он задохнулся. В горле вспух горячий ком радости и страха. Жуткой радости и жуткого страха.

Он придержал шаг: схватившись за грудь, зажмурил-

ся, словно не вынес ослепительного желтого сияния крупных, с фасолину, окатышей золота.

— Усталь, Пантелеша?— озабоченно оглянулся Ванайка.

— Ничо, ничо. Это я так. Изжога давит, язви тя. Валяй. Я не отстану.

«Ну да, а если и впрямь золота уйма?— повторил назойливый вопрос Оборотов.— Если и в самом деле полон мешок золотин? Што тогда? Это же што будет-то?! А?!— сердце Пантелея Тимофеевича гулко колотилось, дыхание сделалось прерывистым. Звенело в ушах.— Старику, небось, жалко станет? Щас добрый, а увидит клад — и зубами застучит. Да нет. Не похоже на него. Не прикидывается. Видать, не ко двору оно ему. И все же заденет оно его за живое. Ведь не золотинка, не щепотка, а мешок!.. Не вытерпит, окаянный, и растреплет ишо кому-нить. Как пить дать — разнесет слух о кладе по всей округе. Вот и погорю я. Не он, а я. Сцопают за милую душу. И ни золота тогда, и ни заимки. Все пойдет прахом... Так што же делать? Махнуть на это добро рукой? Нет уж, шибко заманчиво золотишко-то. Найду как пристроить. Найду. Это все просто, лишь бы с умом. Вот и заживу. А то ишь колхознички-от разбогатели, нос воротят. Возгордились. А я и дам им опять сто очков вперед. Пусть знают наших. Вот только старик... Разболтает, разболтает. Што делать-то? Што тут придумать-то? С золотом шутки плохи. Куды там! Сразу окно с решеткой схлопочешь, коли што».

Пантелея Тимофеевича то знобило, то бросало в жар. Весь мир зыбуче плавал перед его глазами, точно одернутый летучим туманом. Он едва примечал лыжню, натыкался, как в забытьи, на ветки деревьев. Мысли метались с бешеной скоростью, с лихорадочными перепадами, сумбурно и хаотично, как в горячке.

«Сболтнет Ванайка, сболтнет. По простоте душевной... Не с умыслом. А так... Выпьет — и пойдет язык молоть. Оно так... Кажись, скоро придем? Где это мы? Фу ты!.. Ничо не вижу. Ага. Вроде скоро. Акулина моя в деревню уедет. В лавку край надо. До вечера, должно, проваландается. Хорошо, што наш разговор с калмыком не слыхала. Коров доила. Да, до вечера и проваландатся... Мешок с пушниной я вроде бы в чулан закрыл. Акулина не видела. Это ладно. Вроде бы все так, как и должно быть. Никто ничего не узнает! И никто ничего не узнает! Как никто ничо не узнает?!.. Как никто ничо не

узнает?!— Оборотов вздрогнул, напугавшись собственных мыслей. Они, мысли, эти страшные мысли, вроде бы метались сами собой, помимо его воли, точно жили оторванно от него.— Как никто ничо не узнает?!— повторил он в испуге обжигающий и холодящий душу вопрос. В глазах его все потемнело. Он сбросил шапку.— Господи, чего это я?!»

— Уже близко, Пантелеша,— участливо пропел Ванайка.

— Ага, ага. Близко. Я знаю. Пошли.

«Стар калмык, стар... Помирать собрался. Да и кому он нужон?.. Господи, но грех-то какой! Грех-то какой... Оно, конечно, никто не узнает. Никто. Ни одна душа. Окромя меня никто и знать не будет. Шел. Прошел. И все тут. А все-таки как-то... Как-то страшно. Тяжко грех на душу брать. А как быть?! Не брать золото?! А куда его? Кому? Не намыто ить. И так худо. И этак нехорошо. А жинка долго в деревне будет... И Гриша там. Никого нет. Никого вокруг нет. И все будет шито-крыто. Господи, прости душу грешную!.. Прости согрешение, если можешь?! Не могу я иначе. Што же мне делать?! А может, вовсе и не грешно, когда никто ничо не знает? Может, и не все грешно-то?!— Оборотов, будто сбрасывая кошмарную дрему, мотнул головой и глянул в льдистую стынь дымчато-голубого неба.— Как его, грех-то, узнать? А? Мало ли што в жизни бывает! А? Нет, когда выхода душа не видит — это не грех! Все можно, когда выхода нет!— с неистовой силой, со сладостной болью пронзила его душу успокоительная и греховная мысль.— Мало ли што бывает!.. Это фарт мой. Судьба моя. А от счастливой судьбы только дураки отворачиваются.»

— Ух!— вслух смятенно выдохнул он и, воткнув черешками лопаты и лом в глубокий снег, уткнулся в них головой, тяжело, затравленно дыша.

— Ничо, Пантелеша. Мы пришель. Вот это моя месьто.

...Мешочек с отборным самородным золотом лежал между двух белых человеческих скелетов. Под их сплетенными кистями рук. Два золотых комочка, похожие на желтых жучков, вывалились из мешка, дразня человеческий глаз своим блеском.

Оборотов глядел на морщинистую смуглую шею охотника и безумно повторял, как заклинание, одни и те же слова: «Осподи прости, осподи прости...»

И остался Ванайка лежать в той же самой яме-могиле...

Оборотов тщательно выровнял зарытую могилу. Разбросал ровным слоем снег. Наломал сушняку, развел костер. Вроде бы здесь кто-то грелся или чай кипятил.

Мешочек с золотом положил в охотничью торбу. Он всегда ходил в лес с этой торбой. Присел на снег под старой пихтой, осторожно, с трепетом и волнением передернул торбу из-за спины к ногам, положил ее на колени, с радостью ощутив всем существом приятную тяжесть поклажи. Большой рот Оборотова в минуты душевных потрясений или наивысшего удовольствия, как бы срываясь с засовов, распахивался, обнажая два ряда неровных крупных, табачного цвета зубов. С нижней фиолетовой губы его при этом тотчас же начинали срываться тягучие прозрачные нити слюны. Сейчас же темно-фиолетовые, почти черные губы Пантелея Тимофеевича были сухи. Зубы то и дело смыкались и отбивали дробь. Волна радости все еще не могла унять лихорадки страха, боязни, смятения и совести, вернее: суеверной боязни и совести. Хоть и дряхл был старик, а все одно — человек...

Шел домой Оборотов в каком-то забытьи, как помешанный. На полдороге хватился, что несет под мышкой схваченные льняной бечевкой камусные лыжи убитого калмыка, и остановился, как вкопанный. «Зачем я их пру? К чему они мне? Лыжи добрые, само собой. А если кто хватится калмыка? Если искать его начнут? А лыжи-то вот они... Да я што — ополоумел?!»

Пантелей Тимофеевич бросился с накатанной лыжни в сторону, к хвойному гайку, где виднелся в достатке сушняк. Торопливо наломал огромный ворох сухих веток, распалил огонь и сунул в занявшийся жаркими языками костер чужие лыжи.

Конская камуса плохо горела. Шкура лопалась, разваливалась на куски, свертывалась в трубки шерстью внутрь, щелкала, дымила.

Пантелей Тимофеевич, поправляя костер, терпеливо подождал, когда сгорят прахом все остатки от кожаных юкс и камусы.

Дома переложил пушнину Ванайки в свой мешок, старый, засаленный, с каким ходил на охоту в дальние урочища с ночевками. Мешок покойного алтайца сжег. Пушнину хотел отнести в охотничью избушку, да передумал. Найдут и там. Столкал ее в резиновые сапоги,

соединил их голенищами и закопал в подполе, там, где хранилась картошка. Тут же, в подполе, только в другом месте, закопал и мешочек с золотом. Вылез из подпола, вымыл руки с мылом. Налил из лагуна, стоящего на топчане у русской печки, пахучей, пенистой медовухи. Не подходя к столу, тремя жадными глотками осушил стакан, вытер рукавом губы, расслабленно ткнулся лбом в деревянный бочонок, потерся о него, как бодучий бык, и затих. Успокоенно подумал: «А ить теперь никто ни к чему не прикопается. Никто ни к чему... Все шито-крыто».

...Около семи лет минуло с тех пор, а все помнится, будто было вчера, хотя многое хотелось бы забыть, начисто выбросить из памяти. Ему часто снилась та старая раскидистая пихта с сухой изуродованной вершиной, черные, с проседью волосы Ванайки, уложенные в косицы, его смуглая, в сетке глубоких морщин шея... Нет, он не осмелился тогда поднять кинжал. Взяла оторопь. Сподручнее оказался лом...

Да, он дрожал сейчас всем телом в тамбуре вагона. Но это была уже не та дрожь, идущая от страха, боязни, мучительной борьбы с совестью. Это было скорее волнение крови, ее горение. Его душу потряс рефлексивный взрыв некогда пережитой страсти, преодоленного спора с самим собой.

Злясь сейчас на белоголового оборвыша, из-за которого взъелся на него, Оборотова, весь вагон, Пантелей Тимофеевич испытывал в душе величайшую ненависть к нему, нестерпимое, как зуд, желание придушить его, точно котенка, точно щенка, схватить за шиворот, за волосы и швырнуть вот туда, в проем между гремящих колес. И ни малейшая жалость не обдавала тревожной волной его клокочущее в яром остервенении сердце. Слепая страсть мутила сознание...

VI

Восьмой вагон чаевничал. За столиками умещалось совсем мало людей. Многие пассажиры швыркали из кружек кипяток там, где сидели.

Набиден Оразалинов заварил чай в котелке круто, по-азиатски. Себе налил полную эмалированную кружку. Остальной чай разлил желающим. Затем разрезал перочинным складешком банку свиной тушенки. Тщательно протер газетой лезвие, сложил ножик, положил его в карман, делая все это не спеша, размеренно, с чувством,

как говорится, с расстановкой. Медленно поднялся, пробрался, минуя ноги, чемоданы и мешки, к столику и поставил на него банку с мясом, от которого так и несло букетом ароматических специй.

— Это тебе подарок, Андрей!— и он поворошил светло-сивую шевелюру Светова, обдав беглеца светозарным сиянием своего доброго, кроткого и какого-то по-детски улыбчивого лица.— Ешь. Не стесняйся, джигит. Я это не очень хочу.

— Да что вы, что вы!— засмущался Андрюха.

— Ешь, ешь, пожалыста. Да от милиции больше не бегай. Почему так боишься?

— А она, милиция, поперек горла у меня,— Светов чиркнул пальцем по своему кадыку.

— Как так? Чем ты ей не угождаешь?

— Да дело тут не в этом,— Андрей тяжело вздохнул.— Не везет мне на нее. И все тут. В общем, чья бы собака не взлаила, а меня за ухо дергают.

— Ну это ты, Андрюха, подзагнул, конечно,— с шутливой интонацией возразил Желнов.— Не всегда же дергают...

— Да, видать где-то разочек влип,— понимающе подмигнул танкисту тихий и скромный бородач Рулев.— Попал в какую-то историю — тебя и приголубили... Уж признавайся. Ну, если секрет — тогда молчи.

— Секрет не секрет,— насупился Андрей,— а болтать много не надо,— и слова и жесты его говорили о том, что он старался во всем подражать взрослым.

— Это чего так?— удивленно заломил черные крылья бровей Василий Шапов.

— А вот так. Не надо да и все,— Андрей отвернулся к окну, давая этим понять, что разговаривать на эту тему не намерен.

— А ты не болтай, а режь правду-матку,— настаивал на своем матрос, который терпеть не мог возражений.— Всю правду, как есть. Нам, победителям, бояться нечего. А если что и было такое... Так и об этом тоже забывать не надо. Для науки на будущее. Не ломайся. Выкладывай свою тайну, Андрюха. Мы с тобой теперь одной ниточкой связаны против жмота Оборотова. Вишь: взяли его в оборот, а у него сразу же, видать, схватило живот.

— Пока у него заболит живот, вас самого согнет в крючок,— огрызнулся Светов под общий смех пассажиров.

— Нет, не так страшен черт, Андрей, как его малюют. Не таким рога обламывали. Да ну его, этого Оборотова!.. Ты давай расскажи, что там у тебя приключилось с милицией?

— Ну и прилипчивый же вы, дядя Вася! Как банный лист...

— Ничего тут нет удивительного: он же моряк!— усмехнулся Рулев, который тщательно расчесывал самодельным гребнем свою бархатистую окладистую бороду.— А моряк, он што? Возьмет курс — и прет, пока не пришвартуется. Так што, Андреюшка, не отстанет он от тебя.

— Это правда, джигит,— согласился с доводами бородатого пасечника Оразалинов.— Матрос шипко настырный. На-на еще хлеба. Намажь тушенка на кусок. Вкусно будет. Подкрепись. Все равно рассказывать придется. Давай, давай, Белая Голова! Не робей.

— А я и так не робею!— повеселел Андрей.— Только вот малость пропал аппетит — нежевано летит,— он с притворной горечью вздохнул.— Вот в чем мое несчастье. А робею я не очень. Это я так, стеснительный. От бабушки, Апраксии Ивановны, видать, передалось. Она у нас, сказывают, жуть какая была стеснительная. Водилась, правда, за ней слабость одна: больно любила в праздники по гостям ходить. Зайдет это в дом, с праздником людей поздравит и сядет у порожка. Ну, знамо: ее сразу за стол. Тарелки две-три горячих пирогов поставят. Чайку нальют. Апраксия Ивановна чаек-то швыркает так себе, потихоньку, а на пироги нажимает. Умнет со всех тарелок сдобу, перевернет дном вверх пустую кесешку и скромненько так скажет: «Спасибочки, чашечку чайку выпила».

Вагон так и громыхнул от веселого хохота.

— Затейный ты, однако, парень!— проговорил Рулев, вытирая рукавом слезы.

— Хорошая была у тебя бабушка, Андрей!— с самым серьезным видом отметил моряк.— Вполне современная. Так и ты такой же скромняга? По части еды?

— Ага. Тушенку уработаю. А банку... Банку целехонькой оставлю.

Не обошлось без смеха и на этот раз.

— Ты, Андрей, зубы нам тушенкой не замазывай. Переходи к милиции.

— Да что тут переходить?.. Я же сказал: не везет мне на нее. Невеселая у меня с ней история...

— Видать, под арест угодил, сынок?— удивленно поднял густые уремистые брови Дементий Афанасьевич Рулев.— За что, золотой мой? Чай угадал?

— В точку деда, попали,— Андрей тяжко, совсем повзрослому вздохнул, поворошил на затылке серебряные пряди волос, сощурил голубые глаза, как от острой боли.— Совсем зря попал я. Арестовали так, ни за что...

— Оговорил кто-то, что ли?

— Было дело... Да хоть бы кто путевый — не так бы обида заедала. А то дурак. Не совсем дурак, немного чокнутый. Тошка Белонитов. Был он нормальный пацан. Огребал крышу избы да вместе со снегом и ухнулся вниз. Завалило. Пока вызволили, он уж чуть жив был. Оклемался. Но умом ослаб с тех пор. Ну вот он и взбаламутил всех. На меня донес и на всю деревню.

— На всю деревню?— Рулев пробежал многозначительным синим взглядом по всем пассажирам.— Ну уж ты это, паря, подзагнул, однако?

— И нисколечко. Осенью в прошлом годе это случилось. Жил у нас старый горбатый мужик Мотьша Дарков. Партизан. Вместе с моим тятькой ходил на Катунь громить банду Кайгородова. Тятька мне об этом много рассказывал. Да и дядя Мотя тоже. Я все их рассказы записывал. Целый чемодан тетрадями забил.

— Э, выходит, ты еще и писатель у нас!— одобрительно хмыкнул матрос.

— Да какой там писатель!.. Просто интересно было. Вот и записывал. На память.

— Молодец, парень!— похвалил Светова Дементий Афанасьевич.

— Так вот, когда чоновский отряд уже возвращался домой после разгрома банды, с дядей Мотей и случилась беда. Холзунский хребет — штука коварная. А дело было зимой. Снега там, говорят, такие, что жуть. Дядя Мотя вместе со своим конем и сорвался со скалы в ущелье. Остался жив, а спину решил...

— Постой, постой, золотой мой!— насторожился Рулев.— Как, говоришь, звать-то его? Мотя? Матвей, значит?

— Ну да. Матвей Дарков. Матвей, Мотя — все одно. Друг моего тяти. Только он постарше был. Лет на восемь.

— Так я же, золотой мой, хорошо помню его. Черный такой весь. Что твой цыган. Да вот — вылитый наш матрос. На костре подкопченный. Точно ведь, сына?

— Точно. Это он. Борода у него была чернее угля.

— Была?

— Ну да, была. Помер он. Вернее, задушился. Залез на чердак и задушился.

— Да ты что, парень? Не может того быть! Такой геройский мужик — и вдруг. Надо же. Может, с какого горя?

— Нет, просто от болезни. Горб душить его стал. Он мне как-то признавался... Шибко, говорит, невмоготу стало. Если что, скажи, чтоб ничо худого о партизане не думали. А я не успел сказать. Меня опередил этот несчастный Тоша. Взял да дурак и написал на бумажке. «Как наш Мотя не бодрился, а картошкой подавился». Ничо тут вроде такого нет, а вот карусель завертелась. Тошка-то бумажку к конторе подбросил. Его уметили. Схватили и ну — в район, в милицию. Кто написал? Сам, небось? Ну он, конешно, струхнул. Нет, говорит, я — дурак. Это матка моя сочинила. Тогда милиция и мать его арестовала. Недели через две Тошкину мать выпустили. А взяли эвакуированную учитилку. Больную такую. Тощую. Ее, мол, это дело.

— Ишь как дурное-то дело обернулось!— Рулев вынул из кармана большой носовой платок и стал старательно вытирать глаза.

— Ну вот, таким манером, по Тошкиному навету, чуть ли не всю деревню перетаскали в район. Потом и моя очередь пришла. Увезли. Мать моя напугалась. Затопила печь и все мои тетради из чемодана — в огонь. Все партизанские рассказы!.. Это я, конечно, потом узнал... Невыносимо как плакал... Вот вспомнил — и опять комок в горле. Жалко. Невозможно как жалко!— шепотом, будто задыхаясь, с глубокой обидой, совсем как-то по-детски выдавил из себя Андрейка и замолчал.

— И что с тобой приключилось в каталажке-то?— спросил после некоторой паузы Рулев.

— Да что? Ничего особенного,— Андрей сурово сдвинул у переносья белесые, словно подведенные мелом, брови, сжал губы.— Допрашивали меня все... Был там тип один. Важный такой носастик. Лейтенант Никольский. Смотрел прямо. И не мигал. Как змея. Ну и... бил. Сильно бил.

— Да ты что, сына?!— Дементий Афанасьевич судорожно заводил рукой у горла.— Да рази такое можно?.. А ты не брешешь?

— Нет. Вот так, ребром ладони. По затылку. Или по

шее... Четырнадцать суток отсидел я в камере. Как бандюга.

— А потом?— тихо спросил Рулев после тягучей паузы.

— Потом? Потом я сбежал. Я ить ловкий. По кустам как обезьяна лажу. Сортир в милиции во дворе. Отсидел я однажды в нем положенное. Выждал, когда мильтон отвернется. Тихонечко дверку распахнул и на цыпочках к забору. На заплоте две зазубрины были. Я уцепился, подтянулся на руках Ноги вверх — и перелетел на другую сторону. Вдарил бечь — аж в ушах засвистело. Проулками, проулками, а потом огородами. И был таков.

— Да куда же ты, золотой мой, рванул? Милиция-то ж везде б тебя сыскала.

— Не везде.

— Эт как так?

— А вот так. Я сразу в райком...

— В райком?— Рулев рассмеялся, с сомнением пристально поглядел на рассказчика.

— Тожа мне куманист нашелся!— хихикнула в соседнем отсеке старуха.— Туда жа — в райком.

— С тобой, Андрей, шибко скучать не будешь,— добродушно разулыбался и Набиден Оразалинов.

— А вы не смейтесь, товарищи,— серьезно, без тени веселости возразил Василий Шапов.— Андрей у нас и в самом деле настоящий партиец. Все огни и воды прошел. А от охраны он уже не раз удирал. Вот так Таким манером. Крой, Андрюха, дальше. Значит, бросил якоря в райкоме.

— Ну, да.

— А дальше что?

— Да что там .. Раз не верите.

— Верим, золотой мой одуванчик. Верим. Видать, свой человек в райкоме был. Угадал?

— Ага. Секретарь райкома. Ярков. Пал Василич.

И снова ответ Светова вызвал развеселое оживление в вагоне. Но Андрей, оправившись от неловкости, уже уловил истинный смысл недоверия к его рассказу, которое заключалось не в том, что он беззастенчиво привирает, а в том, что случай-то сам по себе больно невероятен: пацан-оборвыш, и вдруг — в райком; и потому Светов, поняв это, продолжал досказывать свою историю смело, ничуть не обращая внимания на ухмылки и иронические реплики пассажиров.

— Правду говорю: секретарь райкома Ярков Пал Василич. Ну вот, ворвался я в райком, шмыгнул в приемную и норовлю это прямиком в кабинет.

— В кабинет к первому,— уточнил для важности матрос, со значительным жестом чиркнув по воздуху указательным пальцем.— Я верно говорю, Андрей? К пер-во-му!

— Ну,— Андрей развел руками: само собой, мол, к первому.— Рву, значит, постромки я, шустрю. За ручку тяжелой двери хватаюсь. А пухленькая такая секретарша цап меня за рубаху и назад.

— Ну вот, теперь верим, паря,— согласно тряхнул русой бородищей Рулев.— Натуральная картина.

— Да что мне врать-то?! Такое было... Ну, тянет она меня назад от двери и орет: «Куда, фулиган, прешь?! Счас милицию вызову!» А я ей: «Не надо, тетя. Я от милиции и сбегаю». Эх, как подскочит она на месте: «Ах ты, чертенок! Ах ты разбойник!» В этот самый момент дверь кабинета распахнулась, и я увидел секретаря. Шум-то, видать, он услыхал. Дядя, говорю, Паша, спасите! «О, Андрей! Да ты откуда? Что случилось? На тебе лица нет... А ну заходи, рассказывай». А у секретарши челюсть отвисла. Он ей объяснил, чтобы шары не таращила: «Мой хороший знакомый. Сын моего друга Светова, боевого партизана». Ну, зашли мы в кабинет. Он меня, оборвыша, в кресло усадил. Я ему все и выложил, что было. Как есть все выложил.

— И чем же все закончилось? Интересно очень.

— Никольского из милиции турнули. Сразу же. Пал Василич в наш колхоз приехал. Народ собрал. И извинялся. Прощения просил. За весь райком. И за милицию.

— Ишь ты!— кустистые брови Рулева, взлетев вверх, распахнули настежь васильковые глаза.— Стал быть, прощения просил? Добрый, видать, секретарь. Старой закалки. Большевицкой.

— Знамо. Хороший он. Правильный и веселый. Они с тятькой, когда кулаки восстали, за бандой Толстоухова гонялись. Поди, слыхали о таком?

— Слыхали.

— Пал Василич как мимо едет — обязательно к нам заглянет и молока парного попросит. Пил, правда, немного. Наверно, для заделья.

Поезд замедлил ход на маленьком полустанке с двумя-тремя бараками. На минуту задержался, лязгнув бу-

ферами. Потом снова с силой дернул вагоны и, чуть покачиваясь, начал набирать ход.

Грубовато продираясь через ноги, как через разбросанную поленницу дров, прошел к своему месту Оборотов.

— Ладно, Андрейка,— проговорил Рулев.— Хорошо, что рассказал нам об этом. Будем знать.

— Да, рассказал нам и хватит,— язвительно бросил не очень-то дипломатичный Василий Шапов.— И хватит,— с нажимом повторил он.— Понял? Особенно при таких, как Пантелей Тимофеевич.

— А што такое?— нервно передернул левой щекой Оборотов.— Кому я сызнова дорогу перешел?

— Ша, ша. Никому дорогу не перешли. Поезд ушел, дядя.

— Куда ушел?

— Да никуда поезд не ушел. Разговор окончен.

— А-а!

Пантелей Тимофеевич осмотрел свой пузатый мешок с лямками из двух полотенец, ощупал его рукой и успокоился.

— Дядь Лень, а можно еще раз ваши масляные краски посмотреть? А?

— Можно. Конечно, можно, Андрюха. А что это тебя так краски интересуют?

— Да я ж рисую. Акварельные краски только и увидел в глаза.

— Что ж, Андрей. У меня два комплекта. Один дарю тебе. Бери. Бери, бери. Да бери ты, не стесняйся.

— Бери, сынок, коли дарят от души,— сказал Рулев.— Дают — бери, а бьют — беги.

— Где твоя сумка-то?

— Вот она.

— Клади в нее. На добрую память. От меня.

— Спасибо. Получается: тростил, тростил и выпросил.

— Да ладно тебе! Брось об этом. Кой-какие тюбики неполные. Это я уже в дороге потратил. Пришлось живописью заниматься.

— В дороге? В вагоне, что ли?— рассмеялся Андрей.

— Да нет. Сойти пришлось. Говорить-то об этом...

— Небось, обовшивел?— догадавшись, бесцеремонно сказал Дементий Афанасьевич.

— Понимаете,— вздохнул Желнов,— подсадили в Чите в наш вагон молодых допризывников. Привезли

парней с Урала. Через день обратно отправили. На них и капала эта тварь. И по мне сразу поползли. Как мураши. Жуть!.. Не вынес. Сошел с поезда. Заглянул в один частный домик и попросил нажарить баню. Спасибо людям, пошли солдату навстречу... Ну и пришлось отблагодарить. Намалевал ковер.

— Лебедей, поди?— сморщился Андрей.

— Да ты что? Нет, конечно. Пейзаж написал. С алтайским видом. Озеро, лес, горы. Три дня отрезал от куцего отпуска. А до армии я тоже только акварельными красками рисовал. В китайской лавке города Гирина увидел масляные и обалдел. Набрал полный вещмешок. Попался под руку журнал с копией картины «Продажа рабынь». Решил попробовать силенки. Натянул на большой подрамник холст, а как его грунтовать — слыхом не слыхивал. В дивизионном штабе был у нас москвич. Побежал к нему. Может, знает, думаю. Оказалось: знает. Технология простая: развести столярный клей, смешать с мелом — и грунтуй. В общем, копия картины получилась. Солдатня в восторге. Да и у самого меня душа от радости кричала. Стал быть, что-то можем и еще — не только воевать. А тут замполит, майор, привязался: сделай его портрет да и только. Ладно, соображаю, попробую. И опять получилось. Не совсем, конечно, здорово. Но ничего, сносно для начала. А теперь отбою нет... У солдата, знаешь, времени в обрез. И книжку почитать надо и то и се. А ты садись и малюй портрет. Скучать, словом, некогда.

— Это и хорошо,— одобрительно отозвался Рулев.— Дурь в голову не полезет. Дурь ведь от безделья, золотые мои.

— Правильно,— согласился Желнов,— от безделья. А по сему за дело. Добить надо «Войну и мир» Толстого. Второй раз штудирую. Школьником еще читал. Так, пролетело. Многое не понял. А вот теперь, когда сам пороху хлебнул, другое дело. А ты, друг ты мой Андрей, не читал этой книги?

— Не. В нашей школьной библиотеке совсем книжек мало.

— Надо читать, Андрей.

— Да, знаю...

— Не приелась, танкист, война-то?— с ехидной ухмылкой спросил Оборотов.— Воевал, воевал да ишо и читать о войне. Не надоело?

— Да как сказать?— с неохотой отозвался на вопрос

лесничего Желнов.— Воевать-то надоело, а вот думать о войне только начинаю. Растревожила душу книга. Много вопросов встает. И не простых.

— Каки тут вопросы! Война есть война. Кто кого сожрет. Вот и вся наука о войне.

— Э-ха-ха, как-то просто все у вас, уважаемый!— так весь и вздернулся, так весь и загорелся Дементий Афанасьевич, точно сказанные Оборотовым слова задевали самые сокровенные, самые потаенные и болевые струны его души, задели и возмутили своей нелепой простотой.— Вся суть-то в том, что война сжирает и тех и других, но для чего, зачем? Вот в чем боль-то и горе людей, золотые мои!— он говорил уже не Оборотову, а тем, кто сидел ближе к нему: Желнову, Андрейке, Шапову, Оразалинову.— И в том еще беда, что звереет на войне человек. Ой как звереет в своей лютости! Кто, кто, а я-то на это нагляделся на германском фронте в первую мировую... Ох, нагляделся!.. Война, она немилосердная. Сколько калек остается от нее, сколько вдов! Не счесть. А сколько невинно загубленных душ!.. Помню, зашли в один городишко. И у второго же дома, в кювете, такое увидели, что волосы поднялись. Шесть мальцов лежало. Годков по десять им было. Не боле. Что они и кому доспели — ума не приложу. Детишки ведь! Двое черненьких, друг на дружку похожих, видно, братцы, так в обнимку и застыли с простреленными грудками. Эх, елочки зеленые! Что в сердце деялось моем — не передать словами! На всю жизнь запомнились мне те сгубленные ребятишечки...

— Каким же иродом надо быть, штобы деток-то!— тяжко вздохнула за перегородкой все та же старуха.— Будь вы трижды прокляты, убивцы!

— А эта война и у меня четырех сынов унесла. Да каких сынов! Как дубки — высокие, ладные. Вот пятый, középнький, Гриша и остался... Так что война вот где сидит у меня!— дед вытащил носовой платок и долго прикладывал его к глазам.

Помолчали. Поезд уже шел на большой скорости. Мелькали телеграфные столбы, редкие сосны. Деловито, в упругом ритме стремительного движения стучали по стальным рельсам колеса старых вагонов.

— А я, золотой мой сержант, этой книжки не читал,— вернулся к прежнему разговору Рулев.— А надо почитать хоть на старости лет. Великая книга, говорят.

— Доберемся до Защиты — я подарю вам ее.

— Да ты что, сынок! Сам поди с трудом достал.

— Ничего. Достану еще. Да я уж второй раз дочитываю. А вам и вправду она нужна. В самом деле, великая книга. Это, можно сказать, суровый суд жизни. Суд правдой. Вот ведь перечитываю. Все знаю. А опять будоражит. И все думаешь, думаешь... Что такое война? Зачем она? Кому она нужна? И как это Россия выстояла в такой беде? В чем тайна ее победы? Но главное не это. Главное в другом. Читаешь о той войне. А думаешь и о той войне и об этой. Особенно об этой. И вот тоже немало вопросов задаешь себе. С той войной все ясно. Поднял свою дубинушку народ — и всему войску Наполеона капут.

— Так верно,— покрутил свой пышный ус Дементий Афанасьевич...— Народ-то по духу оказался могутней Наполеона. Содрал, елки зеленые, штаны с него и поддал под голый задок. То же самое в аккурат и Гитлер получил. И опять же от всего нашего народа.

— Так-то оно так, да не совсем так...

— А почему, старший сержант, не так?— с безапелляционной запальчивостью бросил Василий Шапов.— Дедок паруса верно держит. Кто на народ пойдет, от народа и погибнет.

— Э-э, дядя Вася, не так,— усмехнулся Андрей.— Кто с мечом к нам придет...

— Знаю, дорогой путешественник. Это слова полководца. А то, заметь, мои, Василия Шапова. Если есть, писатель, тетрадь — чиркни. Пригодится. Знаменательные слова. Наполеон захапал всю Европу и двинул на Россию. У него — армия. А у нас — весь народ. Вот и дали ему на сто восемьдесят градусов поворот. Гитлер тоже, прежде чем пойти на нас, заграбастал всю Европу. Помогло? Накося выкуси. Народ и его вдребезги разнес. Всадил в жидкий грунт. Вот и вся правда. Что тут, старший сержант, дискуссии разводить?! Не знаю...

— Дискуссии никогда еще людям не мешали, Василий,— протестующе помаячил рукой танкист.— Чем меньше дискуссий, тем больше ошибок. И наоборот. История это помнит.

— Э, брось ты, Леша: тут спорить не о чем. Истина на ладони: против народа не попрешь. Две отечественных это и подтвердили.

— Так и правда, слушай, танкист,— развел руками красивый бородач Рулев.— Все в точности и повтори-

лось. И тогда народ стеной за Родину встал. И сейчас. Вот и одолели. Выдюжили.

— Бывало и по-иному... Но дело не в этом. Тут совсем другое. К тайнам этой войны с прежними мерками не подступишься. По личным качествам предводители двух нашествий не больно-то разнятся...

— Ну, сержант, сравнил!— всплеснул руками матрос.— Наполеон все-таки глыба. Гений военного искусства.

— А вот Толстой не считал так. Он содрал всю ложную позолоту с этого гения. Всю, как есть, содрал. Раздел его донага.

— И кто же он, по-твоему, старший сержант?— закипая, как задиристый петух, спросил Василий Шапов.

— Наполеон?

— Да, Наполеон.

— Ну, кто?— Желнов задумался.— Самовлюбленный позер. Властолюбец. Этакий тщеславный идол, царящий над воинской массой. Это Толстой его таким описал. Ну, такой он и был. Конечно, Наполеон — личность помасштабней. Хотя и фюрер не прост. Страшно хитер. В военном деле спец. И все же в одном они схожи, как две капли. И тот маньяк-завоеватель! И этот. Только сумасбродства и фанатизма больше. И жестокости.

— Нет, Леша, ты тут не заливай,— упрямо стоял на своем Шапов.— Гитлер и в подметки Наполеону не годится.

— Почему не годится? В подметки как раз годится!— рассмеялся Желнов.— Я, Вася, способности их не трогаю. Это не в счет. Речь совсем о другом. Не в личных качествах тут дело, моряк. Не в водоизмещении судна, а в его назначении. Не в тонкости и изворотливости ума, а в начинке души. Ни тот ни другой не мыслитель...

— Леша, ты что?! Ну все же признают военный гений Наполеона. Все!— Шапов вскочил с места и, артистично выбросив руку вперед с развернутой ладонью, еще раз убежденно повторил:— Все.

— Не все,— с улыбкой отбросил доводы Василия Желнов. Ясные зеленоватые глаза его светились спокойной уверенностью и снисходительной добротой, как будто то, о чем он говорил, давно продумано им и усвоено с глубокой убежденностью в открытой истине, и он только удивлялся, как это другие не могут понять той же самой правды. Ведь все так просто.

— Так-таки и не все?— Василий вновь сел и возбужденно потер колени. Темно-коричневые, почти черные глаза его горели задором и вызовом. Чувствовалось, что он, будучи ярым спорщиком, любил стоять на своем до конца.

— Конечно, не все,— Алексей помог Андрейке завернуть коробку красок в газету и положить сверток в сумку.— Наполеон был расчетлив в военном деле. Вот и все. Расчетливый жестокий игрок он — не больше. Так думают многие. В том числе и Толстой. Ну, разумеется, и я,— Желнов сделал шутливый реверанс.

— Ну раз Толстой и танкист Желнов заодно, куда уж нам!— не принимая шутливого тона Алексея, с жестким нажимом рубил фразы Шапов.— Я ведь тоже коечто читал о Наполеоне. Блестящих операций его никто не умаляет. Никто!

— И я не умаляю. Блестящие операции. Опытный взломщик-грабитель тоже совершает блестящие хитроумные операции. Но ведь это же не гений, а просто ловкий и расчетливый бандит.

— Но, золотой мой, Наполеон все-таки не такой уж упрямый идиот,— обращаясь к танкисту, сказал Рулев.— Ведь он же что-то понял к концу кампании! Не зря же в песне поется: «Зачем я шел к тебе, Россия? Европу всю держал в руках. .»

— Это не он понял. Это народ понял, и народ об этом пел. А сам завоеватель ровным счетом ничего не уразумел. Гитлер тоже до самой смерти ничего не понял. Деспоты и властолюбцы и после самого жестокого крушения остаются при своем апломбе. Каждый новоявленный Наполеон повторяет порочный круг своего предшественника. Упрямо и слепо. Пока будут пушки и бомбы, от фюреров не будет избавы. Пока будут пушки и бомбы... Для всех бесов слишком сладок соблазн завладеть властью над миром.

— Оно так, оно так, золотой мой,— согласно закивал Дементий Афанасьевич, и мягкие водопадные струи его бороды заметались над синей суконной косовороткой.— Совсем ты здесь, танкист, прав. Это самая что ни на есть первая правда на белом свете, елочки зеленые! Коль кто-то ладит бомбу за бомбой, значит,— кому-то они уже нужны. Кто-то уже спит и видит себя в обнимку с ними. Так оно, так. В аккурат все и получается: где бомбы ладят, там и бесы родятся. А бесы любят злую силу. Дурной да чумной всегда с силой балуются. Хучь его

разнесет,— зато какой трам-тарарам получится. Занятно. Сумасшедшие мозги, как магнитом, к бешеной силе тянет. И в чем тут закавыка — поди разберись! Так что, моряк, в словах танкиста больше правды, нежели в твоих. И что у Наполеона и что у стервы Гитлера — чумное было сердце. А чумной-то супостат рази может гением быть? Я ить так гения понимаю. Это самый умный, самый совестливый человек.

— Совестливый человек!— взмахнул перед собой руками, как дирижер, Василий Шапов.— Будь только в этом дело. Бывает ум и сам по себе. Дьявольский ум. Злой гений. Атомную бомбу тоже, видать, не дурак изобрел. Может, и он без совести. А вот гений. Злой гений! Вот так. Таким манером. Что, дурак он, этот американский атомщик?! А?!

— Не дурак,— согласился Рулев, с ухмылкой глянув на Желнова, как на единомышленника по спору.— Слов нет — не дурак. Умная стерва. И все же без совести. Такую погибель для людей придумать!

— Да он, может быть, и не знал, какой джин выскочит из его кувшина. Изобретал да и все!— Шапов окинул всех победным взглядом своих темных, как преисподняя, глаз.— Но ведь не дурак. Гений.

— Тут, Вася, совсем иная ситуация,— не проявляя ни малейшей горячности, возразил Желнов.— Совершенно иная,— и он посмотрел на моряка, как на ученика, который не может схватить суть самой простейшей задачки.— Пусть изобрел. Но это не гений.

— Дурак?!— раздраженно выкрикнул Василий.

— Нет, не дурак. Человек с тонким расчетливым умом. Он же не на голом месте изобрел. Сотни ученых пробирались к тайной силе атома. Многое — и самое главное — и без него было открыто. А он? А он, как пиявка, присосался к плоду Коллективного ума. Оставалось только чуть-чуть, чтобы приоткрыть дверь в адово пекло. Другие, видимо, не посмели. А он посмел. Видать, очень рвался первым сорвать этот ядовитый цветок, чтобы получить за него золотой куш. В древние времена был такой злой чудак. Храм сжег, чтобы прославиться. Этот ученый тоже сжигал храм. Ученый с холодным умом. И с холодным сердцем. Разве это гений?!

— Ну, моряк, давай сдавайся, золотой мой!— незлобиво сказал Рулев.— Танковые войска приперли к стенке морскую пехоту.

— И ничего подобного!— взвился Шапов.— Я стоял

и буду стоять на своем. Если б Зло было без ума, люди бы давно одолели его. В вашем тезисе — беспечность. В моем — бдительность. Тем и опасно Зло, что оно вступает в союз с Гением. Со злым Гением. Вот так. Таким манером,— довольный своими убийственно логичными доводами, Василий Шапов боднул победным взглядом Желнова. Смолевые разлетистые брови его упруго играли над полыхающими боевым задором глазами.

— Ладно,— примирительно и добродушно рассмеялся Алексей.— Суть не в том. Мы немножко в сторону ушли от начатого разговора. С чего же началось-то у нас?

— Да, кажись, с каких-то скрытых сил войны. Этой войны. Будь она трижды неладная!— в сердцах сказал Рулев.— Самое главное, золотые мои,— победили. Мы победили. Не они, злыдни, а мы. Добро верх взяло, елочки зеленые! Тяжко было. Ой, как тяжко! А победили.

— А вот почему победили — это надо тоже хорошо понять. На будущее. Чтобы знать нашу самую главную силу. Воевали-то люди. Солдаты. Сходились сила на силу. И мы одолевали...

— Так русский же народ?— густые брови Рулева метнулись вверх, распахнув всю озерную синеву его добрых ласковых глаз.

— Это не то,— сморщился Желнов.— Не одни же русские сейчас воевали. Все воевали. Грузины, татары, казахи... Все, все. Вот джигит Оразалинов, наш земляк, воевал. А на Волоколамском шоссе в сорок первом кто стоял? Наши, казахстанцы. Насмерть стояли. Тут есть что-то другое, Дементий Афанасьевич. Что-то другое. История помнит, когда и русских бивали. Сорок лет тому назад на Дальнем Востоке... Век назад в Крыму... А тут, в эту войну, считай, до самого сорок третьего года перевес-то в живой силе и в технике был на их, фашистской стороне. А мы выстояли. Почему?

— Э, тут и правда все не так просто. Едины были...

— Фашисты тоже были едины в своей ненависти к нам.

— Так ить весь мир удумали завоевать!

— Вот, вот. Стало быть, сплочение не в счет. Конечно, оно что-то значило. Но было что-то и другое. И у нас. И у них. И это что-то срабатывало и в каждой стычке, и в каждом бою, и в каждом большом сражении. Так что же это за сила? Я имею в виду нашу силу. И что была за слабость у них? Вот тут и надо пораскинуть мозгой.

Потом историки будут писать об этом ученые трактаты. Потом, когда нас не станет. Но ведь кто-то из них может и не то ляпнуть. А мы войну на своей шкуре выверили. Нам и сподручней истину искать. Что такое страх на войне? Откуда он? И почему? Что такое мужество? И пошло... Вопрос за вопросом. Почему один — герой, а другой — так себе?

— Герои, герои,— шмыгнул своим крупным широким носом Оборотов.— Все гордятся ратными заслугами. Все похваляются, а каждый поди и в штаны клал чуть што.

— Вы, дядя Пантелей, нас, фронтовиков, не трожьте!— повысил голос Шапов.— Не вашего ума это дело.

— А пошто не трожь!— грубо осклабился Пантелей Тимофеевич.— Все люди с понятием. Свое понятие имею и я,— в цепких лилово-серых глазах его плеснулись важность и самодовольство, а может быть, еще и презрение к говорящим.— Геройство оно как? Оно, может, больше на словах.

— Как это так — на словах?!— полоснул бедовыми цыганскими глазами огненную физиономию Оборотова Василий.— Что значит — на словах?

— Да так вот,— ощерил массивные желтые зубы лесничий.— На словах. Геройство, говорю, на словах больше. Ну, подняли в атаку. Ну, пошли. А попробуй-ка развернись, побеги назад,— свои же и лупанут по тебе.

— Что, что?!— темно-карие глаза Шапова округлились.— Как это — свои?

— Да, так — свои,— заерзал на сиденье Оборотов, и под блекло-палевыми, короткоостыми бровями его зло заметались мышиного цвета глазки.— Но што зенки-то на меня уставил?! Кто посмел бы отступить? А? Ну — кто?

— Смели! Отступали! Бывало и такое... Правда есть правда. Драпали! Но уж когда пошли вперед — вы тут, дядя, не пятнайте нашу солдатскую душу. Усекли?! Памятью тех, кто остался там, в земле, не дозволю гавкать таким, как вы. Паклей заткну зубастую варежку. Поняли?! Герои на словах! Ишь вы — тыловые философы! Туда бы вас, в окопы в сорок первом, так вашу перетак! Да чтоб обойму патронов на двоих! Да чтоб в самый лютый мороз в окопы! Да чтоб пристыли к земле с пулеметом! Да чтоб лаву танков на вас! А у вас ни единой пушчонки. Связки гранат — да и вся тут. И надо же такое — герои на словах! Прав ты, Лешка. Найдутся историки с пере-

косом... Вот такие, сытые дяди, с базарного ряда! Сапожек ему стало жалко!.. Вот уж кто не пошел так не пошел бы на танк с гранатой. Это точно. Как же — сапожки гусеницами поцарапало бы!.. Еще раз вякнете, дядя Пантелей — за борт смайнаю. Вот так. Таким манером. Усекли?

Пантелею Тимофеевичу надо было бы помолчать, переждать, когда матрос выпалит всю ленту своего запала и утихнет. Так подсказывал ему вести себя простой здравый смысл. Смешно лезть на рожон, когда ты не прав. А он уже подспудно, поддонно чувствовал, что ляпнул впопыхах, в злобе что-то несуразное, но остановиться в своей грубой перепалке с моряком уже не мог. Срабатывали застарелые привычки. Его натура.

— Говорун ты большой, морячок, как я погляжу!— выпалил Оборотов, впадая в какое-то полуопьяненное, невменяемое состояние; цепкие колючие глаза его затуманились и воспаленно метались с предмета на предмет, ноздри бешено раздувались; красные лощеные щеки судорожно двигались и дрожали, прыгала вместе с ними и коричневая бородавка у носа; неподвижно млели лишь горячие языки курчавистых баков.— Сам-то на танки ходил, в дышло тебя закатай?!

Пантелей Тимофеевич почти выкрикнул эти жестокие и всего скорее неправедные слова и почувствовал, как всего его окатило жаром смятения, и может быть, страха. Мир натуры глубок, сложен и во многом загадочен. Пойми попробуй, что больше формирует и пестует ее: усвоенные формулы и правила жизни или опыт, громада предшествующих поступков? Что заставляет человека сделать тот или иной выбор? Разум или глубинная суть характера? Разум велик как чудо из чудес Вселенной. Велик проникновением в тайны мироздания. Но одному ли разуму подвластны наши поступки?..

Человек всегда ответствен не за какую-то одну свою акцию, а за всю жизнь. Даже самый малый, ничтожно малый проступок — зеркало всех тайных борений и сдвигов души человека.

— Сам-то на танки ходил?— крикливо, на ноте близкой к истерии повторил Оборотов, и в уголках его больших вислых губ закипела пена.— А то гремишь, ровно старая телега с пустыми бочатами, а фашистов-то поди вблизи и не видывал. Кто сам ничо не доспел, тот громче всех и балабонит. Гер-рой, язви тя!..

Василия Шапова точно кто-то сорвал с сиденья и бро-

сил к Оборотову. Нет, он ничего не выкрикнул в яростном гневе. Он даже не замахнулся на лесничего.

— Ах вы, рыжая сытая скотина!— сквозь зубы процедил Василий и рывком схватил Пантелея Тимофеевича за грудки.— А ну, повторите, что вякнули!— тихо и глухо, почти шепотом проговорил он, точно потерял голос.— Так кто же это не видел фашистов?!— только теперь вырвался из его горла клокочущий крик.— Я?! А ну — повторите... Да повторите же — ну!— и Василий рванул тяжелую тушу Пантелея Тимофеевича вверх с такой силой, что тот стукнулся головой о среднюю полку вагона.

— Но, но! Полегче, матросик!— Оборотов вцепился обеими руками в жилистую, натренированную в драках руку моряка.— Расфулиганился тут! Да отцепись ты от меня, стерва!— и лесничий, еще раз, уже сам, со всего маху ударился затылком в ту же самую массивную полку, на которой спал контуженный сын Рулева Григорий.— А штоб тебя!..

Разбуженный Григорий испуганно закричал:

— А-а-а! А-а-а!

Он приподнялся с подушки, обхватил голову руками и, раскачиваясь из стороны в сторону, все повторял одно и то же: А-а-а, а-а-а,— правда, с каждым разом все тише и тише.

Дементий Афанасьевич не обронил ни слова, он обхватил напуганного сына руками и все ласково, успокаивающе гладил его, как малого ребенка.

Набиден Оразалинов, казалось, совершенно спокойно наблюдал за шумной неприятной ссорой по-петушиному задиристого моряка и Пантелея Оборотова. Ни одним порывом не выдал он своего волнения. Только будто какая-то тень смахнула с округлого симпатичного лица обычную его светозарную улыбку, да поблекли, затуманились раскосые ясно-карие, по-детски доверчивые глаза джигита. Но вот он встал и широко шагнул к недостойно ведущим себя драчунам.

— Вася, нельзя так,— властно проговорил он и одним движением левой руки отстранил Шапова от Пантелея Тимофеевича.— Нельзя!— повторил он, укоризненно поглядев в бедовые омуты глаз матроса.— Зачем так? В вагоне женщины, аксакалы, бала. Это же, дорогой мой, не поле сраженья. Хватит. Навоевались. По самое горло. А вы, дядя Пантелей, тоже тише. Жаман ваш язык. Злой язык. Паршивые у него слова. Еще раз ска-

жете худые слова о моряке, о танкисте, о пехоте,— вот так схвачу и совсем с окном туда выброшу. Гуляйты степь.

— Хорошо сказано,— успокоенно, примирительно проговорил матрос, оправляя полосатую тельняшку.— Хорошо и верно. А главное — вовремя. Вот так. Таким манером. Усекли, Пантелей Тимофеевич? И за бо-орт е-е-его смай-на-аем,— пропел он,— как перси-идскую княжну-у.

— А ну-ка вас!— с угрюмым ожесточением буркнул Оборотов. Он хотел что-то еще сказать, но постоял с открытым ртом, запаленно дыша, и лишь махнул рукой. Глаза у него были какие-то стеклянно-неподвижные. То они по-мышиному юлили, шмыгали туда-сюда, а теперь вроде бы застыли, онемели в каком-то гипнотическом напряжении. Темно-свинцовые зрачки их пронзили матроса холодным неистовым светом. Оборотов не мигал, и взгляд этот был страшен в своем неколебимом безжалостном отчуждении. На мясистом, медного цвета лице Пантелея Тимофеевича проступали искрами мелкие капли пота.— Э-э, говорить-то с вами!— только и выдавил он из себя и, тяжело переваливаясь, припадая на хромую ногу, решительно направился к тамбуру.

— А-а-а, а-а-а,— снова закричал притихший Григорий.

— Что, сына, с тобой?— спросил отец и подставил свое плечо под голову контуженного.— Опять боли. Мучают? А? Потерпи. Я еще тебя чайком с медом напою. Оно и пройдет.

— Я вспомнил, батя!— морщась и качая головой, выкрикнул Григорий.— Все вспомнил!..

— Что вспомнил?

— Все. Как взорвался снаряд. Как летел огонь... Как летела земля... Все вспомнил. Весь бой вспомнил. Это я во сне увидел. И все так, как было. А может, не во сне?.. Не знаю... А вот как сверкнуло что-то — и я увидел весь тот бой.

— А ну-ка, ну-ка, расскажи, пока не забыл,— оживился Дементий Афанасьевич.— Расскажи, сына, покуда затмение прорвалось. Это хорошо. Это ловить надо... Вот что горные травушки-то доспели!

— Это еще и от крика, от шума,— заметил Желнов,— от испуга. Так бывает.

— И то верно,— согласно кивнул головой потрясен-

ный нежданной радостью Рулев.— Воистину: нет худа без добра. Говори, сына!

— Сейчас, сейчас...— сейчас все вспомню,— Григорий вдруг весь резко передернулся, будто только что ахнула поблизости мина, и он стряхивал с себя земляную мелкую россыпь.— Сейчас... Ко мне в госпиталь приезжали, спрашивали, подбивал ли я танки, или нет, а я ничего не знал, ничего не помнил. Теперь все вижу. Все, все!— и больной глянул на Дементия Афанасьевича просветленными, такими же васильково-синими, как у отца, глазами.— С чего же началось-то в тот раз? А, с артналета...

VII

Случилось это летом 1944 года. Наши части, преследуя отступавшего противника в районах Магнушева и Пулавы, с ходу форсировали в нескольких местах Вислу и закрепились на захваченных плацдармах.

Немецкое командование, сознавая всю тяжесть потери важнейшего водного рубежа, бросило на спасение своих позиций лучшее из всего, что оставалось в резерве, в том числе танковую дивизию СС «Герман Геринг». Разгорелись яростные бои.

Григорий Рулев и находился на острие одного из таких отвоеванных у врага клочков земли на западном берегу реки.

Всю недолгую ночь он ни на минуту не сомкнул глаз: день будет жарким. Чтобы выстоять, а если повезет, и выжить, на этом адовом пятачке, надо не на судьбу надеяться, а на собственную ловкость и находчивость. Да и на трудолюбие тоже. Сделаю боковую ячейку,— решил он. Если приключится бомбежка, можно и нырнуть в гнездо. Все понадежней. Да и не так страшно. Только поглубже следует вырыть этот закуток. И полочку выдолбить нужно. Для боеприпасов.

И он старался изо всех сил. Ночь оказалась не такой уж и темной, захваченную немецкую траншею то и дело озаряли трепетно-текучие сполохи ракет и близких пожарищ: где-то догорали подожженные днем левобережные дома. Может быть, в тревожные кровавые всплески военных огней вливались и тихие вздохи летних зарниц. Пойми-ка тут, на передке, в непрерывном огненном противоборстве двух сил, что и где грохочет, какие багрово-

фиолетовые, зеленовато-фосфорические отсветы бросает на землю рефлектор продымленных небес!

Он рыл землю короткочеренковой лопатой с истовым усердием, с жестоким осмысленным упорством, будто от надежности этого простого окопного укрытия зависела и его жизнь, и успех предстоящего неминуемого боя, и судьба всей войны. Нет, в пекле сумасшедших битв ему еще не удалось побывать. Как-то все проносило его стороной от главных событий, которые опаляли молодого солдата-сибиряка лишь горячими своими краями. Да и не так уж много был на фронте — немногим более полугода. Но увидеть то, что закаляет волю, что воспаляет неизбывно-ярую ненависть к врагу, война отпустила на его долю с лихвой.

Немало встречалось на его пути дотла сожженных фашистами деревень. Не раз скорбно замирал он у виселиц, на которых покачивались от ветра посиневшие трупы стариков и женщин. Однажды в спаленном до основания хуторке он заметил у свежей могилы мальчишку лет десяти-двенадцати с лопатой в руках. Устало опираясь на черенок лопаты, с отрешенной от жизни, от всего белого света тоской немо и недвижно глядел он на черный холмик влажной земли. И не плакал, не всхлипывал. В нем словно все окаменело — и худая, костистая фигурка, и бледно-серое лицо с воспаленными красными глазами. Он, кажется, ничего не слышал, ничего не замечал вокруг, и молча, с запекшейся болью все глядел и глядел на сырую осеннюю землю, будто не в силах был понять случившееся. И только по впалым щекам его скатывались редкие и крупные, как горошины, слезы и, на мгновение зависнув у подбородка, срывались от невыносимой тяжести и падали в одну и ту же точку свежей могилы.

Григорий окликнул его несколько раз. Он ничуть не изменил своей окаменелой позы. Тогда Рулев подошел к подростку и участливо положил на его плечо свою большую руку. И лишь теперь малый поднял голову, и столько смертного горя плеснулось в его затравленных глазах, что Григорий вздрогнул от боли. Он прижал к себе мальчика, и тот зарыдал. Верно, прорвалось в нем все пережитое. Он плакал со стоном и надрывными вскриками...

— Утром немцы нагрянули,— рассказывал потом Рулеву несколько успокоенный подросток.— Хватали всех, кто попадется, и в сарай. Заломили двери. Подо-

жгли сарай со всех сторон. Потом стали поджигать все. А мы в землянке спрятались. Мамка, Таня, Генка и я. Смотрим в щелку. Видим, как избы горят. А тут откуда ни возьмись — солдат с автоматом. И к землянке идет. Мама толкнула меня к заднему лазу: «Шмыгай в картошку!» Я и выполз. Только укрылся в ботве — слышу: взрыв. А потом автомат два раза стрекнул. И все стихло. Каратели ушли, а дома еще долго горели. Я как подошел к землянке, так и обмер. Таня и Гена лежали у двери. Мертвые. Их фашист из автомата простриг... Мамка еще жива была. А потом и она померла. Теперь я совсем, совсем один!..

Все это было, было. Совсем недавно было. Повидал Григорий и многое другое. Да, в черные смерчи крупных сражений его пока судьба не бросала, но и в тех боях, через которые он прошел, продубилась душа солдата изрядно. Грохот первых взрывов. Посвист первых пуль и осколков... Все это позади. Приглох обычный в ратных делах страх. Взрывы и огонь притерпелись. А вот злость не утаивала. Она копилась. Кипела. Клокотала. И к этому последнему своему бою Григорий Рулев был заряжен взрывной силой до предела. И потому так тщательно, так расчетливо, с таким нетерпеливым чувством желаемого возмездия врагу готовился он к предстоящему жестокому сражению за плацдарм. А что схватка с фашистами будет жестокой и смертельной — в этом никто в окопах не сомневался. Гитлеровцы непременно попытаются смять их, раздавить, сбросить в реку.

Нарезав лопаткой последние ступеньки на скосе траншеи, рядом с боковой ячейкой, Рулев отбросился спиной на противоположный земляной скат передохнуть. И лишь теперь почувствовал, как по лицу текли обильные ручьи пота. «Ничего, ничего,— подумал,— сейчас потно — в бою полегче будет. И приступки сгодятся. Чуть что — разом выброшусь вперед».

На рассвете по окопам и траншеям разнесли завтрак. Выдали про запас пайки хлеба, сахара, махры. Он не курил, отдал табак соседу.

— Слышь, друг!— позвал его новичок, из вчерашнего пополнения.— Возьми мой сахар.

— Это зачем?

— Дак зачем? Есть.

— А ты что? Сам-то?..

— Да я, знаешь, не очень его.

— Врешь! Это ты за махру, друг. Не надо. Я ж вза-

правду не курю. Зачем мне махра? Могу и выбросить. А сахар ты сам съешь. Все силенки прибавится. Она нам, брат, сейчас во как пригодится.

— Ну, спасибо. Извини, если что...

— Ничего, ничего. Подкрепляйся. Вот-вот начнется.

Подкрепиться как следует не успели. В воздухе потянулись нити характерного тонкого повизга летящих мин, и тотчас раздались сердитые резкие взрывы, будто разом стало резко, с треском лопаться все вокруг: гав, гав, гав!.. Тягуче запели, зашуршали осколки.

— Ну, началось!— крикнул Рулев.— Держись, брат!

И опять тягучие нити визга. Уже мощнее и шире. В тонкий комариный писк легких мин вплелись более грозные звуки тяжелых снарядов. С каждым мгновением раздирающий душу визг, пофыркивающий вой набирали силу, пока нити предельных звуков не обрывались в мощных взрывах. Земля качалась и дрожала. Левый берег реки утонул в кромешном огне, в густой наволочи пыли и дыма.

Сколько длился минометный и артиллерийский обстрел, Григорий точно не знал. Ему казалось, что этот ад гремел, ухал и клокотал бесконечно долго. Совсем рядом, где-то справа, с оглушительной силой грохнул тяжеленный снаряд. Земля судорожно, точно живая, дернулась и, казалось, вздыбилась вверх. Рулева толкнуло в ячейке из стороны в сторону, а потом с шумом присыпало комьями земли.

В ушах звенело. То ли от близкого взрыва, то ли от внезапно воцарившейся тишины.

Раздался чей-то властный, требовательный крик. Слов Рулев не разобрал. Щелкнул, словно пастушеский бич, пистолетный выстрел, и на наших позициях сразу заговорило несколько ручных пулеметов. Разбросанно захлопали винтовки. Немецкая сторона ответила сплошной волной автоматных очередей.

Григорий стряхнул с себя землю и выскочил из ячейки с винтовкой в руках. Фашистские цепи были уже совсем близко. Стрелял Рулев всегда хорошо. И только попался ему на мушку пепельный мундир бегущего автоматчика, как он тут же плавно натянул на себя спуск... Еще, как охотник, он знал одно непреложное правило: хочешь попасть в цель — не дергай крючок.

Рулев только еще давил на спуск, а уже чувствовал, что не промахнется. Почти одновременно с выстрелом ткнулся в траву, взмахнув руками, фашист. Григорий,

торопливо передернув затвором, снова поймал на мушку спереди бегущего солдата с дико перекошенным ртом и непрерывно стрекочущим автоматом в его руках. Этот не ткнулся вперед, а как-то судорожно вздрогнул, выронив автомат. Остановился и грузно свалился на левый бок.

— Есть!— щелкнув затвором, яро отметил Рулев.— Это вам не курочек в сараях ловить... Это вам не с малыми детками сражаться! А ну, а ну!— кричал он в каком-то беспамятстве, будто вызывая фашистов на себя.— А ну, гады!..

Третий раз он выстрелил, почти не целясь, потому что бегущие фашисты были совсем рядом.

— А, черт!— выругался он и, бросив винтовку, раз за разом метнул в наседающих немцев три гранаты.

И вновь в его плечо плотно уперся приклад винтовки. И вновь он быстро поймал на мушку голубовато-серый мундир и, нажимая на спуск, остервенело стискивал свои зубы, стискивал до страшной боли, до судорожной ломоты в челюстях.

— А, так твою так!— с бешеной ненавистью прорычал он после того, как очередной сраженный им немец вскинул руки в последнем смертном движении.— Землицы захотелось? Получай!— хрипло, запаленно выкрикивал Григорий. Никогда он еще не убивал на войне с таким злорадным восторгом, с таким бешенством! Будто вскипело в нем все, будто сорвалась с крючка вся его сила.

Фашисты уже начали отходить, и Рулев ловил прицелом теперь их спины, подсвеченные лиловыми лучами восходящего солнца. Но винтовка, как назло, ходила в его руках ходуном. После спада безумной горячки, которая вдруг охватила все существо Григория в первые минуты боя, наступило какое-то ознобное расслабление. Все тело болезненно колотилось, словно после долгой ледяной купели.

Рулев, нажимая на спуск, с огромным усилием воли приглушал на какой-то миг дыхание, но это не помогало: пули летели мимо. Когда поле опустело, он бессильно ткнулся головой на распростертые по брустверу руки. Дышал часто и тяжело: из груди, как из кузнечного меха, доносились хрипы. Потрясение схватки с врагом отняло у него всю душевную и физическую энергию.

Мало-помалу укротилось запаленное дыхание, унялась в теле дрожь.

— Слышь, браток, как дела?— еще не поднимая головы, окликнул он соседа и, не получив ответа, встревоженно повторил, отрываясь от бруствера.— Да ты жив ли, брат?!.

И он осекся, увидев распростертое неподвижное тело солдата. Он лежал на спине, головой к вырытой ячейке Рулева, весь залитый и обрызганный кровью, изрешеченный осколками, с напрочь вырванной челюстью. Это страшное дело того близкого снаряда. Григория спасла ячейка, а вот солдата-кореша разнесло...

Рулев закрыл глаза. Вот так и его бы распотрошило, если бы не эта спасительная выемка в траншее. Видно, судьба... Малое, нехитрое приспособление, а помогло.

Закрыв убитого бойца плащ-палаткой, Григорий доложил взводному о случившемся.

— Пусть пока лежит,— хмуро сказал командир взвода.— Есть и убитые, есть и раненые. Дождемся подмогу — раненых отправим на ту сторону, мертвых похороним. А сейчас на место, боец! Гранаты есть?

— Имеются.

— Я имею в виду противотанковые гранаты. Есть?

— Так точно. И то и другое. Я этим добром всегда обзавожусь с резервом. Мало ли чего!..

— Верно. Молодец! Сейчас надо ждать новой волны. Или самолеты налетят. Или прорва танков пойдет. Так что — держитесь.

— Разрешите идти, товарищ лейтенант?

— Идите. Желаю удачи!

— Ничего,— улыбнулся Григорий.— Живы будем — не помрем!

Ждать нового натиска фашистов долго не пришлось. Солнце еще не осушило на траве обильную июльскую росу, как над зыбучей опушкой дальнего леса, все еще млеющего в текучей утренней роздыми, чиркнули змеями красные и синие ракеты. Через несколько секунд четкие купы лиственной рощи почти напрочь задернулись зловещими буровато-сизыми клубами дыма, и только потом оттуда, от леса, поглощенного вихрями мрачного смрада, донесся басовитый вибрирующий гул. И земля, как бы качнувшись, разом отозвалась глухим утробным рокотом. Григорию показалось, что это содрогнулся весь белый свет.

— Ну, вот... поперли,— сказал сам себе Рулев.— Гады!.. Чтоб вас перевернуло всех да трахнуло!..

Он положил перед собой две противотанковые гранаты на первый случай; и стал ждать. Волновался. Волновался гораздо сильнее, чем утром, на рассвете, когда позиции атаковала пехота, и может быть, от того, что на плечи ложилась во сто крат большая ответственность и тяжесть. Несколько раз переложил с места на место гранаты. Зарядил винтовку. Пригодится и она.

Нет, не то чтобы его давил обычный голый страх перед опасностью. Это естественное чувство боязни огня и смерти, которое неизменно преследут необстрелянных, сгорело в нем в первых же боях. А вот состояние необъяснимого чувства тревоги росло в нем вместе с приближающимся грозовым рокотом. Сходиться с множеством танков ему еще не доводилось. А ведь это стальные громадины с пушками и пулеметами! Тяжеленная бронированная махина и пехотинец, с винтовкой, с гранатами!.. И вот с ними-то, с уродливыми тварями, им, защитникам плацдарма, и предстояло сейчас сразиться не на жизнь, а на смерть.

Противотанковые ружья, конечно, в ротах есть. Но не так-то и густо, что тут себя обманывать. А вот успели ли подбросить ночью хотя бы одну артилллерийскую батарею? Вряд ли. Бог войны пожалует сюда всего скорее во второй заход. Так что рассчитывать надо только на свои силенки, на свою злость и сноровку. Назад не сдвинешься ни на шаг. Стало быть, весь смысл твоей жизни на данный момент — в ней, в этой узкой глубокой траншее, вот в этих гранатах, в твоей ярости.

Сосед справа уже не слышит гула и рева моторов. Слопала война парня. Жаль. Григорий глянул влево. Здесь все новички, никого из них он не знает. Тоже все прилипли к брустверу, ждут.

Солнце уже припекало затылок и шею, щедро заливало мягкой позолотой чистый суходол, изрытый рваными черными воронками, устеленный серыми чурками фашистских трупов.

Впереди, между двух больших воронок, метрах в пятнадцати от траншеи Рулев заметил сноп кустистого шалфея, выпрыснувшего вверх крупные ядреные фиолетово-синие стручки цветов. Над пышными метелками шалфея долго кружился шмель, точно он никак не мог признать за цветы его длинные яркие кисти-стручки. Может быть, оттого, что шалфей, обданный гарью зловонного тола, потерял свой природный медовый аромат. Наконец шмель упал на синий наконечник соцветия, и тот упруго качнул-

ся. Шмель трепыхнулся золотыми крылышками и пополз по цветку.

Удивительно, как выстояли эти нацеленные в небо султаны шалфея? Как не скосили их до сих пор осколки? А может быть, уже немало цветов безжалостно срезано свинцом и железом? А вот этот букет шалфея остался, мужественно выстоял и вызывающе дерзко синеет теперь на солнце, как бы назло врагам!

Рулев глянул на поле, затянутое дымом. Там, в темно-буром мраке, как на фотобумаге, брошенной в проявитель, медленно вычерчивались лилово-серые коробки танков, чем-то похожих на неуклюжих динозавров. Длинные покачивающиеся стволы пушек с нахлобученными надульниками напоминали прямые шеи с небольшими змеиноподобными головками этих доисторических чудищ.

Рокот, рев и скрежет нарастали с угрожающей быстротой, и от этого сплошного громового гула становилось жутко. На салатных боках тех танков, что двигались к левому крылу нашей обороны, уже четко различались белесые кресты, серебряный блеск отполированных траков гусениц.

И вдруг змеиные головы танковых орудий пыхнули огнем, и почти тотчас же оглушительно захлопали взрывы снарядов, взбивая огненно-черные фонтаны на позициях плацдарма. В звонкие выстрелы орудий, в резкие трескучие взрывы снарядов, в лязг металла вплелась зычная скороговорка пулеметов. Свистели пули. Истошно взвизгивали осколки. Все смешалось в кромешный гул и огонь.

Рулев, изредка выглядывая из-за бруствера, наблюдал за продвижением машин. Один из головных танков шел прямо на него. «Если я подпущу его близко к траншее, вот до этого бугорка, то потом не успею поразить,— мелькнула у Григория опасливая мысль.— И тогда... Нет, надо выброситься вперед. Как только он задерет передок, влезая на бугор,— вот тут-то и нужно ловить момент». Он взял две пузатых противотанковых гранаты и приготовился к броску.

— Ну, была не была!— скрипнул он зубами.— Вот к тем воронкам и рвану. Совсем кстати они сгодились.

Григорий пригнулся, вобрал в плечи голову, ему показалось, что танкисты заметили его и потому прут прямо к нему. Мотор танка, рыкнув, взревел с удвоенной силой. Пошел на подъем. Пора. Рулев поставил носок левого ботинка на выдолбленную приступку, пальцы ле-

вой руки вонзил в травянистый бруствер и пружинисто выбросил себя из траншеи. Пять, шесть саженных прыжков — и он уже в воронке. Танк показал ему свое днище, и Григорий, ни мгновения больше не мешкая, метнул гранату прямо под левую гусеницу: получай, стерва! Ахнул мощный взрыв и грозный «тигр», точно от боли, рявкнул всей мощью мотора. Слетающая с бандажей гусеница, посверкивая на солнце, струилась змеиным выползком. Тупое лимонно-пепельное рыло танка шло в сторону, туда, где звенели поврежденные взрывами траки. Рулев, примерившись, швырнул на раскаленный задок машины вторую гранату. И довольно удачно: как раз в надмоторную часть, и на броне моментально заструились, заскручивались слепяще-алые, дышащие жаром жгуты.

— Э, горишь, сука!— с ненáвистной болью просипел Рулев и метнулся ползком к траншее. Кубарем свалился в ров, хватая на лету винтовку. Экипаж горящего танка уже успел выскочить из люков, но его тотчас же сразили злые, трескучие очереди наших автоматов.

— Молодец, боец!— донесся до слуха Григория чей-то ликующий голос.— Здорово ты его!

И до сознания Рулева лишь сейчас, после этого радостного возгласа, дошла вся ошеломляющая суть совершенного им дела, и в нем все так и запело торжеством неистового восторга.

— А, не так страшен черт!— в величайшем возбуждении крикнул он, даже не обернувшись к левому зигзагу траншеи, туда, откуда кто-то похвалил его за чистую «работу» с фашистским танком. Все внимание его сосредоточилось на танках. Шесть-семь бронированных громадин уже чадили тяжелым нефтяным дымом. Но другие наседали, прорывались к окопам. Вот кто-то метнул гранату под танк почти в упор. Машина завертелась на месте, но второй танк, который шел почти рядом, ткнулся в траншею и медленно пополз через нее. И тут случилось невероятное. Кто-то выпрыгнул из окопа со связкой гранат и бросился под танк. Мощный взрыв потряс левый берег реки.

— Эх, зачем же так-то, браток?!— простонал Григорий, стиснув зубы, закрыл глаза.— Уж пусть лучше они гибнут! Нельзя их близко подпускать к окопам. Нельзя!— и он сплюнул невесть откуда взявшийся во рту песок.

Говорят: невозможно в несколько секунд вспомнить

и осознать, даже урывками, то, что происходило с тобой в течение длительного времени, в разных местах, в различных ситуациях, но что связано между собой одной общей мыслью, какой-то одной темой. Нет, возможно такое. По своему фронтовому опыту знаю: вполне возможно. Бывает, в ином самом страшном положении память твоя, словно уплотнившись в тысячу раз, вдруг высветит и чередой пропустит перед твоим внутренним взором десятки картин: и солнечную березу твоего детства, и первый робкий девичий поцелуй, и проводы на войну, и первый твой бой, и первые потери друзей... И силы поднимутся в тебе с новым напором. Мысль заработает в бешеном, в ускоренном темпе.

Такое случилось и с Григорием Рулевым.

— Нет, нельзя подпускать их близко!— глядя на горящий танк, под которым погиб боец, повторил он, и сознание высекло из ячеек его памяти сразу множество картин: и жуткие виселицы, и черные сожженные деревни, и большое пшеничное поле с фашистскими танками... До первого ранения Григорий был разведчиком. Возвращалась однажды их небольшая группа с задания и наткнулась вот на это самое поле. Немцы согнали на него человек сто раненых советских бойцов и начали утюжить их танками. Вроде как бы учебный полигон устроили для своих танкистов. Пленные метались по пшенице, а танки гонялись за ними и давили их...

— Что — жарко?!— с жестоким злорадством бросил он и выстрелил по танкисту, который ошалело выбросился из башенного люка.— Это вам, гады, не безоружных пленных давить! Нам еще есть чем воевать с вами!— и Григорий, снова, как и первый раз, прихватив две гранаты, пробежал по траншее метров пятнадцать и выбросился за бруствер. Быстро пополз к черневшей впереди воронке.

— Вот и хороша позиция!— отметил он, ныряя в глубокую воронку.

Танк полз на него по ровному месту, и выглядывать из воронки было опасно. Григорий затаился, вслушиваясь в нарастающий звенящий гул мотора. Метров тридцать осталось, двадцать... Танк вел непрерывный огонь со всех видов оружия. Над головой Рулева динькали пули, осколки.

Ну вот, кажется, можно. И первая граната, кувыркаясь в воздухе, полетела под днище танка. И только ухнул взрыв, как Григорий тут же метнул другую гранату, уже

под самую гусеницу машины. Уверенный в том, что дело сделано, Рулев выпрямился. К неописуемой радости заметил, что танк подбит и развертывается. Больше ничего не успел углядеть. Впереди, почти рядом, вздыбилась рваная черно-красная стена; и он начал тонуть в этом тягучем и вязком месиве из огня, земли, тола и металла, чувствуя острую, раздирающую боль в голове. А потом в глазах стало меркнуть и какая-то неодолимая свинцовая тяжесть потянула его вниз, в черную пропасть; и вместе с этим падением гасла в затылке боль. И вдруг на высокой ноте тонкого звона все оборвалось — и свет, и боль, и звуки... Все, все.

VIII

— Вот так и закончился для меня тот бой,— заключил Григорий упавшим голосом.— А жаль. Так хотелось, братцы, подпалить еще две-три полосатых твари! Так хотелось!..

— Эк, какой ты, сына, чудной!— просиял синими глазами отец.— Да ты и так два танка ухайдокал. За одно это героя дают, золотой мой! Два танка — надо же! Вот ты какой у меня, елочки зеленые!— и Дементий Афанасьевич, который по-прежнему стоял у средней полки, ткнулся в плечо больного Григория и беззвучно заплакал — скорее от нахлынувшей радости, чем от горя: к сыну вернулась память!

— Да, Дементий Афанасьевич,— сказал после некоторой паузы Василий Шапов,— Золотая Звезда Героя вашему сыну обеспечена,— и он потрепал рукой упрямые пышные вихры своих черных волос.— Как пить дать — обеспечена!

— Дак нет, матрос,— возразил Рулев-старший, опускаясь на свое место на нижнем сиденье.— Уж коли сразу не было замечено, то теперь дело безнадежное,— он вынул из кармана большой носовой платок и начал вытирать слезы.

— Э, братцы, да дело ж совсем не в этом!— отмахнулся Григорий.— Совсем не в том дело. Главное то, что я многое тогда мог. Многое! Если бы вы это знали! Я готов был зубами грызть эти танки! Зубами!— простонал он и вновь обхватил руками свою больную голову.— А... Какая боль опять, батя! Какая боль!..

— Сейчас, золотой мой!— спохватился Дементий Афанасьевич, раскрывая свою походную сумку.— Ты

больше не говори, Гриша. Тебе это вредно. Выпей-ка вот медовой травянушки. И усни.

Григорий залпом выпил стакан пряного лекарственного настоя и расслабленно отбросился на подушку. Пассажиры помолчали. Когда стоны Григория утихли, они вновь заговорили, но уже сдержанно, без особых всплесков эмоций.

— Вот ты, Леша, все бьешься в поисках причин нашей Победы,— проговорил Шапов в раздумье, с расстановкой, что никак не соответствовало его горячему характеру, его манере высказывать свои мысли быстро, как бы давно заготовленными фразами.— Истинных причин тут много. Да, много. Но, наверно, есть самые главные... В рассказе Григория — одна из главных... Возможно, и самая, самая главная. Тут и брошен якорь твоей правды, танкист. Вот так. Таким манером.

— Да, Григорий — батыр,— одобрил мысли матроса Набиден Оразалинов.— Большой батыр. Вот такие и Москву собой прикрыли. И Сталинград. И всю страну.

— Я его хорошо понимаю,— Василий кивнул темнокарими глазами на среднюю полку, где успокоенно дышал Григорий с коротко остриженной русой головой, с бледными впалыми щеками.— Очень хорошо понимаю. Я, конечно, вот так, как он, за плацдарм не бился. Не довелось. Кривить душой не будем. Но бывали моменты, когда и мне хотелось зубами горло им грызть!.. Не мы виноваты в этой нашей лютой ненависти к ним. Никто их не звал. Сами набежали, как голодные бешеные крысы.

— Значит, и тебе пришлось хватить лиха, золотой мой?— посочувствовал матросу Дементий Афанасьевич.

— Пришлось, отец. Всем понемногу досталось. И контужен. И ранение имею. И танки их видел... И с эсэсовцами сходился. Все было.

— У каждого, выходит, свой плацдарм был.

— И, видно, не один... Кто всю войну протопал — нахлебался всего вдосталь. Вот так. Таким манером... Помню, в добрую свистопляску попал наш батальон у Волги. Это где-то у Бекетовки. В нескольких километрах от Сталинграда. Помню, там еще элеватор в сторонке маячил. Позиция оказалась, прямо скажем, незавидная. Окопы, что твои морщины на лысой голове. И самолеты нас гвоздили. И артиллерия долбила. Земля качалась, как палуба корабля. Для нас, морских пехотинцев, качка не в диковинку. Но от этой качки жутковато становилось... А как-то пасмурным утречком... Дело было в октябре,

Так вот, утречком фашисты вдруг окатили нас таким шквалом минометного огня, что головы поднять нельзя было. Ну, думаем, сейчас полезут. Так оно и случилось. Заурчали, загудели тяжелые танки. А за танками, в клубах пыли, пехота повалила.

— А говоришь: не держал плацдарм!— подмигнул моряку Дементий Афанасьевич.— Держал.

— Так тогда весь Сталинградский фронт вроде бы плацдармом оказался.

— Это так. Это так.

— Ударили наши пушки. Защелкали ПТР. Три головных танка сразу дым пустили. Остальные перли. Скорости не сбавляли. Признаюсь, мурашки по спине забегали... А мины все сыпались. Так и рявкали, черт бы их взял. То там, то здесь. Рванула мина у самого станкача. И пулемет умолк. Сняло осколками расчет. Я по станкачу числился спецом. Знал об этом и взводный. «Шапов, к пулемету!»— орет мне. Ну, я и прилип к гашеткам. А тут по окопам новая команда: «Гранаты к бою! По-пластунски к танкам — вперед!» Морячки сплюнули недокуренные папиросы. Ленты бескозырок — в зубы. И пошли...

— Это так, это так,— в который уж раз поддакнул Рулев.— Ленты — в зубы и айда вперед напролом.

— И вот один столб дыма в верхотуру, другой, третий... Уцелевшие танки — в разворот и дали деру.

— Тонка жила оказалась супротив моряков!

— Пехота оголилась,— продолжал Василий.— Ну тут и я полосонул по ней. Ох, и полосонул!.. Это был мой девятый вал, доложу я вам! Вот уж когда хотел я их грызть! Мочи моей не было. Косил налево. Косил направо. Руки одеревенели. Верьте — не верьте: зуб сломал. Во какая судорога меня колотила! Кончилась лента... Вижу — кровь изо рта хлещет. Думал, ранило. Нет, сплюнул зуб.

— А задело-то где?— поинтересовался любознательный Рулев.— Не здесь?

— Нет. На переправе контузию получил. Провалялся я недолго... А царапнуло на Курской дуге.

— И в этом полыме побывал, золотой мой?!

— Довелось, отец. Но не в танковом пекле. Два дня зарево полыхало южнее. А на нас потом эсэсовцы навалились. Черные такие. Тьма-тмущая. Из-за шиворотов — ветки. Как рога. Две атаки отбили. А в третьей меня и шарахнуло. Я с ППШ отбивался. Кончились диски. Я за

гранаты. И вот в руке последняя... Противотанковая. Кольцо вырвал. Чеку держу. Жду одних. А сбоку вывернулись другие три эсэсовца. И граната в меня кувыркается. Хотел другой рукой поймать, да не долетела она. Я отпрянул в ячейку. Башку и грудь укрыл. А в живот садануло. Как нашел я в себе силы — не знаю. Но гранату в них все-таки мотанул!.. Вот так. Таким манером. Было дело... Было. Это у жмота Оборотова все просто. Никто под танки не бросался. Никто амбразуры не закрывал. Никто не ломал горло врагу. А так, подталкивали в атаку — и побеждали. Таким манером нас кто-то, выходит, и до Берлина дотолкал. У, как я возненавидел эту рыжую образину, братцы мои! Даже самому страшно мне. Чуть что — не удержусь. Еще раз говорю об этом. Ох, и смайнаю я его за борт!..

— Да брось ты, Васек!— сморщился, как от кислой ягоды, Желнов.— Он сам собой уже наказан. Сколько раз тебе говорить! Своей злостью он и захлебнется. Судьба не жалует таких...

— Судьба-то судьба... Но я вот уже второго такого Фому неверующего встречаю. И тоже из тыловых ухарей.

— Успокойся. Не так их уж и густо. Раз, два — и обчелся. Это чердачные крысы. Никто у нас подвига не отнимет. История она, брат, справедлива. Шелуху отвеет. Зерно оставит.

— А ухари все-таки будут шипеть. Тыловые ухари... О, пардон!— Шапов, спохватившись, приложил руку к груди.— Я глубоко извиняюсь перед честным тылом,— и он крутнул перед Рулевым шутливый реверанс.— От всей души и глубоко. Подвиги и в тылу вершились. И в тылу и на фронте. Сотни, тысячи подвигов. И в этом-то вот, Лексей батькович, и тайна нашей Победы. Подвиг — это не так себе... Его так, запросто не совершают. Это величайший акт. И я не боюсь этих красивых слов. Взлет всех сил. Всех человеческих сил! Один миг, как вся жизнь. Вот, братишечки, как!

— А тыл-от ты, золотой мой, шибко не кори, не надо!— Дементий Афанасьевич погладил свою русую бороду, задумался.— Не надо!— с твердым нажимом повторил он.— И в тылу жарко было.

— А я знаю, отец!— Василий приложил руку к груди.— Потому и извинился. Знаем лихо и тыла. Вот у меня где-то интереснейшие цифирьки записаны,— он порылся в карманах и достал крохотный, исписанный мелким почерком блокнотик.— Сейчас, сейчас. Это я к заня-

тиям, отец, готовился и записал. А, вот, нашел. Слушайте: «Осенью сорок первого года производство цветных металлов сократилось в стране в 430 раз. Пять из восьми пороховых заводов перевозились на Восток,— он захлопнул блокнотик, вскинул многозначительный взгляд на Рулева.— Вот так. Таким манером... Везли на Восток. И не одни пороховые заводы. Две с половиной тысячи предприятий катились на платформах на Урал и за Урал. Катились! А фронту позарез нужны были снаряды, танки, самолеты. Немец-то на Москву пер! Вот к какой грани подперла нас война!.. И выстояли. Значит, тыл и заводы поставил в строй. И дал им и медь, и свинец, и сталь, и порох. И вот тут-то, отец, поклон вам нижайший... Я бы лично и тылу монумент до небес возвел.

— Ну, спасибо, матрос!— копируя Шапова, отвесил поклон и Рулев.— Хорошие цифирьки у тебя в блокноте,— улыбчиво заметил он.— А вот я, золотой мой, своими глазами все это видел. Почитай, каждый месяц в Лениногорске бывал. А там в аккурат руду добывали, свинец плавили... На обогатительной фабрике одни девчушки работали. Зимы пошто-то жуть какие студеные были. Бегут они, родимые, на работу, смотришь на них — и сердце в боли заходится. Фуфайки рям на ряму. На ногах — деревянны колодки. Стукотят по ледяной стежке, ровно копытами. Господи!.. Четверо суток они бесперечь у флотомашин, а на пяты — в шахту. Руду отгружать. И уж потом домой. Падали, говорят, у машин, у вагонеток... Поднимались и опять за свое. И по пять и по двадцать норм давали за смену. Во как свинец-то тылу обходился! Везде, считай, фронт стоял.

— А вот за такие слова, отец, я вам и руку пожму,— и Шапов встал, склонился перед Рулевым, совершенно просто, без наигрышных жестов и кривлянья.— Честно каюсь: я такого и представить себе не мог... Намотай себе на ус и это, танкист. Вот в чем она — суть войны. Наиглавнейшая суть нашей силы. Усек, Леша?

— Усек, усек, Василь!— приподнял обе руки Желнов.

— Неужто все понял?— усомнился Шапов.

— Все.

— Все, все?!

— Да нет. Не совсем все...

— Опять за свое!— Шапов уперся лбом в свои кулаки и картинно пободал их.— Ну, Леша! Ну, танкист! И крепка ж броня у твоего лба. Ты, случайно, не из

кержаков? А? Впрочем, что я? Всех, кто с Алтая, кержаками и обзывают. Даже меня кликают в части кержаком, хотя я со старообрядцами и рядом не сидел. Ох и упрямы ж они, скажу я вам!

— Да какие теперь кержаки, сына!— пожал плечами Дементий Афанасьевич.— Одно звание осталось. Да прежние характеры. В этом ты прав, моряк. Характеры — кремень. Упорство в кержачках глубоко сидит. Да и то сказать — бежать от преследований, скрываться в лесах... Тут-то, видно, и ковалась воля.

— Однако она малость перековалась, отец. Сила воли-то. В упрямство перешла. А это уж, извините!..

— И упрямство всякое бывает,— гнул свою линию Рулев.— Ежели упрямство с честью да с совестью в согласье живет, то ничем тут плохим-то и не пахнет. Свинья тоже ведь упряма, настырна. Но свинья, золотой мой, не знает чести. Все дело в совести. Вот и смелость, коли она от хамства,— хуже всякой подлости. Капля бесчестья, мил человек, любое добро обернет во зло. Не зря говорят: бесчестье хуже смерти.

— Но упрямство — это ж не упорство, отец!

— Честное упрямство — это то же самое упорство. Так я понимаю это. Вот я об одном старом кержаке расскажу тебе. Жил такой Федор Афанасьевич Гусев на Убе.

— А, знаем Убу. Река что надо. И лес вокруг. И рыбы в плесах полно. Эх, хоть бы на часок сейчас туда!..

— Вот, вот, хороша река. Ее-то и обжило семейство Гусева. Это еще в конце того века. И не жаден мужик был. А вот лес, работу любил прямо-таки до безумства. И детей к тому приучал. Все луга по Убе расчистил, обиходил. Скотом обзавелся, пасеками. Семья-то до полсотни человек насчитывала, золотой мой.

— Это как так?— изумился Василий.

— А вот так. Дети обзаводились семьями и селились тут же. Но все жили одним миром, одним хозяйством. Зимой торговали маслом, мясом, медом... И заметь: сбывал Федор Афанасьевич все по самым низким ценам. Много денег на приюты жертвовал. На монастыри, что там скрывать. Только вот доброта-то его кой-кому не по нутру пришлась. Богатеи, те прямо от злобы изводились, елочки зеленые! Зависть, видать, обуяла. Ну, и начали они Гусеву всякие пакости чинить. То одну его заимку подожгут, то другую. Спалят постройки, а они, Гусевы-то, еще краше того дома да амбары отгрохают. Ну, тут

враги упрямца Гусева и вовсе осатанели. Подкупили объездчика. А тот возьми да и отрежь у Федора Афанасьевича все освоенные им луга. Он и туда кинулся за правдой, и сюда. А куда там! Сговор-то был круговой. Обложили, злодеи, убинского мужика, как медведя в берлоге, и начали травить... Тогда он жалобу в Питер. А что толку-то?! Местная кабинетная администрация вынесла постановление: снести все жилые и нежилые постройки Гусевых.

— Ниче себе!— вскинулся весь пораженный рассказом Рулева Шапов.— Порядочки были. Богатей богатея пожирал... И что же? Все и порушили?

— Порушили. Все как есть заимки и пасеки смели. Погоревал Гусев, погоревал да и махнул в Питер, к царю на прием.

— А когда это, отец, все происходило? Не в восемнадцатом веке?

— Нет. В тысяча девятисотом году, мил человек.

— Интересно. Неужто принял царь затравленного мужичка?

— В том-то и дело, что нет. Но Гусев сидел в Питере и сидел, все ждал получить высочайшую аудиенцию. Съездил домой за провиантом, да за деньжатами. Скотто остался. Доходишко кой-какой имелся. И опять туда, в Питер, околачиваться по царским приемным. Да толку-то все едино мало оказалось. Все прошения его, как о стену горох. Другой бы отступился. Или с горя — в петлю. Не таков был Федор Афанасьевич. Потужил, потужил да и махнул за границу. Решил, стал быть, добиться приема у царя через иностранных монархов.

— Ничего себе! Вот это кержачок!

— Десять государств объехал. Без толку. В придворных кругах руками разводили, дивясь упорству сибирского мужика, но помочь никто не хотел.

— Ить надо же тако удумать!— вздохнула все та же старуха за перегородкой вагона.— За границу — за правдой!

— В одиннадцатом государстве повезло.

— Ты смотри-ка!

— И где же это?

— В Греции. Дрогнуло, видать, сжалилось сердце королевы Эллинов. Около трех недель прожил Федор Афанасьевич в ее дворце, а потом греческая королева повезла его в Петербург, к русскому царю, с которым вроде бы в родстве была. И выхлопотала-таки помощь;

Велел царь разобрать жалобу Гусева, назначил комиссию.

— Да, вот это упрямство! Железное!— Шапов восхищенно прищелкнул языком.— Ваша взяла, отец. В таком упрямстве и в самом деле что-то есть. Значит, добился мужик своего?

— Добился-то добился, да не совсем... В комиссию опять же втесались — враги Гусева. И пошло!.. До самой революции воевал он за свои убинские пасеки да луга! Да так и не мог одолеть царских чиновников. А пришла Советская власть — он все добро свое народу отдал. Государству. И учти, сынок: сам, добровольно.

— Ишь ты!

— Все, подчистую, золотые мои!

— Опять, значит, пошел наперекор всем богатеям!— возбужденно тряхнул головой Шапов.— Вы так, а я этак. Вы — в контрреволюцию, а я — за народ, за Советскую власть. Ну и оригинал, ну и шедевр этот ваш Гусев! Не мужик, а скала! Кержак, а вот смотри-ка ты — не захряс в своем отшельничестве. В своей дремучей вере.

— А вера тут, сына, ни при чем. У каждой веры свой изъян. У любой веры, золотой мой. Вера в своей голой вере и слепа. А что касается старообрядства, то и оно, мил человек, не с ухода от мирских дел начиналось. Раскол-то с Никоном и начался от того, что он пошел против трудового народа. Дело вовсе не в его реформах. Старообрядство выступало и против никонианцев, и против всякого угнетенья. Емелька Пугачев — кто? Народный бунтарь. А ведь он, Емельян, в кержацкой зыбке и вынянчен. Старообрядцы его от врагов укрыли. Фальшивый паспорт ему выписали. А потом на святую войну против угнетателей благословили. Во как оно было, золотой мой!.. А Федор Афанасьевич, скажу я тебе, вовсе и неверующий был. Я его очень как хорошо знал. Одной верой он и болел — совестью своей. Еще гражданская война не закончилась, а он уж удумал к Ленину на прием съездить. Ему бы малость подождать. А у него, вишь, опять загорелось. Прихватил кой-каки гостинцы, и — на поезд.

— Неуемный характер!— отозвалась на это старуха.— Не кажный на тако способен — чо там и говорить.

— Омск ему проскочить не удалось. Сцапали колчаковцы. Как узнали, куда он путь держит — уму непостижимо. Гостинцы отобрали. Ему шомполов всыпали и с конвоем отправили восвояси... Не везло человеку. А его

упрямство? Оно, по-моему, от доброты. Мои-то ведь родители тоже в старообрядцах ходили. А я вот, вишь, за Советскую власть воевал. Партизанил. Сыны икон и этих лестовок, с которыми поклоны отвешивают, и в глаза не видывали. Все в комсомол повступали. Все и головы на войне сложили. Кроме вот одного. Старший сын, Кольша, который под Варшавой загинул, тот тоже с чудинкой парень был. Навроде Гусева. Воевал в разведроте. Однажды послали его за провиантом. А роту взяли да в другое место и шуганули. Он с набитым сидором трое суток ее и отыскивал. Крошки хлеба в рот не взял, пока товарищей не нашел. Писал, смеялись над ним до слез. А я, говорит, никак в ум не возьму, пошто они смеялись.

— Они просто так смеялись,— весело заметил молчаливый Набиден Оразалинов, и округлое улыбчивое лицо его жарко зарумянилось: он всегда заметно краснел, когда говорил, видно, потому, что встревал в беседу только тогда, когда входил в крайнее возбуждение и не мог молчать.— Нет, не просто так смеялись. Как вам сказать, аксакал? Они по-хорошему смеялись. Радовались, что ваш сын такой честный, такой преданный.

— Да уж что честный, то честный! И силен собой был. Но и он полег вот... Коленька мой! А шел уж сорок пятый год!— губы Дементия Афанасьевича вздрогнули, и он как-то затяжно, с непомерно мучительной, непосильной тоской вздохнул, мелко замигав васильково-синими глазами.— Уж как мне жалко его!.. Как жалко!..— на бороду старика упала, как росинка, крупная слеза и задрожала, алмазно искрясь, на тонком волоске.

В вагоне помолчали.

— Многих задела эта война,— сказал Шапов.— Покосила народу...

— Не дай бог другой такой,— тихо отозвался Рулев.

— Хорошо хоть самих-то вас еще раз не даванула... Так, на пасеке и кантовались всю войну?

— Нет, не всю. Опалил огонь и меня малость..

— Воевали?— изумился Василий.— Сколько же вам лет-то, отец?

— Да скоро полсотни стукнет. Не так уж я и стар. В армию не призвали по инвалидности. А побывать мне довелось, сына, в блокадном Ленинграде. По собственной воле.

— Вот как!... Интересно.

— Каждую весну я засеваю у дома крохотну делянку пшеничкой. Тоскует душа по хлебному полю, золотые

мои!.. Трудно пахарю без земли... В пасеку-то меня болезнь упекла. Ну вот... Читаю в газетах: тяжко в Ленинграде. Голодают люди. И заела меня одна думка. Засеял весной сорок второго делянку раз в пятнадцать больше прежней. Сам копал землю, сам боронил. С урожая насушил мешок сухарей. Налил в туес меду. Предписание, какое надо, в горкоме выхлопотал, как отец пятерых сынов-фронтовиков. И с поклажей — в путь-дорогу. Ну, как пробивался в блокадный город — не приведи господь и другому кому таких мук! Пробился все же. Сдал продукты куда следовает: в первый госпиталь. Врачи обнимали меня и плакали... А я больных-то уж посмотрел. Кожа одна... И, тоже плакал. Вот какая она война-то, золотые мои!.. Несколько ден я еще по зимнему городу ходил, больных подбирал. Мертвых хоронил... Поднимешь горемыку из сугроба, а он уже ледяной. Не могу вспоминать!.. Не могу... Сердце болью заходится,— Рулев хотел что-то еще сказать, но захлебнулся слезами. Он молча плакал и плакал, не в силах побороть свою слабость.

И пока он не затих, не успокоился, никто из пассажиров не проронил ни слова.

Только потом поднялся с сиденья Василий Шапов, схватил руками крепления полок, упруго качнулся туда, сюда, играя мускулами, и негромко заговорил, ломая в крутых изгибах свои густые брови:

— А ты, пожалуй, танкист, в чем-то прав. Есть что-то такое в твоих раздумьях... Есть. Видно, не все еще знаем мы и о себе, и о своих недругах. Мы еще не раз будем думать о своей победе. Велика она. Но понять ее до конца и в самом деле не так-то просто. Есть что-то в ней скрытое, сокровенное... Ну, когда танк на тебя идет и ты готов его зубами грызть — тут все ясно. А вот когда один чудак трое суток крошки хлеба в рот не берет, неся за плечами мешок булок,— здесь одной ненавистью к врагу суть этого фокуса не объяснишь. И любовью к Родине — тоже. Чего уж душой кривить: родину свою всяк любит. Что-то в таких штучках есть другое. Как раз то, что и Дементия Афанасьевича понесло в Ленинград... Что же это за чудо такое? А может, все-таки, правда-то не так уж далеко и спрятана? Советский патриотизм, советский характер... Пообшарпалось все это малость от частого употребления нашим братом... А чудо-то нашей силы где-то совсем рядом. Вот прямо тут, внутри этих явлений... И его, это чудо, надо понять, надо как-то обозначить его, чтобы потом чего-то не упустить, не порастерять в доро-

ге... Непосильной была эта война. Ох, какой непосильной! А мы выдюжили. На этот раз.

— А ты, матрос, не каркай!— ворчливо одернул Шапова Рулев.— На этот раз, на этот раз... Хватит нам и одной этой войны. Сыты по горлышко. Еще одна никому больше не нужна. Атомных бомб захотел отведать, что ль? Покамест две только лопнули... А лет через двадцать, через тридцать сколько их наклепают? А? То-то и оно. Ни к чему теперь войны. Все сгорит. Все пеплом обернется. Вот так-то, золотой мой.

— Это, отец, вы так думаете.

— А как же тут думать-то?! Иначе и нельзя,— с искренним изумлением пожал плечами Дементий Афанасьевич и пронзил моряка неистовым взглядом ясно-синих глаз.— А ты разве сам-то, вояка, не так думаешь?!

— Так, отец, так. И вот он, танкист, точно так же думает,— Шапов резко ткнул указательным пальцем в сторону Желнова.— Как, Леша? Так ты думаешь?

— Ну, а как же еще?

— Вот видите. И он, Набиден, пехотинец-богатырь, тоже так же думает. И он. И он. Все мы так думаем. А вот кто адские бомбы придумал, кто их клепать на нашу погибель будет, те так думать, папаша, не станут. Мозги у них по-иному повернуты. Вот в чем тут вся загвоздка. Лютую войну мы пережили. На волоске мир и правда людская держались. Но это еще не та грань была. К последней черте человек еще подойдет. Подойдет и спросит сам себя: быть ему или не быть? Вот здесь-то, вот в этот-то последний момент и пригодится нам наше чудо. Какое оно там, не знаю — нравственное или духовное ли. Или еще какое-то там. Это не важно. Главное то, что это чудо в нас есть. Есть!!! И его надо сберечь для последней грани. И не только для нас. Может, с кем-то и поделиться придется... Ради всех. Никаких ведь фронтов тогда не отыщешь. Никаких линий и полос... Вся земля фронтом станет. И от всех все будет и зависеть.

— А мне, признаться, всегда война противной была,— склонил голову Рулев, придавив к широкой груди свою пышную бороду. Синие капли глаз его утонули под насупленными лохматыми бровями.— Пороху нахлебался во как, а вот чтоб привыкнуть к нему... Нет, не мог. Непокойно как-то было мне на войне, Тоска какая-то давила. Да и потом как вспомню, бывало, окопы, трупы, так муторно и станет... А после Ленинграда и вовсе что-то запеклось во мне... Сердце, должно быть, почернело.

Даже во сне тяжко мне войну видеть, золотые мои. Так-то тяжко, что иной раз и мочи нет...

— Всем от этого тяжко, отец,— негромко проговорил поникший вдруг на минуту Василий Шапов.— Зверская штука — война, что и говорить...

— Немилосердная она, сына, а это главное,— добавил Рулев.— Я ить что уметил-то: чем шипче человек жизню любит, тем страшнее ему на войне, тем противнее ему смертоубийства. Но что тут самое непонятное, так это то, что в таком-то вот жизнелюбце в аккурат и больше стойкости. Да и надежнее он в любую минуту. Не дрогнет. Не подведет. Страшно ему, противно, а он зубы стискивает и делает свое жуткое дело. Уж если что — сам загинет, а товарищей спасет. Кака тут пружина срабатывает — не знаю. Не могу умом своим дойти. Но что вот так точно и бывает — это уж доподлинная правда. Не один раз сам свидетелем тому бывал.

IX

Пассажирский поезд, миновав Барнаул, шел к станции Локоть, откуда одна магистраль стрелой летит прямо на юг Казахстана, другая круто берет влево, на Рудный Алтай, к Защите.

В Барнауле в восьмой вагон, кроме других пассажиров, подсела еще и Вера Жаркова, которую встретил на вокзале Василий Шапов. Моряк прямо-таки обалдел от счастья оттого, что она ехала этим же поездом до Локтя, откуда, сделав пересадку, должна была направиться в Семипалатинск — не то к старшей сестре, не то к родной тетушке. Впрочем, это уже нисколько не интересовало Шапова. Самым главным и важным он считал то, что встретил Веру весьма и весьма удачно и что она будет сидеть вместе с ним в его восьмом вагоне целую вечность — до узловой станции Локоть.

Пока матрос встречал свою знакомую-незнакомую девушку, пока пробивался с ней в вагон, Пантелей Тимофеевич словно бы раздался вширь и прочно восседал на сиденье так, что для Шапова не осталось и вершка свободного места. Оборотов сдвинул немного влево свой серый, пузатый, с лямками из белых полотенец мешок, притиснул его поближе к себе, чтобы никто не пинал носками сапог и ботинок уложенное в нем добро, ловко расставил врозь пухлые ноги, и полный зад его при этом как бы разъехался в стороны. Вроде бы ничего не случилось.

Во всяком случае Пантелей Тимофеевич тут ни при чем. Может, другие люди сели повольготней. А может, и сиденье «поусохло»— кто знает?

Василий недоуменно, со злой ненавистью боднул Оборотова темными глазами, покатал упругие комья желваков на щеках, скрипнул зубами. Но ничего не сказал.

Пантелей Тимофеевич невинно глядел на матроса спокойными желтушно-серыми глазами под ободком густой щетины рыжих бровей. На округло-полном, краснощеком лице его даже изображалось нечто вроде добродушной улыбки. Лишь где-то из глубины темно-свинцовых зрачков выбивались плящущие чертики злорадства. Он, оборотистый, хитрый и ухватистый жук, был доволен собой. Там, в этих пляшущих чертиках бурых зрачков, с безумным азартом плескалось, торжествовало это его сытое самодовольство, от которого так и несло высокомерием грубой силы и жестокой, бессердечной изворотливости.

Шапов, грубый, вспыльчивый Шапов, готовый в любую минуту спустить с тормозов свою ярость, сдержался, укротил свой буйный норов, не ответил силой на силу. И видно, оттого, что внутренний мир матроса, немало исковерканный и ужесточенный войной, был все же страшно далек от темных душевных урем Оборотова, Василий сделал вид, что ни ему, ни его девушке место вовсе и не нужно, что им гораздо приятнее стоять на проходе, почти рядом, напротив друг друга.

Хрупкая и тонкая, Вера была не то чтобы уж очень красива, хотя никто, пожалуй, не отказал бы ей и в этом достоинстве, но больше всего бросались в глаза ее необыкновенная миловидность и какая-то удивительная нежность. И это чистое бледное лицо, и черно-синие глаза, и витые темно-русые косы, уложенные на голове — все будто излучало мягкий серебряный свет.

Ах, лучше бы вовсе не встречал эту девушку Василий Шапов! Лучше бы не приводил ее в восьмой вагон!.. Все сразу как-то изменилось вокруг, точно что-то перевернулось в душе людей, в поле зрения которых находилась тихая и скромная девушка Вера Жаркова. В вагоне стало как-то светлее и радостнее. Так случается, когда после затяжного и нудного ненастья вдруг распахнется на небе чистая лазурная промоина и землю озарит теплое золотое солнечное полымя. Что ж, видно, не совсем застили жажду красоты и светлые чувства в людях черные тени войны. Прекрасное всегда изумляло добрую половину

человечества. Даже в самые темные и тяжкие эпохи истории...

На что уж Андрейка Светов, затурканный горем и нуждой подросток, у которого и материнское молоко на губах не просохло, и тот притих, с затаенным восхищением рассматривая изящную и стройную незнакомку с бледным, божественно кротким, удивительно знакомым лицом. Где же он встречал ее, интересно? Где же, где же? Вот запамятовал... Надо же. А ведь совсем недавно, кажется, в прошлом году, он точно видел и эту снежно-белую тонкую шею, и эти ясные, выразительные и добрые, как у его матери, глаза.

Ах, да это же было в доме старого учителя Бессонова Георгия Константиновича! Сколько у него альбомов с репродукциями картин великих художников! Вот там-то, в гостях у преподавателя, он и любовался этим чудесным кротким лицом, изображенном на одной из картин, и сейчас, встретив Веру Жаркову, тотчас же вспомнил его.

Андрейка, прищурившись, шкодно и плутовато наморщил конопатый нос и поманил к себе пальцем дядю Лешу. Тот наклонился к нему ухом.

— Вот, дядя Леша, красавица так красавица!— горячо зашептал он.— На большой. Только, пожалуй, она матросу вовсе ни к чему. Нет, не так. Вернее: ей самой дядя Вася ни к чему.

Желнов погрозил пальцем Светову, укоризненно покачал головой и отвернулся. А потом и сам так же, как только что делал Андрейка, плутовски и озорно сощурился и спросил шепотком:

— С какой ты стати так решил, дружок мой разлюбезный?

— А так,— опять обдал жаром ухо Желнову Андрей.— Не пара они. Совсем, совсем разные...

— Ты брось, Андрюха, заливать. И она красива, и он — парень что надо. Статный, рослый. Ладная пара.

— Ага, пара! Гусь да гагара,— Андрейка перекосил свою искрапленную веснушками рожу в блаженной ухмылке. Он — бегемот, а она... А она... Ну, как бы вам сказать, дядя Леша? Она... Она как из сказки. Ага, ага. Как фея лесная.

— Ну уж ты слишком-то не хай его. Она, конечно, да... Но и он — здоровый, крепкий, речистый.

— Во-во, здоровый. И все. Он, дядь Леша, топорный. А она... Она такая, каких не бывает!— в голубых глазен-

ках Светова просеклись ослепительные искры.— Таких токо во сне и увидишь...

— Ты смотри мне, Андрей!— с веселым удивлением проговорил Желнов.— Уж не влюбился ли?!..

— Да куда мне!— с серьезным сожалением вздохнул Андрей.— Вот вы...

— Ну, что ты...

— Да, чо вы, чо вы!.. Уши-то так и зарделись! И глаза задымились. Вижу, вижу!— Андрейка тихо прыснул в кулак.

— Ладно, хватит об этом, Андрюха. Я-то вот, дорогой мой, и не пара ей. Обычно говорят: характером не сошлись. А это неверно. Для большой любви как раз сходство характеров и противопоказано. Наоборот, чем больше разность их, тем глубже чувства... Ох, что я?!— спохватился Желнов.— Говорю: хватит об этом.

— Да, вы говорите, дядя Леша, обо всем, не стесняйтесь,— покровительственно улыбнулся Андрей.— Я ведь все знаю...

— Как это все знаешь?!— опешил Желнов.

— Ну, знаю,— Андрей покраснел до того предела, когда на лице его исчезают конопушки.— Из книжек знаю. Я ведь много читаю. Что попадя. Книг-то в деревне мало, сами знаете. Вот все и хватаешь. «Тихий Дон» еще в четвертом классе читал. Мопассана тоже... «Страшный Тегеран» попался... Под руку попался. Хотел бросить...

— И не смог,— с назидательным укором подсказал Желнов.

— Ага, не смог,— согласно вздохнул Андрей.— Читал и плакал.

— Не ври.

— Правда, правда. Я когда читаю, часто, часто плачу... А эту книжку читал — и горло перехватывало...

— И у меня тоже, Андрей...

— И вы читали?

— Читал.

— Вот сколько на белом свете красивых людей! И сколь грязи к ним льнет!..

— Это ты верно говоришь. Удивительно верно.

— У нас с вами, дядя Леша, много схожего... Я прямо в вас влюбился,— Светов потерся щекой о плечо Желнова.

— Много схожего, говоришь?

— Ага.

— Вот видишь... Для мужской любви как раз и требуется сходство...

— И для той, для другой — тоже.

— Для той? А для той, не спорь, Андрей, одинаковость во вред. Ей нужна, как бы тебе сказать, разноименность. Совершенная разность, непохожесть.

— Не,— упрямо тряхнул снежно-белыми вихрами Светов.— Тут пониманье нужно. Согласье. Согласья без одинаковости не бывает. Вот у вас с ней согласье и пробилось бы... Как пить дать — пробилось бы!

— Брось. Замолчи. Хватит об этом.

— Спорим?

— Андрей, я тебе поддам.

— Ладно, молчу.

Они затихли. Андрей стал рассматривать быстро текущие в окне поля, перелески, дальние синие гребешки хвойников, серые избы малых, оскудевших за войну деревень!

Желнов дочитывал последние страницы толстовского романа. Несколько раз глаза его пробегали по одним и тем же строчкам, но он ничего не понимал и всякий раз возвращался к началу абзаца, хотя это было одно из самых ясных мест из сложных заключительных рассуждений великого романиста. «Для того, чтобы представить себе человека совершенно свободного, не подлежащего закону необходимости,— читал он,— мы должны представить его себе одного вне пространства, вне времени и вне зависимости от причин». Читал, и сознание его не улавливало мысли автора, а вскоре книжные строки и вовсе куда-то поплыли в его глазах, растворились, уступив место одному яркому образу, который то едва прорисовывался, точно окутанный туманом сновиденья, то выступал во всей реальной явственности и красоте. Нежная белая шея, прекрасное точеное лицо с чистой бледной кожей, большие, вобравшие в себя всю черно-синюю глубь ночного неба глаза. В них млело и трепетало таинство теплой июньской ночи. Они светились нежностью, милосердием и негой.

И вся Вера Жаркова, неповторимо нежная и притягательная, точно воплощала собой сохраненную, отвоеванную красоту жизни.

Алексею страшно хотелось оторваться от книги и посмотреть в глаза Веры. Но он никак не мог поднять голову, словно ее тянуло к толстому, потрепанному тому непреодолимым магнитом. Между тем он нетерпеливо

ждал этого взгляда — глаза в глаза. Ждал и хотел его, и ему было жутко и боязно от этого. «Сейчас, сейчас»,— говорил он сам себе и сердце его истомно и тревожно билось в груди.

Наконец он нерешительно поднял голову и посмотрел на нее. Василий Шапов в это время оглядывал пузатый сидор Оборотова и самого лесника, примериваясь отвоевать все-таки хоть самое малюсенькое место на сиденье для себя и Веры. Она не отвернулась от Желнова. Приняла его взгляд. Хоть и робко, стеснительно, но заинтересованно, с тайным любопытством. Искоса взглянула на матроса, а потом опять на него. Смотрела долго и удивленно.

Такое случается нечасто в жизни, когда человека поражает как громом. Это чувство, действительно, можно сравнить только с громом. Потрясенный и изумленный, Алексей не в силах был оторваться от ее больших черно-синих глаз. Что-то вроде ответного согласия вдруг сверкнуло в глубоком омуте ее зрачков, будто она всю жизнь ждала этого мгновения, этой встречи, и вот оно, это чудо, свершилось.

Больше уже ничего не нужно было. Ни слов, ни иных взглядов. Все существо Алексея наполнил восторженный звон...

Такое уже было с ним в том первом послевоенном году. Их часть только что вернулась из Маньчжурии и расположилась в роще, неподалеку от Владивостока. Желнов сопровождал машину, нагруженную боевыми снарядами. У небольшой топкой речушки образовалась пробка. Вот тут-то Алексей и встретил ее, свою первую послевоенную любовь. Это была девочка лет семнадцати, такая же стройная, тонкая и хрупкая, как Вера, голубоглазая, с длинной светлой золотистой косой. Ни единым словом они не обмолвились, а только глядели друг на друга, сперва с любопытством, потом заинтересованно, а затем уже с растерянным и удивленным восхищением.

Всего минут пятнадцать стояли у моста колонны машин, но и этого оказалось Алексею достаточно, чтобы безоглядно влюбиться в чудесную золотокосую девочку.

Алексей ехал в кабине американского «Студебеккера». Машина тряслась, подпрыгивала на колдобинах, и Желнов невольно придерживал рукой левую часть груди, чтобы не расплескать из сердца сладкую истому любви...

Он видел ее еще несколько раз в роще. Она проходила мимо армейской казармы в школу и затем обратно из школы домой. Проходила по одной и той же дорожке. И он, если не был в карауле, ждал этого момента. Когда она скрывалась за деревьями, Алексей, изнемогая от сладостного волнения и счастья, выбегал на дорожку и тихо шел потом по ее следам, стискивая зубы и жмурясь, точно эти следы, оставленные ею на пыльной стежке, обжигали ему ноги...

Отец ее, подполковник, вскоре был демобилизован и уехал в Москву. Навсегда уехала туда и светлокосая, голубоглазая девочка, оставив Желнову мучительную тоску и печаль...

Чувство к той девочке еще не остыло, и светлый образ ее все еще жил в нем, даря ему радость. И вот — новое потрясение...

Нет, Василию Шапову решительно надоело стоять с Верой в тесном проходе вагона и увертываться от бесконечных бесцеремонных толчков. Нет того контакта, который располагает к откровенному задушевному разговору.

Тамбуры тоже сплошь забиты подвыпившей братвой, и сизый табачный дым стоит в них такой, что хоть плавай в нем, как в воде.

— А ну-ка, Пантелей Тимофеевич, давайте-ка расчистим малость палубу,— решительно заявил Шапов и шагнул к туго набитому мешку Оборотова.— А то ни проехать, ни пройти. Сидорок — в сторону! Сюда, сюда. Плотнее к ножкам. К хромовым сапожкам. Вот так. Таким манером. И сами ужмитесь.

— Да ты што, паря, ошалел ли чо ли?!— сердито заерзал на сиденье Оборотов.— Это как жа я должен ужаться?! Што я тебе — охапка соломы! Да и мешок не больно-то ворочай. Не твое добро. Не трожь...

— Какое там у вас в мешке добро — это ваше личное дело,— с невозмутимым спокойствием возразил Шапов.— А вот вагон — наш общий, государственный дом, и тут мы, батя, все, кроме безбилетной шпаны, имеем одинаковые права. Двигайтесь, двигайтесь. Видите: все сидят скромняжно. Потеснитесь и вы, коли совесть есть. Будьте человеком, а не жадной торговкой-барыгой. Забьет на рынке фартовое людное место — танком не

сдвинешь. Дозволь — и весь мир заграбастает, Пантелей Тимофеевич! Ша, ша. Не пузыритесь. Вот так. Так, так...

А Оборотов и в самом деле начал пузыриться. Лоснящиеся щеки налились кровью, табачно-серые рысиные глаза округлились. Нервно задергалась у носа коричневая бородавка. Рот ощерился желтым частоколом крупных зубов.

— Токо и знаешь задираться да балаболить!— брызнул слюной Пантелей Тимофеевич с явным расчетом унизить матроса в глазах девушки.

— Андрей, друг мой, знаешь что?— Желнов, захлопнув книгу, торопливо поднялся с сиденья.— Пойдем-ка прогуляемся. Скажу тебе пару ласковых слов.

— А что — прогуляться можно!— с радостью согласился Светов, поняв намек танкиста.

— Садись, Василь. Приглашай и девушку. А мы с Андрюхой дохнем свежим воздухом...

— Спасибо, Леша!— Шапов взял под локоть свою страшно смущенную всем происшедшим спутницу.— Я-то что?.. Я — ничего... А Вера, знаете, сколько выстояла на вокзале?!.. Поезд-то задержался.

— Знаем, знаем. Проходите давайте... Усаживайтесь. Здесь удобно. Ох, извиняюсь... Василь, дай-ка мне котелок. Вон тот. Да, да, этот. На ближайшей станции за кипятком сбегаю.

— Да, Леша, сбегай!— с благодарной живостью согласился с танкистом Шапов.— Кипяток нам пригодится. Чего-чего, а кипятку у нас хватит. На всех хватает. Кипяток — на каждой станции. И вдосталь. Пей — не хочу.

— Эт так!— улыбчиво мотнул бородой Рулев.— Кипятком мы богаты.

— А кабы не кипяток — не устояли ба в войну!— рассмеялась в соседнем отсеке старуха.

Веселые реплики, шутки развеяли загустевшие было тучи раздора.

— Э, Алексей, постой!— спохватился Набиден Оразалинов.— Прихвати и мне кипятку. Возьми котелок. Действительно, шай не пьешь — откуда силу возьмешь?!

Назревавшая ссора окончательно замялась бы, если бы только Андрей Светов, который, приняв котелок от Набидена, направился следом за Желновым, не споткнулся вдруг о мешок Оборотова. Он, конечно, не умышленно налетел на этот дородный сидор. Его нечаянно толкнул локтем продиравшийся в противоположный ко-

нец вагона пассажир, и Андрей, потеряв равновесие, со всего маху саданул по мешку носком своего злополучного, видимо, с торчащим из подошвы гвоздем, опорка — кирзового сапога без голенища. С ядреным треском разорвалась прочная холстина куля, и Андрей, падая, ударился лбом об угол нижнего сиденья, громыхнув котелком.

— Ах ты, шантрапа белобрысая!— взревел Оборотов и с гневной силой хлопнул мясистой ладонью по выставленному мягкому месту Андрейки, затем приподнял перепуганного мальчугана перед собой за шиворот, схватил обеими руками за плечи и слюняво выдавил свою злую ярость в побледневшее его конопатое лицо:— Шкодить мне, гаденыш ползучий?! Раздавлю, в дышло тебя закатай!

Грузный, большой, медлительный в движениях Набиден Оразалинов рванулся на этот раз к Пантелею Тимофеевичу с удивительной проворностью.

— Гыть!— выкрикнул он с резким выдохом и хлестко, как плетью, ударил ребром ладони по рукам Оборотова.— Отпусти, дядя, ребенка! Разве слепой, не видишь? Он совсем невзначай... Нельзя так дуреть по каждому пустяку. Шайтан вы или человек?!

— Да он жа нарошно!— истерично затряс перед лицом Набидена широкими разверстыми ладонями Пантелей Тимофеевич.— Он жа с умыслом мешок-от разворотил! Нешто можно такое фулиганство прошшать! Раз простишь, другорядь простишь, а он посля и дом с озорства спалит! Не так, што ли?!— и льдистые, темно-свинцовые зрачки его блеснули холодом пустоты.

— Ойбай, куда вы, дядя Пантелей, хватили!

— Да я жа своими глазами видал: из пакости он по мешку-от саданул!— раздувая от гневного волнения ноздри, продолжал судорожно трясти своими загребущими, как деревянные лопаты, ладонями Оборотов.— Из пакости и разодрал...

— Ойбай, какая беда!— с нарочитой сокрушенностью поднял руки вверх Оразалинов, а затем, тяжело вздохнув, с укором поглядел на красное, искаженное в злобном ощере лицо лесника:— Эх, дядя, дядя!.. В войну не то теряли... Тыщи сел, города, мильоны людей — все прахом!.. А тут...

— Да его, видать, и не задела война-то в лесу!— возбужденно заводил крутыми плечами матрос.— А может быть, и задела... Да только другим концом. Возможно,

она и в выгоду была ему. У кого — кровь да слезы... А кое у кого... Вот как тряхну сидор-то!

Оборотов хотел огрызнуться, но поперхнулся, и лишь передернул влажными от слюны губами и глухо фыркнул, как захлебнувшийся от лютого неистовства бульдог.

— Вась, не надо!— тихо, умоляюще вскрикнула, точно вздохнула, Вера Жаркова и положила тонкую руку на плечо Шапова.

— Действительно, девушка, не надо,— улыбнулся Жарковой всем своим округлым симпатичным лицом Оразалинов.— Не надо,— повторил он, виновато моргая карими раскосыми глазами.— Не надо... Надрались. Вот так,— он провел рукой поверх головы.— Хватит. Давайте, дядя, мешок. Я зашью.

— Я и сам залатаю. Обойдусь без помощи. Игла имеется. Есть и нитки.

— Ладно, ладно. А мальца не трогать. У него в ботинке, однако, гвозди торчат. А ну-ка, джигит, ногу. Так и есть. Стой, я тебя сейчас подкую,— и Набиден достал из вещмешка молоток.— Я человек — рабочий. Без инструмента не живу.

Через две-три минуты Светов уже обул отремонтированный опорок.

— Спасибо, дядя,— сказал он.

— Пожалыста. Иди, гуляй. Вот и все... И мешок ваш, Пантелей Тимофеич, тоже залатается. Не надо по пустякам злиться. Нельзя из-за мелочи постромки рвать. А то и без ветра буря загремит... Судьба любит добрый глаз. А с кончика вашего языка всегда верблюжьи колючки срываются.

— Это точно, дядя Набиден!— согласился с этим Андрей, который уже пришел в себя и готов был отомстить обидчику острым словом.— У Пантелея Тимофеевича, как у нашего свата, ни друга, ни брата. Злость, видать, вперед его на свет появилась.

— Да брысь ты, окаянный!— вновь сердито рыкнул Оборотов.

— Вот видите, какой вы злой,— спокойно, с укоризной, как взрослый малому дитю, сказал Андрейка.— А на злых-то знаете, куда волки ездят?

— Зна-аю!— рявкнул Пантелей Тимофеевич, и переполненный людьми вагон грохнул от хохота.

— Ну вот,— опять наставительно качнул головой Светов,— а вы злитесь... Эх, будь бы я господом богом,— вздохнул он, закатив голубые глаза,— я бы заставил

всех влюк родить по ежу против шерсти — добрее бы стали!

— У, срамота!— осклабился Оборотов.

— Андрей, да ты что мелешь?!— одернул Светова Желнов.— И где ты такого нахватался?

— Э,— досадливо махнул рукой Андрей,— в этой жизни всего нахватаешься!..

— Идем, идем в тамбур. Скоро станция. Как задок-то? Не горит?

— А-а... Не такое сносить доводилось...

Пантелей Тимофеевич, для успокоения души, как он сам думал, доедал последний кусок курицы. Нет, не совсем, конечно, для успокоения души. С одной стороны, жалко было курятину. Как никак, четвертые сутки пошли с того дня, как он выторговал ее за бесценок на базаре. Испортится мясцо, выбрасывать придется. С другой стороны, несмотря на все каверзные, завистливые намеки шалопутного матроса, страсть как хотелось еще раз досадить ему своим достатком, своим умением жить. Ел он с аппетитом, с несколько преувеличенной живостью, энергично работая челюстями: коричневая бородавка при этом то и дело подпрыгивала к пухлому красноватому носу; ритмично, в такт движения челюстей, дергались рыжие, короткоостые щетки бровей.

Он смачно жевал мягкую, духовитую курятину и все еще злился сам про себя. Злился на белоголового стервеца Андрейку, на его дружка, танкиста Желнова, помешанного книжника, на сумасбродного, балаболистого матроса. Он не приучен был докапываться до истинной сути вещей. Все суждения о мире, об окружающих его людях и о происходящих вокруг событиях сводились у него к одному понятию: что ему из всего этого выгодно, а что — нет, что отвечает его личным жизненным запросам, а что противоречит, мешает им. Он никогда ни в чем себя не обвинял, никогда не поносил себя за просчеты и глупости. Он клял лишь обстоятельства и людей, помешавших ему осуществить то или иное предпринимаемое им дело.

Он как бы постоянно пребывал в смещенном, в сдвинутом нравственном мире. Понятие лжи Пантелей Тимофеевич всегда связывал с тем, что против его интересов, а правду, напротив, с тем, что так или иначе давало ему выгоду. Никакого тезиса как такового на этот счет у него

не было. Ни в какую словесную форму его жизненное кредо не выливалось, но суть этого феномена сводилась примерно к следующему: вранье — не вранье, если оно для дела и на пользу. В силу такой сдвинутой эгоцентрической психики действия и поступки его были совершенно непредсказуемы для других людей, и в любой момент от него можно было ожидать все, что угодно.

При всем этом он был к тому же несдержан и вспыльчив. Из-за любого пустяка, если шлея, как говаривают, попадала ему под хвост, если взнимался в нем бес противоречия, он мог с ледяным спокойствием натворить уйму самых невероятных и самых страшных бед.

«Што это он там, балабольный матросик, брякнул-от обо мне?— вспомнились ему вдруг оскорбительные слова Василия Шапова.— О том, что война и краем не задела меня в лесу? Кажись, в аккурат так он и сказал. Должно быть, говорит, она и в выгоду была мне. Ишь куда хватил, морской шалопут! В выгоду... Положим, пороху я не нюхал. Но и в потолок, лежа на полатях, не поплевывал. Вкалывал — будь здоров! Работников не держал. А что ни в чем не нуждаюсь, так не вина моя в том, а заслуга. Надо уметь вертеться... Галушки сами в рот не прыгают... Все вот этими руками. Да башкой своей. Вот и живу. Не хуже, чем до войны. А может, и того лучше...»

И тут нить рассуждений Пантелея Тимофеевича оборвалась. Мысли его споткнулись. Он смешался. Даже перестал жевать сухую белую мякоть курятины.

Оборотов вдруг начал сознавать, что он ничуть не ощущал все эти военные годы всеобщего народного горя. Все кляли войну и Гитлера, развязавшего ее, а его это все вроде бы вовсе стороной обходило. Нет, он и не радовался людским бедам, но и не принимал их близко к своему сердцу.

Вселенская волна ликования в День Победы над фашизмом не могла не захватить и его. Он даже увез с кордона в деревню по такому случаю бадейку медовухи, и вместе со всеми сельчанами пил, пел песни и плясал. Однако и по сей день его чем-то пугало наступившее мирное время. Пугало грозящими переменами. Какими именно переменами — он этого точно не знал. Хорошо осознавал только то, что в войну ему было довольно неплохо, а вот как дела обернутся дальше — трудно предугадать. В глубине души своей он боялся, что скоро все изменится для него в худшую сторону. Во всяком случае, тайным торговым операциям его придет неминуемый ко-

нец, и вот именно это печалило Оборотова больше всего, и он чувствовал, что самая светлая и везучая пора его жизни — позади... в годы войны.

Пантелей Тимофевич, подумав об этом, даже содрогнулся. Впервые в жизни он размышлял о своих делах, о своем бытийном и нравственном мире с такой открытостью и поразительной прямотой.

Оборотов боднул головой воздух, отгоняя худые мысли, и начал усердно жевать и глотать натолканное в рот куриное мясо.

Желнов после того, как отдал пассажирам котелки с кипятком, не появлялся больше в восьмом вагоне вместе с Андрейкой до самой узловой станции Локоть, чтобы не смущать своим присутствием Василия и Веру, которые занимали их места. А когда поезд подошел к этой станции, он вновь взял пустые котелки и в очередной раз отправился вместе со Световым за дорожной отрадой — кипятком.

Они уже подходили к восьмому вагону с наполненными котелками, когда уловили в общем привокзальном галдеже и шуме голос Василия Шапова:

— Леша, Андрей, проститесь с Верой.

Дружки оглянулись. Над высокой короной волос Веры Жарковой в прощальных взмахах затрепетала легким осенним листом ее ладонь. Помахали руками и они. Зеленые глаза Алексея вспыхнули. Гулко и ровно колотилось его сердце...

Уже в вагоне Желнов задержался у окна, и она тотчас же заметила его, еще раз приветливо взмахнула рукой. Поднял перед своим лицом руку и Алексей.

— Смотрите, дядя Леша, как она на нас глядит!— толкнул локтем Алексея Андрей.

— Да ну тебя!..

— Что ну тебя? Черные глаза так и горят!.. Да вы, дядя Леша, не дергайтесь. Не расплескивайте кипяток.

— Не надо, Андрюха...

— Молчу, молчу.

— Возьми котелки.

— Давайте.

Светов отнес кипяток. Вернулся к Желнову и снова затянул свое.

— За любовь надо драться. Во все века так было.

— Не за все можно драться.

— Нет, за все. И за любовь и за правду.

— Ишь, куда ты хватил!

— А как же. За все, за все в жизни приходится драться.

— Нет, не за все. Бороться надо за все. А драться не всегда обязательно. Когда-то за любовь и на шпагах сражались. И на пистолетах. Времена меняются...

— Времена меняются,— вздохнул Светов,— а любовь остается... И как тут ни крути, а биться за нее приходится. Не то в дураках и бобылях будешь ходить!— Андрей лукаво прищурился, торжествуя победу.

— Что ж, не беда. Важно во всем оставаться человеком.

— Даже тогда, когда остаешься с носом?

— Да, и тогда...

— Ой, ой!— с сомнением покачал серебряной головой Андрей.— Враки все это.

— Нет, не враки,— Желнов потрепал рукой белые волосы Светова и повторил:— Не враки. Мы же, друг мой, люди...

Пробил колокол. Протяжно загудел паровоз. Жаркова еще раз помахала рукой в сторону восьмого вагона. А Василий Шапов, поправив бескозырку, бесцеремонно обхватил Веру руками и поцеловал ее долгим поцелуем на виду у всего честного народа.

— От как надо, дядя Леша!— почти взвизгнул от ликования Андрейка.

— Эх, Андрейка, Андрейка!— возбужденно вздохнул Желнов.— Жизнь-то какая прекрасная штука, друг ты мой сердечный!— и Алексей трижды горячо поцеловал смущенного Андрея в щеки.

X

Колеса вагонов уже отсчитывали стыки рельсов на предпоследнем перегоне между станциями Локоть и Защита. Поезд шел к станции, на которой и произойдет совершенно неожиданное, совершенно невероятное и нелепое кульминационное событие нашего повествования...

Впрочем, столь ли уж неожиданное? Разумеется, никто не ждал лично для себя ни трагедии, ни драмы. Война, страшная, кровавая война, была у людей позади, как недавний кошмарный сон, и все жили только добрыми надеждами на будущее — и те, кто ехал к кому-то в гости после долгой военной разлуки, и те, кто спешил к

родному очагу на короткую долгожданную побывку, и те, кто возвращался домой после исполненных дел надолго, может быть, навсегда. Кто знает все наперед? Пути земные непредсказуемы...

Нет, нет, не верю я ни в приметы, ни в предчувствия, потому что все это абсолютно противоречит реальным законам развития человеческого общества, естественному движению во времени материального мира, где любое, даже малейшее действие вызывает к жизни тысячи ходов новых, часто противоположных друг другу объективных сил. Поди-ка, предскажи, какая из множества тысяч реальных возможностей окажет решающее воздействие на те или иные происходящие события!.. И все же есть что-то таинственное, что-то могущественное — и опять же не фатальное,— а именно таинственное, загадочное в жизненных изворотах и конечной судьбе отдельного человека. И секрет этой загадочности надо искать всего скорее в заданности той или иной натуры, в глубинных нравственных и психологических свойствах этой натуры, которые только одни и определяют неизбежную направленность ее выбора. Внешне это и выглядит как рок, как неотвратимое предопределение. На самом же деле вся суть судьбы в закономерных проявлениях духовных сил самого человека. Все дело в его характере. В его памяти и понятиях. В его желаниях...

Мы говорим: кому что дано, и даже не представляем, как это смешно и наивно. Чем ты живешь, какие тропы выбираешь — не в этом ли главные истоки разнообразия человеческих судеб?!

Но предчувствие беды — откуда оно? Легче всего от этого отмахнуться, как от нелепости и людского невежества. Но есть ведь оно, это предчувствие, есть!— и хоть вы тресните тут!

А может, и здесь все удивительно просто и ясно, как и во всяком до конца познанном нами явлении? Ведь чувствуем же мы близость моря по влажным потокам воздуха! Чувствуем. А разве нет своих токов в нашем чувствительном биологическом океане? И не они ли и сигналят нам о надвигающихся наших бедах и катастрофах?

Во всяком случае Андрея Светова в этот день трудно было узнать. Сидел вялый и грустный, не шутил; не цвело, как подсолнух, его веснушчатое лицо в привычной широкой улыбке жизнелюба; не щурил он свои насмешливые светло-васильковые глаза, что делал всегда, когда

новый каламбур или очередная побасенка чесались на его веселом перчистом языке.

Глядел в окно, на Желнова и потом тяжело, точно взрослый, придавленный жизнью человек, вздыхал. Какие обстоятельства и факты последних суток посылали на него тревожные волны грозящей беды?..

Ничто не предвещало вроде бы худого. Даже Оборотов, заштопавший свой куркульский мешок, спокойно подремывал над ним, то и дело поклевывая воздух тупым носом. Клонится, клонится в поклоне его увесистая квадратная рыжеволосая голова с огненными курчавыми баками и вдруг, точно сорвавшись от тяжести с петель, резко ткнется вниз и, не долетев до мешка, дернется и снова медленно пойдет вверх, чтобы застыть на некоторое время в вертикальном положении перед следующим поклоном.

Но даже подремывая, Пантелей Тимофеевич не терял бдительности, колени ног его плотно прижимались к мешку, а правая рука крепко обхватывала прислоненный к стенке чемодан. И сам он весь был в чуткой настороженности, готовый в один миг сбросить с себя сон, чтобы кинуться на любого шаромыгу, который посмеет посягнуть на его собственность.

Может быть, отсюда, от этой наэлектризованной настороженности мстительного Оборотова исходили на Андрейку волны тревоги и беды? Возможно, весь он, Оборотов, уже был заряжен на свой дикий и преступный шаг? И нужен был только малый толчок, только малая искра, чтобы сработало Зло?..

XI

Набиден сидел на своем прежнем месте и, сосредоточенно глядя недвижными карими глазами в одну точку, думал. О многом думал он в эти минуты. О войне, которая совсем еще рядом с ним во времени, где-то недалеко за спиной, откуда все еще обдает плечи ее ледяное недоброе дыхание. О свинцовом заводе, на котором работал перед уходом на фронт в 1941 году. О прижимистом, расчетливом мужичке Оборотове, у которого, наверно, все в жизни выверено, все разложено по полочкам и рассортировано соответствующим образом: это делать можно и нужно, потому что выгодно, а вот от этого надо воздержаться, так как оно не сулит ничего хорошего. Осмотрительный человек. Для себя осмотрительный.

И заботливый. О себе заботливый. А на людей глядит худым, недоверчивым глазом, будто все они хотят в чем-то помешать ему, урвать от него что-то. Вот таким, как Пантелей Тимофеевич, никого не жаль. В любых делах. Во всякой беде... А может, и Гитлер такой же вот был? Сколько мильонов людей джут войны прибрал, а ему все мало было. Ради своей победы все народы готов был, шайтан, в крематориях сжечь!.. Ойбай, ойбай!.. Откуда зверство в человеке берется?..

О всякой всячине на белом свете думалось Набидену Оразалинову. И о хорошем, и о плохом. Однако лицо его, как бы застывшее, окаменевшее, с упругими буграми скул — абсолютно ничего не выражало. Разве только едва выдавало напряженную работу мыслей. Да и то это скорее заметно было не по литому округлому, без единой морщинки, суровому лицу, а по возбужденному блеску пристальных раскосых глаз.

Таким Набиден был всегда, когда впадал в раздумья. Но стоило ему лишь заговорить с кем-то о житейских делах, как он сразу становился совсем другим человеком — открытым, улыбчивым и доверчивым. Причем улыбался он так светло и так щедро, что сияющее добротой лицо его точно все светилось изнутри. В нем всегда жили как бы два существа. Одно скрытное, себе на уме, а другое — до наивности открытое и бесхитростное, с мягкой душой нараспашку. Однако истинную его натуру выражало не первое существо, а именно второе, во всей его полноте. А каменная маска скрытного человека? Что ж, она, пожалуй, только и была маской, как родимое пятно, унаследованное от предков...

Скрытному по своей внутренней сути, расчетливому человеку неведомо чувство самоанализа. О своей душе он обычно не задумывается. В ней ему все кажется ладно, прочно, без родинок и пятен. А вот что там творится в душах других людей? О, об этом непременно надо знать, чтобы умело использовать познанное в своих личных целях.

Набиден был не таким. Он, напротив, в каждом человеке пытался отыскать что-то хорошее и доброе. Исключения составляли у него отпетые ловкачи и подонки, которых он ненавидел всей душой.

А в себе ему многое не нравилось. Вот, к примеру, эта чрезмерная, порой даже слепая доверчивость. Сколько раз он из-за нее попадал впросак, сколько раз его обводили вокруг пальца коварные хитрецы! Он потом руками

разводил, дивясь тому, как его кто-то ловко оставлял в дураках.

Или вот эта его безалаберность... Нет, не безалаберность, а какая-то бездумная безоглядность, которая тоже не раз подводила его. Он и ругал, поносил себя за это, но ничего не мог поделать с собой. Сперва что-то в импульсивном порыве совершал, а уж потом думал об этом.

Правда, не всегда такие порывы приносили ему недоразумения или беды, ведь побуждало-то его к действию добро, но главное то, что поступал он так или этак совершенно неожиданно для самого себя. Делал, а уж потом радовался, праздновал победу или, наоборот, сокрушенно чесал затылок.

С Оборотовым, когда отбивал у него Андрейку, тоже поступил в непроизвольном порыве. Но ни в чем не раскаивался. Так ему и надо, этому Пантелешке. Совсем обнаглел человек.

И сколько бы не перебирал в памяти событий и разных случаев из своей жизни Набиден, он неизменно находил во многом результаты этой своей странной и непонятной ему самому безоглядности. И таким он, пожалуй, был всегда — и взрослым, и малышом. В крови это, наверное, у него...

Нелегкое, ох какое нелегкое детство выпало на его горькую долю. Родился он в небольшом жатакском ауле, в семье чабана-батрака. Бай, его родственники и сподручные жили на живописном горном лугу близ речки, в роскошных юртах, а неимущие жатаки гнездились на неуютном каменистом угоре, в серых крохотных мазанушках. Он хорошо помнит родительское глинобитное жилье, низкое и темное, со всех сторон обложенное дерном. В углах зияли щели и дыры. Семья была большая. Спали вповалку, на одной старой кошме. Зимой их донимал холод, летом — духота.

Помнится, в летнюю пору их сильно одолевали змеи. Днем, когда дул горячий степной ветер, гадюки уползали с каменистого нагорья к реке, а ночью вновь возвращались на прежние места мимо жатакских мазанок. Соблазнившись запахом парного вечернего молока, змеи частенько заползали и в глинобитные хижины, наводя ужас на людей.

Однажды гадюка укусила в ногу младшую сестренку Гульнару, которая нечаянно наступила змее на хвост. Укус пришелся выше щиколотки. Набиден, ни секунды

не мешкая, схватил острый кухонный нож и чиркнул им по хорошо заметным зубным змеиным проколам. Брызнула кровь, сестренка — в рев, а Набиден, припав к ноге дергающейся от боли Гульнары, начал отсасывать из раны кровь. Насосет, насосет ее в рот и сплюнет. И так делал до тех пор, пока у самого от натуги не закружилась голова.

То ли видел Набиден, как это делал кто-то из взрослых, то ли слышал от кого-то, но выполнил он эту операцию по первой помощи пострадавшей безупречно. У сестренки даже ничуть и не вспухла нога, на другой же день носилась по горе, как коза. А вот у самого спасителя вспухло лицо, разбарабанило язык. Видно, где-то во рту оказалась ранка. Недели две отболел, не мог даже и слова сказать, а только мычал, если что-то просил...

Большая семья чабана-батрака Оразалина часто голодала. Две старших сестры, отощав от недоедания, хватили весной какой-то травы и умерли.

— Иди, сынок, к баю, работай вместе с отцом,— сказала мать Набидену,— а то все пропадем.

В начале тридцатых годов совсем было легко вздохнула семья Оразалина Сексенова. Баев уже и в помине не было. Набиден вместе с отцом работал в колхозе «Дружба», драные чапаны у них сменились на яркие ситцевые рубахи. Из тесной и сырой мазанушки семья переселилась в настоящий дом.

Правда, не все ладилось в колхозе на первых порах. Недоставало инвентаря, плугов, тягловой силы. Особенно с трудом давался весенний сев. Пахали на быках. Как-то одна из посевных кампаний оказалась под угрозой срыва: животные совсем выбились из сил, падали на загонках.

Вечером в недавно открывшейся школе состоялось колхозное собрание. Долго судили-рядили земледельцы, что делать.

— Быки шибко измучились... давайте заменим их колхозными коровами,— предложил Набиден.— Совсем плохие быки... Жалко их.

— Колхозных коров, говоришь, в плуг?— сурово и изумленно спросил председатель.

— Ну да,— с наивной живостью подтвердил Набиден,— коров и есть. Другого выхода нет...

— Какие же тогда коровы будут из них?— невесело усмехнувшись, поднял брови председатель.— Где тогда молоко возьмем? Сорвем госпоставку.

— Сдадим молоко от своих коров,— упрямился Набиден,— от личных...

— Ну, ты с отцом сдашь. Знаю. А как другие? Тут, брат, не прикажешь...

Но и другие колхозники согласились с предложением подростка Набидена. Хозяйство досрочно закончило сев, выполнило и план по молоку...

Совсем было пошли артельные дела в гору, да тут случились подряд несколько лет недороды от засухи. Падеж скота... Голод... Эпидемии... Тиф унес на погост всю как есть семью Оразалина Сексенова. Уцелел лишь один Набиден. Кто-то и отвез сироту в Риддер и устроил там учиться в ФЗУ. Пусть, мол, хоть один из семьи останется продолжателем рода.

И вскоре Набиден стал работать на опытном заводе электролиза цинка. Поначалу дело не очень-то клеилось у молодого металлурга: и цинк не тот шел, и осадок от катодного полотна с трудом отделялся. Измучился Оразалинов.

Самолюбивый человек будет страдать, горе мыкать, а перед чужой наукой шапку не снимет — гордыня заедает. Набиден оказался не таким. Не посчитал для себя зазорным обратиться за помощью к опытным мастерам.

— А ты, паря, приходи на работу за полчаса, а то и за час до смены,— посоветовал ему пожилой рабочий Трофимов, седоусый весельчак цеха.— Я тебе, глишь, инструмент помогу приготовить. Научу ножи точить, контакты зачищать. Главное — дела не чураться. И все образуется. А кто баклуши бесперечь молотит, того и нужда вечно колотит.

Потом, это уж перед самой войной, Набиден и сам стал первым мастером на цинковом производстве.

Вспомнил сейчас, сидя в вагоне, Набиден, как одно время пошел плохой цинк с опытного завода. Вспомнил и покачал головой. Сыграл тогда ему кто-то темную за то, что первым слово о браке замолвил. Видать, выявленные затем виновники и отомстили ему сполна, сорвали на нем злость.

И ведь не мучился он опять же от того, говорить ему о чьей-то безалаберной работе или нет: беспокоился только о том, как узнать, откуда, с какого участка, с кого именно начинался брак. Кто-то ведь портачил. В бытовке, после смены, поделился мыслями с Трофимовым.

— Собираюсь, Иваныч, в партком идти.

— По какому такому делу?

— Насчет брака хочу говорить.

— Какого брака?— как сейчас Набиден видит, сивые, с проседью брови Трофимова выгнулись в дуги.— Где-то оплошал?

— Да я-то вроде нет. А вот кто-то плошает.

— Что-то я тебя, дружок, не пойму,— придирчиво склонил голову Трофимов.— Говори в открытую. Без намеков.

— Хорошо, без намеков, так без намеков!— Набиден прямо как сейчас слышит свои слова, голос у него тогда так и зазвенел.— Какой мы цинк последнее время выдаем?! А? Такой темный, как вот рыба тебе копченая! Что — не так? Да?

— Да так, так. Знаю. Цинк пошел непутевый. Но как найдешь виноватых-то? Может, вовсе и не у нас пироги подгорают. Может, в другом отделении кавардачат. Откуда знаешь? Тут нужна широкая проверка. По всему производству.

— Об этом и я говорю.

— Придется всех контролеров на ноги поднимать.

— Придется. А как же? Надо.

— Тогда — давай. Не о своей рубашке печешься. Коли что — поддержу. Подожди меня после душа. Потолкуем.

Набиден проводил Трофимова благодарным взглядом. Начал было раздеваться, одну руку освободил от спецовки, а другая так и осталась в рукаве. Подсел к нему парень, кажется, из аппаратчиков, которого он видел всего раза два.

— Случайно разговор ваш слыхал,— процедил он сквозь зубы.— Очень занятно беседовали. Значит, так получается: каждый из нас в подозрении, одни только вы чистенькие. Так, что ли?

— Так, не так, а цинк идет совсем плохой!— резко отрезал он тогда этому самоуверенному и назойливому молодчику.— Вот это — факт.

— Может, оборудование барахлит, а вы — коллектив грязью поливать! Хор-рошие какие!..

— Там — посмотрим.

— Ну, ну — поглядим!

— Не надо все на технику валить. Кой-когда и сами люди барахлят. Надо посмотреть.

— Валяй, валяй!.. Больно ты прыткий нашелся, скажу я тебе. Токо ходи на поворотах легче. Завалишься.

Комиссию в тот раз все же создали. Выявили: брак шел из-за одной смены аппаратчиков. Крепко попало потом халтурщикам-разгильдяям. Всыпали они и ему, Набидену, ночью в темном переулке, в отместку за то, что ткнул их, как шкодливых котят, носом в наделанную ими пакость. Набросили на голову плащ и изметелили. С месяц в больнице отвалялся...

А потом — война. Фронт.

При первом же выходе в боевое охранение Набиден ввязался в нелегкий и опасный для себя бой. Именно: ввязался.

А дело это было под Ленинградом. Накануне вечером в землянку взвода автоматчиков вбежал радостно возбужденный молоденький почтальон и еще с порога крикнул:

— Подъем, братцы! Вам безумно повезло. Столичные девчата прислали взводу огромную посылку. Одному и не поднять.

— Ого!— крикнул кто-то.— Значит, есть и мыло, и одеколон, и махра, и кое-что еще!..

— Языком не трепать. Забирайте подарок. Посылка в бричке.

Солдаты внесли в низкую, прокопченную дымом землянку зеленый продолговатый ящик, сорвали крышку и ахнули: в посылке рядками лежали новые, с вороненными стволами автоматы ППШ, подернутые тонким слоем золотисто-зеленой смазки.

— Вот тибе и мыло, вот вам и адиколон!— разведя руками, произнес с преувеличенным акцентом Набиден под басовитый солдатский гогот.

С автоматом из этой посылки и ушел Оразалинов в боевое охранение тихой и уже почти по-летнему теплой майской ночью. Лежал в старой, заросшей молодой травой ячейке затаенно, чутко вслушиваясь в каждый доносящийся из густой темноты звук. Наносило парным, медвяно пряным и острым, даже чуть приторно-сладким духом доцветавших весенних цветов. Сонно вскрикивали какие-то птицы, и вновь дегтярная темень дышала пугающей тишиной.

Нейтральная полоса на этом лесистом, сильно пересеченном участке фронта оказалась довольно рваной и широкой, и каждую минуту можно было ждать здесь любых неожиданностей.

Близилось утро. Редкие ущербные звезды на чистом, сочно засиневшем небе истекали последним светом. За-

метно посвежело. Подул ветерок. Глубокая излучина недалекой речки отянулась голубоватым туманом.

В быстрой смене красок рассвета все в мире вроде бы приглохло. Но вдруг Оразалинова что-то насторожило. Он еще не мог догадаться о том, что его встревожило, но явственно чувствовал, что на нейтралке что-то происходит. И совсем близко. Склонил голову к земле, унял дыхание. Сперва ему показалось, что это стучит его сердце, но вскоре понял: идут люди.

Положил под правую руку гранаты. Вскинул автомат.

И тут же из-за темного обмежка кустарника тенями выползли фигуры немецких солдат, в касках, с автоматами в руках. Десятка три, пожалуй, будет,— определил Набиден.

Открывать по фашистам огонь сразу или, пропустив их в тыл, предупредить затем своих выстрелами из автомата?

Последний вариант, пожалуй, был всего разумнее и безопаснее для него самого. В бой сразу же вступит своя передняя линия и ему легче будет потом справиться встречным огнем с отступающими в панике фашистами.

Однако в сознании Оразалинова и в помине не было никаких вариантов. Он только медлил с открытием огня: далековато для ППШ. А фашисты, согнувшись, тихо шли гуськом наискосок таким образом, что с каждым шагом приближались к нему, оставляя после себя в дымчатой росной траве точно пропаханную темную борозду.

Наконец Набиден четко различил напряженные лица идущих. Можно стрелять, и он ударил длинной очередью. Успел заметить: пока они в растерянности залегли, несколько из них, сраженные пулями, рухнули наземь с беспомощно вскинутыми руками.

Завязалась яростная перестрелка. Пули зло вжикали над Оразалиновым. Цепь между тем медленно, но верно охватывала его кольцом. Набиден пустил в ход гранаты. Метнул одну, другую, третью...

Неизвестно, чем бы закончилась эта неравная схватка, если бы на помощь не подоспел свой взвод.

Безоглядность в действиях... Отчего она у Набидена? Только ли от простодушия и нетерпеливости?

А не в сумме ли всего жизненного опыта человека главный глубинный секрет его натуры? И не в громаде ли предшествующих поступков надо искать причину его

последнего, решающего в жизни выбора? И может быть, не столько разум, сколько сама натура толкает нас к рисковому шагу. Чистый разум всегда эгоистичен, потому что расчетлив...

Всесилие суммы привычек... Что перед ней заученные проповеди? Голые, холодные слова... Ведь даже добрые дела порой совершаются вопреки, казалось бы, здравой логике сиюминутного момента.

Самая наивысшая точка духовного взлета... И самая низкая грань падения... Говорят, их природа в чем-то существенном схожа. Может быть, в том, что они программируются самой жизнью? Люди нередко думают одно, а делают совершенно противоположное, а потом спохватываются и рвут на себе волосы.

Набиден лишь сейчас, сидя в вагоне, размышляет о своих поступках. Тогда, в бою, не мучился в выборе действий. Все получалось как бы само собой.

А все-таки, может быть, были раздумья, сомненья — короткие, как вспышки молнии? Да нет, вроде бы ничего такого не было... Даже тогда перед секущим зевом амбразуры...

И в памяти встало самое главное событие его военной жизни, о котором он еще никому никогда не рассказывал, а почему — сам не знает. Боялся, что не поверят? Может быть. А всего скорее оттого, что не любил выставлять себя напоказ перед людьми, не хотел и даже попросту не мог не только бахвалиться своими заслугами, но и говорить о них.

А произошло это тогда, когда боевые действия Ленинградского фронта катились к исходу. В самый решающий момент штурма одной высотки, взятие которой во многом решало судьбу успешного наступления всей стрелковой дивизии, цепи батальона залегли: справа неожиданно заговорил прикрытый зеленью вражеский дзот.

И надо ж было так случиться, что именно он, Набиден, оказался самым крайним справа в цепи своего взвода — то есть ближе всех к дзоту!

Пулемет стучал без продыха, самоуверенно, с неистовой злостью. И совсем близко. Оразалинову казалось, что он обдавал его жаром своих хлестких выстрелов. Летящие пули звенели, как туго натянутые струны, взбивая пыльные шлейфы в гуще залегшей пехоты. Ни отступать, ни бежать вперед цепи батальона не могли: прилавок у заросшего кустарником взлобка оказался

ровным и начисто лысым — без травы, рытвин и камней. Поддерживающие прорыв самоходки, обходя на подступах к высоте овраг, который наступающая пехота преодолела быстро и без труда, сдвинулись влево, в низину, и дзот оказался не в их поле зрения. Ловко, сволочи, устроили огневую точку — ничего не скажешь.

Оразалинов, еще раз окинув взглядом приникшие к немилосердной на этом участке земле цепи, расторопно, споро работая локтями, пополз вверх, минуя зеленые ежики низкорослого кустарника.

Ну вот, кажется, хватит. Можно бросать. С такого расстояния трудно промахнуться, и Набиден, раз за разом, швырнул в амбразуру две гранаты — все, что были при нем. Чтобы было надежнее, наверняка. Резкие, трескучие взрывы оборвали сердитый, огнедышащий рык пулемета.

И почти тотчас же по предгорному прилавку покатилось протяжное «ура». Пехота вновь бросилась вперед. «Хорошо, жаксы»,— отметил про себя Оразалинов.

Однако преждевременно он порадовался. Дьявольский зев покореженной амбразуры снова огрызнулся бешеным огнем. Набиден, не мешкая, высадил по пулемету весь диск ППШ. Что там случилось у тех, кто был у пулемета — неизвестно, но амбразура опять, как и после взрывов гранат, захлебнулась. Но теперь Оразалинов уже не стал надеяться на слепую удачу. Не теряя ни мгновения, он бросился левым обходным путем, прикрытым кустами, к амбразуре. И лишь выравнялся с ней, как пулемет, ровно заколдованный, опять, в который уже раз,— забился в истерике огня.

Лютая ненависть к неуязвимому пулемету, боль и досада, жалость к себе — все это жаркой волной обдало Набидена. Но это длилось только секунду. Может быть, две. А потом был рывок. Решительный и неистовый. И, как думал Набиден, последний в его жизни. Помнит он теперь лишь одно: резкие горячие удары в грудь. И пронизывающий голову холод. Почему-то холод. А потом зыбкое падение в черноту. В липкую, с красными пятнами темноту. Падение сужалось, пока не замерло, не сошло на нет в одной точке...

Что было с ним потом, он знает только из рассказов. Первый эшелон ушел в порыве атаки вперед, и его, Набидена, засыпанного землей, обнаружили бойцы второго эшелона. Почему он оказался засыпанным землей — никто не знает. Но то, что он был завален землей,— со-

вершенно верно. Об этом ему, когда он пришел в себя, когда вернулся к жизни, рассказали санитары.

— Шесть пуль прошило тебя, друг сердешный!— сказал один из них.— Живучий. Видно, битый судьбой.

И верно: живучий. Отвалялся долгие месяцы в разных госпиталях. И вот встал на ноги. Может, когда-нибудь он и узнает от однополчан, если кого-нибудь отыщет, всю правду о себе. Но пока даже никто не знает и о том, что он закрыл собой амбразуру вражеского дзота...

Что ж, это не беда. Главное: жив. И возвращется домой. Только вот куда — домой? Семьи нет. Видимо, на родной завод, в Лениногорск, бывший Риддер, маленький городок, горсть домов, фабричных и заводских корпусов которого разбросана в живописной чаше, окруженной подковой синих лесистых гребней Ивановских белков. А может, махнуть в какой-нибудь аул родного Уланского района? Вдосталь отпиться кумысом, подлечиться им? А то что-то ноет в груди, как бы чего худого не случилось...

— Айбай, болит,— вслух прошептал Набиден, растирая широкой смуглой ладонью грудь.

XII

Семья Световых просыпалась обычно рано утром. Первой поднималась Елизавета Андреевна. Сначала она укладывала дрова в печке. Снизу ложила крест-накрест сухие осиновые и пихтовые поленья — для растопки, сверху сырые. Так дрова дольше горят.

Скалывала ножом от просушенного за печкой сухого, без единого сучка, полена тонкие щепки, подсовывала их под дрова. Выгребала затем живой уголек из загнетки — прибитой к боку печки кучи теплой золы. Приставив клочок бересты к сохраненному огню, дула на алый уголь до тех пор, пока он не вспыхивал пламенем.

Спичек не было, и жар в загнетке сохранялся всегда. Бывало так, что и загасали к утру угли в золе. Тогда приходилось бежать за растопкой к соседям.

Раным-рано встала мать большого семейства и на этот раз. Даже раньше, чем обычно. Со вторыми петухами. Не спалось ей что-то сегодня. Сердце болело. Ворочалась с боку на бок. Сразу же думы о муже, об Андрее прилипли. Часа два, может быть, и вздремнула.

Так, с тяжелой головой и поднялась. Вынула из неостывшей печки оранжевую, с темными подпалинами тыкву

на жестяном листе. Истомилась она за ночь на жарком поду, видать, хорошо. Первое лакомство для ребятни с нового урожая огорода. Поставила на стол пареную тыкву. Еще раз оглядела ее со всех сторон. Понюхала. Отрезала сверху небольшой кусок. Попробовала. Дошла. В самый раз.

Поставила в растопленную печь большой чугун с мелкой картошкой — для скотины, торопливо надела фуфайку, платок, бросив на ходу проснувшейся Татьяне, самой старшей из оставшихся в доме детей:

— Я на свиноферму. Скоро вернусь. Корми тут ораву. Да чтоб без шума, без драк.

— Ладно, ладно,— Татьяна, слезая с печки, широко зевнула.— Беги. Без тебя управлюсь.

Как только мать захлопнула за собой дверь, тотчас же повскакали на ноги все дети. Трое младших — Зойка, Федька, Костя — спали обычно на печи. И еще трое — Евдокия, Захар и Рая — вместе с матерью на полу, в соломе.

— К тыкве не лезть!— строго распоряжалась Татьяна.— Не то врежу по рукам. Сперва на улку сбегайте, умойтесь, а потом — за стол. Живо!

— Таня, хоть крошечку можно?— пропищал Федька и потянулся к тыкве.

— Сказано не лезть,— значит, не лезть!— насупила брови младшая хозяйка.

Утро выдалось холодным, в рассветной просини уже виделось, как густой иней обелил у окна сухие листья клена.

— Раиса, что пританцовываешь?— прищурилась Татьяна.

— Да вот...

— Дуй на улку первая. Да поживее. Вон и Коська ужимается.

— Тань,— жалостливо пискнул Костя,— а может, я в тазик?

— Я те дам — в тазик. Вонь тут разводить...

Рая сунула босые ноги в единственные в доме семейные опорки, похожие на высокие калоши, и пулей вылетела на двор. Другие остались терпеливо ждать своей очереди.

— Эх, а я и босиком слетаю, в хлевок!— взвился Костя и ударом пятки широко распахнул увесистую дверь избы.

— Давай, лети!— смешком сопроводила его Татья-

на.— Да только ноги вытри... Евдокия, а ты что стоишь?— повысила она голос.

— А чо?

— Воды в рукомойник налей. Да полнее, чтобы всем хватило. Захар, подвинь скамейки к столу.

Вернулась со двора Рая. Сброшенные с ее ног опорки сразу же подхватил Захар.

— А мне?— обиделась большеглазая Зоя.

— Ну, бери ты,— уступил ей очередь брат.— Да побыстрее шевелись. А то съедим тут тыкву без тебя.

Вскоре все семейство расселось за столом. Татьяна споровисто вырезывала ножом ровные, одинакового размера куски пареной тыквы и раздавала их братьям и сестрам.

— Мне чур зазаристую, Таня!— пропела Зоя.

— Бери зажаристую. Жалко, что ли!

— А почему кусочки маленькие?!— удивился Захар.— Тыква-то вон какая!

— Хватит и этого на завтрак. Вторую половину в обед съедим. И не куксись, Захарушка. Еще по ложке семечек дам. Да по полстакана молока.

Тыква оказалась на редкость сладкой и вкусной. От горячей оранжевой мякоти шел парок, и ребята, обжигаясь, уминали ее с превеликим удовольствием.

Управившись на ферме, Елизавета Андреевна заспешила домой. Надо было успеть подоить корову до пастуха. Таньша, наверно, еще с детворой не управилась. А то бы и она подоила. Да ладно уж. В избе приберет, и то подмога.

Уже ободняло, хотя солнечные лучи еще не коснулись и макушек гор. Светова на минуту придержала шаг, окинула взглядом всю улицу: не радовал глаз вид родной деревни. Уж больно быстро постарела она за войну. Ограды покосились. Без малого, через две-три усадьбы стояла изба с напрочь заколоченными окнами. Это значило, что в ней не осталось ни одного жильца...

— Как только мои выжили — уму непостижимо!— вслух сказала она.— Перебиться надо и эту зиму, а там, поди, легче станет. Картошки вроде бы должно хватить до весны. Тыквы еще не убраны, капуста... Тыковок совсем мало. Упрячу на чердак. Лучше сохранятся. Если по одной в неделю парить — до апреля растяну.

Почти у самого своего дома Светова сорвалась на

скорый бег. Соседский бычок, выпущенный, видно, из ограды к выгону на луга, бодал ветхий плетень ее огорода.

— Сыля! Будь ты неладный!— закричала она, хватая с пыльной дороги хворостину.— Сыля!..

Но было уже поздно. От последнего удара быка подгнившие колья треснули, и огородное звено рухнуло на землю. Напуганный бычок шарахнулся в сторону и убежал прочь.

— Ах ты окаянный!— Светова схватилась за сердце. Подошла к выломленному звену и обессиленно повалилась на него.— Надо же... Еще одна заботушка на голову!.. Тыквы в огороде, капуста... Как же я теперь?.. И Андрея, как назло, унесла нелегкая!.. Что с ним?

И другое, более страшное горе — потеря сына — сразу отодвинуло все иные заботы матери на задний план. Всем своим сердцем она вдруг почувствовала, что с Андреем случилось что-то неладное. Двенадцатый день никаких вестей!.. Если бы ничего не стряслось, давно бы милиция прибрала его к рукам и домой возвернула.

— Вот беда-то какая! Вот беда-то опять на мою голову!— шептала Елизавета Андреевна, прикрывая ладонями сухое потемневшее лицо.

Больше она не произнесла ни одного слова. И только раскачивалась из стороны в сторону. Не было ни слез, ни причитаний. Все уже истратилось, извелось за эту войну...

XIII

Когда поезд прибыл на станцию областного центра Усть-Каменогорска Защиту, пассажиры восьмого разошлись по своим личным делам. Договорились через час снова встретиться на станции и проститься.

По истечении этого злополучного часа все и произошло. Оборотов, разумеется, ни с кем встречаться и прощаться не думал. У него намечались свои, особые дела, но он пока, как и другие пассажиры, задержался на станции.

У Андрея Светова в отличие от всех, дел никаких не было, и он торчал в зале вокзала, поджидая, когда вновь вернутся на станцию те, кто ушел в город. Его настойчиво звал с собой Алексей Желнов, но он почему-то наотрез отказался. Сидел, подложив под себя полевую сумку, у стены, на полу, покрытом гладкими палевыми пли-

тами. За пазухой серой, испятнанной заплатами рубахи хранилась у него, как драгоценность, подаренная Желновым пилотка, которая нет-нет да и царапала ему брюхо острыми гранями звездочки. Это был для него самый желанный подарок. Отца не нашел, так хоть военную пилотку сохранит, как память о нем. Пусть не его пилотка. Но все едино... Она ведь оттуда, с фронта...

Через час-другой к Оборотову должен был подъехать сын на гнедом иноходце, запряженном в легкий, добротно сколоченный ходок. Пантелей Тимофеевич рассчитывал побывать затем вместе с Гошей на барахолке, а уж потом тронуться в путь к своему лесничеству. Сын обычно старался подкатить к станции загодя, чтобы успеть и коня овсом подкормить, и самому отдохнуть. Однако на этот раз он припозднился, что и беспокоило отца: перед самым его отъездом сын сильно простудился, и пока они добирались до Защиты, Гоша совсем обмяк. Его то бросало в жар, то в озноб, и отец сразу же отправил больного в обратный путь, пока он вовсе не слег.

«Может, совсем худо парню стало?— мелькнула досадная и тревожная мысль.— Я его здесь жду, а он, поди, дома в постели валяется? Тогда некого ждать. Акулина двух дойных коров не бросит. Молоко присохнет. Вот незадача-то какая!..»

Он было упрекнул себя за то, что не отставил на другой срок задуманную поездку в Новосибирск и не вернулся вместе с сыном домой, да тут же, махнув рукой, отогнал от себя непрошеные раскаяния и сожаления, как наваждение. У него даже что-то внутри неприятно шевельнулось, когда он упрекнул себя в нехорошем поступке. Шевельнулось что-то такое непривычное, болевое. Возможно, совесть, а возможно, и острая досада...

«Нет, возвращаться не было резону,— успокоил он себя.— Столько сил вложил в сборы и на тебе — домой, с пустыми руками! Нет, нет... Да и Гоша — не малое дите. Гнедко все едино до заимки домчал. А дело-то удалось. С добрым наваром возвращаюсь... Вот одна лишь закавыка — как до Поперечного добраться, коли Гоша не подъедет? Поклажа-то немалая».

Мысли и чувства Пантелея Тимофеевича метались. Он нервничал и буквально не находил себе места, то зачем-то поправлял мешок, то подходил к киоску, который вел торговлю здесь же, рядом, в здании вокзала. То и дело озирался назад, оглядывая свои вещи. «Куплю, пожалуй, роговых гребней. Штук двадцать. Сгодятся.

Токо деньги в кармане крупные. Менять не хочется. В мешке, кажись, есть червонец. Куда же я его сунул? А, в карман нового пиджака».

И он, припадая на одну ногу, в который уж раз подошел к мешку, развязал его и осторожно, незаметно для посторонних глаз, прощупал рукой все карманы лежащего наверху покупок пиджака. Червонца не было. «Что за чертовщина!»— прошептал Пантелей Тимофеевич, округляя глаза. Не поднимая головы, думал, соображая, что же произошло. Потом, все так же не разгибаясь, хлопнул левой рукой по карману брюк и облегченно вздохнул: здесь червонец. Значит, уже взял его из пиджака, да запамятовал.

Очереди у киоска не оказалось, и Пантелей Тимофеевич спокойно отобрал для себя два десятка восковитых гребней. Прижав их ладонями к животу, направился к своим вещам. И тут же, шага через два-три, остолбенел: мешок его был настежь распахнут, хотя, как думал, Оборотов, он только что завязал его веревочками в две петли. На самом же деле мешка он не завязывал. Забыл в свом смятенном состоянии.

Сознание Пантелея Тимофеевича помутилось. Обокрали... Наверняка обокрали! Краснощекое, лоснящееся лицо его в один миг побелело, лишь текущие из-под черного кожаного картуза курчавистые языки баков горели, казалось, с еще большим жаром.

И тут Оборотов заметил, как Андрейка Светов торопливо застегивал рубаху, пряча за пазуху пилотку.

— Ах ты стерва!— прошипел сдавленным от ярости голосом Пантелей Тимофеевич.— Ах ты, белобрысая обормотина!.. Раздавлю, как таракана, коли что!..

Светов и в самом деле запихивал за пазуху пилотку, но только не ворованную, а ту, которую отдал ему с добрым сердцем Желнов. Он лишь вывернул ее на левую сторону, чтобы звездочка легла вовнутрь и не царапала брюхо. Вот и все. А Оборотов принял ее за свою покупку. Он приобрел их, пилоток, на барахолке пять штук.

Пантелей Тимофеевич, почти не прихрамывая, подлетел к своему развязанному мешку и начал судорожно перекидывать в нем вещи.

— Так и есть!— всплеснул он руками.— Нет одной пилотки!— трясущиеся пальцы его вновь торопливо зашарились в мешке.— И сапог нет... Хромовых сапог!..— изжелта-серые глаза Оборотова полезли из орбит, багрово-синие дрожащие губы отвисли, обнажив большие

хищные зубы.— Ну, я те покажу, тварюга!— угрожающе прохрипел он и в два прыжка, несмотря на свою грузность, достиг Андрея, который, глядя на него, недоуменно хлопал белыми ресницами глаз.— Я те покажу, стерва, как на чужо добро рот разевать!— и Оборотов, свирепо рыча, грязно матюгаясь, цепко схватил Андрея под ребра, и, высоко вскинув его вверх, резко с неистовой силой шмякнул его задним местом об пол...

Никто из пассажиров восьмого вагона не видел этой страшной и дикой сцены. Когда в зал вошли Алексей и старик Рулев, Андрей, еще живой, согнувшись калачом, ерзал по каменному полу и хрипло, надрывно стонал.

— Где сапоги, ворюга окаянный? Где?!— топая возле него ногами, невменяемо орал Оборотов.— Где?! Раздавлю, как паскудину?

Желнов понял, что случилось, и с ходу яростно, со всей мочи, толкнул руками Оборотова в грудь, и тот, потеряв равновесие, неуклюже стукнулся о стену и осел на пол.

— И ты туда же?!— вызверел уже на Желнова Оборотов.— Надо ворюг бить, а он на честных же людей руку подымат!

— Что ты сделал с мальцом, жмот несчастный?!— спросил, задыхаясь, Алексей.

— Да он его взнял вверх да и об пол!— закричали пассажиры.

— Посадил, чтобы все внутренности отбить, значит.

— Решил пацана, словом. В один взмах.

— Зверь, видать, а не человек.

— Может, и не он вовсе украл. Сперва разобраться надо, а уж потом руки распускать... Ну, народ, язви тя!..

Желнов схватил Оборотова за грудки и с отчаянным остервенением затряс его перед собой:

— Да что он у тебя украл?! Говори?!

— А вона — пилотку. За пазуху спрятал. И сапоги.

— Какую пилотку? Да это же моя пилотка! Я подарил ее Андрею!— Алексей выхватил из-за растегнутой рубахи Светова пилотку.— Смотрите, люди добрые, я прошил здесь желтыми нитками две буквы: «А. Ж.» Алексей Желнов. Вот, так и есть! Моя пилотка. Ну, гадина! Ну, гадина!.. А какие сапоги?

— Хромовые... Какие еще? Новые. В мешке были и нету.

— А ну, Дементий Афанасьевич,— обратился Алексей к Рулеву.— Тряхните мешок. А я Андрея пристрою.

Желнов сбросил с себя шинель и, расстелив ее на полу, уложил на нее изводящегося в болевых судорогах Андрейку.

— Господи ты, господи, да за что же вы его так, сердешного?!— сокрушенно простонал Рулев, склоняясь над туго набитым мешком лесника.— О люди, люди! До чего же озлобила вас война...

— Дядя Леша, больно мне!— еле пролепетал Андрей, облизывая сухие, покусанные губы.— Все болит... Крючит живот весь.

— Потерпи малость. Я за врачом слетаю.

— За что он меня? Ничего не брал я у него...

— Разберемся, разберемся, Андрюха...

Дементий Афанасьевич приподнял увесистый сидор лесника и вывалил из него на каменный пол все, что было туда натолкано: кастрюли, кружки, шали, платки, отрезы серой и черной шерсти, пять защитного цвета пилоток, красноватые, морщинистые палки копченой колбасы и... сапоги. Да, это были они, хромовые сапоги. Те самые, за которые и изувечил Андрея Оборотов.

— Так вот же они, хромовые-то сапожины!— надтреснутым голосом выкрикнул Рулев.— Тут они и были, боров ты рыжий!— обжег он ненавидящим взглядом лесника и исступленно затряс бородой.— Да что ж ты наделал, изверг рода человеческого?! Образина фашистская!.. Поднять руку на мальца!.. Ни за что, ни про што. До какой же лютости надо докатиться!.. Сердцу непостижимо...

— Вот что, Дементий Афанасьевич,— поднимаясь с колен, сурово отчеканил Желнов,— никуда отсюда этого хмыря, Оборотова, не пускать! А я за врачом. А, вот и Шапов!.. Разбирайтесь здесь... Я — бегом.

Без малого четверть часа потребовалось Желнову на то, чтобы найти и привести к вокзальному зданию врача.

Погода портилась в тот день очень быстро. Утром, хоть и по-осеннему скупо, еще грело солнце, а к полдню небо затянули низкие рваные тучи, свинцово-серые, промозглые. Налетающий с Иртыша сырой и холодный ветер рвал с тополей, берез и кленов мертвенно-желтую листву, гнал ее струями вместе с пылью по привокзальной площади, заметая в текучие сугробы у заборов.

Еще у двери здания выходящий на улицу пассажир,

увидев женщину в белом халате и танкиста, с горестным вздохом проронил:

— Опоздали... Помер малец-то. Минут десять как отошел парень...

Желнов, издав тихий стон, привалился к косяку распахнутой двери, прикрыл ладонью глаза.

— Как же так?— придя в себя, прошептал он.— Да что же это такое?!— недоуменно повел он головой, и перед ним предстало квадратное, краснощекое, с отвисшей нижней губой лицо Оборотова.— Ну, гадина!— Алексей весь задрожал, затрясся, сжимая кулаки.— Ну, постой же!

Он плохо видел что-либо в зале, когда вошел в него, все плыло и мерцало в его глазах, как в мираже. Наконец он заметил склоненную над полом широкую спину, обтянутую синим сукном косоворотки, темно-русую, в мелкой провязи тонких волосинок бороду. Это был Рулев. Плечи его тряслись. Утопив лицо в ладонях, он беззвучно плакал над мертвым Андреем Световым. Алексей не узнал Андрея в этом тонком, прямом, невероятно вытянутом теперь, длинном теле. Только лицо было его: белое, в мелком крапе конопушек, остроносое, сухощавое. Серебряно-белый чуб разметался поникшими прядями слева и справа от светлого бугристого лба. Это был он. И не он. Потому что не светились уже голубым светом его добрые, умные и озорные глаза...

Много видел смертей Алексей на войне. Ко всему привык. Может, где-то и окаменел душой. Порой, бывало, и слеза не вышибалась... А тут не вынес... Горло туго сдавило. И слезы посыпались из глаз...

Подошел неверными шагами к Дементию Афанасьевичу, провел рукой по его дрожащей спине. Потом склонился над трупом и беспомощно уткнулся в отбеленные до снежной чистоты и мягкие Андрейкины волосы, положив ладонь правой руки на холодную щеку своего маленького друга. Своего бывшего друга...

— Да как же это ты, Андрейка, поддался этому хмырю?— сдерживая всхлипы, тихо, почти про себя, с досадой говорил он.— Да почему же это я не взял тебя с собой? Почему?!

— Не углядели, золотой мой... Не углядели...

Шмыгая носом, Дементий Афанасьевич выпрямился, вытер ладонью глаза.

— Не углядели,— со вздохом повторил он еще раз и сокрушенно и в то же время как-то недоуменно, даже

виновато поглядел на Желнова набрякшими краснотой глазами. И этот взгляд его говорил: «А ведь могли углядеть... Могли догадаться...» Алексей уловил досаду и раскаяние старика и хотел сказать ему что-то сочувственное, но не смог: губы его свело в болевой спазме.

С минуту глядели друг на друга в молчании.

— А где люди?— спросил наконец Желнов, озираясь вокруг.— Г-где Василий? Набиден?..

— Они повели его, Оборотова...

— Куда повели?

— Туда, за сквер, должно быть.

— Не в милицию?

— Нет.

Желнов бросился к выходу.

— Побудьте здесь, Дементий Афанасьевич,— обронил он на ходу.

Темное, клубящееся месиво из туч, пыли и какого-то смрада быстро приближалось к городу. В центре мрачного хаоса зловеще извивался черный столб смерча, просекаемый то и дело красными иглами молний. Тучи двигались откуда-то со стороны Семипалатинска, от высоких каменных столбов Монастырей прямо к Иртышу и станции. Ветер стих. Видимо, перед каким-то новым напором стихии.

А за сквером, в овраге, где, кроме наших героев, толпилось еще десятка два зевак, все шло к развязке. Василий Шапов уже объявил Оборотову общественный смертный приговор. Кто-то услужливо сунул в руку матроса финку. Набиден Оразалинов, дергая Шапова за рукав, что-то шептал моряку на ухо. Грузный, с покатыми сутулыми плечами Пантелей Тимофеевич стоял, набычив голову: злой, смятенный и жалкий. Он был при всем своем параде — в темном кожаном картузе, черных шароварах, хромовых сапогах и салатно-зеленой плащ-палатке. На побледневшем, как мел, лице его четким пупырем выделялась коричневая бородавка. В цепких изжелта-серых глазах под мохнатыми рыжими червями бровей метались, путаясь меж собой, и былая, еще не остывшая ярость, и животный страх.

— За что жа, братцы, такая кара?!— вскричал он, ища защиты у толпы.— Я жа не с умыслом... Я токо пристращать хотел... Я...

— За что пристращать-то?!— выдавил сквозь зубы Шапов.— За свою жадность и глупость?!

— Пощадите, люди добрые!— взмолился Оборотов, заломив руки. Вислые губы его тряслись, пуская слюну; свинцовые зрачки горели уже одним смертным испугом.— Семья у меня!..

— Нет тебе пощады, гадина ползучая!— и Василий Шапов пошел на Оборотова, вскинув финку.

В несколько прыжков Желнов достиг Шапова и сбил его с ног. Схлестнувшись, они покатились по скату оврага к ногам Оборотова. Кто-то крепко схватил руку матроса и выбил из нее нож. Алексей увидел перед собой спокойное округлое лицо Набидена Оразалинова.

— Это я виноват, Леша!— раскаянно мотнул он головой.— Я, я. Не так отговаривал его. Да и сам себя плохо держал...

— Зачем вы не дали мне это сделать?!— закричал в истерике Василий и яро заколотил кулаками по земле.— Да ему же жить нельзя на белом свете!..

— Хватит убийств и крови!— с силой хватил кулаком о землю и Желнов.— К чему этот самосуд?! Ты что — очумел?! В тюрьму или под расстрел захотел из-за этой дряни?!

Шапов встал. Отряхнулся.

— Ну, молись господу богу, скотина и кретин! Смайнал бы я тебя за борт в один момент!— жгучие карие глаза его метались, как бешеные.— Усек?!

Оборотов было окрысился, но только клацнул крупными табачного цвета зубами и сник.

— Кончайте митинговать,— сказал Алексей.— В милицию его!

— И верно. В милицию. Повели всем миром!

А смерч, с шумом и грохотом прошиваемый огненными нитями молний, вдруг свернулся и обмяк. Докатившись до Иртыша, он точно натолкнулся на невидимую преграду, вспучился буйными клубами, выстрелил последними раскатами грома и опал, сник, втянув в посветлевшие, усмиренные тучи черные спирали-щупальца.

И где-то на западе разомкнулось на небе окно, в которое хлынул прямой, как прожектор, поток золотого света закатного осеннего солнца.

XIV

Хоронили Андрейку на следующий день. Никто из его близких знакомых по восьмому вагону не уехал и не ушел по своим личным делам. Хотя каждый куда-то спешил. Всех опечалило и объединило одно горе. Война она, конечно, ожесточила нас, тогдашних фронтовиков. Да и не только фронтовиков — всех, кому выпало на долю военное лихо. Но общая беда и породнила всех добрых людей. Сплотила их в одну семью.

Отчуждение, разомкнутость потом пришли к людям. Потом, когда стал каждый рвать для себя как можно более сладкий кусок от общего государственного и народного пирога...

А тогда еще люди болели чужой болью. Да, да, болели!.. Страдали... Плакали...

Итак, хоронили его, Андрея Светова, как и положено в мирное время, где-то за полдень.

Доски купили. Гроб сладил Дементий Афанасьевич Рулев. Сообща вырыли могилу на кладбище. Глубокую, ровную.

После вчерашней бури с недолетевшим до города, угасшим черным смерчем солнце светило как-то робко и настороженно, точно с беспокойством разглядывало землю, чтобы узнать, не натворила ли где серьезных бед темная сила сумасшедшего ветра. Что ж, ураганы слепы и безжалостны. Смерч оставил на своем пути следы безумной игры: вывороченные с корнями деревья, сорванные с деревенских изб крыши, выбитые окна... Только город оказался незатронутым.

Но беда пришла и сюда... В покрашенном гробу, поставленном на две низких табуретки у зияющей черноты могилы, лежал покойник с пилоткой на груди. Лицо его завосковело. Прямой, с едва уловимой изящной горбинкой нос Андрея, казалось, еще больше, чем вчера, заострился. Губы сжались. Предсмертные боли, страдания точно окаменели в его бледно-лимонном, осыпанном березовым крапом конопушек лице.

Желнову все сегодня виделось в траурном цвете — и на кладбище, и в природе. Резали болью красная крышка гроба на фоне черного зева могильной пропасти, темные, словно обгорелые, гнутые стволы черемушника за кладбищем с багряными лоскутами сухих листьев, холодно горящие над темно-сизой крышей ближнего дома алые пятна рябины...

Хоронили Андрея Светова Шапов, Оразалинов, Желнов, Рулев с сыном Григорием и двумя парнями из семьи усть-каменогорских родственников. Вот и все...

Все стояли, опустив головы. Стояли молчаливые, суровые, с недоуменным выражением печальных лиц. «Как, почему это случилось?— спрашивали их взгляды, их горестно согбенные фигуры.— За что его лишили жизни? За что?!..»

Да, еще позавчера Андрей шутил и смеялся, еще вчера он со всеми разговаривал, не зная своего конца, а вот сегодня его уже нет... И даже мать, потерявшая его, ничего не знает о беде. О худшей своей беде.

— Ну, вот... и не стало Андрея Светова,— проговорил, катая под скулами желваки, Алексей.— Нашего Андрейки... Веселого и умного парня... Устали хоронить мы за войну... Устали... И месяца не прошло вот, как получил я на Востоке весть о смерти старшего брата... Восьмого мая погиб. Вот что обидно... У амбразуры. Может, у последней амбразуры войны... И письмо из рук выпало... Сам себя не помнил. Так-то тяжко было!.. А вот сейчас и того горше!.. И чужой вроде он, парень-то... А вот... Жалко... Невыносимо жалко... Будто роднее родного... Ненужная, обидная, нелепая смерть... Прощай, малыш!.. Прощай, белый одуванчик!— и Желнов не удержался, заплакал. Ничего не мог больше сказать...

Не было громких рыданий... Но слезы у всех все катились и катились по щекам...

А потом гроб с телом Андрея Светова подхватили связанными полотенцами. Тихо опустили его в могилу...

Глухо, утробно застучали о дощатую крышку комья земли...

Успели фронтовики соорудить и небольшой памятник с красной звездой. По железу выжгли электросваркой: «Андрей Светов, сын погибшего героя войны».

XV

Первым попрощался с компанией восьмого вагона Василий Шапов, который спешил на пристань, чтобы успеть к отплытию зайсанского парохода.

— Ну, братцы, отдаю швартовы,— сказал он, подняв бескозырку над широким лбом и обнажив непослушные кудлы жестких черных волос.— Если мой колесник вовремя доскребется до Зайсана, то в кармане у меня неделя отпуска. Неделя блаженства! Но мне хватит и три

дня. Два дня отгуляю в родном доме. Сутки отдам озеру, рыбалке, охоте. Отведу душу ухой у ночного костра и рвану в Семипалатинск. Там причал моего счастья... Ну, прощайте!

— Прощай. Ни пуха, ни пера!

— Идите к черту.

И он быстро зашагал к пристани, разметая по дороге желтую листву широкими полами черных брюк.

Остальные продолжали сидеть у пароконной брички, почти доверху набитой свежим пахучим сеном. Молчали. Никому не хотелось говорить после тяжелых похорон...

Желнов подсчитал, что ему не хватит времени, чтобы добраться до своей дальней таежной деревни. Нет, добраться-то, пожалуй, доберется до дому, а вот в часть, если учесть весь обратный нелегкий путь, явно опоздает. Дней на восемь — десять опоздает. Когда давали отпуск, он о дороге в свое глухоманное село как-то не подумал. Схватил чемодан и на железнодорожную станцию. А вот теперь понял: отпуск маловат для его одиссеи по чертомельным дорогам лесного горного края. А тут еще эти потерянные дни на станциях... В общем, как ни крути, а блин получился комом. Не повидать ему родного дома. Не повидать. Алексей, обхватив понурую голову руками, сидел подавленный и печальный на скамье у старого дощатого забора.

— Где же, интересно, жил Андрейка?— проговорил он наконец.— Как бы это узнать?..

— В сумке у него никаких записей,— вздохнул Рулев, который стоял, навалившись на бричку, где уже лежал на сене Григорий.

— Как-то он раз назвал свое село. Не то Горное, не то Предгорное...

— Этих Горных на Алтае много.

— Да, это верно. Еще, кажется, гору Маралуху упоминал.

— И Маралух немало у нас, золотой мой. Одна из них на моем пути. И села есть: Горное, Нагорное...

— Я, пожалуй, с вами и поеду, Дементий Афанасьевич,— вдруг решил Желнов.— Если можно, конечно... До этих сел.

— Да какой же разговор! Можно, можно. А как же дом?

— Не успею я к себе... Отпуск мал. Зайду потом в военкомат. Поговорю...

— Кони добрые, по всему видно,— отозвался на раз-

говор и Набиден Оразалинов.— Наверно, и я не отяжелю их.

— И ты, джигит, с нами?— обрадовался Рулев.— Давай, давай. Не отяжелишь гнедых. Вот и хорошо. Вот и хорошо, золотые мои!.. Вместе поедем. Это даже очень славно с вашей стороны. Бросайте в бричку свои вещички. Надо трогать. верст двадцать еще можно до темна отмахать.

Ехали они уже второй день.

Желнов думал о нелепой смерти Андрея. О скряге и выродке Оборотове. О его злобной и эгоистичной натуре, которая вдруг, точно распахнув все потаенные заслонки, показала себя с самой страшной своей стороны в этом жестоком и бессмысленном убийстве. Преступление высветило какие-то общие корни жизненных устоев жадного и хваткого мужичка. Поступок Оборотова — это как бы итоговый всплеск его каждодневных сделок с совестью, жестокий результат постоянного хамства эгоиста-потребителя.

Эгоизм, чванливый индивидуализм, слепая алчность хапуг и собственников всех рангов — не в этом ли ядовитом букете все наши людские беды?

Допустим, в этом. Но тогда почему все то же самолюбие не остановило Оборотова в его преступном шаге? Почему? Отчего он не устрашился неминуемого возмездия? Ведь в жизни-то он делает только то, что выгодно лишь ему одному. Так почему же и на этот раз не оградил его от собственной опасности все тот же шкурный интерес? Или уж столь слепа ярость эгоизма?

Желнов не находил ответа на эти непростые жизненные вопросы. Он чувствовал и сознавал определенно только то, что в преступлении Оборотова, в психологии этого частного поступка проглядывало нечто большее, какая-то другая тайна, более значительная и масштабная. Может быть, тайна насилия всех мастей. Его философия. Философия войны, как самой отвратительной жестокости по отношению к человеку.

Алексею вспомнились его беседы о войне с профессором. Теперь, после Победы, после долгих раздумий о жизни он на многое стал глядеть иными глазами. В том числе и на минувшую войну. Видимо, внесет коррективы в его сознание, в его думы и эта трагедия на станции Защита.

Словом, поиск правды продолжался. Во всяком случае, для Желнова уже потеряли свою непреложность его окопные рассуждения с профессором о войне. Это были какие-то обкатанные, давно известные человечеству истины, и с этими старыми отмычками нельзя было подступиться к новым явлениям мира. Непреложен, видимо, только один закон жизни: у каждого времени своя нравственная правда, свое мышление. Истины неповторимы. Это, может быть, и есть самая большая правда на белом свете.

Единственное, что не утеряло свою значимость,— так это мысли профессора о прямолинейности авантюризма. Тут что-то есть. Наверное, любой эгоист и властолюбец подвержен авантюризму. Вот и Оборотовым, когда он «наказывал» Андрейку, разбивая его об пол, владела лишь одна-единственная страсть: слепая ненависть. Больше он ни о чем не думал. Иных чувств не ведал. Алчность и мстительность не оставили ему ума для предвидения последствий своего самоуправства. Он действовал по наитию, которое управлялось привычками и огнем самолюбивых амбиций. Наверно, потому и ошибаются так часто все подлецы, что затемненное эгоизмом их сознание видит лишь один шаг собственного жестокого расчета. И более ничего...

И вместе с тем какое металось смятение в рысиных глазах Оборотова, когда шел на него с ножом Василий Шапов! Какой страх! Нет, не страх. Трусость. Ибо страх испытывает всякий человек. Трусость же, в ее чистейшем виде,— неотступная спутница эгоизма.

Да, да, это была трусость. Свинцово-охристые глаза Оборотова бегали, плясали лихорадочно. Как мыши в клетках.

Не такими были эти глаза день-два назад, когда в них копилось и зрело, выстаивалось зло. Они казались какими-то неподвижно-стылыми, точно подернутыми ледком, как у того Никольского, который допрашивал Андрейку. Кажется, змеиными назвал эти глаза белый одуванчик.

И еще у кого-то видел такие глаза Желнов. У кого же? Совсем недавно. У кого же, у кого же?.. «Вспомнил!— воскликнул про себя Алексей.— У младшего лейтенанта Коваленко». Да, да, у командира самоходной установки, младшего лейтенанта Коваленко, высокого, стройного офицера с надменным суховатым лицом. Глаза у него были какого-то неопределенного цвета, спокойно-холод-

ные, пренебрежительные и нагловато самоуверенные. Когда он хотел что-то сказать человеку, то глядел на него льдистыми, неподвижными глазами пристально и неотрывно, словно хотел прежде загипнотизировать собеседника, а уж потом начать с ним разговор.

Знал его Алексей по самоходному артиллерийскому дивизиону...

Танкистом Желнов стал, можно сказать, совершенно случайно. Еще в Белоруссии. Волей судьбы ему, пехотинцу, пришлось заменить контуженного заряжающего одной из тридцатьчетверок танкового полка. Через месяц оказался раненым и он. После госпиталя попал на распредпункт, а оттуда — в учебный танко-самоходный полк, где получил специальность командира орудия.

Вновь сформированный самоходный артиллерийский дивизион участвовал лишь несколько дней в победном штурме Берлина. Сразу же, в середине мая, командование части получило новый приказ — следовать на Дальний Восток.

Здесь, в кампании по разгрому Квантунской армии и довелось Алексею узнать Коваленко.

В кругу офицеров он вел себя солидно и сдержанно, хотя едва приметный оттенок какого-то необычного самолюбования никогда не покидал выражения его ухоженного, лощеного лица, по которому нет-нет да и пробегала этакая легкая, но тем не менее явственно выпирающая самоуверенная ухмылка. Это, вероятно, была та органичная, порой едва уловимая печать характера, которую нельзя ни убрать, ни смыть даже при самой хорошей игре человека.

В общении с солдатами он выглядел несколько иным. Особенно тогда, когда отдавал подчиненным какие-либо строгие распоряжения или отчитывал их за провинность. В жестах и фразах его пробивались грубоватая хлесткость и холодная, жесткая отчужденность.

Разумеется, сам он этого ничего не замечал. В быстрых действиях натура его срабатывала сама собой, помимо его воли, бесконтрольно для него самого. Он как бы терял в таких ситуациях сдержанность и самодисциплину.

К тому же, чрезмерная жесткость командира в армии не такое уж и редкое явление. Напротив, порой сама обстановка требует от него крайне резких распоряжений. Вот эта-то обычность высоких приказных тонов в армейской жизни и позволяла Коваленко безбоязненно дейст-

вовать в солдатской среде в духе своих привычек. Он был в своей стихии...

Однако у солдата тонок нюх на норов командиров. Ничто не ускользнет от его зоркого глаза. Причем строгость в расчет не берется. Если есть у командира ум, смекалка, совесть, то любая строгость его стерпится.

Строгость Коваленко члены экипажа его самоходки не приняли почти сразу. Разносы командира нередко не имели под собой основы. А от похвал его несло сухостью и фальшью. Рядовые танкисты тотчас же дали ему меткое прозвище: Змей Горыныч.

Однако в офицерской среде эти качества Коваленко менее всего замечались. Командование дивизиона даже ценило его за энергичность, решительность, броскую выправку и великолепную стрельбу из любого вида оружия. Особенно из пистолета. Казалось, что он стрелял не целясь. Но пули плотным гнездом ложились в черное яблочко мишени.

И все бы, может быть, для Коваленко обошлось благополучно, никто бы так и не узнал тогда, кто он есть на самом деле, если бы не два неожиданных случая в Маньчжурии....

В середине августа 1945 года Квантунская армия терпела поражения на всех направлениях наступления советских войск.

Перед штурмом города Мукдена самоходный артиллерийский дивизион, приданный к стрелковой дивизии, остановился в дубовой роще для пополнения боеприпасами.

Каждый занимался своим делом. Желнова отозвали с самоходки в штаб и заставили чертить очередную схему боевых действий дивизиона. Вооружившись цветными карандашами, он расположился для работы тут же, у штабной машины, в тени развесистого дуба. Неподалеку стояла кучка офицеров. Чуть в стороне, у подножия небольшой крутой сопки, сидели на валежнике два солдата с автоматами в руках. Рядом с ними лежал на траве пленный японец, без головного убора, в офицерском светло-зеленом кителе с блестящими бронзовыми пуговицами.

Офицеры дивизиона о чем-то спорили. До Алексея долетело лишь несколько фраз, из которых он понял, что речь шла о пленном, который беспечно валялся в это время на земле, видимо, радуясь тому, что ему удалось так удачно избежать печальной участи в войне.

В первые дни боев никто из японцев в плен не сдавался. Если не было у них иного выхода, они вспарывали себе животы кривыми ножами, обрекая себя на медленную мучительную смерть. Немало было случаев, когда смертники, обвязанные толом, встречали наши танки и самоходки плотным заслоном. Нет, они не сидели в засаде, а выбрасывались из траншей и ползли под гусеницы машин. Танкисты быстро «раскусили» этот маневр и при виде вражеских позиций стали тотчас гасить скорость. Механик-водитель, заметив наползающего смертника, сбрасывал газ, открывал люк и пускал в ход пистолет ТТ. Расчистив путь, снова брался за рычаги машины.

Но этот ярый фанатизм кипел у самураев лишь несколько дней. Потом, когда пыл у них поубавился, они начали охотно сдаваться в плен, сперва в одиночку, потом — взводами, ротами и полками.

Этот японец сдался один.

Вдруг от группы офицеров отделился Коваленко. Он быстро подошел к лежащему японцу и властным жестом руки велел ему встать. Тот поднялся, добродушно и заискивающе улыбаясь. Он не знал, что от него хотят, и улыбался так, на всякий случай.

— Беги, беги!— кивнул головой в сторону леса Коваленко.— Да беги же! Ну!..

Японец посмотрел на густые заросли высокого лиственного леса, на русского офицера и, вероятно, почуяв какой-то подвох по отношению к нему, отрицательно замахал головой. Черные раскосые глаза его, только что спокойные и веселые, беспокойно забегали.

— Давай, давай туда, в лес!— настойчиво повторил Коваленко и развернул пленного лицом к роще северного ската сопки.— Даем волю. Чеши!

— Неты, неты!— по-русски возразил японец, часто моргая глазами.

Коваленко толкнул пленного в спину и равнодушно отвернулся от него, давая понять, что он ему совершенно не нужен. Офицеры, не предвидевшие ничего плохого, тоже подавали японцу руками знаки: беги, мол, не бойся.

И он побежал. Не очень уверенно и быстро, но побежал. У Желнова мелькнуло подозрение: кобура ТТ у Коваленко была расстегнута. Карандаш застыл в руке Алексея.

То ли Коваленко почувствовал на себе взгляд Желнова, то ли хотел сделать какую-то необходимую ему паузу, но он повернулся к Алексею. Он вроде бы и смот-

рел на него и не смотрел. В серых, неподвижных, чуть прищуренных глазах его стоял лишь жуткий змеиный холод.

Затем Коваленко что-то молниеносно сделал. Что именно — Алексей не уловил. Видимо, все это было отработано у младшего лейтенанта до автоматизма. Запомнилось лишь одно: короткий взмах руки и выстрел...

Пуля попала убегающему прямо в затылок...

— Что ты наделал, скотина?!— потрясая кулаком, к Коваленко подбежал техник дивизиона капитан Гришанин, приятель, кстати, младшего лейтенанта.— Ты же просил доброе дело в жизни сделать! Пистолет-то зачем схватил?! Да я ж тебя сейчас!..

Офицеры кое-как оттащили Гришанина от младшего лейтенанта. Коваленко сник.

— Простите, братцы!— взмолился он.— Не сдержался... В последний момент решение изменил... Отпустим, думаю, а он ночью наши же машины и взорвет. Не сообщайте никуда... Прошу вас! Каюсь я!..

Скандал как-то замялся, и о нем вовсе и забыли бы в дивизионе, если бы еще не одно ЧП...

За город Муданьцзян разгорелись жаркие бои...

В одну из раскрытых СУ-76 угодила японская граната, и три члена экипажа самоходки, кроме механика-водителя, погибли. При последних залпах сражения за город смертельно ранило капитана Гришанина, всеобщего любимца дивизиона. Он лежал на плащ-палатке с закрытыми глазами. Крупный осколок разворотил ему грудь. Капитан тяжело стонал и хрипел. Послали за санитарами, но их еще не было.

Возле перевязанного бинтами раненого толпилось десятка полтора солдат и офицеров.

— Братцы, пристрелите меня!— в который уж раз повторял капитан.— Нет моей мочи... Все равно мне конец... Прошу вас!.. Братики мои, милые!..

Никто не обращал внимания на страшную просьбу капитана. Так говорят почти все тяжело раненные. Многих из них потом спасают врачи на хирургических столах полевых госпиталей.

— Да предайте же смерти!— слабеющим голосом прошептал Гришанин.— Пр-рошу...

И тут случилось совершенно невероятное. Младший лейтенант Коваленко выхватил из кобуры пистолет и несколько раз выстрелил в умирающего капитана. Он опускал руку с дымящимся пистолетом, и по щекам его

текли слезы. Может быть, искренние слезы... А возможно, и нет.

В этот же день он был арестован и передан в особый отдел. Однако к концу кампании Коваленко вновь возвратился в дивизион. И только через месяц, когда дивизион вернулся из Китая в Советский Союз, окончательно выяснилась подлинная личность Коваленко, жестокого человека, матерого предателя Родины.

В учебный корпус части пришел майор контрразведки с двумя автоматчиками, и они увели Коваленко прямо с занятий на глазах удивленных солдат.

Желнов навсегда запомнил выражение лица Коваленко в тот момент, когда его арестовывали и когда, вероятно, у него мелькнула мысль: «Это все, конец. Разоблачен». Надменность с его смазливого лица как рукой смахнуло. Оно теперь казалось жалким, растерянным и досадливо-злым. Водянисто-серые глаза, некогда наглые и самоуверенные, наливались тоской, страхом и боязнью. Может быть, боязнью за собственную жизнь. Точно так же выглядели и глаза Оборотова, когда справедливая людская кара подступила к его горлу. Есть что-то общее в этих глазах — в глазах извергов и подлецов.

Вскоре же в дивизионе стали известны кое-какие детали из жизни Коваленко. Еще до войны он проповедовал в кругу своих близких студенческих друзей теорию абсолютной свободы личности. Ловчил так и этак, уклоняясь от любых общественных поручений. Летом 1941 года, попав в оккупацию, сразу же, без раздумий пошел на поклон к фашистам, добровольно поступив на службу в войска СС. Успешно служил в охране лагерей смерти. Много раз участвовал в расправах над узниками. На его руках кровь сотен расстрелянных им людей...

Ловко втесавшись затем в действующее советское соединение, он, конечно же, осторожничал, чтобы не выдать себя. И все же въевшиеся в его нутро привычки профессионального убийцы и садиста оказались сильнее его воли.

Тогда, сразу же после ареста Коваленко, Алексею в поведении убийцы еще многое было неясно. Теперь, после зверского поступка Оборотова, пролился какой-то дополнительный свет и на психологию фашистского прислужника. Нет, он не просто так оступился. Его подвели привычки.

Да, только этим, видно, и можно объяснить эти два его срыва. Зло проламывалось в нем непрошенно.

в ущерб его же собственной безопасности. Такова, наверно, природа любого зла...

XVI

Ухабистая дорога то шла на подъем, то, петляя, катилась вниз. Дементий Афанасьевич не понукал лошадей. Напротив, он то и дело придерживал их вожжами на спусках: боялся нарушить тряской покой сына, который, пожалуй, впервые за всю дорогу не стонал от головной боли и тихо подремывал на мягкой постели из сухого духовитого сена. И только там, где выпадали на пути ровные горные долинки с мягкой, без колдобин, дорогой, Рулев отпускал вожжи, и справные кони, почуяв свободу и простор, сами переходили на резвый бег.

Полуденное осеннее солнце заметно пригрело, разморило волглую землю, и болотистые впадины, заросшие осокой и широколистой кугой, мерцали в текучем мареве; ярко, точно на лубочной картинке, зеленела сочная отава на скошенных летом лугах; вызывающе резко сверкали белизной почти освобожденные уже от листвы березовые рощи. А вдали за лиственными распадками подпирали голубое небо черными иглами хвойников высокие горные кряжи Алтая.

Набиден Оразалинов, свесив ноги с брички, задумчиво покусывал желтый стебель пырея. Забывался и начинал жевать его. Потом спохватывался и, сплюнув сухую нажеванную массу, выдергивал из сена новый стебелек травы.

Почти всю эту дорогу путники молчали. Отчасти оттого, что о многом уже переговорили в вагоне. А больше всего, видимо, от тягостных чувств. Каждый из них все-таки нес в себе личную вину случившейся беды на станции Защита.

— Вот и нет нашего Андрейки,— тяжело вздохнул Дементий Афанасьевич и, бросив вожжи на облучок, обернулся к спутникам.— Стоит тут вон заноза... Будто еще одного сына потерял, золотые мои!.. Каково же матери-то будет, когда узнает?.. Вот горе-то... Вот горе-то... И войны нет. И снаряды не рвутся. А человека не стало. Веселого и умного говоруна. Убили...

— Война, батя, не совсем и кончилась,— открыв глаза проговорил Григорий.— Это она своим черным крылом и задела Андрейку. Круги от нее еще долго будут идти по жизни. Долго, долго...

И они, в который уж раз, вновь заговорили о войне.

Вроде бы повторяли одни и те же слова. Вроде бы высказывали те же самые мысли. Но было в их беспокойных и тревожных рассуждениях уже что-то другое, новое. Они как бы поднимались на новый виток в познании жизни.

Бывшие фронтовики будут думать и спорить о войне и десять, и двадцать, и сорок лет спустя. До самого смертного часа...

— Да, война жестокая!— продолжил мысли младшего Рулева Набиден Оразалинов.— Очень жестокая... Она хоть и закончилась, а еще не совсем ушла.

— Это как надо понимать, золотой ты мой джигит?— вскинулись вверх густые ежики бровей Дементия Афанасьевича.

— Не окончательно ушла,— пояснил Набиден.— Кое-что осталось от нее. Она еще нам не раз досадит. Ойбай, как досадит! Недобитый фашизм будет эту жестокость, как змеиный яд, копить. Копить и копить...

— А добро все едино свое возьмет,— русая борода старика, раздуваемая ветром движения, мотнулась в сторону Набидена.— Да, да, добро, сына, не изведешь. Оно сильнее. Может, войну-то мы и выиграли оттого, что были добрее. Земля, считай, чернела от лютости фашистов, а мы выстояли... Так-то, золотые мои. Злость и зверство — вот их главные козыри. А это не то. В этом нет крепости...

— Правильно говорите, Дементий Афанасьевич!— одобрительно воскликнул Набиден.— Это совсем, совсем не то. Жестокий человек — злой человек. Он только себя любит. И лютует он, пока сам трепки не получит.

— Так это точно и есть, сына! Злость, она — боязлива. И труслива. Она, злость, амбразуру собой не закроет, елочки зеленые. Так-то вот...

— Как они зверствовали в сорок первом! Ойбай!.. Жгли, вешали... Живьем людей в ямах закапывали...

— Так ить что... Думали, так, с душегубками по всей земле-матушке пройдут. С душегубками, с барабанами, с музыкой. А вот лопнули, елочки зеленые!

— Я тут так думаю,— Набиден поерзал на краю брички, подвигая себя поближе к Дементию Афанасьевичу.— Так думаю: как пинка им под зад поддали, так они сразу и того... Словом, каждый по себе стал. А это уж не вояки. Потому и кричали они: «Гитлер капут! Гитлер капут!» и все больше и больше, пока не настал их окончательный «капут».

Желнов лежал на сене лицом в голубое небо. Он не

вмешивался в разговор, чтобы не оборвать нить естественного его хода. Говорили путники как раз о том, о чем он раздумывал последнее время. И говорили они выстраданные, весомые слова. Может быть, это еще и не полная истина о войне. Может быть. Но зерна, пусть маленькие зерна, большой правды здесь уже есть. Да, завоеватели — авантюристы. Они всегда видят только свою ближнюю цель и оголтело торопят события, чтобы быстрее прийти к желанному результату. На чем и спотыкаются. Все это так. И все же в рассуждениях Набидена и Дементия Афанасьевича о добре, о зле, о жестокости тоже скрыт большой смысл. Да, да, есть и здесь своя тайна. Армию Гитлера разъедал вирус эгоизма и зверства. И он съел ее. Кто такой Коваленко? Предатель? Нет. Он фашист. Образцовый фашист. Их человек. Вот какая тут штука...

Пароконная бричка пылила и пылила по горной дороге Алтая. По дороге нашей земли. Червонным золотом устилала луга и угоры опадающая березовая листва. Кровью рясной ягоды обливались кусты калины. И бело, как мечта, сверкали на солнце снежные шапки далеких хребтов.

В бричке, на пряном хрустящем сене, ехали четыре человека. Они вели и вели свой большой разговор о земных делах.

Их было четверо мужчин, уцелевших в этой войне.

XVII

В двух селах они разыскали три семьи Световых. Но ни в одной из них не было сбежавшего из дому пацана Андрея. Спрашивали они об этом осторожно и не в самих семьях, а у соседей, чтобы не поранить сердце матери неожиданной худой вестью.

И лишь в пятой деревне на их пути они повстречали наконец ту самую семью, какую так старательно и с такой тревогой искали почти два дня.

Елизавета Андреевна угощала ужином заезжих фронтовиков, которые попросились у нее на постой. Всего на одну ночь.

Неяркие лучи закатного солнца бросали светлые блики на скромно накрытый некрашеный дощатый стол. В двух больших семейных эмалированных чашках, старых, с отбитыми краями, пыхала парком отварная картошка, белая, рассыпчатая. Еще в одной чашке, только малого размера, лежали, блестя от влаги, целые мало-

сольные огурцы. Это все, что могла предложить гостям хозяйка. Остальное к нехитрому меню прибавили из вещмешков и чемоданов фронтовики.

Шестеро «галчат»— один другого меньше, кое-как одетые — стояли у побеленных, совершенно голых стен. Лишь большеглазая, с болезненным лицом Зойка, самая младшая в семье, сидела на залавке у русской печки.

Гости ели и не переставали с печальным удивлением оглядывать скудную избу Световых. На кухне — стол, две скамейки и старый самодельный стул. И больше ничего. Через настежь распахнутую дверь, ведущую в горницу, виделось, что и там все — пусто. Только пол одной половины комнаты был сплошь завален толстым слоем овсяной соломы.

Хозяйка перехватила грустные, сочувственные взгляды гостей, но поняла это по-своему, уловив в глазах мужиков некоторый укор к ней, как к хозяйке, и на строгом сухощавом лице ее вспыхнул слабый румянец смущения и стыдливости.

— Уж вы извините нас, люди добрые,— проговорила она,— худо живем. Бедно. Орава-то какая у меня — видите. Все, что было на нас, износилось, а взять не на что. На голые трудодни не купишь... Все фронту отдавали... Вот... Так и живем. Спать на печке не все умещаются, а на голом полу, без постели, околеешь. Я и набросала соломы. Зароемся в нее, как поросятки, и спим. Ничо. Терпеть можно.

— Да что вы, что вы, хозяюшка!— пробормотал Дементий Афанасьевич.— Разве мы не понимаем... Почти у всех так.

Она хлопотала у стола, суетилась. Расспрашивала гостей о войне. Поведала о своем горе. О пропавшем муже. А когда узнала, что танкист воевал в Белоруссии, вся так и встрепенулась.

— Господи, господи! Дак и мой там воевал. Не встречали где-нибудь такого — Светова Петра Степановича?

— Нет, не доводилось,— ответил Алексей и низко склонил голову над горячей, дымящейся картошкой, которую держал в деревянной ложке.

Елизавета Андреевна пригорюнилась. Встала к печному шестку, подперла рукой подбородок, мелко-мелко заморгала увлажненными глазами.

— А тут еще одна беда свалилась,— сказала она,—

старший сын, Андрейка, белый мой одуванчик, пропал. Сбежал из дому. Видно, на поиски отца мотнулся... Вот глупой!.. Загинет где-нибудь. Чует мое сердце: загинет.

Если бы подступающие слезы не застилали глаза Световой, то она заметила бы, как сразу изменились в лице сидящие за столом гости, как низко склонились их головы над едой и как торопливо достал из кармана полосатый платок Дементий Афанасьевич и прикрыл им свои глаза. Ничего этого она не видела.

— Рахмет, спасибо, хозяюшка!— Оразалинов положил на стол ложку тыльной стороной вверх — в знак того, что он насытился.

Немногословно поблагодарили Елизавету Андреевну остальные гости, и все они поспешно вышли во двор.

— Как же ей сказать-то, горемышной, о ее беде?— сокрушенно подняв руки вверх, простонал Дементий Афанасьевич и ткнулся лицом в бревенчатую стену крыльца. Плечи его вздрагивали.

Набиден с Алексеем открыли калитку ограды и прошли узким проулком к небольшой каменистой речке, заросшей красноталом и топольником. Солнце уже закатилось, оранжевые полосы его лучей высвечивали лишь верхние черные гребни горы Маралухи.

Оразалинов положил руки на плечи Алексея, горестно потряс головой и обнял его.

— Друг ты мой, Леша!— говорил он — Землякфронтовик!.. Как мне хочется выть и кричать!.. Изба-то... Одна солома в ней. Вот до какой пропасти, до какого края докатила нас война!..

— Но стоим же, друг.

— Да, стоим, друг. Не упали.

— И не упадем.

— Я вот что подумал, Леша, пока сидели за столом. Я, считай, в годах уж. Семьи нет. Никто меня нигде не ждет. Я пока останусь здесь.

— У Елизаветы Андреевны?

— Нет, у этих сирот, разутых, раздетых. Для жилья пока баню приспособлю. Поправлю все в хозяйстве. Потом, наверно, на завод подамся... Одену ребят. На ноги поставлю. А там видно станет...

— Ты, ты... ты человек, Набиден... Молодец. Я тебе писать буду.

Так, обнявшись, они еще долго стояли на берегу говорливой речки. Может, о чем-то шептались. А может, молча, по-мужски плакали...

ДОЛ БЕРЕЗОВЫХ ТУМАНОВ

Давно я не был в родных краях, давно не бродил по узким горным тропам, прикрытым сверху сомкнутыми кистями цветущих трав, давно не заглядывал в темные уремы нетронутых хвойных лесов; и тоска по волшебному миру детства неусыпно тлела во мне, все сильней и сильней распаляя неугасшие угольки жгучих воспоминаний. Эти угли, присыпанные пеплом повседневной будничной суеты, все время жили в душе, не теряя своего внутреннего жара; и стоило лишь чуточку отвлечься от дел, стоило лишь на часок выбраться за город и уловить слухом звонкий говорок шустрого ручья, как ветерок памяти начинал беспокойно ворошить золу отгоревшего костра былого, все больше обнажая и раздувая золотые сгустки уцелевшего огня...

Но все не удавалось выкроить время на поездку в затерянную таежную деревеньку, все как-то разменивался отпуск на другие житейские мелочи, не давая душе подлинного успокоения и отдыха.

Удар

А тут жизнь и вовсе дала крутой изворот. Померк вдруг безоблачный период моей работы. Ах, какое славное было то время, когда я, бывало, не шел, а буквально летел к институтскому зданию, весь уже с утра поглощенный предстоящими заботами дня, когда никто не мешал в деле, не лягал тебя копытцами подлости или зависти, когда все было хорошо и солнечно! И вот на тебе — все рушится... И радость, которую дарит любимая работа, и душевный покой, и ликующее ожидание чего-то еще более звонкого и светлого — все, все неожиданно погасло в захолонувшем сердце моем...

Печально брел я к месту мучений и пыток, которое

еще совсем недавно именовал счастьем своим. Все казалось тусклым и немилым. За десять минут некогда добегал я до бетонно-стеклянного дома, а теперь тащился минут двадцать, а то и все тридцать. Рановато еще, лгал себе сам, дам-ка еще круга два вокруг постылой коробки. И давал... И уж потом, сутулясь и, наверно, серея лицом, заходил в комнату своего маленького отдела.

Отдел-то маленький, а институт большой, народу много, и все сотрудники, само собой, кто непосредственно, а кто опосредованно подчинены директору Александру Михайловичу Давлееву, грузноватому высокому человеку с приятным баритоном, с вальяжно-медлительными движениями. В общем-то умный он и красивый — ничего не скажешь. Говорит на планерках легко, свободно, даже как бы играючи, в меру сдабривая речь свою разными специями — шуточками, побасенками. И я как-то ладил с ним, он даже уважал меня, отмечал на планерках.

Но вдруг между нами точно черная кошка прошмыгнула. Посыпались на меня подковырочки, с этаким нехорошим душочком, насмешки. Уколы следовали ритмичной чередой, непонятные, необоснованные, подленькие. Я не узнавал своего шефа. Его благожелательность ко мне будто чертик слямзил, подменив ее ядовитой немилостью. Почти все «усердные» сотрудники помогали шефу. Доверчивый и мягкий от природы, я не понимал, что делалось вокруг, и часто сам налетал на подножки.

Это уж потом я узнал причину загадочной метаморфозы шефа.

Впрочем, этого надо было ожидать, но я не думал, что шеф настолько самолюбив.

На одном из собраний коллектива мне довелось затронуть одну очень острую и щекотливую проблему: за пять последних лет институт не удосужился внедрить в производство ни одной сколько-нибудь существенной академической разработки. Коллектив, разумеется, чем-то был занят, велись исследования, составлялись отчеты. За эффективность научных разработок даже кое-кто получал большие вознаграждения. Однако осведомленные сотрудники знали: за всем этим стоит самая что ни есть махровая липа. Институт работал по направлениям, спланированным еще тридцать, сорок лет назад. Не располагали мы ни конструкторской базой, ни опытным производством. В отделах скрипели перья девятисот ученых мужей, а внизу, в крохотной мастерской подвала,

постукивали молоточками девятнадцать рабочих. До технического ли прогресса было тут! Громоздкая мельница солидного учреждения вертелась вхолостую, на ветру стихии. Оторванность от нужд предприятий, бессистемность научных поисков вели к бесплодной трате огромных государственных средств. Словом, машина НИИ, как вечно яловая корова,— не давала ни телят, ни молока. Новость я, конечно, никакую не открыл, об этом все потихоньку пошептывали и «с чистой совестью» ждали каких-то перемен.

Директор воспринял мое выступление как покушение на его должностные устои, на его авторитет, и снял с петли крючок возмездия. «Беги, пока не поздно»,— посоветовал мне один доброжелатель.

А мне никуда бежать не хотелось. Уж больно нравилась работа. Скорее, ее творческое начало. Не замечал, как летело время, когда просматривал и правил очеркового и проблемного плана материалы, отбирал лучшие из них для сборников.

И вот — всему конец. Вытанцовывались для меня две солидные денежные премии за хорошо изданные сборники. Решение состоялось, надо было только подождать до определенного срока, и я уже строил кое-какие расчеты для семьи, свез на свалку старую мебель, наметил с женой, что именно необходимо купить в первую очередь. Но... премии лопнули, как дождевые пузыри.

Тут змеей подползла другая беда: крах в семье. Нет, разлад наступил не сразу, не вдруг. Поначалу мы с женой, да и с детьми тоже, мужественно переносили удары судьбы, воспринимая их как временную и нелепую несправедливость. Но шли дни, месяцы, а судьба продолжала преподносить мне неприятность за неприятностью. Так продолжалось больше года. Хмурой и злой ходила жена. Замкнулись дети...

Все кончилось профсоюзным собранием, на котором выступавшие разносили меня за какие-то очень серьезные промахи и ошибки. И даже за чванливость и зазнайство, чего никогда за мной не водилось. Причем говорили все это мои бывшие друзья и приятели...

В общем, если не вникать в мелкие детали, круг гонений неожиданно замкнулся: я остался без любимой работы. То есть вовсе без работы. Конечно, временно. Но удар оказался для меня столь оглушительным, что я впал в отчаяние. До спазм в горле душила несправедливость некогда близких мне людей, беспардонность их

ложных обвинений, бросаемых в мое лицо с какой-то залихватской легкостью...

В семье появилась общая раздраженность; нервы, наэлектризованные каждодневными неурядицами, ощущением гнетущей неопределенности, взрывались по любому поводу. Никогда у нас не пускались в ход грубые слова, а тут они прямо как-то совсем неожиданно, непрошенно стали срываться с языка — сначала у жены, потом у детей, а вскоре и у меня. Будто нахлынуло какое-то наваждение. Будто шла на нас некая лавина, и ее ничем нельзя было остановить...

Квартира так и осталась полупустой — без старой и без новой мебели. То мы не могли поделить два пошарпанных стула и колченогую табуретку, то раскладушку...

И от этой бытовой неустроенности становилось еще горше на душе. Тяжко вздыхала жена. Приниженностью и скорбностью отдавали глаза дочки и сына. А мне было и еще тошней, ведь виной-то всему, как тут ни крути, оказался я сам. Те, кто доставил мне боль, не в счет. Где-то просчитался и я, что-то не вовремя углядел, о чем-то не сразу догадался. Вероятно, мог изменить ситуацию в свою пользу, но не сумел. Значит, размазня. Значит, тряпка.

Но как бы там ни было, а положение в семье все ухудшалось. Впервые сын закончил учебный год с тройками. Это седьмой-то класс! Дела-а, ничего не скажешь...

Все дольше Игорь задерживался вечерами на улице — с новыми друзьями-лоботрясами, для которых даже случайно схваченный трояк выливался в великое достижение. Впрочем, они вовсе не считали оценки достижением или срывом. Проглядывало у них ледяное равнодушие к учебе. Они покуривали. Попивали. Твердые моральные устои, приобретенные сыном в детстве, пока удерживали его от таких напастей. Но на долго ли?

Как-то заявился он домой почти в двенадцать часов ночи. Жена ждала его возвращения на кухне. Согбенно сидела за столиком, обхватив виски руками; в красных заплаканных глазах ее дрожали слезы, притушивающие жгучую черноту зрачков.

— Где шатаешься-то до полночи, неслух ты упрямый!— встретила она его упреком. Хриплый голос ее срывался от подспудных, кое-как сдерживаемых рыданий.

— Не шатался, гулял,— спокойно, но в то же время и грубовато огрызнулся сын.

— До двенадцати-то часов? Хороши гуляния! Больше чтобы этого не было. Ты понял?

— Да понял, понял!— уже с нескрываемым раздражением буркнул Игорь.— Дома-то тоже сидеть — тоска зеленая...

— Что, что ты сказал?!— повысила голос мать.— Это почему же дома — тоска зеленая?

— Ну, серая, если не зеленая,— взъерошился непослушник. Светло-синие глаза его смотрели на мать вприщур.— Какая разница! Надоело слушать ваши стоны и охи, запоздалые обвинительные речи... Надоел вокзальный уют в нашей квартире! Все надоело!— ломающийся голос сына звенел со злобной хрипотцой и неподдельной горечью.

Выпалив все это, он несколько секунд вызывающе смотрел на опешившую мать, глотая слюни, а потом быстро удалился в зал, где ждала его скрипучая раскладушка.

Жена еще долго не двигалась и молчала. Ободок темных ее ресниц мелко вздрагивал под дугами смолистых бровей. Потом она уткнула лицо в ладони и тихо, беспомощно заплакала...

Я не спал всю ночь. Думал. Часа полтора еще бодрствовал, ворочался с боку на бок и сын: несмазанной телегой «повизгивала» его раскладушка. Думал я теперь уже не столько о себе, сколько о повзрослевшем Игоре. Дочка еще несмышленыш, а вот его обожгли мои неудачи. Что-то надо было предпринимать... Шут с ней, с работой. Найду другую. Нельзя удалять от себя сына, нельзя допустить того, чтобы сызмальства разочаровался он в жизни и ожесточился. Прилипнет эта бацилла равнодушия, черствости и злобы с отроческих лет — значит, навсегда. Ничто не вытравит такую ущербинку.

Тут-то вот и пришла мне в голову спасительная мысль о поездке в родные края. И только подумал об этом, как тотчас вскипела во мне щемящая боль тоски, взбудоражилась, горяченно заметалась память, все еще хранящая тепло отчего гнездовья... Да, да, там мы отдохнем, там отойдет у меня сердце, зарубцуется рана обиды и горя, может, что-то сдвинет на прежнее место и душевную орбиту сына... Отчужденность в семье — самая изъедающая кручина в жизни, путь к магнетическому полю психологических и нравственных катаклизмов, к падению...

С поездкой как-то само собой уладилось. Старшие

братья и сестры жены решили взять на воспитание дочку младшей сестры, попавшей в автомобильную катастрофу. Они-то и попросили Валентину съездить за осиротевшим ребенком в далекий Таджикистан.

Так мы и решили: жена вместе с нашей дочерью едет в Среднюю Азию за Светланкой, а мы с сыном — на Алтай. Обошлось и с деньгами на дорогу: мне пришел гонорар за составление толстого научного сборника, и этого хватило на все предстоящие расходы.

— Что будем делать, если мои родственники откажутся удочерить Свету?— спросила жена, когда мы, собрав вещи, присели на дорогу. Валентина нервно двигала своими тонкими ладонями по коленям, вопросительно и страдальчески глядела на меня. С минуту молчали.

— Все твои старшие сестры и братья бездетны. Должны взять. У нас своих двое. Да и жизнь — сама знаешь — наперекосе.

— Ну а если все-таки никто не возьмет?

— Что ж, тогда забирай к нам. Может быть, это и к лучшему... Через семнадцать дней встретимся в Барнауле. Это... десятого августа. И вместе — в Новосибирск, домой.

— Спасибо. Я знала: ты согласишься.

В дороге

Билеты на самолет мы не достали, пришлось ехать поездом, в общем вагоне. В Барнауле Валентина, попрощавшись с нами, отправилась с дочкой к своей матери, чтобы на другой же день улететь в Душанбе. А мы с сыном покатили дальше на юг, в родной Казахстан, в Зыряновск, на Тургусун...

На Барнаульском вокзале подсели новые пассажиры. В вагоне сразу стало тесно, душно и шумно. Игорь лежал на средней полке, накрывшись простыней, и читал роман Джека Лондона «Морской волк». Я сидел внизу, в самом уголке, возле окна и маленького столика и держал в руке книжку профессора Мариковского, доктора зоологических наук, путешественника по степям и пустыням Казахстана. Напротив меня пристроился только что вошедший мужчина средних лет, с упрямым квадратным подбородком, рыжеволосый. Я про себя сразу и прозвал его — Упрямый. Он вынул из толстого портфеля блокноты, вырезки из газет, письма и разложил все это на столике. Видно, журналист.

Был еще один новенький в нашем «отсеке»: старик с одутловатым лицом, внушительным животиком, с ежиком седых волос, небольшого роста — ни дать ни взять Старый Колобок. Старик сразу же убрал столик, разложил полученную постель, снял ботинки и тут же было прилег, но остановился, почесал затылок, поглядел — нет ли кондуктора — и вынул из серенькой сумки малосольный огурец, бутылку портвейна, граненый стакан. Быстро откупорил «пузырек», до краев наполнил стакан, медленно выпил янтарно-палевую жидкость, вытер ребром ладони губы, хрустнул огурцом и только тогда запоздало крякнул. Убрал стакан и бутылку в сумку.

— А вот теперь можно и на боковую,— буркнул сам себе и прилег.— Всех объехал, больше податься край некуды,— он ни к кому не обращался и даже, казалось, никого не замечал.— Поеду — куда глаза глядят. В Зыряновск, должно, на Шумовку,— и замолчал, точно сотворил перед сном молитву.

Видать, земляк. Попутчиком будет. Чем-то расстроен Старый Колобок. Всех, говорит, объехал, больше не к кому податься. Видать, детей, разбросанных по свету, объезжал, пристроиться где-нибудь хотел на старости лет, да не вышло. Не очень что-то родниться люди стали.

А нет ли и здесь какой-то скрытой связи с тем, что приключилось со мной в институте? Разобщенность семей, обособленность каждой из них в своем вещном закутке накладывают на души людей печать особо низменного, заскорузлого и болезненно-мелочного эгоизма. Такие они в семье, такие отчасти и на работе, ведь от своих привычек человек не в силах убежать: они — нерегулируемые, неуправляемые. Здесь тормозов нет — не то, что у машины, нажал на педаль, и встанешь, как вкопанный, перед красным светом. Да и нет этого «красного света» в трудовом коллективе. А привычки, твоя философия в тебе, в порах твоих, точно пыль в теле шахтера. Надо возразить, когда кто-то несправедливо наговаривает на товарища и тебя втягивает в это пакостное дело, а ты не можешь возмутиться, дать отповедь подлецу, врезать ему по первое число!.. И тоже начинаешь мало-помалу поддакивать, подыгрывать неправде и свинству.

— Пап!— окликнул меня со своей полки Игорь.

— Что?

— Ты того...— сын что-то хотел сказать, но постеснялся.

— Не пойму я тебя. Говори толком.

— Ну опять ты о чем-то думаешь, с кем-то споришь, руками разводишь. Пассажиры как-то озабоченно и жалостливо на тебя посматривают.

Все рассмеялись. Развеселился и я.

— Ладно. Учел. Больше не буду.

В окнах вагона мелькали телеграфные столбы, сочнозеленые квадраты блескучей кукурузы, рядки тополей и березок.

— А вы, знаете ли, не расстраивайтесь,— улыбнулся Упрямый.— Я тоже частенько жестикулирую в дороге. На пару соревноваться будем. В комитете меня считают специалистом по проверке жалоб, по утряске конфликтных ситуаций. Иногда так напроверяешься, что едешь домой очумелый. Прокручиваешь в голове все ситуации, все разговоры, свои выступления на собраниях, заседаниях месткомов. Прокручиваешь и явно видишь — в одном месте не совсем смело вел себя, в другом — не очень доказательно и логично говорил, в третьем — попросту смалодушничал, не настоял на своем. Ну, и начинаешь заново разыгрывать сценки, заново говорить. Ух, и речи у тебя яркие получаются! Хлесткие, меткие. Противники так на лопатки и валятся сами собой. Одного слова вымолвить не могут. В общем, позднее зажигание у меня. Так-то вот. А ты, сынок, читай, читай себе. Не обращай на нас внимания. Придет время — и ты свою позицию в жизни выберешь.

— Опять куда-то по жалобе?

— Опять. В Рубцовское депо. Бывший фронтовик письмо прислал. Покритиковал за что-то там начальство на собрании. И пошло. Лишили премии. Исключили из партии. А ему через месяц — на пенсию. Орден Красного Знамени, между прочим, имеет. А вам, случаем, воевать не пришлось? Молодо выглядите, а на шее шрам. Ножом или?..

— Минным осколком царапнуло. Под Минском.

— Стало быть, и вы хватили лиха.

— Пришлось. А что этот фронтовик — так сразу к вам с письмом и обратился?

— Нет. Сначала — в местный горком партии... Создали комиссию. Начальство оправдали, ему — вломили: знай, мол, свой шесток...

— Воевать будете?

— Воевать. Я ведь уж сколько таких дел разобрал. Орготдел крайкома крепко поддерживает. Есть там один

товарищ. Сергеич,— Упрямый улыбнулся.— Вот человек! Прямо ленинская хватка. Был бы в Рубцовском горкоме такой — сразу на месте разобрались бы что к чему, по-партийному.

— Тяжелый бой будет. Не завидую.

— Привык.

— Первый секретарь будет спасать честь мундира.

— Знаю. Большая ненависть у меня к бюрократам. Я бы их, бюрократов, как клопов, каленым железом выжигал. Только о своем кресле и пекутся. Мешают делу. Ух, и зол я на них! В печенках они у меня сидят. Во где.

— Бюрократы, сына, за решеткой должны сидеть, а не в печенках,— буркнул Старый Колобок, не повернув к нам снежной своей головы.

— Потихоньку садим, деда, за решетку. Будь спок. Садим.

Упрямый, по всей вероятности, был выходцем из деревни. Выдавал говор: будь спок.

— Дела подвигаются, деда. Правда, пока туговато... Тут надо какой-то барьер установить, чтоб никому не выгодно было держать на ответственных должностях ловкачей и бездельников. Ну да ничего. Воз сдвинулся. Прижимают теперь хапуг да сволочей. Многое проясняется. Многое.

— Давай, давай проясняй,— опять буркнул Старый Колобок.— Токо шибче держись. А то как бы ветер не ударил...

— А я, деда, крепко держусь. Иду на ветер. И не падаю. Держусь.

— Держись, держись...

— Не те теперь времена. Не те, деда. А мы по старой привычке все еще чего-то боимся. Трусим...

Поезд остановился. Упрямый пошел купить чего-нибудь съестного. Старый Колобок вынул бутылку, посмотрел на нее, махнул рукой и опять упрятал бормотуху в сумку.

Минут через десять поезд тронулся, быстро набирая скорость. Промелькнули темные металлические опоры, утробно прогудел под колесами мостик. И опять поплыла меж раздвинутых белых шторок окон неоглядная степь: березовые перелески, овраги и мощное, горделиво-величественное колыхание упругих зеленых волн на размашистых пшеничных полях, трепетно тающих где-то в сизой роздыми далекого горизонта. И казалось, что зе-

леному хлебному океану нет конца и края, что расплескался он далеко-далеко — по всему земному шару, и в мире нет ни атомных бомб, ни ракет,— ничего, кроме этого рукотворного малахитового полымя пшеницы...

Старый Колобок лежал с отрешенным одутловатым лицом и вскоре покойно заснул, тихо посапывая дряблыми, иссохшими губами. Видать, перекипело в нем какое-то горе, перебродил горький хмель печали, и он отдался счастливому, ничего на свете не знающему, кроме фантастической мешанины сновидений, забытью.

Упрямый разложил на столе круглую отварную, еще теплую, попыхивающую парком картошку, соленые, облепленные пахучим укропом огурцы — ядреные, пупырчатые. Нарезал хлеба. Пригласил к столу и меня. Я было отказался — недавно обедал, но потом присоединил к картошке и огурцам свою полукопченую колбасу, и мы приступили к трапезе. Ели молча. Каждый думал о своем.

Разговор в нашем отсеке так больше и не вязался, до самого Рубцовского вокзала, где мы проводили Упрямого. Пожелали ему удачи в его щекотливом деле.

— Ничего, живы будем — не помрем!— весело сказал он.— Все приведем в ажур,— и он ушел, крепко сбитый, напористый, уверенный в своих силах человек.

Он ушел, а что-то навсегда оставил во мне, а может, и не только во мне? Нет, говорил он как-то напыщенно, по-ораторски, стандартно — вероятно, привык выступать на собраниях и совещаниях. И все же большой искренностью, огромной энергией веяло от его слов. Особенно поразила меня его мысль о трусости. Да, и в самом деле: разве высшие государственные и партийные органы поддерживают сейчас головотяпство, зазнайство, вельможную спесь ретивых чинуш? Наоборот, эта злокачественная плесень всемерно осуждается. Летят под откос со своих бюрократических кресел не только мелкие сошки, но и министры. А кое-кто из нас все еще чего-то побаивается. Как бы, мол, чего не вышло, как бы не щелкнули и тебя по лбу за излишнюю смелость. Не перевелись, кажется, еще Премудрые Пескарики.

Неужели и во мне есть эта холодная, как жабья кровь, трусость? И не она ли меня подвела на профсоюзном собрании в решающей схватке с подхалимами шефа? Что же меня сломило, смяло? Ведь все доводы выступавших простегивались толстыми белыми нитками. Все разыгрывалось по заранее обговоренным и смотивированным ми-

зансценкам. И ведь не откажешь в драматическом таланте сценаристам шефа. Каждый довод ложился в цепь обвинений ловко и плотно — так вгоняется боевой патрон в пулеметную ленту. Один уничижительный «фактик» усиливал предыдущие, так что сюжет разноса шел по восходящей — до полного моего разгрома.

Бросила увесистый камушек в меня и бывшая моя соратница по партийной работе Надя Хлюстова. Что же она там дробно частила-то? Ах, кажется, вот что:

— Товарищ Желаев вообще склонен к зазнайству и высокомерию, хотя, если честно, заслуг-то у него за собой никаких и нет. Не скрою: в одно время мы работали вместе с ним в райкоме партии, он — в орготделе, я — в отделе писем. Нехорошо старое вспоминать, но придется. У Андрея Желаева, как у того Ванюшки, одни в торбе камушки. Все ему что-то мешало. Сколько раз доверяли ему разобрать жалобы трудящихся — и всегда он попадал впросак из-за своей чванливости. Не разрешал конфликты, а лишь масла плескал в костер недоразумений. Проблема и выеденного яйца не стоит, а он такой пожар раздует, что первый секретарь только и хватался за голову. Один выговор Желаев схватил, другой, третий — и вылетел из аппарата, как пробка из бутылки!— избитое сравнение, но хохот оно вызвало восторженно-ликующий.— Так он трудится-мучится и в нашем институте!— опять сорвала она и хохот, и аплодисменты.

Выть и кричать хотелось: несла она несусветную ложь. Не было у меня ни единого порицания. И не выгнали меня из райкома, а перевели в крайком. Но беги без малого за тысячу километров в Алтайский край и доказывай свою правоту! Вали на Желаева что угодно — всему «поверят».

И я не смог отразить ни одного наскока. Неужели растерялся? Неужели струсил? Может быть, и раньше сворачивал на обочину от трудностей и привык выходить сухим из воды за счет обходных маневров? Вроде бы не замечал такого за собой. Хотя нет, однажды увильнул от конфликта. Случилось это на первой моей работе после фронта и армии — в Свердловске, на киностудии. Пошли у меня хорошо сценарии. Фильмы отмечались премиями, заносились на «красную доску». Успех новоиспеченного сценариста заел главрежа, и начал он подбрасывать мне «ежей»— один колючее другого. К чему бы это привело — не знаю, но я был молод и холост. Махнул на студию всеми отснятыми лентами и навсегда

расстался с искусством, расправив свои паруса в сторону Сибири...

Жалею ли я сейчас о студии? Не изменил ли своему призванию, бросившись в неизвестность, как в омут? Пожалуй, жаль мне чудное то время, веселую ту колготню на съемках, до самозабвения упоительную возню за монтажным столом с оператором!.. Жаль. Даже и теперь сосет под ложечкой.

Выходит, смалодушничал... В ущерб себе. Кто знает, не заронило ли это в мою душу этакий вирус податливости, что ли, уступчивости. Ничто не проходит для нас бесследно. Кадры твоей жизни прочно хранятся в тебе, как старые киноленты в хранилище. Разница лишь в том, что отснятые ленты фильмов пребывают в покое, а память все время, даже неосознанно, прокручивает цепь жизненных картин, и тем самым влияет на твои поступки.

Шут с ним, с шефом моим! Пусть случившееся остается на его совести. Мне надлежит в себе разобраться. Душу свою понять. Нет ли в ней какой червоточинки? Вот в чем вопрос.

Но мысли, как жернова маломощной мельницы, ворочались тяжело. Звенящее отупение какое-то стояло в голове. И ни о чем не хотелось думать...

В Усть-Каменогорске пересели в пригородный поезд. Я купил билет и Старому Колобку: у него иссякли финансовые ресурсы. Так мы снова оказались в одном вагоне.

— Слушай, друже,— говорил мне седоголовый Колобок,— сделай ишо одно одолженьице: купи пузырек косоры... э-э, как ее? Бормотушки. Плесну на сердце. Век тебя не забуду!

— Да ведь нельзя в вагоне. Запрещено.

— Я тихохонько... Можа, и ты дернешь махонькую? Вижу, и тебя ест тоска-кручина.

— Я этим не балуюсь. И вам не советую.

— Ну и не надо. Это ладно. Зелье оно и есть зелье. А мне... Все едино. Сама жисть не хуже этого зелья... Повидал я всех своих деток, внуков, теперь и помирать можно. Ничо живут, справно. Все в городе. Все с достатком. Не то, што я с имя, с голодранцами, в сороковы-от годы маился. Ни одеть, ни пожрать. А счас у их все есть. И квартира што надо — с водицей, с отопленьем. Мебель кр-расива там. И машина у каждого. У Гриши нет пока. Но и он деньжат копит на ети — «Жигули». Обзаведется.

Они счас скорые, ловкие. Гриша-то — последыш у меня. Все прибаливал. И ничо, вырос, выучил его. На шахте робит, инженером. Погостил и у его малость, напоследок. И вот качу обратно. Думал, у кого-нибудь приживусь, а оно вишь как ноне... Гости все приходют к им. Культурны таки. А я-то што?.. Ишь, какой. Пень трухлявый... Как-нить доживу век-от и тут. С Мяконькой, слыхал, народ поубег. Домишки брошены. Выберу посправнее и поселюсь, ульишками обзаведусь. Проживу... Скоро восемьдесят стукнет, а я ишо копошусь. Копо-ошу-усь!— дед шубутно потряс седой головой.

Мы вскоре сошли с сыном в Парыгино, а он поехал до Зыряновска. Попрощался с нами тепло, со слезинкой...

Встреча с детством

Двадцать минут тряски в кузове молоковоза по каменистому проселку, соединяющему Парыгино с Кутихой,— и вот он, родимый уголок Алтая, где пробежали годы моей утренней поры...

Всякое довелось пережить. Были в судьбе крутые перепады, тяжкие времена. Были длинные-длинные, точно вечность, голодные дни тридцать третьего года. Были черные крохотные бруски землисто-травяной смеси, которую мы называли хлебцем и за которую жадно хватались тощими пальцами.

Вот здесь, рядом с нами, где сейчас пустырь, жил дядя Вася. В его доме росло шесть мальцов — один одного меньше. Корова у них пропала. Питались воробушками, которых с трудом ловили волосяными силками. Ребятишки пухли, хворали.

Всех крепче держался у них старший Васятка. Девять годков ему тогда было. Он и в лес, в заречные пихтачи ходил один за дровами. Отрубит топором маленькую чурку от сухой лесины, положит ее на санки, прикрутит веревкой, чтоб в раскатах не перевернулась, и впряжется в санки. Тянет бечевки, упирается со всей силой ногами в снежные дорожные зарубки. Причитают полозья возка, прихватывает морозцем коленки, прикрытые залатанными штанишками из домотканого полотна, пощипывает руки, уши. Покряхтит Васятка метров полсотни и сядет на чурбак передохнуть. А потом опять берется за лямку, горбится, шаг за шагом продвигаясь вперед, к деревне. Вот уж видны из-за черных пихт сизые столбы печного дыма. Вон показалась белая полос-

ка укрытого подо льдом Тургусуна. И легче становится на душе, сваливается тяжесть с плеч...

Вернулся так он из лесу однажды. Зашел в нахолодавшую избу. Тихо было в доме. Мать, видно, с ребятами коротала время на печи, за пестрой занавеской, а самый малый Петя лежал почему-то на зеленой широкой лавке, у самого порога. Потрогал его Вася, а он был холоден, как лед. Умер братик, не дождался возчика дров. Поглядел на него Вася, вскрикнул и медленно повалился на пол, цепляясь руками за студеное недвижное тело Пети. Упал он, схватился за голову руками и заплакал в безутешном горе, всхлипывая и все покачиваясь из стороны в сторону, будто хотел расплескать непомерную боль свою.

Потом Вася встал, сколотил из трухлявых досок гроб и, положив в него братца, вышел на улицу с тяжелой ношей. Санки стояли у порога. Примостил он гробик туда, где только что крепилась чурка дров, привязал рядом лом, железную лопату и медленно направился к кладбищу деревенской улицей. И никто к нему не присоединился, никому не было дела до него, никто не оплакивал его брата по пути...

Сильным был человеком этот маленький Вася.

Были такие картины, случались такие истории, их не скроешь от потомков, от памяти людской. Но было много и других картин, светлых, покойно-величавых, трогательных, притягательных в своей целомудренной красоте, радостных; помнятся и совсем иные события, иные сценки из минувшего далека, романтически-грустные, забавные, озорные, безудержно веселые; и это все тоже глубоко сидит в сердце и как бы живет с тобой неотступно и недремно, приглушая, стушевывая преодоленные беды, перенесенные боли.

И не здесь ли где-то кроется секрет вечной молодости, мужественного оптимизма, незлобивости души простого, безоглядно разгульного нашего народа? Мы не любим смаковать плохое, легко его «забываем». И даже самые горькие обиды истаивают в нас быстро, как негаданный майский снег. Мы можем с дьявольской яростью воевать с жестоким врагом. Но только кончится бой и охолонет душа, а уж наш солдат улыбается, шутит и хлопает по плечу плененного воина, который, может быть, час тому назад сразил смертной пулей его друга. Парадоксальная всепрощающая забывчивость,— жуткая, страшная, непонятная в своей неразборчивой отходчи-

вости, великая и жизнетворная в своей устойчивой доброте.

Не от раздольных ли российских долин, не от бесконечных ли, как сама мечта, сибирских просторов, не от могучих ли хвойных урем идет эта наша спокойная доброта? Не от древних ли веков передает нам ее, словно эстафету, по-космическому размашистая и целомудренная матушка-природа?

Когда я вспоминаю свою Кутиху, протянутую вдоль шумливого Тургусуна янтарной гирляндой припаленных солнцем деревянных домов, в моей памяти неизменно всплывают горы с острозубыми, ворончеными гребнями хвойных лесов, по-детски лопочущие ключи, укрытые малинником, тонким кострецом, золотыми комьями лабазника, его резными листьями, пахнущими свежими огурцами. Вспоминаю и сверстников своих, что уходили отсюда на войну в сорок первом, в сорок втором... Мы были друзьями, хоть они и были старше меня на два, на три года. Все горные речушки испетляли мы с ними, набивая удилищами мозоли на руках. Обходили все лога и долы, все лесистые взлобки. И любили мы родную сторону одной святой и нетленной любовью. Каждый прибрежный утес Тургусуна мы знали так, как знают дети лицо родной матери, и каждый омуток реки грезился нам ночами, коли покидали мы отчий дом.

Я ушел на войну позднее и возвратился домой, а они не вернулись сюда. Ни одному из них не довелось вновь увидеть родную Кутиху. Ни одному. Те, что родились в 1923-м, 24-м, 25-м, остались навсегда там, на поле брани. Ни одного раненого, ни одного искалеченного. Бились насмерть; прошивали их пули и осколки, но они шли и шли вперед, падали навзничь, уже бессильные и беспомощные, точно подкошенная трава...

Над ними возвышаются лишь холмики с пятиконечными звездами. И ничего больше не осталось от них. Лишь жизнь, отвоеванная ими для нас.

И всякий раз, когда иду я по пыльной улице Кутихи, передо мной невольно всплывают, будто живые, погибшие сверстники: конопатый и лобастый Колька Снегирев — безмерно талантливый поэт и живописец, круглолицый весельчак Мишка Сорокин, снежноголовый брат Серега, павший у амбразуры от пулеметной очереди в конце апреля сорок пятого года, где-то под Прагой...

Я не могу ни забыть их, ни отдалиться от них с годами. Они шагают вместе со мной. И не рядом со мной.

Они как бы живут во мне, во всем моем существе. На избы глядят моими глазами, вспоминают детство моей памятью и моим сердцем, радуются всему живому, всему прекрасному моей душой. И горы, милые, до боли знакомые горы, со строем черных пихт, любят с моей не гаснущей во времени страстностью.

И пусть они живут во мне. Пусть бредут со мной по речному перекату. Пусть сидят со мной у ночного костра... У них осталось одно это право. Право — быть в памяти живущих.

Мать, брат и другие

Нашего старого родного дома уже не осталось, на его месте новый пятистенок поставлен, а старший брат Алексей поселился в избе умершей тетки Опросиньи.

По всей деревне курились парком натопленные бани. Стояла колготная, жаркая сенокосная пора, и люди субботним вечером снимали с ноющих плеч березовыми вениками свинцовую тяжесть.

Тешились банькой и наши. В щели коричневых тесовых створных ворот я уже видел медленно идущего от предбанника к невысокому крыльцу шестидесятипятилетнего братана Алексея Карпеевича, сухонького, небольшого, но прямого, негорбистого мужичка. На крыльце сидела старенькая и такая же поиссохшая от забот мать. Чистила ножом грибы. В баню она вечно ходит в последний жар, с многочисленной оравой внуков, свозимых на лето в деревню со всей округи. Пока люди моются, она и грибочки обиходит, замочит их в кадушке.

На верхней ступеньке крыльца восседал Петр Зубилов, муж Галки, младшей дочери Алексея, металлург, мужик крепкий, могутный, с кучерявыми золотыми волосами. Не кудри, а прямо сосновые стружки — из кольца в кольцо. Он был по пояс гол, и шел от его разогретого красного мускулистого тела пар, как от паровоза. Богатырский детинушка.

— Готов, Алексей Карпеич?— весело гоготнул он, обращаясь к брату.— Я уработался с двух заходов. А ты?

— Я четыре выдюжил. Ты вывалился, я — шапку-ушанку на себя, рукавицы и бзданул на каменку — камни ровно стрелили. Их и дал тодэ я!..

— Сильна старая гвардия. Сильна.

А тут и мы нарисовались с сыном, открыв ворота.

— Вот ишо мужички к баньке подоспели,— прогово-

рила обрадованная мать, продолжая, однако, скоблить ножом ядреный груздочек.— Игорек-то, Игорек-то какой! От вымахал. Скоро отца, должно, обгонит,— она отложила, наконец, нож и обняла внука, прижав его к своей плоской груди. Не целовала: как-то не заведено было в роду Желаевых чмокаться по любому поводу губами.— Проходите, гостенечки,— и она, присев, вновь пристроилась к своему делу.— Умаялись, поди? Агань!— крикнула она в избу.— Погляди-ка, кто к нам пожаловал. Налей им простакиши. Попьют с дорожки.

— Здорово, Андрюха!— жиманул мою руку Петро.— Давненько не виделись. Все реже и реже наведываетесь. А мой живот по харюзкам соскучился. Кроме тебя, некому рыбу ловить. Удочки прихватил?

— Само собой.

— Эх, порядок! Надо желудок чередить, к ухе готовить. Люблю повеселиться, а особенно поесть,— Петро, баском хохотнув, шутливо погладил свой бугристый живот.

— Надолго, рыбак?— спросил Алексей, прикуривая папиросу и садясь рядом с Зубиловым.

— Недельки на две, а то и на три.

— В отпуске?

— Да нет. Уволился. Надоела работенка в институте. Отдохну и новое место подыщу.

— Эт как так надоело?— ерзнул на ступеньке брат.— Никогда Желаевым работа не надоедала. Не ври, товарушка. Чо-нить случилось?— и Алексей пристально поглядел на меня, сузив и наморщив гузкой тонкие губы.— Турнули?

Говорить неправду ему — дело бесполезное, все равно «наскрозь» пронзит, просветит душу.

— Немного и турнули...

— За дело?

— Да как сказать...

— Как есть — так и выкладывай.

Ну и породушка у нас! Чистые прокуроры, а не родственники.

— Да что выкладывать-то!— занервничал я.— Ну, не поладил с начальством...

— Тогда — другое дело,— разом повеселел Алексей.— А я думал: надоело... А место найдешь. У нас не Америка. Безработных нет.

Брат тотчас и отстал от меня, успокоился. Терпеть не мог он лодырей, тунеядцев, ловкачей. Всю жизнь рабо-

тал в колхозе, а потом в совхозе. 22 июня сорок первого получил повестку и ушел на фронт. День за днем отбухал в разведке всю войну, дошагал до Берлина, расписался на рейхстаге. В конце мая же и возвратился домой. Сперва, говорят, во хлевок заглянул, хилые воротички поправил, затем в избу вошел, бросил в угол вещмешок и обычным голосом, без всяких там эмоций, буркнул, будто всего недельку дома не бывал:

— Здорово живем. Как вы тут без меня?

— Осподи, осподи...— залепетала его жена Агафья Тимофеевна.— Живой!— и из рук ее трахнулся на пол чугунок с картошкой.

— Мать твою разэтак... Решила чугунок-то,— спокойнешенько прокомментировал эту аварию братан.— Поди, последний?

— О-ой,— застонала побледневшая жена и повалилась на пол, к разбитому чугунку.

Алексей вовремя подхватил ее.

— Ты чо, ты чо, Агаша? На вот тебе — раскиселилась.

Сейчас со мной Алексей вроде бы и вовсе не поздоровался. Что-то не заметил я, хотя знал, рад он был радешенек увидеть одного из младших своих братьев.

И откуда у нас, Желаевых, эта странная привычка — не выказывать бурных страстей при расставаньях и встречах? Многие расценивают это как равнодушие. А пошло все, видно, от того, что в роду нашем почти все мужики были охотниками, рыбаками, пасечниками... Часто уходили или уезжали из дому, возвращались и вскоре опять удалялись. Если б всякий раз в такой-то круговерти жечь им страсти при разлуках да встречах, то, ясное дело, спалились бы, сгорели раньше времени. От родителей передавались сдержанность и сухость детям, внукам... Так и шло. В деревне даже шутили: «Расстроишь его! Это же чистый жалаенок».

Все напарились, намылись и сели ужинать. Маленько выпили. И даже песни запели.

— За Марусей сбегаю,— шепнула мне на ухо дородная Агафья Тимофеевна.— Вот уж поет так поет!

Пришла Маруся, рослая, высокогрудая женщина лет пятидесяти, совершенно белобрысая, с багровым румянцем во все щеки, присела к столу. Ей налили водку не в стопку, как у всех, а в стакан — штрафную. Она знала, что не избежит такого наказания, и деловито осушила стакан, потрогала ладошкой губы, улыбнулась и вдруг спохватилась, что не закусила, растерялась, торо-

пливо пронзила вилкой махонький упругий темно-золотистый груздочек-пуговку, взяла его как-то губами, точно поцеловала, и смачно хрумкнула затем крепкими белыми зубами.

— Ох и груздочки у бабы Мани! Ни у кого таких нет. У-ух...

От очередной дозы спиртного Маруся решительно отказалась: не за тем пришла. Прочистила голос и хватит. Песни, мол, петь буду, для того и позвали. Знаю.

Хорошо пели они с Агафьей Тимофеевной, голосисто, ладно. Компания помогала им, как могла, создавая только фон звонистому дуэту:

Ой вы, немцы,
Вы немцы.
Проклятые немцы,
Зачем объявили войну?
Зачем разлучили
С девчонкой младою,
Угнали меня на войну?

...Сидим мы в окопах
Сырых и холодных,
И все ожидаем мы бой.
Снаряды взорвутся,
Сердечко забьется
И вспомнишь про прежнюю любовь...

Я тоже немного подпевал, с удовольствием отдавая душу свою какому-то приятному туманному забытью. Краем глаза заметил, как сын, сидящий на топчане у русской печки, в открытую улыбается и морщится, точно от кислого огурца. А когда Маруся запела другую, известную ему песню, сильно ломая слова на свой простоpечный кержацкий лад: «Как во той степе замярзал ямщек», Игорь и вовсе прыснул, иронически скривив губы. Исподтишка погрозил ему пальцем, он махнул рукой и, усмехаясь, демонстративно удалился в горницу.

Да, здесь сработали не только скепсис, разочарование, посеянные в душе сына моими срывами на работе, нашими семейными неурядицами, сказалось еще и отсутствие у него прочной духовной и нравственной связи с родительским отчим домом, с корнями народной жизни, с глубинными человеческими ценностями, дарованными нам привычками, моральными устоями, образом жизни дальних пращуров. Не было у него уважения к быту и нравам простых людей, тех людей, что без громких слов вынесли на своих плечах целую эпоху разрушения ста-

рого мира и обустройства нового, немыслимо тяжкую войну...

И опять виною тому сам я. Легче всего свалить это на школу, на урбанизацию всей нашей жизни, на внешнюю притягательность образцов западной культуры, на лоск и бездушный ритм зарубежных эстрадных песенок. Труднее признать свою пассивность, свое безразличие к судьбам детей. Заедают как-то нас бытовая колготня, служебные передряги...

Как на многое, оказывается, открываются глаза в дороге, в перемене жизненных обстоятельств! Может быть, и тайну своего крушения открою я в отчем краю? Но только ли свою тайну? А разве бывший фронтовик с Рубцовского депо не той ли бедой обожжен? Не той ли обидой придавлен, не тем ли холодным перстом унижен? А седенький Колобок? Впрочем, у того сугубо свое горе, своя особая печаль... Но нет ли во всех этих сдвигах от нормы своей закономерной связи? Не действует ли здесь некая общая зловредная ущербинка, некая захрясшая в сытости и равнодушии сила?..

Дальше подобных вопросов я не шел, мысли будто упирались в тупую невидимую стену, точно попадали в застойный озерный омут...

Печка-времянка и блины

Мать, или баба Маша, как ее все звали, проснулась раньше всех, несмотря на свои восемьдесят лет, сидела на огороде у дымящейся печки-времянки и пекла деревенские блины — любимое лакомство Игорька. Пекла на одной сковороде, а укладывала их золотисто-восковыми венчиками на другой; время от времени окунала косачиное крыло в топленое коровье масло, горячее, янтарное, и слегка смазывала слоеное солнышко мучной благодати. Сын не успевал пальчики облизывать, уплетая бабину стряпню.

— Иди и ты попробуй,— обернулась мать ко мне.— Спомни. Тоже ведь любил...

— Люби-ил...

— Токо, бывало, в зимнюю пору угольков под сковороду набью — вы тут как тут. Как галчата шесток облепите...

— Помню, помню,— и я принял из рук матери горячий блин, точь-в-точь так, как в детстве.

— Што-то грустный ты, Андреек... Слыхала — случилось худое.

— Да как сказать... Потерял одну работу. Вернусь отсюда — найду другую.

— А голос выдает... Чего-то жалко. Или обидно?

— Просто нравилось институтское дело. Вот и все.

— Надо бы держаться... За место-то хорошее.

— Держался. Не дали,— во мне ворохнулось что-то злое и суровое.

— А ты, сынок, шибко-от других не костери. Не торопись.

Она подбросила в печку несколько осиновых полешков, добавила в кружку масла и вскинула голову, щурясь на подступающую к огородам гору, поросшую таволгой, акацией и редкими осиновыми колками, одинокими березками.

— На вот тебе... Уже и ободняло. Не успела напечь...

Вскинул голову и я. Сквозь густые ресницы косматой горной чащи на изумрудный мир глянула пронзительным раскосым глазом раскаленная краюха солнца. Затеплилась сизая тесовая крыша избы, задымилась усыпанная белым и сиреневым цветом картофельная ботва, заиграла алмазными брызгами крупная роса на голубоватых узорах бахчей, на широких зеленых мазках огуречных грядок.

— Не гневайся, Андрей, на людей,— продолжала начатый разговор мать.— И-и-и... Не надо так. В своей душе сперва покопошись. Поишши там чо-нить неладное. Может, в чем и сам виноватый. Людей-то на свете много. Много-о... Иной бедолага думает: раз ему плохо, стало быть, весь свет никудышный. И ишо пушши того озлобивается. И уж тогда ничо путного в его жизни не будет. Ничо. Я так считаю: кажный прежде всего себя должон спрашивать, так ли он сам-то живет? Добрый к людям, или нет? Я-то знаю тебя, ты сызмальства совестливый был. Все правду искал. Да не перегнул ли ты чо тут? Может, сам што плохое людям доспел? Ты иди, иди по Тургусуну-то вверх... Иди. Там, в лесу-от, хорошо думается,— она разлила по сковороде новую поварешку восковитой кашицы.— Кабы все пушши всего честь свою оберегали, свою чистоту душевную — о, что тогда было бы! Сколь нового добра промеж людей посеялось бы!.. Вот ты спомни... Била я вас когда-нибудь? А? Нет...

— Один раз было.

— А, было, было... Это я покойничка Сереженьку по-

лотенцем постегала для Авдотьи. Подсолнух из ее огорода свесился сломанный, а он и оторвал его, дурачок, совсем. Авдотья уметила: и — ко мне. Бей, говорит, при мне. Взяла полотенце, положила Сережу себе на колени и стегаю его вроде бы. Он сопит токо. Авдотья, вижу, плечами передергивает, недовольна. Я Сереже на ухо: плачь, дурачок. Он и заголосил... Больше ничо такого не было. А ить выросли.

— Помню твое полотенце и науку твою: ничего чужого не брать.

— Вы вроде бы и по огородам не лазали, как все. Не пакостили.

— Нет, сначала шарились. Помню, у бабки Поломошнихи все арбузы ночью выпластали. Костя Копытов, сирота, попросил у нее один арбузик. Не дала. Мы и очистили бахчи. Со зла. А после твоего полотенца да краткой лекции я и сам стал других отговаривать от чужих огородов.

— Все выросли,— еще раз повторила мать и тягостно вздохнула.— Сережа токо вот погиб... В конце войны. И отец. А так все вы ничо.

— Я девятого мая в Москве Победу отмечал... На Красной площади. После салюта меня, молоденького да с орденами, качали... Что было!..

— А меня в аккурат девятого в военкомат вызвали, в Зыряновск,— мать захлопала подслеповатыми глазами.— Иди, Марья, сказали мне наши, деревенские. Может, каки награды в честь Победы дадут. Ты ить, говорят, цельно отделение для фронта вырастила. Транспорту не было, пешком пошла. Цветов луговых нарвала. Синих колокольчиков да белых подснежников. Так с букетом и в военкомат вошла. А там, видно, за войну ко всему привыкли. Подают мне две похоронки — на сына, Сереженьку, и отца вашего, Карпея Иваныча... Так на пол и повалилась я со цветами...

Синие глаза Игоря наполнились слезами, он отложил блин, отвернулся. Проняло, видать, былое наше горе и его, хотя он не знал ни Сергея, ни деда своего. Не совсем зачерствела душа у магнитофонов да в пустых вечерних балдежах.

— А живые в люди повыходили. Все лихолетья как есть перетерпели, а выдюжили. Кучно держались... силы и копились. А сколько внуков возля меня выросло! Все тянулись ко мне, как цыплятки к клуше. И вот што я ишо приметила: пока вы возле меня — мир у вас царит.

А отдалитесь куда-то — смуты пойдут, ссоры... Остываете, што ли?..

И верно. Мы как планеты: чем дальше от солнца-матушки, тем холоднее нам...

— Справней-то всех у нас Панкрат живет. Справней и дальше. Редко в родну деревню стал заглядывать... Лицо его забываю... Прибаливать стала. Хоть бы перед смертью взглянуть на его ишо разок. Не ссорьтесь. Живите кучней... И добрей будьте друг к дружке.

Мы помолчали. Я, обжигаясь, съел еще один блин, пахнущий чистородным сливочным маслом. Думал и о сказанном матерью, и о том своем, что саднило у сердца тупой болью.

— Добрым, конечно, быть надо,— сказал я, облизывая пальцы.— Но вторую щечку подставлять под удар не очень-то хочется.

— Дак ты совсем не так понял меня. Знаю, есть лютые злыдни. К чему им-то втору шшеку подставлять? Не надо. Они сами себе жисть и поганят. Всех ненавидят. От злобы на дерьмо исходят. А доброму и жисть и белый свет в радость. Чем больше станет доброты, тем меньше места для зла останется. Вот раньше людей вши заедали. А пошто? От грязи и нужды. А теперь нету вшей.

— Вшей нет. А злыдни остались.

— А ты все едино к людям-от с теплотой.

— А коли меня скушать пожелают?

— За што?— мать пристально взглянула на меня.

— Ни за что, ни про что. Ну, мешаешь... От зависти.

— Ну, коли встанет на тропе Змей Горыныч и огнем в тебя из глоток, тода хватай меч и — в смертный бой, как в войну ету... Токо зря на рожон лезть негоже. Вот и все.

На дальних покосах

Луга и горные поляны в основном были скошены, предстояло копнить подсохшее сено и ставить стога. А так хотелось помахать литовкой в утреннюю прохладу. Травостои-то у нас, на Алтае, богатые, идешь, бывало, по косогору, ровно зеленую воду разгребаешь: уж такая-то сочная и тяжелая дикая травушка. Внизу, у самых подошв твоих, кашка пенится, сладким хмельным духом пуховые катышки ее бродят; выше, вровень с поясом, жемчужные кисти кислянки плещутся, седые

завитки царских кудрей качаются — словно только что из-под бигуди; у плеч или даже над головой, если влажный год, желтые шары омика парят, томно никнут вниз сахарно-салатные беретики пучки, отблескивающие янтарными крапинками нектара, над которым так и вьются пчелы, осы и шмели.

Поведешь плечами, размахнешься с истовым упоением и ударишь сталью по медовой благодати. Отбитое и наточенное лезвие с хрустом смахнет зеленую стенку, а пятка литовки лихо отбросит цветистую охапку в сторону. Еще взмах, еще сочный хруст — и вот уже лежит слева что-то похожее на валок.

Попервости не утерпишь, склонишься над ершистой кошениной, по которой рассыпаны бордово-алые гроздья клубники, и начнешь уплетать сладкую, неизъяснимо духовитую ягоду — за ушами попискивает.

И вот, оказывается, откосились. Впереди — скирдование. Что ж, ладно и это.

Алексей Карпеевич запряг старую карюю Уймонку в телегу, уложил железные и деревянные вилы. Агафья Тимофеевна поставила под облучок корзину с провизией — с пышными булками хлеба, малосольными огурчиками, вареными яйцами, зеленым луком, салом. Туес с квасом приспособила между ног — не то навалится и прольется. Сели мы, и колеса загремели по набитой пыльной дороге.

Вскоре были за селом. Уймонка знала дорогу и без понукания трусила к покосам Подлучьего ключа, минуя густо заросший розовой мальвой угор. Всюду вдоль левой обочины дороги светились, пронизанные солнцем, голубые фонарики васильков. Справа, по большому лугу, тянулись кукурузные джунгли с мощными лентами листвы. Впереди, километра два от нас, курилась испариной речка Погорелка, отороченная ивняком. Где-то там за ней и покосы.

Давненько я не был здесь, а вот смотрел на все както равнодушно. Нет, не то чтобы равнодушно, а спокойно, без любования природой. Ушел в себя, что ли? Или очерствел в институтских апартаментах? Едва примечал светящиеся звезды васильков, легкий молочный туманец над речкой. Встряхивал будто бы даже себя, а тупое душевное оцепенение не проходило...

За работу принялись сразу. Роса на копешках обсохла: самое время ставить стога. Игоря, как самого легкого и, главное, опытного наездника (он уже однажды возил

копны) посадили на Уймонку. Алексей, довольно проворный для своих лет, ловко подхлестывал веревкой копну и весело, будто подзадоривал Игоря, кричал:

— Трогай, товарушка! Ну, милая. Давай, Уймонушка,— ласково обращался он уже к лошади.— И тебе зимой перепадет это сенцо. Давай... Справа, сына, теперь заезжай. Справа. Вот так. Тыр-р. Молодец, Игорек! Усвоил свое дело.

Копны, одна за другой, подплывали к начатому стогу. Хорошо усохшее сено хрустело, шуршало и шипело под волоками — так звучно и смачно шипят трущиеся о берег льдины, когда трогается на реке зажор.

Петр Зубилов, по пояс голый, управлялся у стога один. Сперва он подхватывал отменные охапки сена железными вилами, а потом, отбросив их, схватил деревянные двузубцы и, войдя в азарт, заработал с еще большим усердием, ухитряясь разом поддевать длинными рожками чуть ли не всю добрую копну. «Иы-ых!»— гыкал он, с ожесточением вонзая вилы в очередную порцию сена; затем, подставив ногу к черешку и еще разок гыкнув, швырял пахучий пласт далеко вверх на подставленные Агафьей Тимофеевной грабли. Удовлетворенный тем, что пласт принят ладно, в самый раз, без единной оброненной прядки травы, улыбался, сверкая серыми глазами, точно удачно вскинутый навильник доставлял ему самое наивысшее, наиприятнейшее удовольствие, самую желанную в жизни радость. При этом, если в это время Игорь подруливал Уймонку к стогу, успевал и ему весело, смешно подмигнуть левым глазом. Вот, мол, как наши умеют у стога вертеться. Не впервой. Чистый ребенок в своем девственно-светлом отношении к труду! Таких взрослых детей, целомудренных, лучезарно-искренних в своей непорочности, в своем жизнелюбии, я еще не видывал.

Мне предстояло копнить валки на небольшой луговине возле крохотного болота. Вчера тут сено оказалось немного волглым, а сегодня подошло. Ну и сенцо же: мягкое, с тонкой травой, с листочками клевера, клубничника, гусинок, со свежо привядшими сиреневыми пучками душицы, крупными сахарно-желтыми ошметками лабазника. Не сено, а прямо лекарственный чай! Крутанешь вилами валок — в нос так и шибанет теплый медвяный дух, точно из пчелиного улья.

Подоспело время обеда. Как раз и стожина успели завершить. С острой макушки, как с огромного маточни-

ка, съехала по веревке вниз Агафья Тимофеевна. Привычное дело.

— Игорек, подбери-ка клочья сена, подбей под стог,— попросил я сына. Тот весь перекосился, набычился. Что я — рыжий? С вами наравне вкалывал. Вымотался.

— Сына, давай, давай!— слегка посуровел дядя Леша.— Раз отец велит — это закон. Как армейский приказ,— Алексей скрытно улыбнулся, сузив губы в трубочку.— Сперва граблями подскреби, потом черенком вил подбей.

Сын насупился, но грабли все-таки в руки взял.

Я сходил с ведром к роднику, принес воды. Все помылись. Агафья Тимофеевна разбросила под черемуховым кустом скатерть-самобранку. С аппетитом подбиралось все: и огурцы, и яйца, и сало, несмотря на нещадную жару.

Перед новым стогом решили передохнуть. Мы с Петром сели к стогу с затененной стороны, привалились к пахучему сену.

— Ух и хорошо ж!— Зубилов разгладил живот, передернул литыми бронзовитыми плечами. В кудряхстружках его путалось крошево сухой листвы.— Не ноют руки?

— Нет, ничего.

— Работай, отдыхай. Ден через пять-десять все беды забудешь. В жизни, оно, все бывает. Только духом падать не надо.

— Знаю. Но ничего не могу с собой поделать. Обида какая-то... И недоумение... Ведь не должно же у нас такого быть...

— А почему не должно?— с деланным удивлением и непонятной для меня веселинкой спросил Петро.

Я с недоверием поглядел на него: не издевается ли? Нет, он, кажется, не издевался.

— Без этого нельзя,— сбросил с себя наигранную веселинку Зубилов.— Да ты и сам это знаешь. Марксистско-ленинскую диалектику, небось, хорошо проштудировал. А она что говорит? Жизнь — эта борьба. Схватка противоположностей. Видал, как? Борьба, схватка... Это было, есть и всегда будет...

— И с такой грязью? По пустякам — большой пожар?

— Не-е-е... Я оптимист. Верю: человек станет лучше, чище в будущем. При коммунизме. Больше культуры, благородства вольется в него. По мелочам нервы сжи-

гать не будут. Да и подножки хорошим людям никто не захочет ставить. Работящие обернутся большой выгодой для всех. Поднимется цена таких людей. А зависть? Может, хорошая зависть и останется...

— Счастливый ты человек, Петро. В общем-то я тоже так же думаю... Но что-то во мне треснуло, надломилось... Светлинки твоей родниковой не осталось во мне... Скажи честно: избивали тебя когда-нибудь несправедливо — за усердие, за доброту, за непокорность гаденькому эгоизму?

— Всякое случалось...

— А все-таки?

— Однажды вот чуть дело до драки не дошло. В нашем цехе.

— Это интересно... Расскажи.

— Сам знаешь: производительность на предприятиях не очень-то шла в гору. Плановики что-то ерундили там... Так дело было поставлено, что технические новинки не давали никакой заинтересованности. Никому. С трудом пробивалось новое. В ту пору и возникла у меня одна идея. Покоя не давала. Пригляделся я к электролизным печам и понял, что в каждую смену один человек вполне может обслужить не один, а два агрегата, если запускать их в разное время. Расчетики сделал. Все получается. При одном агрегате работенки, конечно, хватает, это тебе не бумажки в канцелярии перебирать. И все же и перекуры бывают. А вот коли пару печек запустить таким манером, чтобы режим их шагал вразнобой, тогда успеешь и следить за ними, и попусту болтаться перестанешь. Подговорил я своего соседа. Попробовал. Дело вышло. Прикинул, что это даст всему коллективу. Выгода немалая. Весть о моей затее облетела цех. И что ты думаешь — с энтузиазмом работяги встретили мою новинку? Черта с два! Загудели как шершни вокруг меня. По-доброму советуем: прижми хвост,— сказали. А мне уже идея такой разгон дала — не остановишь. Зажали меня как-то молодчики из моей смены в узком проходе и предупредили: не угомонишься — пеняй на себя. Сыграем темную и свернем башку. Я попросил одного потрогать мою шею. Он потрогал. Ну как?— спрашиваю. Ничего, говорит. Кулак мой прошу теперь попробовать.

— Попробовал?

— Не стал. Ну тогда я и врезал ему... Далеко катился по гладкому полу. Дружки его сникли и — деру.

— А как с новшеством?

— Давно прижилось. Сейчас-то нам легче стало с бригадным методом. Коллективный подряд большой стимул дает. В цену входят мысль, поиск, азарт. Ловкачеством уже ничего не возьмешь. Большая сила скрыта в этом подряде. По уму пристроить его надо.

— Вы, мужики, языки не чешите,— подал голос Алексей.— Прикорните. Через час — за вилы.

— О, у Алексея тоже свой подряд сработал!— рассмеялся я. Петро тоже весело гоготнул. Но тотчас же согласился с Алексеем:

— А что — прикорнем. Работенки еще много.

Домой возвращались поздно.

Низкое солнце косо освещало ворсистые вершины хребтов широкими потоками голубоватых лучей. Полуденное белесое марево угасло, и горы сияли свежо и молодо. Вразвалку покоился длинный гребень Чебричихи, с залысинами в логах и колючими бровками по лесистым загривкам. Левее, там, где садилось на пихтовые иглы солнце, сине млела двугорбая Русаковка, а справа от Чебричихи мрачно темнел острый шпиль Черной горы. В сторонке от них величественно возвышался скалистый купол Щебнюхи. Узкое Тургусунское ущелье уже утопало в густой просини вечернего сумрака.

Алексей не понукал Уймонку, да она и сама шагала домой бодро и споро. Игоря сблизила с дядей Лешей обоюдная привязанность к лошадям, и он, примостившись на облучке, рядом с ним, засыпал его всевозможными вопросами. Это уже хорошо. Работа на покосе как рукой сняла с него угрюмую молчаливость.

— А почему, дядя Леша, эта речка называется Погорелка?— спрашивал он.

Алексей сперва складывал сухие губы в морщинистую трубочку, думал, а потом уж степенно отвечал:

— Да кто знат. Кажись, погорельцы тут когда-то поселились. Речку и стали называть потом Погорелкой.

— А отчего село назвали Кутихой? Много кутят здесь, что ли?

— Да уж кутят иной раз так кутят... Да и работают. Работать тоже людишки умеют. А Кутиху прозвали вот по этой речке Кутихе. Вот Погорелка петляет, по тальнику видно. А вон, вишь,— черный пихтачевый распадок,— Алексей указал на восток черешком бича.— Там Кутиха.

Из-под Щебнюхи бежит. На этой-то речушке и срубили первые избы наши деды в одна тысяча восемьсот пятьдесят седьмом году. Поставили за лето пять домов. Это семьи Поземина, Новикова, Матвеева, Анфилофьева, Галактионова. Речка почти всегда с промутью шла, ее и прозвали Кутихой.

— Ах, вон как оно! Интересно. Только непонятно: поселились на Кутихе, а деревня стоит на Тургусуне.

— А ты слушай, товарушка. Не перебивай. На Тургусун тоже приехали новоселы. Из Чистого Яра и Красного Яра махнули сюда. От недородов. А по Тургусуну — приволье. Зверь в лесах не пуган. А в плесах речек рыбы — тьма тьмой.

— А кто приехал-то?

— Желаевы, Давыдовы, Бухарины. Первый дом построил наш прадед Леонтий. Двадцать пять лет отбухал он, товарушка, в царской армии. Все козырял народу и говорил: здравия желаю! От этого его «желаю» и пошла наша фамилия — Желаевы. Понял, товарушка?

— Понял. Давайте дальше, дядя Леша. Занятно.

— Пожили, пожили людишки на Кутихе и не вынесли зверья. Черный лес к самым огородам подступал. А медведи ровно коровы бродили в ем. Натокались пакостить. Зарили пасеки. А скот давили прямо в деревне. На Тургусуне светлей, просторней было. Вишь — какой луг. Красота. Сюда и сбежали от зверя кутиханы. Их, новых-то, больше было. По ним и деревню Кутихой прозвали. Ишь, как оно все клеится в жизни. Одно от другого идет.

— Записать бы все это.

— А ты и записывай, товарушка. Помрем — что вы будете знать о своих корнях? Ничегошеньки, дружочек мой!

— Это точно: ничегошеньки,— согласился сын.

Уймонка уже подходила к угору, осыпанному мальвой и дикими белыми розами. Уставшее за день закатное солнце прощально глянуло на землю ущербной половинкой, моргнуло, как мне показалось, раз-другой и угасло за черно-синей шубой Русаковки. А дядя Леша продолжал:

— Народишко все прибывал и прибывал. Бежали суды из Пензенской, Саратовской, Пермской губерний. Отовсюду. Из Шугуровской, кажись, волости приехали Оконешниковы, два братана Гаврила Назарыч и Василий Назарыч. Василий облюбовал для заимки правый

берег Тургусуна, Гаврила — левый, по речке Афонихе. Через каждый месяц выезжали на конях к самому берегу и здоровались.

— Живешь, братушка?— спрашивал Гаврила.

— Живу,— отвечал Василий.— А ты как?

— Да и я помаленьку живу.

— Ну, бывай.

— Бывай.

Гаврила пасеку завел. На тысячу колодок. Жил бирюком на заимке, а мед собирал не для себя. Для всего общества. Наварит к празднику, бывало, медовухи бадеек десять. Это около сотни ведер. И всю Кутиху — в гости. С бубенцами, с колокольцами едут. Угощает людей, поит, кормит. Люди веселятся, потешаются, а он и рад этому.

— Ну и чудик!

— Не чудик,— Алексей состроил из губ сердитую трубочку.— Хороший человек был. А Василий в Кутиху переметнулся. Помирать стал, позвал сына: Гена, иди, я те чо-то скажу. И жинка Пелагея уши навострила. Помнишь, говорит, кривого каторжанина? Спрятал он корчагу золота... Поди, пуда два. В Подлучьем ключе, под березой... И мне тайну доверил. Поди, Гена, найди... Это знаешь где?.. И недосказал. Помер. Искали, не нашли...

— В Подлучьем ключе? Так мы ж там сейчас сено убирали! Вот поискать бы. Да в фонд мира...

— Держи карман шире, товарушка! Все рыскали. Не нашли. Ну, вот и приехали. Тпр-ру, Уймонка!

Алексей стал распрягать лошадь, а мы с Петром присели на крыльце. Усталость как приварила к ступенькам. Благо, хозяйка поставила перед нами деревянную кадушку со свежей и холодной простоквашей, из ямки. Мы черпали ее большими кружками и пили. Кружку за кружкой — и куда только лезло!

Вдоль по берегу

Отдохнув денек после сеноуборки, мы собрались в Развилы. Вышли за створные ворота. Мать прижала к груди Игоря, погладила по белому вихру. Любила она его: похож на Сереженьку.

— Не бросай его одного у палатки, когда на рыбалку пойдешь,— наказывала мать.— Там ить медмедей полно.

— О нас никогда не беспокоилась, а тут...

— Вы жа лесные. А он из городу. Чо знат-то?

— Ладно. Не беспокойся.

Вышли на окраину Кутихи, к скалистому притору. Устроились на попутную машину и докатили на ней до Щебнюхи, маленького притока Тургусуна. Машина свернула вправо, на лесосеку, а мы пошли дальше, в Развилы.

Неширокая, изрядно избитая, заваленная местами крупными серыми валунами дорога тянулась по откосам узкого речного ущелья, сплошь заросшего березняком и редкими пихтами. Справа от нас возвышался рваный скалистый срез. Где-то внизу, слева, шумел Тургусун. Доцветали летние травы. В узорной листве рябин алели пучки поспевающей ягоды. И всюду у обочин млела пупырчатая малина. Мы останавливались, сбрасывали тяжеленные рюкзаки и уплетали во весь рот душистые ягоды. Потом опять медленно шагали по рыжей дресвяной дороге.

Сын смотрел вокруг без особого волнения, без влюбленности. А мы, помню, десятки, сотни раз ходили в Развилы, все, казалось бы, здесь узнали, все разглядели, всем насладились, но все же всякий раз, когда вновь попадали сюда, не могли удержаться от искренних восторгов. Хороши эти Развилы. Благодатное, девственное это урочище!..

Короткая остановка и снова в путь. Затылок нещадно пекло солнце. По вискам струился пот. Ломило плечи от лямок рюкзаков.

«Постой,— думал я о сыне,— увидишь Развильский дол — обомлеешь. Не может того быть, чтобы у вас, детей железобетонных кварталов, все стало иначе. Не может того быть, чтобы урбанизация начисто вытравила из ваших душ первородную тягу к живой красоте. Ведь досталось же вам что-то от нас по наследству? Или уж оборваны все нити добрых традиций, отсечены для вас все пути-дороги к таежному царству — зеленой колыбели человека?»

Я ждал встречи с Развилами с нетерпением. Ждал — и боялся. Боялся заметить в глазах сына равнодушие, холодок практицизма.

Если случится именно так, если глух он окажется к тому, без чего не могли мы жить, что носили в душе, как святыню, то грусти, тревоги моей не будет предела. Ведь он такой же, как и его друзья, как все его сверстники. И это новое поколение не воспримет нашу нежную, романтическую привязанность к природе, нашу духовную

связь с ней, отвергнет все это, как излишнюю сентиментальность, как обременительную для технической эры ветошь, и тем самым отвергнет и нас, рожденных с первыми пятилетками страны.

Мы пока еще на что-то надеемся, пока еще бьемся за густые леса и чистые родники. А что будет завтра? Что будет через двадцать-тридцать лет, когда не станет нас? Проявят ли себя наши дети настоящими хозяевами Земли, сберегут ли человека на планете или спокойно подставят паруса своей судьбы под ветер беспечности?..

Так думал я, и уже новая заноза застряла в груди. И это не праздные слова, не старческое слюнтяйство. Нет. Ведь чтобы драться за красоту Земли и жизни, надо любить эту красоту, понимать ее, дорожить ею, как несказанным чудом.

Понимание этого чуда и помогает нам отличать снежную чистоту бескорыстной доброты от высокомерной снисходительности, мудрую простоту от спесивого эгоизма, непорочную, ничем не замутненную правду от скрытной ядовитой лжи.

Развилы

Миновав журчащую в мелком галечнике Сычиху, маленький левобережный приток Тургусуна, мы пошли к Развильскому плесу, сели на валуны отдохнуть, освободили плечи от лямок рюкзаков.

Перед нами выткались пышные правобережные луговины Тургусуна, ровные, с высоченным зеленым травостоем, блескучими жгутами ивняка по ручьям, березовыми рощами и редкими разлапистыми пихтами. На северо-востоке, откуда просекла себе путь река, по-богатырски развернула свои сине-голубые, немного сутулые плечи гора Кедровка. Слева, в самых небесах, вздымались бугристые от фиолетовых скал Развильские лбы, покрытые внизу старым, кустистым березняком; справа встрепенулись, как у вспугнутого орла, длинные и грозные черно-сизые крылья Канайки. Мощные крылья ее плавились в легкой дымке дали, а на первом плане, у самого берега Тургусуна, там и сям дыбились четкие темно-зеленые ежики небольших угорчиков с красноватыми срезами утесов.

Желто-зеленые луга, черные ряды хвойных гор, голубое небо над ними — все это приветливо сияло, улыбалось и даже, казалось, ликующе трепетало, звенело, как

бьется бубенчиком в весеннем небе напевная песня жаворонка.

Живая сияющая красота зыбучих гор заражала своей волшебной силой и человека, а может быть, не только человека, но и все сущее на земле — зверей, птиц, бабочек, маленьких букашек? Не от этого ли волшебства соловьи, пьянея, захлебываются в радостной истоме песни? Не от этого ли восторга перед дивным миром взрываются синими, золотыми и алыми огнями цветы полевые? Кто его знает...

Я глядел на сына и пытался угадать, что он думает и что чувствует, созерцая Развильский дол. Но не улавливал в выражении его лица ни чувств проникновенных, ни мыслей высоких.

— Ну как — нравятся тебе Развилы?— с затаенной тревогой и боязнью спросил я у Игоря.

— Развилы? Да ничего. Такие же горы, как и в Кутихе. Только выше.

— И все?

— А что еще? Река вот хорошая. Вода чистая-пречистая... Дикой малины много.

— Слепой, слепой...

— Ну да — слепой! Каждую песчинку на дне Тургусуна вижу.

Только каждую песчинку? И все, сын? А видишь ли ты, как склонилась к воде с каменистого берега старая сгорбленная береза, как тянется она ветвями к студеным струям реки? Тянулась-тянулась и достала-таки водицу одной бисерной нитью, единым листочком, и огладила им тугую грудь Тургусуна... Может, в молодости еще склонялась она над рекой; все в зеркало плеса гляделась, любовалась собой, кокетливо прихорашивалась. Знать, гордилась белым своим станом. Знать, любила саму себя сильно и заносчивой была оттого не в меру. От гордыни-то этой, видать, и присохла, ссутулилась. Может, ветром только и была исцелована в юности. А теперь, вишь, никому не нужна, сама к Тургусуну с тоскою никнет. И рада-радешенька, что хоть одним листком могучую грудь его погладила...

А не красивы разве вот эти каменные глыбы на шивере, перед самым плесом? Удивительно красивы. Постой, постой. Что же они напоминают? Что или кого? Ах да. Это ж дикие звери, древние чудища, похожие на крокодилов, тигров, львов, носорогов, динозавров. Брели, видно, когда-то они по реке, устали. Остановились.

И окаменели. Тысячелетия нескончаемо точит их вода, кипят вокруг застывших великанов белые буруны бешеного переката, а им хоть бы что — ни с места. Все меняется. Все в крутоверти движения. А они существуют в ином времени. Осыпается с берез и тополей лимонная листва. Хлопьями валит снег. Настывают над шивером синие глыбы льда. Грохочет в апреле зажор. В мае гудит взбеленившийся от половодья Тургусун. А корявые, опаленные вечностью чудища-великаны стоят и стоят как холодное, равнодушное ко всему бессмертье.

Гляжу на горы, на солнечные осколки, пыхающие на синеватом плесе, слушаю, как прибрежные окатыши смачно целует упругая волна, и стараюсь понять свое состояние при долгожданной встрече с самым заветным для меня уголком на земле. Вникаю в себя и замечаю какую-то странность. Вроде бы я и радуюсь этой встрече, вроде бы и любуюсь Развилами. И в то же время улавливаю, что вижу до боли знакомое мне дивное урочище не теперешними моими глазами, а своей памятью, своими прошлыми встречами с ним. Я ведь даже валуны на шивере увидел так, как четыре десятилетия назад. И подумал о них так же. А что же я сейчас-то вижу? Кажется, ничего. Почти ничего. Весь взгляд на мир из прошлого, из детства и юности. Что же случилось? Почему притушен равнодушием и мой сегодняшний, сиюминутный взгляд?

И заметил я холодинку в себе уже второй раз. Первый раз почувствовал ее тогда, когда ехали на покос...

А еще сына упрекаю. Много ли сделал я для того, чтобы пробудить у него интерес к красоте природы? Часто ли выезжал с ним в родные места и открывал ему глаза на тот мир, что волновал и изумлял меня самого? Нет, не часто. Даже вовсе упустил я из виду эту тонкую, ничем не заменимую форму воспитания...

Ладно, об этом у меня еще будет время подумать. Раскусить надо, исследовать в срезе свою схваченную где-то эстетическую, художественную тупинку. А не меняемся ли мы с годами сами по себе, без каких-либо внешних вмешательств? Стареет тело — ослабевает и восприимчивость к прекрасному. Нет, нет, не может того быть. Толстой, Лев Толстой до конца своих дней был глубочайшим мыслителем и тонким художником-творцом.

Меняется жизнь — меняется и наш духовный мир, наша нравственность; вся суть именно в этом. Однажды произошла во мне еще одна странная перемена, я поте-

рял охотничью страсть. И навсегда, необратимо. Когда же такое случилось-то? Кажется, лет двенадцать назад. Хорошо все это помню...

Судьба подарила мне волнующий, незабываемый день. Охотник-соболятник дед Шлямов, у которого я был в гостях, занемог и послал меня в Косой лог, к дальним кулемам, где не был он больше недели.

— Капканы я проверил, а вот деревянные кулемы не довелось оглядеть,— сказал он.— Опусти пестики. Хворь пройдет — дак сам сызнова насторожу ловушки. Возьми ружье. Может, по дороге белку или рябчика сшибешь.

И вот я иду по знакомой с детства тропе, змейкой вьющейся по прибрежному крутяку говорливой речушки. Через плечо переброшена двустволка, телогрейка перехвачена тяжелым обручем патронташа. Утро выдалось по-осеннему ядреное, с тем мягким морозцем, который как бы для того и сходит на отгулявшую за лето землю, чтобы дать ей лучезарную ясность и отрезвляющую свежесть. Глубокая синь безмятежного неба, чистый, настоенный на пихтовой смоле воздух и хрустящая, точно сдоба, листва под толстыми подошвами ботинок — все до ликования будоражит и радует меня, вызывает в памяти картины минувших лет, давних таежных походов, охотничьих вылазок.

Поднимаюсь в гору по узкой, едва приметной тропке. Лес все более густеет, приобретая вид девственной хвойной тайги с той мрачной сказочной красотой, какую мы знаем с детства по васнецовским полотнам.

Здесь я не раз бродил по чернотропу. Тогда пихтовые чащи были живыми, наполненными тонким писком рябчиков и резким цокотом белок. Только остановишься, замрешь — и сразу в нескольких местах упруго закачаются ветви пихт, посыплется белый иней, голубыми комочками замелькают шустрые зверьки.

А как, интересно, теперь? Сажусь на старую замшелую колодину и с тревожным ожиданием оглядываюсь вокруг. Проходит минута, другая, третья... Тишина. Фиолетово-сизые стволы деревьев, прямые и гладкие, как свечи, уходят в синюшную высь, и только там темные кроны макушек смыкаются в сплошную крышу с редкими отдушинами в небо. Земля сплошь устлана мховым ковром, точно сотканным из миллионов крохотных елочек. Ни шороха, ни единого движения. Лишь поблески-

вают, пыхают огоньками в пробившемся прожекторе солнечных лучей алые гроздья кислицы.

Грустные, невеселые чувства навевает безжизненная тайга. Коробит, знобит душу. Блекнет в глазах главная прелесть леса — красота.

Тиха и мертва тайга...

Устало поднимаюсь и медленно плетусь по лесу. А душу раздирает чувство невозвратимой утраты, что-то сокровенное ушло из нее навсегда. Глаза больше не прочесывают леса, охота потеряла для меня всякую прелесть. А ведь когда-то... Ночь, бывало, не спишь, ожидая утра, того момента, когда зашагаешь по первой пороше, когда пронзительный взгляд выхватит в чаще косача или рябчика. И вся лихорадочная, захватывающая страсть была направлена к тому, чтобы убить беспомощные существа — красу леса.

Помню, прелесть тайги замечалась лишь тогда, пока ты еще не доходил до охотничьих угодий. А потом все тонуло в тумане опьяняющего возбуждения, какой-то нечеловеческой страсти. Видишь только одну цель, думаешь только об удаче. И ни о чем другом. В пылу схватки добиваешь зверя или птицу...

Ради чего же человек веками воспевал это черное чувство, эту жестокость? Отчего превратили люди охоту в развлечение, в спорт, в поэзию?

Гул пролетевшего реактивного самолета как бы осеняет меня, возвращает к веку машин. Да, ответ на все вопросы надо искать в неукротимом беге времени, меняющем лицо планеты. Время — повивальная бабка, лекарь и гробовщик всего живого. Именно в нем сокрыты пружины смены человеческих нравов.

Во времена Толстого вряд ли кого волновала судьба диких животных: дичи было предостаточно, и охота на нее, вероятно, считалась дозволительной забавой, целительным отдыхом. Ведь жгли же когда-то россияне леса, освобождая земли под пашни, и это не считалось безнравственным занятием. А сейчас, когда поредели леса, поджог их — преступление.

Так вот в чем дело! Это не во мне, не в моем сознании что-то изменилось за три десятилетия. Изменилась сама жизнь, в ином положении оказалась скудеющая природа.

Охотников развелось тьма-тьмущая. Гремят выстрелы в тайге, на болотах, горят подожженные дробопалами и кострами леса. Животным некуда деваться. Охотники, оснащенные современной техникой, мощными прожекто-

рами, ослепляют сайгаков, яростно бьют их в упор. Удирая от егерей, хапуги стреляют по ним картечью...

И все это именуется спортом, удовольствием, любовью к природе!

Успокоенный новыми мыслями, делаю привал на скалистом загривке. Глаза мои снова широко распахнуты на мир, снова видят красоту. Подо мной, далеко внизу, в оторочке черных гряд пихтача, змеится река, похожая на ослепительно-белый ручеек расплавленного металла. Справа, у скалы, разбегаются по сторонам узловатыми жилами корни могучего дерева, ствол которого напоминает огромную орлиную ногу, вцепившуюся когтями в землю. А вон с крохотной сосульки срывается капля воды и катится вниз по зеленым иголкам веток, как твердая бусинка.

Достаю из рюкзака забытый фотоаппарат и увековечиваю великолепные пейзажи. Прячу ружье. Да здравствует единственное гуманное оружие — объектив! Мир вам, обитатели Берендеева царства.

У березы, близ кипучей Кедровки

Палатку разбили у большой и несколько приземистой березы, с прогонистыми ветвями-кистями, достающими длинные колючие стрелы синяка, белые оладышки тысячелистника, ядовито-желтые капли лютика. Саженях в десяти от палатки шумела и временами погромыхивала перекатываемой галькой кипятная седогривая Кедровка — один из многочисленных притоков Тургусуна. Из-за травы просматривались горошины брызг речушки; серебряные струи ее юркими зверьками метались и прыгали над синими, розово-пегими валунами. Она вырывалась из черной стены пихтача как оглашенная, сея по сторонам водяной бус, омывая им длинные мохнатые лапы хвойных великанов.

В первый же день наловили рыбы на приличную уху. Вот этой волнующей рыбацкой страсти не хочу я терять никогда: кипишь весь, горишь непередаваемым азартом, цветешь душою и молодеешь.

Сразу же зацепился у меня здоровый хариус — ломтина, как у нас говорят. Только забросил мушку к пене бучила и отпустил ее чуть вниз, к зеленовато-синей глубине ямы, и тут же почувствовал, как что-то упругое садануло в мушку. Жилка натянулась. Не дергаю. Большого хариуса нельзя сердить, так ломанет, что жилку

словно бритвой отхватит. Чуть-чуть подсекаю лишь, нежно и осторожно. Но и не отпускаю жилку, не то отцепится, он и на это мастак. Вожу его точно бычка на поводке, выматываю из сил и все к берегу и к берегу причаливаю. Мокрая нога у меня скользнула по камню, и я слегка качнулся, дернув удилище. Эх, как сиганет он из пучины омута вверх! На полметра почитай вылетел над пенной крутовертью заводи. И мелко-мелко трясет красным хвостом и серебряной головой, сорваться с крючка стремится. Сердце больно екнуло: упущу!

Нет, не отцепился. Подвел его, вымотанного, к береговым камням. Выбросить не могу, нет песчаного откоса, а поднять невозможно: звенит тонкое коленце жилки.

— Игорек! Хватай его ладонями и выбрасывай за камни, не то уйдет.

Сын стоял с открытым ртом, недалеко от берега, переживал, весь бледный от волнения.

— Да хватай же, тебе говорю, руками его.

Наконец хариус-красавец на берегу. Тут же измеряю его малой четвертью. Три четверти! Ого-го. Давненько такого не лавливал. Расправил мощный спинной плавник, глянул сквозь него на солнце. Боже, какая красотища! На синеватом фоне сияли крупные ярко-розовые горошины. Показал сыну. Тот восхищенно зацокал языком.

— А теперь смотри на плавник от солнца. Ну и как?

— Чудно. Все изменилось как по волшебству. Огненные пятнышки погасли. Теперь они голубые, зеленые.

Успокоенный, уснувший хариус лежал у меня на ладонях. Чешуя у него серебристая, с темно-желтым огранением. Глаза черные, навыкате, в золотом ободке.

Наловили около двух десятков харюзков. Показывал сыну на бережке Кедровки, как надо пороть и разделывать рыбу.

Только распластывал острием ножа белое брюхо хариуса, как из него вываливался пупок с большим длинным наростом белого жира. Обирал жир, полоскал его в воде и бросал в кружку. Туда же падали сердечки, очищенные пупки, молоки или икра. Полная кружка добра набралась.

И уже вечером, у веселого костра, когда на темнеющем небе закопошились первые звезды, ели мы вкуснящую, пахнущую дымком уху.

Расположились на плаще. Нарезали хлеба, рыбу выловили из большого котелка, разложили ее на бересте,

присолили. В котле осталась чистая ушица, с блестками жира, с пупками, сердечками и икрой, с лавровым листом. Бросили туда мелко нарезанного дикого зеленого лука. Ух, слюнки так и потекли!..

Сперва хлебали деревянными ложками юшку. Потом принялись за рыбу. Нежнейшее мясо хариуса так и разваливалось в руках, белое, как сметана, мягкое, душистое, отдающее девственной горной водой. Берешь его в рот, а оно так и тает на языке.

В разных речках хариус и вкус имеет иной. Развильский харюзок особенный. Видно, божественный вкус придает ему тургусунская вода — идеально прозрачная и необыкновенно приятная, вобравшая в себя всю благодать алтайских гор: и пресный запах белошных снегов, не тронутых ни пылью, ни выхлопными газами; и стерильную чистоту голубой песчаной дробленки, сквозь которую цедятся звонкие струйки родников; и холодок янтарной дресвы, что служит материнским ложем только что народившимся вешним ключам; и густой пряный дух смородинового листа, примятого к ручью лапой зверя; и тонкий аромат росинок, срывающихся в речку с медоносных головок белковника, с дымчатых метелок мяты, с бледно-зеленых, густо облитых нектаром панамок дидлевника. Поешь ухи, а потом припадешь к такой-то вот водице и не можешь оторваться от нее. Пьешь, пьешь — не напьешься.

После ужина долго не хотелось лезть в палатку. Лежали у костра, привалившись к пузатым рюкзакам. Звезды уже осыпали все небо. Жутким и загадочным строем окружали нас со всех сторон черные пихты. Монотонно шумели, погромыхивали Тургусун и Кедровка. Кто-то неожиданно, совсем близко, хриповато рявкнул, затрещали сучья. Сын вскочил на ноги, заозирался вокруг.

— Кто это?

— Медведь.

— Медведь?!!

— Ну да. Не бойся. Учуял дым. Далеко теперь убежит...

— Ничего себе — местечко. Зверье кругом...

— Хорошее местечко.

— Хор-рошее,— передразнивая меня, проворчал Игорь.— Затащил!.. Можно было и в Кутихе отдохнуть.

Долго лежали молча. Костер поослаб, высветилось над головой небо, рельефнее обозначались ракетные ряды леса.

В памяти всплыло строгое, возбужденное лицо Упрямого, его бойцовский, этакий жуковский подбородок. «Градобойная буря давно отбушевала, тучи развеялись, а мы все еще голову в плечи утягиваем, новых громов опасаемся. Жить надо смелее и веселее». Да, да, он сказал тогда и такие слова, я их вот только сейчас и вспомнил.

Потом будто из воды выплыл, вместе с застеленной полкой вагона, старый Колобок и, путаясь с речным шумом, зашелестел его печальный голос: «Повидал я всех своих деток, внуков, а теперь и помирать можно... Думал, у каво-нибуть приживусь, а оно, вишь, как ноне...» Старик смежил красноватые глаза, уснул и размылся, исчез. А на его месте прорисовался огород, печка-времянка, мать, пекущая блины. «А я так шшитаю,— сказала она.— Каждый прежде всего себя должон спрашивать, так ли он сам-то живет? Добрый к людям, или нет... Кабы все пушши всего честь свою оберегали, свою чистоту душевную — о, что тогда было бы! Сколь новой доброты промеж людей посеялось бы!» И будто возражая ей, пробасил от стога голос Петра: «В жизни, оно, все бывает. Только духом падать не надо... И если потребуется, можно и кулаком дорогу правде пробить». «Верно, верно,— согласился с ним и Упрямый, говоривший откуда-то из-за березы, сверху, от звезд.— Но кулаком, дружище, многого не добьешься. Силой логики, решительности, железной хваткой ума и воли, дружным напором — вот чем одолеем мы сволочизм и рвачество». «А я врезал кулаком,— вздохнул Петро.— Далеко катился он по гладкому полу... Дружки его сникли и — деру».

Впечатления последних дней роем перемежались в сознании, но не выстраивались, однако, в последовательный ряд событий и фактов, в нечто осмысленное, связанное одной идеей, каким-то одним жизненным сюжетом. Нет, он был, этот потаенный, подспудный сюжет бытия, он где-то витал, чем-то давал о себе знать, но я сам еще не созрел до его понимания. Видения истаивали и вновь появлялись, казалось, в своем совершенно беспорядочном, безвольно-хаотическом потоке...

— Подбрось, Игорек, дров в костер,— вяло сказал я.— Стужей от реки понесло. Потяга дохнула. На небе хвосты заходили... Быть перемене погоды. Подбрось, говорю, дровишек-то! Эх, и до чего ж ленивая молодежь пошла.— Я закряхтел, расправляя спину.— Пока десять раз не скажешь...

— Да подброшу, подброшу!— недовольно забурчал сын.— Лежи.

— Давай уж вместе. А то в эксплуататоры запишешь. А я отца своего с полнамека понимал. Как по военной команде вскакивал.

— Он что, дед-то мой, самодуром был?

— Да ты что! Ни, ни.

— Бил?

— Пальцем не трогал.

— Так что ж ты как оглашенный-то усердствовал? Все-таки боялся, наверно, его?

— Нет. Уважал. Мужик он был суровый, но и умный. В первую империалистическую хлебнул лиха. Два ранения получил. С полком «Красные горные орлы Алтая» от Гусиной до Монголии дошел. А потом лютой зимой по Катуни за белыми бандами гонялся. В полынье тонул. Едва живой остался. Два года лежал без ног. Отнялись... Вот какая доля выпала деду твоему, Игорек. Отсюда, может, и суровость... А слушался я его потому, что так заведено было у нас. Вы какие-то другие.

— Да, мы хуже!— ехидно усмехнулся сын.— И челки не те, и брюки — уже,— срифмовал он злорадно.

— А ты не задирайся. Вы действительно во многом хуже. Нет в вас сейчас высокого, святого. Мы и голодовали годами, землю с травой и опилками ели... А жили не животом своим, не собой, жили верой в хорошее завтра, в правду на земле. Помню, мне было лет восемь. Кажется, шел тридцать пятый... Раннее утро. Солнцем ворвался в Кутиху Первомай. Стар и мал выстроились в колонну. Флаги, кумач, цветы... Идем за притор. Слева ревет, бушует помутневший Тургусун. С косогора притора летят, прямо в ноги, снеговые ручьи. Горят подснежники. Валом катится по горам и лесу песня. А к нам навстречу алой птицей надвигается другая колонна. Это в гости к нам весь поселок Тургусунгэса. Люди, вроде как бы братаясь, обнимаются. Крики. Песни. Смех. Тут же митинг. Кто-то вскочил на камень и рванул речь. Да такую, что слезы из глаз. Во как было, брат!.. А потом все — в Кутиху. Пляски пошли, игрища. Состязания. Скоморошество. И все почти стихийно. Полнейшая самодеятельность. Но как все здорово — дух заходился!..

— Свежо предание...

— Пошел ты, знаешь!— судорожно, как ужаленный, передернулся я.— Ни во что-то вы не верите. Одна у вас

повитушная вера — мода улицы. Чему сейчас поклоняетесь-то? Какой моде? Кто такие?

— Попперы мы, папа. Попперы,— продолжал злиться сын.

— Это что — мода? Или философия жизни?

— Образ жизни. Видишь, какая у меня челка? Образцовая попперовская. Клетчатые штаники. Черная рубашенция. И манеры.

— И все? А насчет души никакого параграфа у вас нет?

— Нет. Нам хотя бы это. Походкой можем похвастать. Ходим плавно, носки врозь. Стоим вот в этакой позе: ко всему пренебрежение. Ножку таким манером отставляем.

— Видал ты... Артисты.

— Да. Не то что кресты.

— Это что еще за кресты?— изумился я, обернувшись к сыну.

— Крестьяне. Это такие парняги с открытым ртом. Тюлени. Тюфяки. Словом, кресты, пролы...

— С открытым ртом, значит?— у меня, кажется, начиналась одышка. Давление поднялось.

— Встретишь такого новенького, из деревни, сразу видно.

Тучи надвигались с запада плотные, низкие — дождевые. Одна только восточная половина неба все еще пульсировала звездной сыпью. Но огненное крошево востока все сжималось и сжималось под напором темной наволочи туч, и где-то далеко, у Бухтармы, уже вздыхали зарницами частые молнии.

— А знаешь ли, сын, что когда-то такие вот полоротые кресты приходили в Питер и становились Ломоносовыми? Знаешь?.. Потом из них выходили Чапаевы, Кировы, Ангелины, Королевы... А Королев, бедняжка, покорил космос, а так простеньким и остался. Полоротым по-вашему.

Помолчали. Сын переваривал новую информацию. Видимо растерялся.

— Ну, Королев — это другое дело,— отозвался наконец-то он.— Королев — фигура. А с Чапаевым ты пролетел, отец. Герой, конечно. Ничего не скажешь. Но крест-крестом. Какой он в фильме-то? Ворот — нараспашку. Не подтянут. А что в голове? Если, извини, с твоей меркой к нему подходить... А? Что в голове?

— И голова у него была на месте.

— Хых! На месте... Даже ничего не знал об интернационалах. А воевал вот, дивизией командовал. А каков Петька у него?! Выстрелил из пистолета вверх и орет: «Ша, Чапай думать будет». Махновец да и только!..

Острая боль рваным осколком прошлась по моему сердцу: на Чапаева замахнулись!

— Как-то концы с концами не сходятся, папа.

— Ты Чапаева с Петькой не тронь...

— А почему — не тронь? Почему? Такие они и были... Не зря же к ним столько анекдотиков липнет. Ну — как? Молчишь. Нечего сказать. А ведь анекдотики — от их крестовской, проловской натуры...

Под самое ребро каленое железо вонзил, сорванец-молокососик. Что же ему ответить? Сказать то, о чем мало кто знает, о чем не принято писать и говорить? Поймет ли?..

— Видишь ли, сын... Когда-то в нашем искусстве на первое место выносились особенности социального слоя, типичные черты его, так сказать. До живинки души человека нередко и не проникали. Ради типизации. Понятно я говорю?

— Вполне. Немного доходит.

— Фурманову, на примере Чапаева, и хотелось показать... Ну, как тебе объяснить? Показать типичную среду крестьянской массы. Тех мужичков, что за революцией пошли. И он показал их в образе Чапаева. Кое-что упустил от живого начдива, стесал. Кое-что усилил, домыслил. Получился тип. Лицо собирательное, как признавался сам писатель. В Чапаеве у него много стихийного, грубоватого. Василий Иванович и несдержан, и наивен. И слава ему кружила голову, и к лести он прислушивался... И Фурманов был прав. Многие из мужичков, став командирами, такими и были.

— Так все это в книге и показано.

— А живой Чапаев был несколько иным, сынок. Современный писатель шел бы больше от живого. Чапаев, еще до революции, много читал. Читал о Разине, о Пугачеве, о Наполеоне. Вместе со старшим братом был вхож в марксистский кружок. Ленина штудировал. Был затем вышколенным унтер-офицером царской армии. В империалистическую всех четырех Георгиев заслужил. Но был простой и скромный.

— Что-то такой Чапай не укладывается у меня в голове... А это правда?

— Разумеется. Это так о нем говорили его соратники

Хлебников, Графов, Садчиков... Чапаев, утверждали они, всегда был собран и опрятен, не терпел разболтанности, не курил, не брал в рот спиртного.

— Брехня, поди? Выгораживали, подпудривали начдива.

— Нет, свидетельства точные. Поверь мне...

— Ничего тогда я не пойму... А как — Петька?

— Петька? Петька тоже отхватил четырех Георгиев. И до унтера дослужился. Так же, как Василий Иванович, одолел три класса сельской приходской школы. Как, впрочем, и Блюхер.

— О, о Блюхере я читал. Он же маршалом стал!

— Стал. В основном-то, как я тебе говорил, выходили из крестьянской массы иные вожаки... Калибром поменьше. Командовали батальонами, ротами. Потом снова склонялись над плугом. Вот это и был тип усредненного командира. Но выдвигало крестьянство и Блюхеров. Чапай относился к этой когорте. Стал бы и он маршалом. Я ничуть не сомневаюсь в этом.

— Что-то, папка, мозги мои пошли на перекос.

— На расшарагу, как говорили мы в детстве.

— Ну, на расшарагу... Так зачем же Фурманов показал его таким?

— Дал обобщенный образ. Так, как это сам понимал. Образ большинства командиров, выходцев из деревни.

— Странно...

— Тогда это не казалось странным. Лишь теперь... Все течет, все изменяется.

— Нет, ты, папа, тут не прав. Не криви душой. Чапаевским соратникам, наверно, и тогда казалось все это странным. Ведь литературный Чапай-то, выходит, наполовину придуман. Уж лучше бы фамилию поменять...

Проговорили, не заметили, как тучи накрыли небо от горизонта до горизонта. Все вокруг костра превратилось в жуткую черную преисподнюю. Совсем уже близко проворчал гром. Зашумели, застонали с придыхом деревья, тревожно заметались, защелкали бичами при резких порывах ветра длинные космы древней присидистой березы, захлопала полою дверцы палатка. И вдруг солнечным взрывом полыхнула молния, утопив на малый миг горы в мертвенно-фосфорическом зареве. И тотчас же вздрогнула, раскололась от громового удара земля. Потом что-то треснуло, будто кто-то небеса разодрал, и оттуда ухнули вниз каменные глыбы, гулко ударились о скалы и покатились в дробном перестуке в ущелья и лога...

— Э-э, Игорь, бегом в палатку! Свети фонарем. Я постель разброшу.

И только улеглись — крупные капли дождя принялись жадно клевать туго натянутую палатку. Удары все чаще и чаще, и вот разразился сплошной треск, точно над палаткой, в траве, в космах березы звучно ломались хрустальные стрелы. Вскоре натиск обильного дождевого потока схлынул, поунялся и громовой рокот, и мелкое водяное сеево зашумело над миром тихо и ровно.

— Что ворочаешься? Спи. Под кроткий дождик спится хорошо.

— Нет, тут что-то не то,— не слушал меня сын.

— Что — не то?

— С Чапаем... Может, они поссорились?

— Кто?

— Начдив и комиссар. Комиссара-то потом отозвали из дивизии. Почему?

— Кто его знает. Потребовался Фурманов в другом месте. Давай спать. Устал я сильно.

— Уклоняетесь от прямого разговора, товарищ ветеран Великой Отечественной... А все талдычите, что ваше поколение правдивое.

— Да нет, сын... Я и в самом деле ничего больше не знаю.

Отчего же мы о Чапаеве-то затеяли разговор? А, из-за этих самых крестов. Вот те, сына, и полоротый крестьянин... Впрочем, я, кажется, жалею, что потревожил архив неподлежащих оглашению сведений. Стоит ли ворошить заледеневшую золу забытых недоразумений и ошибок?..

Но что-то важное для себя узнал я о сыне в этом запальчивом, несколько сумбурном диалоге, чуть приоткрыл засов его душевных и нравственных утаек, чуть высветил чиркнутой спичкой глубинные отсеки юного сердца, на первый взгляд, такого разухабисто-открытого, доверчивого, но на самом деле капризно-замкнутого, всегда прикрытого сверкающей чешуей легких словес видимого откровения. Юное сердце похоже на никем не топтанный родничок, заросший лопухом, осочкой и щавелем, дудками дидюльника. Где-то побулькивает, а не видно. О чем-то лопочет, а не разгадаешь, о чем. Надо раздвинуть рукой густую травяную упрядь, склониться долу, просунуть голову вниз, в узкую ячейку, убрать замшелый камень и пристально вглядеться в живое лонце пульсирующей воды. Вот снесло сбитую траву, сухие бы-

линки, поднятую оброненной галькой муть, и запорскала несочком тугая струя. Светлая струя и свинцовый песочек. И больше ничего. Но вот прошло какое-то время — и вдруг, в серых свеях песка, мелькнула искрой от костра золотая слюдинка. Сверкнула, засветилась и снова исчезла в студеных вихрях песчаной дроби.

Блеск редких слюдинок и есть золотое темечко самого потаенного, самого сокровенного в молодом человеке...

Я узнал, что не все еще растеряно сыном в пустых вечерных бдениях, в бесцельно-разгульной погоне за модой. Кажется, трепыхнулась жаркая искринка на утайном донышке его души. Ему стало жалко всамделишнего, непридуманного, неоструганного Чапая, обидно за него.

Ворохнулась обида за него и во мне. Я давно знал то, о чем поведал сыну, но оно рождало у меня лишь недоумение. А обиду я почувствовал впервые. Почему? Сын помог, или все это как-то перекликнулось с тем, что случилось со мной в институте? Да нет, ничего здесь такого схожего нет. Так, малая малость.

Но я хоть живу. С занозой обиды, но живу. А живущим всегда легче. Душевная горечь человека быстро истаивает в лучах новых радостей, и к нему приходит желанное успокоение, чуткое к любому дуновению счастья...

Живому хорошо. Он все еще может исправить. Ничего не могут поправить те, кто перечеркнут ледяной чертой небытия. Ничего не исправит и он, легендарный начдив. Чуял ли он тогда, понимал ли, что это последний его роковой бой,— сатанински предательский бой?.. Но вот уже и крутояр реки, вот вода, и он бросается в окутанный сумраком Урал, в свою черную бездну, где нет ничего... Только что-то треснуло и зазвенело над затихшей рекой, будто прощально вздохнула недопетая песня его подвига, будто тронула неведомая рука печальные струны, и они отозвались не то надрывной, невысказанной болью сердца, не то предчувствием новой беды...

Дожди, дожди

Разненастилось. Четыре дня кряду шли частые дожди, обычно короткие, с громом и ветерком, но теплые, парные. Серебряная пряжа дождя с шумом простегивала крупные рваные листья дягиля и пучек, кроны тополей и берез, колючие зубцы пихтача. В светлых лужах, рас-

плесканных по темно-рыжей дресвяной тропе, вздувались крупные пузыри.

Два-три часа радовало нас солнце. Собрали валявшиеся у реки дощечки — здесь когда-то стояла обслужка лесорубов,— соорудили приличный столик, скамейки. Пообедали мясной рисовой кашей. Чай заварили душицей, зверобоем и смородиновым листом. И такой приятно-пахучий чай у нас получился — не надышишься! Да в котелке обнаружили мы еще кем-то тайно положенный большой ломоть сотового меда, завернутый в целлофановый мешок. Видно, подсластила наш поход в тайгу баба Маша. Так вот, терпко-духовитый лесной чай, сдобренный сотовым медом, удивительно скрасил наш небогатый туристический стол.

И только успели мы закончить чаепитие, как из-за темной громадины Черной горы и синевато-подпалых вспучин высоких Развильских лбов выползли тяжелые мрачно-бурые тучи с лохмами усветленных окоемов. И вот уже над речной долинкой, над черными пихтовыми ежиками прибрежных сопочек выткались сивые пряди дождя.

Поспешил на угорчик, чтобы заготовить впрок дровишек из валявшегося там и сям сушняка. Дров-то набрал, но дойти до палатки не успел, настигла-таки меня дождевая лава, захлестнула весь лес. Бросил сушняк, присел на корточки, укрыв голову откинутым воротом. Тугие водяные струи неистово полосовали мою спину, с шипением секли скальные отвесы Тургусуна, с треском, как цепами, молотили большие и длинные листья девясила, и те неистово бились, судорожно дергались, точно от нестерпимой боли.

Дождь шел спорый и крупный и, казалось, не будет ему конца. Выпрямился и рванул к палатке — так и так намокать...

Тучи, с небольшими перерывами, сыпали влагу до вечера. В логах, в скальных провалах Кедровки, в уремных распадах широкой полы Канайки залегли плотные, недвижные валы и клочья тумана. Тургусун взбух, кофейно замутнел, одернулся пеной и крупными пузырями, точно кис, поднимался на дрожжах.

Кое-как вскипятили над чадящим костерком чай. Разогрели в котелке консервированную говядину — самый ценный НЗ. Сели ужинать за мокрым столом. Третий день не видим рыбы: опустился хариус на дно, притих в разъяренной и мутной воде.

Похолодало. Надели свитера. Я сверх того прикрыл спину меховой безрукавкой — душегрейкой.

Непогодило. Сыростью и осенней стужей несло от земли. А все-таки было хорошо, покойно. Душа моя, угомонившись, будто отяжелела в успокоении, как вон те снежно-ватные величавые валы тумана; ее, казалось, омыли, охладили благодатные горные дожди, и она отдыхала, освободившись от мелочной служебной суеты, от омерзительных дрязг. Пустой и никчемной представилась мне отсюда возня карьеристов и чинуш. И совсем уже не думалось о себе, о своем унижении, об ущемленном чувстве собственного человеческого достоинства во мне. Нет, это они унижали себя мышиной грызней вокруг грязных и подленьких проблемок.

Нет, нет, вовсе не о том я думал. Я только пишу сейчас об этом: к слову пришлось. А думалось о другом: о хороших людях, народной мудрости матери, стойкости, терпеливости и невероятной сдержанности братана Алексея, разудалой смелости Упрямого, о величии и красоте жизни, о могущественной силе природы, ее целомудренной, незлобивой, целительно-врачующей душе. Притягательная, магическая суть природы чем-то напомнила мне мать нашу, Марию Никоновну. Как она тогда, на крыльце, сказала-то? А вот как: пока вы возле меня — мир у вас царит. А отдалитесь куда-то — смуты пойдут, ссоры... Остываете, што ли?..

Да, остываем мы без отчего дома, без природы. И я вот остыл. Очень остыл...

Но что-то изменилось во мне за эти дни. Развилы, я это явственно почувствовал, нравились мне уже не памятью юных лет, а сегодняшним общением с ними. Как и при тех, довоенных, встречах, черно-зеленые, сине-зеленые, голубые горы, с аккуратно и густо поставленными гребешками стройных пихт, поражали меня своим ясным, безмятежным, улыбчиво-приветливым ликом, чистотой и кричащей сочностью красок, дышащих ликующим жизнелюбием, по-матерински доброй радостью.

— Осточертел дождь,— проворчал сын.— И зачем мы сюда притащились? Глухомань-то какая!.. Одни медведи.

— А мне славно тут, хоть и дожди зарядили. Красота-то какая вокруг! Вглядись.

— Колючий лес. Мокреть. Травища — не продерешься. Чего здесь красивого? Не понимаю. В Кутихе лучше. Я бы с дядей Алешей на коне поездил...

— Эх ты! Красота здесь разлита всюду. Нетленная

красота. Вот мы хлопочем в городе. Квартирки свои обставляем. Будто на века. А ведь вся эта лакированная мебельная мишура лишь до последнего нашего деревянного одноместного гарнитура... А вот этот дом вечен. Огромный и прекрасный дом. Радость общения с ним ни с чем несравнима. Постигнешь эту красоту, насладишься ею — значит, не зря проживешь... А моды-повитухи, блеск тумбочек — ничтожные вещи-времянки. Пузыри на лужах.

— Пузыри,— фыркнул Игорь.— Однако же залез в трехкомнатную квартиру. Только обставить ее по-человечески, как у всех, не можешь. И не такая уж плохая штука — приличная мебель. У моих приятелей, к примеру, не квартира, а шик. Стенки, хрусталь, редкие обои, ковры... Все антикварно.

— Аномально, антикварно!.. Что за язык-то у вас...

— Язык — современный. Язык молодежи. Ты не перебивай меня. Я об убранстве квартир говорю. Так вот, зайду я в гости к своим друзьям — и зависть такая меня берет. Приятно у них сидеть. А я и в гости к себе никого не могу пригласить. Что — не так? Робость у меня какая-то появилась. Встречаюсь теперь с друзьями... Немного проходит...

— Квартиру не так трудно и обставить,— пролепетал я.— Будет и у нас мебель. Необходимая. Не больше.

— Надо уметь жить красиво, отец,— тянул свою мысль Игорь.— Развлечения всегда лучше ваших забот и неурядиц. Долой нудность. Да здравствуют веселые друзья!

Стоп, стоп. Где я это все слышал? Красивая и беззаботная жизнь, веселые друзья... Что-то очень и очень все это знакомо...

Вспомнил! Ах, вот куда их потянуло! И ведь ничего не знают, ничего не смыслят, схватили только внешнюю суть этой попперовской сути и рады-радешеньки: нашли ультра-новую, «образцовую» форму общественной жизни. Ах вы, молокососы, лопухи желторотые... Куда вас дернуло — надо же!

— Я вспомнил, откуда пошло ваше попперство,— еле сдерживая в себе ярость, заговорил я.— Вспомнил. Эта мода — хуже холеры. Хуже чумы. Ты хоть знаешь, что она идет из Западной Германии? Знаешь?!

— Н-нет,— удивился сын.

— Избалованные детушки богатейших семей Гамбурга пустили ее по свету. Слыхал?

— Н-нет.

— Вроде бы красивые манеры. Сверхаккуратность и опрятность. Встречи в закусочных. Гитлеровские молодчики, между прочим, тоже с пивнушек начинали.

— Ну уж...

— Вот тебе и ну уж! Беззаботная красивенькая жизнь и никакой политики. Картинные болванчики. Болванчики-фанатики. Ох, как они нужны новым фашистикам, новым фюрерам! Эти красивенькие послушные болванчики уже вешали наших людей. Живьем закапывали в ямы. Жгли в крематориях. Делали свою красивую жизнь. И у нас были такие тогда,— горло мое сжимали спазмы.— Да, были. Болванчики без политики в голове. Звали их власовцами. Предателями!— Я задохнулся и не смог больше говорить. Встал с волглого бревешка, на котором сидел, и побрел к берегу. Долго лежал на холодном камне, унимая лихорадочную дрожь во всем теле...

До вечера не обмолвились с сыном и словом. Лицо его было хмурое, озадаченное.

В мире что-то произошло. Наметился какой-то перелом. Нет, все так же ходили по небу тучи, все так же время от времени сеяли они на долы и горы водяное крошево, но исчезли вдруг безысходная нудность дождя, давящая мрачность непогоды. Стало вроде бы как-то светлее, радостнее; то и дело в небо взлетали стаи стрижей, и носились птички в воздухе бесновато, весело, игриво, как бы озорно споря с непогодой, взмывали вверх, падали вниз, неожиданно замирали на месте, трепеща крыльями, словно очень уж радовали их разверзнутые небесные хляби. Били их струи дождя, а они знай увертывались от них и с еще большим упоением носились среди белесых водяных жгутов.

Брызнуло светом солнце, а дождь все не переставал, и теперь уже не хрустальные жгуты тянулись от облачной хмари к земле, а замедленно падали вниз то ли стеклянные горошины, то ли мокрые снежинки. А стрижи от такой необычной картины и вовсе одурели, засновали темными челночками в сказочной пряже оглашенно и дерзко.

— Очумели они, что ли?— изумился Игорь, любуясь восторженной каруселью птиц.

— Чему-то радуются. Видно, чуют перемену погоды.

— Да ведь дождь идет.

— Ну и что? А вон — приглядись к туману. Валки вроде бы проснулись после лежки, зашевелились. Пустили от себя легкие шлейфики. Задышали. Да и дым от огня, вишь, вверх потянуло. А до этого он стлался понизу. Гляди, примечай и запоминай. Полезно знать.

Сын еще не отошел от нашего недавнего разговора, но уже старался как-то замять его. Видно, что-то немножко понял, что-то уразумел.

— Завтра будет хорошая погода,— уверенно сказал я.— Вот посмотришь.

— Посмотрим.

Белые свеи туманов

Спать было холодновато, и я проснулся рано. Обозначилась прозелень палатки. Значит, светает. Полежав еще минут двадцать, накрыл сына сдвоенным одеялом и выбрался наружу. Совсем стало светло, но солнце еще ничем себя не выдавало. Тучи начисто развеялись, и небо наконец-то глянуло на мир широко и открыто, быстро истаивала на нем белесая утренняя матовость,— как истаивает под теплыми лучами иней, обнажая чистую голубизну ледового озерного простора.

Тургусун, березняковые гривки подножия Развильских лбов, чертоломный распадок речки Кедровки, соболиная ость убегающей в бесконечность Канайки дохнули голубыми струями пара, сперва еле приметными, прозрачными, текучими, потом все более четкими, густо-белыми, из которых и ткался туман,— то клочьями, то кудельными прядями, то мощными кучевыми клубами. Тесемки тумана обинтовывали и без того белые стволы берез — только перечеркивали на них темные крапинки,— винтом опоясывали черные столбы пихт, поземкой ползли по зеленым чистинам отлогов, натыкались на коричневые утесы и свертывались в узлы, пропадали. Но тут же вновь вспыхивали на том же месте еще более мощными скоплениями, мгновенно пухли, ширились и вдруг приходили в стремительное движение, закручиваясь в галактические спирали. Вот завьюжилась, завертелась одна галактика, вот другая, третья... Вот они устремились по занозистым гривам Канайки вверх, сшиблись в гигантском катаклизме, вздыбились грибком и тотчас осели, опали серыми перьями и пеплом на иголья тайги, сгинули...

Разбудил сына. Тот продрал глаза и недовольно просопел:

— Что стряслось?

— Туман играет. Иди посмотри. И ведро. Как видишь, угадал.

— Да ладно...

— Вылезай, вылезай. Вот так. Садись на камень со мной рядом и наблюдай. Вчера туман спал. Помнишь?

— Помню. Лень его одолела.

— Как тебя. А сегодня туман сбесился.

— Э, и правда. А чо это с ним?— первый раз сын подеревенски чокнул и даже не заметил того.

— Какая-то новая сила в мире объявилась. Туман и встрепенулся, пустился в пляс. А что за сила — угадать надо.

— Вот — угадали... Тумана-то уже и тю-тю.

Действительно, Канайка и гора Кедровка очистились, первозданной чернядью сияли на их увалах омытые наконечники пихтачей. Чистыми выглядели на противоположной стороне Тургусуна, напротив нас, и темно-палевые скалы, круто стесанные в Подкорытов плес. Ни одного дымчатого завитка. Сглазили, что ли?

Нет, еще не все потеряно. Подкорытов плес исторгтаки из себя и пустил по утесу одну-единственную кисейку испарины, тонюсенькую, тощенькую. Она закружилась, заметалась. И вот — чудо. Вмиг возникла цепная реакция: весь ущельный проем разом охватило метельное месиво. Седые кудельные лохмы то взмывали вверх по скалам, то устремлялись по реке вниз, путаясь, извиваясь, то шарахались к уступу нашего берега и хищными горностаями набрасывались на макушки пихт и остервенело «рвали» их, пока не обессиливали и не скатывались к комлям деревьев.

Березовые свеи тумана замерли. Секунда, другая. И волшебство исчезло. Туман осел на заберегах, свалялся в огромный тюк и покатился вниз по Тургусуну. Земля умылась перед восходом солнца и затихла в благоговейной кротости, готовясь встретить новый желанный день жизни.

Солнце позолотило макушки Развильских лбов, вершину Черной горы. И в воздушных токах что-то вновь сдвинулось, что-то вновь взыграло, вызвав по цепной реакции очередную неистовую пляску туманных вихрей. Даже недвижная до этого листва берез слегка заколыхалась, заходили жгуты ее ветвей. Лишь кусты ивняка, тя-

жело огрузшие от обильной росы, не сбросили оцепенения.

Приглох в туманной коловерти речной шум...

Перебрались с Игорем по бревешку через Кедровку, пошли за дровами, чтобы приготовить завтрак. За ненастные дни израсходовали весь запасенный сушняк — до единой хворостинки.

Едва приметная узкая тропка петляла меж густых зарослей травостоя, седого от дождевой пыли и росных брызг. На каждом травяном листочке попыхивали, подрагивали по пять-десять то округлых, то продолговатых, с фасолину, водяных слитков.

Я шел первый и обивал суковатой палкой с зеленых снопов влагу, после каждого моего удара склоненные пряди снопов выпрямлялись, делались сразу свежими, ослепительно зелеными, и на их фоне еще разительней становился серебряно-голубой росный налет на остальном нетронутом травяном ковре.

Одни крапивные дебри стояли почему-то как всегда зеленые, без седого водяного крапа. Лишь кое-где на стеблях постреливали тонкими искрами скупые-прескупые слезинки. Жгучая и злая крапива, видать, ни с кем не роднится — даже с росой. Стояли крапивные стебли сухие, как тощие, привядшие от злобы дымливо-вредные бабенки.

А вот листья тальника и берез так и лоснились от мокроты, и на каждом из них зрели хрустальные горошинки. Вот с одного листочка ивового куста оборвалась тяжелая тугая горошина, и листок вздрогнул, освободившись от свинцового груза, упруго надыбился вверх. Вздрогнула, выпрямилась и вся ветка, сыпанув на землю пригоршню прозрачных бусинок. Тук, тук, тук — смачно прошлись они по листьям маральника и чемерицы. Токи движения моментально пронзили и другие ветки куста, и с него шумно хлынул настоящий росный дождь. Куст отряхнулся от влаги как по цепной реакции. Удивительный и, видно, охватывающий все мироздание закон!

Только-только пустит земля тонкую, с папиросный дымок, испаринку, как вдруг взбеленится от метельных грив весь угор, ошалело замечется туман, закружится и свернется в спираль... Потом угаснет одна прядка, другая — и мгновенно, точно по команде, точно от какого-то невидимого взрыва, сгинет вся белая кутерьма: сработают цепные токи... Это, вероятно, всему присуще так же, как вихревое движение материи. Закручивается в воронки

вода на разнотечных сбоях реки, вертит черные гибельные смерчи жаркий пустынный ветер, заматываются в гигантские спирали звездные миры, и в такие же спиральки-раковинки прячет свое тело улитка... Вся вселенная, от малой песчинки, от атомного ядра до метагалактик, связана едиными, мало разгаданными нами кодовыми нитями движения и развития материи... Может, от этого что-то и нам, людям, человеческому обществу перепало?

Тропка ведет нас через заболоченную, подернутую осокой луговинку к пихтовому гайку, что круто обрывается к Подкорытову плесу. Там, во мраке хвойника, стояла неказистая охотничья избушка Алексея Лопатина, знатного соболятника нашей округи, отцу которого, тоже охотнику, посвятил немало теплых слов Правдухин в своей книге «Годы, тропы, ружье».

— Это что еще за избушка на курьих ножках?— несказанно удивился сын, точно он и в самом деле встретился со сказкой, увидев домик из толстых искрасна-коричневых бревен, без окон, только с дверью.

— Здесь живет, соболюет всю зиму старый охотник.

Зашли под навес, до отказа набитый поленницами колотых дров. Открыли прокопченную дымом дверь, заглянули в такую же прихваченную сажей избушку, разглядели в ней нары, покрытые кундраком, черную каменку, полочку, сбитую из неоструганных дощечек. На полочке стеклянная банка с солью, три спичечные коробки, пачка чаю.

— Пап, спички! А у нас кончаются... Возьмем?

— Ничего здесь брать нельзя. Закон тайги. Только в крайнем случае... А спичек нам хватит. Экономней расходуй.

— Никто ж не узнает.

— Как никто не узнает? Совесть наша знать будет. Веками люди не пакостили в тайге. Привыкли к этому. Вот мы сейчас возьмем у охотника несколько поленьев дров, на разжижку. Обсохнет лес, нарубим дров и вернем сюда столько же поленьев. Вот так-то. И никто об этом знать не будет. Только мы.

— Это, значит, как при коммунизме,— хмыкнул сын, скривив губы.— Весь расчет на честняк.

— На людскую совесть.

— Смотри ты...

Возвращаясь к палатке с дровами, мы обратили внимание на тропку: еще вчера вечером, когда резвились

стрижи во время дождя, она была вся в лужах и топкая, вода под ногами так и хлюпала, а сегодня утром, через ночь, стежка стала почти сухой.

— Вот те и раз,— проговорил я, недоуменно рассматривая дорожку.— Это, видно, тоже к ведренной погоде. Но что же за ночь так высушило землю? Ведь солнца-то не было.

— Вопрос,— склонился и сын над тропой.— Все изменилось. Даже воздух какой-то другой. Сыростью не пахнет.

— Воздух, говоришь, сыростью не пахнет?

— Вчера он какой-то...

— Промозглый был,— подсказал я, осторожно ступая по не очень толстой лесине, виснущей над самыми снежно-белыми хлопьями воды.— Вчера — промозглый, сегодня — сухой. Вчера — дождь, сегодня — ведро. Тут какая-то есть связь. Что-то связано с воздушными потоками,— я сбросил поленья у самого таганка, взялся за топор.— А ну — раскинь мозгой. Покумекай... Видать, одна и та же сила и тропу просушила, и туман заставила танцевать... Принеси-ка спички.

Расколол на мелкие щепки закостеневшее иссиня-желтое пихтовое полено. Сверху полено темное, а внутри — светло-золотистое, восковитое, с каплями янтарной смолки, сохранившей еще дух живого хвойного дерева. Сложил щепки юртой над оранжевым берестяным клочком, принял от Игоря коробок, чиркнул спичкой. Клочок затрещал, пульнул дымом, засвертывался в трубочку, пыхнул огнем.

— Что долго думаешь?

— Все дело в воздухе. Чего тут думать!

— А ты поясни. В каком таком воздухе. Вчера что же — не было воздуха?

— Был. Сырой. А сегодня в гости пожаловали сухие воздушные потоки...

— Ну и что из этого?

— Как что? Все вокруг было сырым. И туман лежал, спал себе. Он же тоже сырой. Из воды. А вот нахлынул сухой воздух — и пошел тянуть в себя влагу. И туман залетал, как угорелый. И дорожка просохла.

— Стал быть, воздух вроде твоей губки?

— Ну да. Все впитывает в себя. Пьет воду. Вот это открытие мы сделали!— возликовал сын, сверкнув синими глазами.— И о туманах все узнали, и о приметах к перемене погоды... Здорово! И как все просто. И очень

занятно. Теперь мне все интересно. А думал: зря сюда приперлись.

— В лесу, Игорек, с неделю поживешь с открытыми глазами — ума наберешься. Что — не так?

— Ладно. Сдаюсь. Конечно же, Кутихе до Развил далеко. Тут я малость загибал... Раззилы — это аномально.

Сварили кашу. Наверно, последний раз. После ненастья начнется настоящий рыбий жор.

Позавтракали.

А солнце меж тем обогрело землю, осушило горы и луговины. Промытые листья черемушника, рябин, березняка, таволожника взблескивали маленькими зеркальцами. Мерцали, пульсировали короткими лучистыми огоньками росные брызги. От тумана и след простыл, но каждая травинка, каждая разомлевшая былиночка курились, точно после бани, парком, дышали водопадной пылью, и эти прозрачные клубящиеся тесемки испарины, эта водяная пыль то и дело озарялись кусочками яркой радуги.

Мы сидели, не шелохнувшись.

Светлый день

В этот первый погожий день так и не удалось разжиться рыбкой. Вода шла с промутью. Хариус стоял на дне, не клевал.

После дождливых дней, после чародейного туманного утра на душе стало как-то благостно-спокойно и хорошо,— точно так же, как и в природе в этот светлый, истомно-теплый июльский день, пропахший острым запахом народившихся грибов, смородинового листа, дурманяще-бражным духом переспелой малины. Не отягощали личные переживания, все мелочно-будничное как бы подернулось дымкой дали, осталось где-то далеко-далеко, откуда нет возврата. Думалось о жизни как о бытие, о великом счастье быть в этой жизни, до трепетной боли сознавать ее величие, с пронзительной обостренностью видеть ее красоту, чувствовать всюду разлитую поэзию земли, всего звездного мира...

А темные пятнышки вспоминались только как занозы всего общества. И если вспоминались, то лишь в том смысле, что хотелось понять внутреннюю их суть, причины их появления... Вот и все.

Игорю я велел разложить на палки всю волглую

амуницию, а сам, усевшись на серый гранитный валун, принялся чинить берестяные паевки, подаренные нам Алексеем. Они были мастерски слажены, с резной бахромой по ободочкам, с одного бока плоские, чтобы плотнее прилегали к бедру. Но вид имели потрепанный, мне и предстояло залатать дырки в разрывах. Вооружился дратвой с иглой, шилом и принялся за давно забытую мною работу. Было их у нас три таких посудины. В самую большую вмещалось два ведра, ее в деревне непременно называют пайвой — за внушительную емкость, видать. Ведерный кузовок называют паевкой, а самый махонький, предназначенный для сбора ягод ребятней,— пайвочкой. Всей этой троицей и располагали мы с Игорем.

Помаленьку подбрасывали в костерок толстых гниловатых чурок, чтобы не пластали огнем, а шаяли, чуть поддерживая жар. Ленивый дымок перечеркивал зеленые горы голубыми струйками, завивался в колечки, убегал к реке. Игорь время от времени переворачивал одежду и постель и снова небрежно брал в руки книгу, привалившись к трухлявому еловому пеньку и блаженно раскинув ноги.

— Вот дрались, так дрались на этой шхуне «Призрак»!— воскликнул сын и, кажется, даже с легким восхищением мотнул головой, приглашая меня к разговору по поводу отвратительных драк, описанных Джеком Лондоном в «Морском волке».— Послушай: «Волк Ларсен и помощник смертным боем избивали беднягу. Они молотили его кулаками и пинали своими тяжелыми башмаками, сшибали с ног и поднимали, чтобы повалить снова. Джонсон уже ничего не видел, кровь хлестала у него из носа и изо рта...» И дальше: «Этот день был похож на страшный сон. Одна зверская сцена сменялась другой, разбушевавшиеся страсти и хладнокровная жестокость заставили людей покушаться на жизнь своих ближних, бить, калечить, уничтожать». Почему они были такими, пап? Почему они зверели?

— Читай. У Лондона все об этом сказано. Кузница капиталистов, сынок, кует лишь деньги. Ради злата все у них дозволено. Отсюда и бессердечие, бездушие... Недавно попалась мне в газете жуткая, с нашей точки зрения, заметка. Речь как раз и шла там о буржуазных нравах. Один молокосос, лет, кажется, тринадцати, взял нож и подступил к матери: дай денег, не то живот распорю. И распорол бы, если б долларов не дала. Вот как

у них, брат. Тоже, наверно, из секты попперов этот маленький наглец,— уколол я глазами Игоря.

— Да ладно тебе... Будешь теперь тыкать попперами!..

Мы замолчали. В чадящем куреве хлестко стрелил начиненный серой пихтовый сук, да так хлестко и сильно, что у Игоря вывалилась из рук книга.

— Аж пятки зачесались!— вздохнул он и рассмеялся.

С тихой речной заводинки, прямо из-под нашего берега, снялась пара темно-серых чирков. Напуганные «выстрелом» курева, птицы сразу взмыли вверх, увернулись от косого столба дыма и, часто взмахивая крыльями, стремительно пошли вниз по Тургусуну.

Вот говорят, что у нас уже нет пережитков прошлого, думал я. Любые нравственные вывихи — это, мол, теперь издержки социализма. Свои, кровные пятнышки. Вряд ли. Хамство, жесткие нотки в обращении с низшим по званию, вельможная спесинка, травля невинных — это ведь дерьмо оттуда, из дореволюционного «рая». Основа всяких духовных уродств — отчужденность, а она, отчужденность, с той символической шхуны «Призрак». Веками взращивал и множил отчужденность частный интерес. Заматерела она, захрясла, как листвяжное бревно в трясине...

Отчужденность жестока. Это самое дремучее и коварное зло. Именно на ней, на отчужденности, как на болоте, вырастают ядовитые цветы эгоизма. А уж эгоизм, вызрев, сеет потом иные семена... Сорной травой поднимаются грубость, мрачное, волосками одернутое бессердечие, оскальная злобная зависть, вечно тоскующая по жестокой мести, тщеславие заурядности... Все здесь прочно сцеплено, все идет одно от другого. И срабатывает порой все так же неотвратимо, с такой же взрывной силой цепной реакции, как и при напряженных, переломных явлениях природы.

Вот семейные распады участились. И тотчас же нашли этому бракоразводному бедствию объяснение. Вызвано, мол, оно чрезмерной эмансипацией женщины, огрубением ее натуры в чистом мужском духе. И вроде бы верно. Да, появилась в женщинах излишняя резкость, вольнолюбивая безалаберность, некое охлаждение к дому и детям. И нередко они теперь собираются посудачить за рюмкой вина в чисто дамской компашке, вдали от забот и треволнений. Все верно. Только дело тут не в са-

мом вольнолюбии слабого пола, будто до этого он не был эмансипирован. Сдвиги в нравах женщин — это не причины семейных катастроф. Это следствие чего-то другого, верхняя часть ледовой глыбины. А причины глубже, в иных сферах общественной жизни, там, где рождается разобщенность...

О, далеко от нас уплыла шхуна «Призрак», шхуна великой отчужденности людей. Нет ее в океане нашей новой жизни. Осталась от нее только малая малость, как горькое наследство,— страсть, нет, даже не страсть, а а какая-то страстишечка, или, скорее, привычка повелевать, унижать достоинство людей процессом этого повелевания. И ведь нет же, нет у этой вельможной привычки никакой питательной почвы. Нет. Есть только она сама по себе, в голом виде, так сказать. Как память. Как отрыжка задубелой болезни, очаги которой давно заглушены. Но вот чуть-чуть потрафь ей, и она воспрянет в каком-нибудь чиновнике, задействует, зашает синим угарным угольком в потухшем костре.

А чиновник, даже самый маленький, дай ему волюшку,— сразу и в раж войдет, будь у него хоть три человека в подчинении. И станет он вить из них веревки и получать от этого величайшее наслаждение.

Раз укусит он кого-нибудь. Два, три... А уж потом человек взвинтится от унижения. Понесет затем свое раздражение в семью, наделит им домочадцев. Холодок отчуждения ветерком загуляет по дому. Начнутся ссоры. А чиновник не унимается, гнет человека в дугу. Премии его лишает. Так, по своей прихоти.

В семье уже разгораются громкие скандалы. Слетают с губ оскорбления. Супруги сами дивятся этому, но остановиться не могут...

Материальные ущемления особенно чувствительны там, где глубоко пущены корни вещизма. А коррозия вещизма разъедает многие семьи. Вон Колобок-то всех своих деток объехал. А приюта не нашел. В таких-то вот семьях и разгораются особенно злые супружеские схватки.

Первой не выносит этой погоды женщина, как более чувствительное и душевно ранимое существо. Она бежит к подругам, таким же обиженным или задерганным судьбой женам или уже разведенкам. Тешат душу разговорами. Плачут. Веселятся. И делается им хорошо, лучше, чем дома, в семье.

Тут и черствый эгоизм проклюнется. Да, в компаш-

ках хорошо? Дети? А, ну их... И так намучились с ними. Муж? Можно и без него... Можно и вовсе развестись.

Вот так-то. А мы говорим: всему причиной эмансипация женщины.

Любопытен в этом явлении еще один факт. Процесс подленьких действ чиновника рушит жизнь не только того, над кем издеваются. Пакость всегда бьет бумерангом.

Мне вспомнился вдруг самый вернейший и усерднейщий подхалим шефа — Рафик Шакалов. В кого превратили его постоянные лизоблюдские реверансы, угодливое проигрывание грязненьких сценариев? В жалкого холуйчика.

Как-то дневал коллектив института в зоне отдыха, на берегу Оби. Не весь коллектив, а лишь те сотрудники, что накануне работали на огороде подсобного хозяйства.

День стоял чудесный. Сад с мелкой сочной травой, сосновый бор, подступавший к реке, заливало золотым настоем августовское солнце. За оранжевыми стволами сосен морской синевой отливал большой и тихий затон Оби. Под деревьями в саду стояли накрытые столы, дымились тарелки со щами, краснели горки салата из помидоров.

Шеф был в великолепном настроении, шутил, смеялся. А когда повара пригласили людей к обеденному столу, сел рядом со мной, похлопал меня по плечу, этак важно и в то же время по-свойски, доброжелательно. В ту пору процесс выживания меня из института поднимался к зениту, и все немало удивились неожиданному директорскому жесту, запереглядывались широко открытыми глазами, заподжимали губы. Иные недоуменно передергивали плечами.

Какая муха укусила шефа?— думал я.— Что за фокус? Понял глупость затеянного мероприятия или его опасности для себя? А может быть, попросту решил поблажить, поиграть со мной, точно кошка с мышкой? Кто его знает. Скрытен Давлеев как бес.

Шеф встал. Слова, которые он затем произнес, можно было сравнить с громом в морозный январский день.

— Я хочу сказать сегодня,— произнес он торжественно и как-то душевно, по-искреннему тепло, и повторил после выдержанной паузы:— Я хочу сказать сегодня добрые слова о нашем работяге — Андрее Желаеве,— и шеф даже обхватил меня рукой, притиснул к себе.

Через минуту-другую я заметил мелькавшие между сидящими людьми оттопыренные уши и длинный, тоненький, как у крысы, нос Рафика Шакалова. Он бежал понад столами, согнувшись в три погибели, бежал торопливо, частыми шажками, с горящими маленькими глазками, ошалелыми, видимо, от потрясения. Обежал Рафик весь длинный ряд столов, круто срезал угол и по-собачьи ткнулся в мое ухо, горячо зашептал:

— Андрюха, Андрюха, я всегда с тобой!.. Что бы с тобой ни случилось — никогда не оставлю тебя!

Еще и сейчас противно мне то горячее и влажное дыхание в мое ухо: что бы с тобой ни случилось...

Давлеев, кажется, был искренен в саду. Во всяком случае, несколько дней я купался на работе в приятном затишье. Все вежливо здоровались со мной, улыбались. Ах, кабы всегда так!

Но ком был когда-то пущен, и самым рьяным исполнителям прежних шефских указаний не выгодно было его останавливать. И ком, с их помощью, снова покатился... Покатился, между прочим, к обрыву своего падения и Рафик Шакалов. Все хуже оборачивались у него семейные дела. В доме — грубость, ругань. Сработала негативная цепная реакция.

Да, зло не остается безнаказанным. Душа ведь не руки. Те что: замарал, вымыл с мылом — и все тут. А с души печать зла не смоешь. Так и остается она на ней до самого смертного часа...

Обычно после ненастья солнце не сразу входит в свою силу. Но в конце июля оно и после затяжных дождей быстро прожигает землю. И в первый ясный день нашего пребывания в Развилах жара почувствовалась еще до полуденной поры. Правда, это был не сухой изнуряющий зной. Влага смягчала солнечные лучи, и земля нежилась, радовалась световому половодью, отдыхала.

Светалое, умиротворенное отдохновение улеглось и во мне. Душа нежилась, как и земля. Нежилась, точно котенок на припеке.

Верилось во все доброе. В силу правды. В торжество разума.

Ясным днем встала передо мной заповедь матери, как ответ на мучительные вопросы бытия: ты, сынок, в своей душе сперва покопошись... Может, в чем и сам виноватый... Кабы все пущще всего честь свою оберегали, свою

чистоту душевную — о... сколько нового добра промеж людей посеялось бы!..

Может, в чем и сам виноватый, повторил я. Да, в чем-то ведь все же виноват и я.

И все-таки Давлеевы, как ни печально, есть. Вертятся возле них и подхалимы. И тут скрыта какая-то другая истина. Не в кулаке Петра она, разумеется. Проглядывает она скорее в настырности Упрямых. Давлеевы вянут возле Упрямых...

Вянут. И где-то вновь возникают. Здесь-то прячется еще одна, третья истина. Как в сказке. Последняя. Нужен заслон в том месте, где то и дело возникают Давлеевы. Заслон прервет негативную цепную реакцию. Снимет очаг напряжения... Упрямый и Петр как раз на то и намекали. Пусть на всех уровнях невыгодно станет держать послушных остолопов, спесивых чиновников и невыгодно съедать толковых работяг. Тут-то и сработает обратная цепная реакция. Позитивная. Как это сказал Петро-то? Большая сила в подряде скрыта... Может быть, может быть.

Думалось в таком же плане и еще о многом. И, честное слово: даже самой малой крохи, ни уголька обиды не тлело в душе. Тургусунский дол, дол березовых туманов, окончательно загасил все суетное во мне. А может быть, туман все это вобрал в себя и развеял по белу свету? На волшебном берегу волшебно красивой реки, у палатки, прислонившейся к доброй старушке березе, верилось и в эту наивную легенду. Во все хорошее верилось здесь.

Может, отчасти и озлобляемся, грубеем мы оттого, что теряем нить красоты, дарованную нам природой? Запираемся в бетонных коробках, погрязаем в никчемных сварах и глохнем душой.

Глухота к красоте жизни опаснее любого уродства и вывиха в человеке. Страшна эта глухота всегда была. Особенно страшна сейчас, в век дьявольских кнопок.

Огради нас судьба от холодной волосатой руки!..

— Пап, а ты что замолчал? В себя уходишь, старина. Не хочешь с сыном общаться. А зря. Забываете вы, родители, о нас. Но ведь так можно многое проморгать.

— Да ведь мы с тобой говорим. Обо всем. И откровенно.

— Не скажу.

— Что же, я, выходит, лукавлю перед тобой?

Игорь подбросил в костер дров, поправил на палках одежду и пристально, иронично, даже с какой-то злостью посмотрел на меня прищуренными голубыми глазами.

— Лукавить не лукавишь,— сказал он,— но и на большую откровенность не идешь. О многом наболевшем утаиваешь. А это не сближает отцов и детей. Наоборот... Вот в школах бандочки появились. Анашой наш брат балуется. Грабежом не брезгуют... Говори спасибо, что я пока не увяз в этом болоте...

— Вот до чего даже дошло!.. Докатились...

— Дошло. А вы... все в верхах витаете. Правды-матки боитесь. Много вокруг всякой сволочной всячины развелось...

— Какой именно?

— Ну, вранья, несправедливости... Хамства. Да и этого...,— сын запнулся, подыскивая нужное слово.

— Говори, говори.

— Ну, барства. А вы на все глазки закрываете,— Игорь выразительно прикрыл лицо растопыренными пальцами.— Как страус, голову в песок — и точка. И нет никаких проблем. Вот тебя с работы турнули. А за что? За то, что в институте полный застой. Ты ткнул пальцем в этот застой, а тебя и прихлопнули, как комара. Как быть тут с твоим оптимизмом? С твоей верой в правду? А?

— Да, вопросик,— пролепетал я.— Как тут тебе сказать?

— А ты не придумывай, как сказать. Уж больно приучились вы придумывать, как говорить. А ведь это, пап, вранье.

— Ну уж...

— Ну, хоть и не вранье, но и не правда. А ты режь ее, правду-то, сплеча. Вот сразу. Не думая. Тогда я поверю. И не старайся меня охмурять. Говори, как со своей совестью. Начистоту.

— Турнули, говоришь? Да, это тяжело...

— Пап, пойми: мне ведь тоже обидно... Может, силенок не хватило? Мужества? А?

— Сказать, что хватило — не поверишь.

— Не поверю.

— Ну и ладно. Скажу одно: были бои, когда и я выигрывал, побеждал. Особенно запомнился один случай. Работал я в редакции городской газеты. Пришли как-то ко мне в отдел семеро комсомольцев из транспорт-

ного цеха свинцового комбината. Пришли с жалобой. Подняли, видишь ли, руки на начальника цеха и его зама. На свое руководство.

— Как ты на Давлеева?

— Ну, что-то вроде... Обюрократились. Обарились. Словом, обнаглели. Возвели себе две дачи-виллы.

— Хозяйственные мужички!— ухмыльнулся сын.

— Комсомольцы и написали на них жалобу в местную инстанцию. Комиссия, так сказать, проверила факты. И ребят выставили из комсомола. Они — письмо в Москву. А им уготовили окончательную расправу на собрании. «Идем,— попросили они.— Послушаешь. Если мы правы — защити. Если нет — бей нас». Вот так.

— И что же?

— Опубликовал статью. Резкую такую... Потом на бюро горкома стоял... Как лист перед травой. Эх, и поливали ж меня!.. Жуткая схватка завязалась.

— И как?

— Да вот... Выдюжил в тот раз. Вельможных хапуг разжаловали. Ребят полностью реабилитировали. Недельки через две я побежал в этот цех за материалом, обо всем впопыхах уж и забыл. Пошел по пролету. И тут крик: «Братцы, газетчик тот идет! Качнем!» Ну, и качнули, конечно. А на мне — белая рубашка, новые серые брюки. Выпачкали мазутом как чертика. До сих пор эти минуты — самые счастливые в моей жизни!..

— А почему же сейчас пал на лопатки?

— Видишь ли, не я один пущен под уклон. Время такое... Слыхал, что говорил в вагоне контролер? Лучшего председателя колхоза затуркали. Ломка старья только начинается. И первыми нередко падают те, кто ломает. Гибнут как на амбразуре. Так всегда.

Бюрократическую махину нелегко, брат, сдвинуть. Мохом поросла. Немало рук пообломаем, пока ее под откос грохнем. Вот возьмем мой бывший НИИ. Весь во мху. И верхний этаж. И нижний. Верхний эшелон жирует от дутых внедренных результатов разработок...

— Почему — от дутых?

— Ну, от липовых.

— Ложных, значит? Так это ж жульничество! Самое настоящее. Говори прямее, отец. Заворовались.

— Ладно, заворовались... А у нижнего эшелона совсем другое... Он свыкся с гарантированной мизерной зарплатой. Сросся с ней, как с неизбежной участью. Как со злом, которое можно терпеть, но не оплачивать. Жало-

ванье-то твердое. От отдачи не зависит. Вот и отбывают ученые сотрудники свою службу день за днем. Не работают, а дежурят. И начхать им на технический прогресс. Никакого тебе рвения. Никакой инициативы. Верхний этаж привык, не думая, повелевать. Нижний — равнодушно исполнять. И так везде. В крови это у нас сидит. Вот что надо ломать-то. Систему управления куда легче перекроить. А вот души?

— А кто виноват-то во всем этом, пап? Вы же, коммунисты. Говоришь: верхний этаж привык... Как ты там сказал?

— Повелевать.

— Вот, вот. Повелевать. А почему? Я ведь тоже коечто читаю. В газетах пишут — ленинский стиль, ленинский стиль... А разве это по-ленински? Давить-то сверху? А? Получается: что хочу, то и ворочу. Отчего же это все? Отчего?

— Да, вопрос...

— Непривычен? Да?

— Ну и въедлив же ты, сын!

— С вами станешь... И въедливым. И нытиком. Вас гнут, а вы молчите. Вас давят, а вы только попискиваете. Отчего же это так? Думай, думай. Ты же бывший журналист. Или журналисты тоже отучились думать?

— Не просто все это, Игорь.

— Конечно, не просто. Потому и спрашиваю. Говори. Как на страшном суде. Как на исповеди. Мы одни. Нас никто не слышит. Режь эту самую правду-то. Без оглядки.

— Сейчас, сейчас,— бормотал я.— Сейчас отвечу. Только сначала надо чай поставить.

Я взял котелок и пошел к берегу Кедровки. Чувствовал, как во мне все кипит от растерянности и смятения! Ишь ты, племя-то молодое. Настырное, дотошное. Так наизнанку душу и выворачивает... Что же тебе сказать-то, сынок ты мой дорогой?..

Навалился коленом на синий, отшлифованный водой прибрежный камень и глянул в омут с ровным дном, усыпанным разноцветной галькой, на которой, дробясь на брызги, плавились золотые солнечные пятна. Хороша водичка. Первозданная чистота.

Зачерпнул воду, взбив котелком вихри из поднятых со дна редких песчинок. Подошел к костру.

— Придумал, что говорить?— с ехидцей спросил Игорь, подавая мне таганок.

— Нет, не придумал,— буркнул я.— Сейчас что-нибудь скажу.

Повесил чайник над огнем. Привалился к тому же самому камню, на котором чинил паевки. Задумался. Мне показалось, что пазы моих мозговых извилин немного трещали, точно там раздирались какие-то запретные, неиспользованные отсеки. Начал говорить и нес что-то невнятное. Волновался, как на экзамене. Помню теперь уж из всего сказанного отдельные фразы.

— Нет такого зла, Игорь, которым могло бы пренебречь необузданное своеволие власти. Так было всегда. Социализм должен был с этим покончить, но и он споткнулся о старый камень...

— Почему?

— Какие-то неувязки получились... Как Ленин понимал диктатуру пролетариата? Во всем комплексе. С одной стороны, это что-то вроде кулака против буржуазии! Временная политическая форма правления. А с другой,— это народный тип государства, власть трудящихся. И сразу: и то и другое. С первых дней социалистических преобразований. И диктатура, значит, и народный тип государства. С широчайшей демократией. А однобокость, она страдает шаткостью. С ней-то и внедрился у нас нажимно-волевой стиль... Сверху до низу. И культ от этого. Он, культ, в каждом из нас, и каждому надо выколачивать его из себя, как пыль из мешка. Вот это тебе моя правда...

— Ну, ну. Что-то улавливаю.

— На культе и другие народы обожглись. И на уравниловке. Да вот что отрадно: социализм уже переболел всеми затяжными болезнями поисков и ошибок. Только бы теперь дело не остановилось... Социализм надо облечь в истинные его формы. Вот в чем сейчас наша задача.

Переправа

Решил перебраться на правый берег Тургусуна: начался добрый клев, а там, на той стороне, такие ямы, такие плесы и омуты — душа заходится от азарта.

Взвалили на плечи немного облегченные рюкзаки, попрощались с суматошной Кедровкой, трубой летящей в Тургусун, и пошагали мимо охотничьей избушки, куда уже успели отнести два беремя дров, мимо Подкорытова плеса, к шумному перекату реки. Там хоть и не брод, но преодолеть шиверок можно. Шли еще не тронутым

топором человека лесом, девственным, чистым, почти без бурелома, с прямыми иссиня-бурыми стволами пихт, столбами, подпирающими вверху зеленую крышу из ветвей. Внизу, во мраке, был лишь мох и редкие, длинные, узорно вытканные лепестки папоротника. Древние, доисторические дебри да и только!

Вышли к шиверу. С высокого крутого берега просматривались все донные камни реки, и мы без труда наметили примерную линию брода.

— Дойдем вон до той большой желтой и плоской булки, передохнем на ней и сделаем еще рывок,— предложил я.— Дальше будет глубоко. Пожалуй, по пояс. И струя рвет сильно. Как думаешь — справимся?

— Справимся!— бодро заверил сын, еще ни разу не бродивший по горным речкам. Идеальная чистота воды скрадывала настоящую глубину потока, и переправа, вероятно, показалась Игорю легкой прогулкой.

Да, до охристого валуна добрались мы благополучно. Дальше дело пошло хуже. Игорь не сделал и трех шагов по главной прорве русла реки, как его круто развернула волна и повалила на спину. Подхватил его за лямку рюкзака, подтянул к себе. Вернулись на буловину. Ноги поламывало от студеной воды.

— Пусть рюкзаки полежат здесь, а мы перейдем налегке.

Сын брел во второй попытке ниже меня, где образовывалась своеобразная пенная заводь, и держался одной рукой за мой ремень. А вода вокруг бушевала, гневно буровилась у моего правого бока, била под мышки.

— Ноги делай ухватом, вот так,— передавал я сыну свой опыт.— И весь напрягайся. Впивайся ногами в камни. Цепче, цепче. Держи удилище в левой руке крепче. Поставь его меж камней. Шагни разок. Еще упрись удилищем. Шагай. Шагай смелей, будто разорвать воду хочешь. Так, так... Получается?

— Получается,— ответил хриплым дрожащим голосом Игорь.

— Ну, пошли! Смелее. Режь воду. Режь ее ногами, животом, грудью. И сердись на нее, сердись! Хорошо. Быстрей, быстрей теперь!.. Пронесло-о.

Развели после переправы костер. Обсушились.

Солнце катилось к вечеру. И как-то совсем неожиданно налетела тучка, легкая, кисейная. Заморосил дождь. Солнце проглядывало из-за рваного облака, и освещаемый дождь становился то раскаленно-розовым,

то золотым. Дождинки были какие-то увесистые и летели так быстро, что чертили сплошную нить, тонкую и какую-то живую, пронзительную, как солнечный луч. И точно: это сновали, гасли и вновь вспыхивали лучи, будто кто-то доил тучу, и цедил их на землю нескончаемой пряжей.

Поглядел на Игоря. Он улыбался, задрав голову вверх: видно, радовался и фантастическому дождю, и той победе, какую только что одержал на броду. Ведь все-таки выстоял, не струсил.

— Ну, как?— спросил я.

— Красиво. Хорошо здесь.

Впервые за весь поход дотронулся до светлой, точно челка лабазника, шевелюры Игоря, вроде бы погладил по голове. И быстро убрал затем руку: не переборщил ли в ласке-то?! Ну, остановил бы руку да повел бы по жестким волосам-то подольше. Ведь все же родной сын. Нет, отдернул пальцы, напугался нежности. И злит же меня все-таки порой этот дедовский заквас. Злит, а поделать ничего не могу, не могу снять с себя эту клятую суровинку...

А может, это и к лучшему? Другие в ласке до слащавой умильности доходят, а живут все-таки не в сердечной дружбе. Съедется иная родня к одному праздничному столу — и не после такой уж большой разлуки. Крепко тискают друг друга родственнички, целуются, слезу пускают. Потом выпьют по стопке-другой — зашумят, заспорят. Пропустят еще по одной — и чего-то вдруг не поделят, не сойдутся вдруг в каком-то житейском вопросе, за грудки схватятся.

Потом — слезливые раскаяния, примирения. Новое застолье. И новый круг выяснения родственных отношений...

Нет, уж лучше, пожалуй, без сладких поцелуев — только бы за грудки друг друга не трясти!..

Летучий дождь как внезапно нахлынул, так скоро и унялся. Набросали мы пихтового лапника на прокаленный костром песок, постелили палатку да так и проспали до утра на ней под гудящий шум Тургусуна, под вкрадчивый, почти у самого уха, плеск волн у прибрежных камней. Я иногда открывал глаза и, обданный гипнотическим лимонно-зеленым светом полной луны, вновь кротко, по-детски сладко засыпал.

А потом у нас началась неделя удачливой рыбалки, неделя сказки. Впрочем, сказка заключалась не в самом

ужении рыбы, не в прожорливом харюзином клеве, не в упоительном спортивном азарте, не в том, как рыба зло цеплялась на крючок и ты ее, бьющуюся, вытягивал на берег, а совсем в чем-то другом. Ужение — это ведь тоже промысел, охота, и оно поблекло перед другою сказкой бытия — перед цветением жизни.

Мы словно смотрим на природу будничными глазами, отрешенными, отстраненными от ее сокровенных явлений и почти ничего, в силу этого, не видим. А тут с наших глаз будто спала пелена и перед нами, сам собою, распахнулся храм сверкающего величия материального мира, гармонии его красок, его движения. И началось нечто невообразимое, нечто удивительное — какое-то наваждение чар...

Даже нежелательный, непрошеный дождь в самый разгар рыбьего жора и тот восхитителен, если, конечно, не клясть его, а принять доброй душой, влюбленными глазами.

Вот рыбачим мы на Алешиной яме. Ах, и живописна же эта яма! Всюду разбросаны желтоватые, синие, дымчато-розовые валуны. Омут на середке реки так глубок, что и дна не видно, зеленая вода кружит по-над берегом коралловую пену. Слева от малахитовой чаши Тургусуна, где-то далеко вверху, маячат фиолетовые стручки Развильских лбов, справа, над самым жутким зевом ямины, виснет утес, сплошь усыпанный крупными зелеными, алыми и коричневыми листьями бадана. А за утесом убегают в высь, в бесконечность, голубые зубцы пихтачей.

Паевка моя уже тяжела от рыбы, а клев идет отменный. Но тут налетает холодный ветер. И вскоре ущелье накрывает черно-синяя туча. Застучали по листьям, зашлепали по воде редкие капли.

Бросаем удилища и укрываемся под пихтой. Чтобы не зябнуть, прижимаемся друг к другу спинами. Дождь, зачастив, так и гвоздит по воде.

А под пихтой славно, сухо. Только на кончиках пушистых лап виснут крупные водяные капли. Цепкие они, эти капли. По веткам лупцует дождь, а они висят, не срываются. Слетают капли почему-то лишь с нижних лап. Упадет капля на былинку, и та, вздрогнув, поклонится земле, будто в чем-то прощения попросит или за что-то поблагодарит ее.

Под пихтой, вместе с нами, укрываются и лесные таракашки. Летит таракашек, машет светлыми крылья-

ми — и кажется большим-пребольшим. Но вот он забивается под игольчатую ветку пихтины, складывает крылья — и сразу делается неприметным — тонюсеньким, крохотным, как сухая рыжая хвоинка.

Дождь прерывается. В голубую промоину неба ударяет солнце. Блестят, точно подернутые лаком, камни. Дымятся от испарины скалы. А в траву точно опрокинулись звездные миры — так она сияет от алмазных сколков дождевого сеева!

Ошеломительно прекрасные мгновения жизни! И неповторимые. Никогда не будет вот такого восхитительного дождя, такого звездного сияния трав, такой суматошно-неистовой пляски туманов, какая случилась у Подкорытова плеса. Красота не исчезнет, но она будет иная, в иных проявлениях и ярых вспышках. А эти упоительные мгновения навсегда останутся с тобой, в твоей душе несметными сокровищами — твоим нетленным, непреходящим счастьем.

Над пропастью

Вот и пришла пора отрываться сердцем от Тургусуна, от рыбацких походов. Хотели заночевать на песчаной печке еще одну ночь, да посмотрел я на запад и заспешил: над Черной горой взбугрились тяжелые тучи. Не к большому ли ненастью опять?

— Пока светло, надо облезть Подкорытов плес,— предложил сыну.— Там, на крутяке, тропа есть. Раньше по ней и на конях перебирались. Потом она сбилась. Но пройти еще можно...

Не знал, что тропы той уже нет, смахнул ее оползень, и каменная катушка Подкорытова плеса оголилась. Тут-то и подстерегала нас опасность.

Обошли утесик. Поднялись на россыпь. Остановились, присели передохнуть, оглядеться. Малость не рассчитал я, ошибся. Быстро сгущались сумерки. Еще быстрее надвигалась темная туча. Успеем ли перебраться через утесы засветло? Вряд ли. Что же делать? Плес, действительно, похож на корыто, на сплошное гранитное корыто. Правый берег, наш берег, чертовски крут. Правда, внизу, у самой кромки воды, можно пройти по гладким скатам плит, цепляясь ногами и руками за крохотные расщелинки, но только днем и в хорошую погоду, когда плиты сухие. А сейчас и сумеречно, и камни

мокры от недавнего дождика-летуна. Единственный вариант: лезть вверх, к предполагаемой тропке.

И мы полезли вверх, чуть наискось, сперва по россыпи камней, затем — по плитняку, на четвереньках. Тропы нигде не было. Выше нас утес вздымался почти отвесной стеной. Значит, тропа проходила где-то здесь, но тут сплошная скальная катушка. Запоздало догадался о катастрофических изменениях горного ската.

Сумерки сгустились до того, что мы уже еле различали очертания скал. Возвращаться обратно не было никакого резона: спускаться вниз в темноте гораздо хуже, чем лезть вверх. Выбора у нас не осталось. Надо было быстрее двигаться вперед. По выступу со старым суковатым пихтовым пнем догадался, что именно туда утыкалась былая тропинка. Выходит, то место оползень не затронул, и там — спасение наше. До пня метров двадцать — не больше. Но каких метров! Это что-то вроде опрокинутого в реку желоба, ровного, без зазубрин и камней.

Еле нащупывали в скале маленькие заусенцы и уступчики, цеплялись за них руками и ногами. Метр за метром подвигались вперед, к причудливой култышке пня. Игорь полз на животе чуть выше меня. Расчет был прост: сорвется — придержу. Мне же нельзя было допускать осечки. Ниже — только пропасть, и чем ниже, тем катушка круче... Так что последний отрезок — метров в пятьдесят — полетишь на плиты, в случае неудачи, в воздухе, кувырком и... Что там последует за «и» — думать не хотелось.

— Ну, и завел же сына!— клял я себя.— Старый дурак!

Осталось до тонких прядей кундрака и прутьев акации метра три гладкой залысины. Укрепил левую руку на каменной занозине, правую поднял вверх.

— Игорь, упирайся в мою руку и прыгай к кустам. И побыстрее. Руки немеют... Оборвусь. Давай, давай...

Сын слегка качнулся и рванулся к земляному срезу. Сердце мое сжалось: едва ухватился Игорь за нижний куст акации. Торопливо пополз к нему, плотно прижимаясь к холодному каменному желобу, как будто спасение было только в этом. До Игоря два метра. Один. Прыгать не могу: ноги, начисто лишенные опоры, зависли. Еле удерживал себя пальцами правой руки, вонзенными в слабый, крошащийся сколок в виде маленькой плитки. Плитка разрушалась. Медленно разгибались

пальцы. Все, поехал,— опалила холодная, как лед, мысль. Прощайте, сын и жизнь! Это я так думал. Крикнуть не было сил.

И вдруг у самого моего лица мелькнула ладонь сына. Кое-как успел схватиться за нее правой рукой и пополз, поехал вперед. Вот и кундрак. Цепляюсь за него. Все, живем.

— Вижу, у тебя пальцы разжимаются,— рассказывал сын после того, как мы немного пришли в себя у старого закостенелого пнища.— А глаза испуганные... Схватился одной рукой за кусты, другую — тебе.

— Молодец. Сообразил.

— Да я и не соображал. Как-то само получилось.

— Ладно, хорошо получилось, сынок. А главное: вовремя. Не то быть бы мне отбивной котлетой.

— Теперь мы квиты.

— Как — квиты?

— А так. На броду ты меня выручил... Здесь я тебя.

Только успели сойти по заросшей тропе на луговину, как припустил дождь, спорый, холодный. Отвернули башлыки плащей. Дорожки совсем не было видно, и я шел ощупью, вернее, наугад. На поворотах тыкался ногами в травянистую бровку тропы. Отыскивал вязкую глину и опять медленно двигался вперед. После пережитого во всем теле ощущалась свинцовая тяжесть.

— До пасеки километра два,— проговорил я, смахивая с губ дождевые струи.— Может, упадем под пихту, накроемся палаткой и пролежим до рассвета? А? Льет как из ведра...

— Нет. Пойдем. В избушке лучше,— заупрямился сын.

Что ж, пусть идет. Пусть закаляет характер.

Разбой на пасеке

Пчеловодов на пасеке не оказалось. К счастью, избушка была закрыта лишь на защелку.

Спали как убитые, чуть ли не до обеда следующего дня. Вышли в заросшую муравой ограду, присели на чурки дров. Чистое небо не омрачалось ни единым облачком, будто вовсе и не гулял над горами ночью шалый ливень. За рыжей осочной крышей омшаника томились в мареве белые и желто-лиловые хлопья цветов, над ними дыбились в ряд светло-зеленые стога берез, за которыми ровно и отдаленно дымилось чернолесье Кедров-

ки и Канайки. Какие-то знобкие токи пронзили мое существо. В виски ударила кровь.

Да ведь это тот же самый пейзаж, что рисовал я акварелью в сороковом году! И тоже в начале августа, в такой же пламенно-ясный день. И эта же картина вдруг явственно возникла передо мной тогда, в сорок четвертом, когда я, контуженый и раненый, открыл глаза на кочковатой мочажине белорусской земли, искромсанной вдоль и поперек взрывами снарядов и мин. Видно, вспомнилась в тяжкий час самая дорогая точка отчего края...

— Пап, что это за пасека?

— Фомкина пасека.

— Почему — Фомкина?

— Жил здесь в двадцатых годах, до колхозов, старик Фомка. Колодки держал. В тридцатом году сдал пасеку в колхоз. А имя его так и осталось за этим местечком.

— А ты где зимовал? Здесь?

— Да, тут. В тридцать третьем дела в колхозе складывались худо. Пасеку ликвидировали. А в сороковом в Развилы сразу завезли по льду три пасеки. В Фомкиной избушке мы и обосновались с отцом.

— Сколько тебе тогда было?

— Четырнадцатый шел. Валили лес.

— И ты?

— Я возил на коне хлысты. За лето поставили три омшаника. На всех пасеках.

— Трудно было? А?

— Не легко. Вернемся из леса. Мужики за курево. Нацежу им по стакашку медовушки и кашеварить начинаю. Накормлю, посуду вымою. Сам второпях пошвыркаю. И опять на лесосеку.

— Ну и ну... Эксплуатировали дите.

— Нет. Лень вышибали. Зиму учился в Кутихе, а в мае опять сюда. Уже с матерью. Двадцать второго июня, хорошо это помню, Алексей из Кутихи приехал на саврасом жеребце. Куль муки привез. Сбросил куль и ударил по нам новостью:

— Война. Фашисты напали. Ну, покажем им, сукам, где раки зимуют! У меня повестка... Бывайте!

И он стеганул плеткой жеребца, умчался в войну, чтобы донести потом свою горячую головушку до Берлина.

Мать руки вытянула, шевелила бескровными губами,

силилась что-то сказать, будто не верила, что старшой уже ускакал от нее на взмыленном коне. Она-то ведь по крови не Желаева. Щетинина. Никак не могла привыкнуть к скорым бесслезным желаевским разлукам.

— И ты так же ушел на фронт?

— Так же... Через две недели после отъезда Алексея повестки получили наш Серега и Колька Снегирев. И рванули сюда на конях. Попрощаться с Развилами. С Алтаем. Я им и сказал: ну, раз с Алтаем захотели попрощаться — пойдемте со мной. Только не оглядывайтесь. Завел их на гору. Во-он на тот камень. Теперь, сказал, глядите. Перед нами лежала вся Канайка в могучем разлете своих крыл. Долго стояли молча. А потом Колька прошептал: вот он какой, Алтаюшко-то мой! Никогда такого не видывал!.. Может, на фронте не раз грезилась ему эта Канайка...

В тот же день и попрощались они с нами. Сели на лошадей. Колька сказал: спасибо тебе, Андрюха, за Алтай! Склонился с коня, обнял меня и зарыдал. Целует меня и всхлипывает. Не выдержало и Серегино желаевское сердце. Тоже обнял меня. И тоже заплакал. Так, в слезах и уехали они. Навсегда уехали. Вот здесь они прощались со мной.

Сколько лет уж прошло, а горло все так же горячо и удушно сжимают спазмы...

— Потом что?

— Потом?.. Потом всех мужиков на фронт взяли. Остался я один на трех пасеках.

— Совсем, совсем один?

— Совсем... На всю зиму. До мая сорок второго.

— А чем питался?

— Сначала сухари ел. Затем лепешки пек. Мука-то была.

— Где мясо брал?

— В лесу. Стрелял рябчиков, косачей. В январе тетерева на пашни откочевали...

— И что?

— Белок ел.

— Белок?!— изумился сын и брезгливо сморщился.

— Отварю в чугунке. На ухват положу и поджарю на угольках. По две, по три тушки съедал. Пихтой припахивали. Привык.

— Скучно и боязно, небось, было? Поди, книжки читал?

— Не до них было. Работенки хватало. Снега вали-

ли в ту зиму — жуть. Только знай огребай крыши. Погода изменится — отдушины в омшаниках надо менять. Челноком сновал с пасеки на пасеку. Под оплывину попадал. Неглубоко завалило. Выскребся...

Нашу беседу прервал пастух.

— Нетелей не видели?

— Нет.

— А где пасечник — не скажете?— спросил я.

— В Зыряновск уехал. За лицензией на медведя... Пять ульев, варначина, укокошил. А этой ночью не пакостил?

— Вроде нет...

— Ну, седни ждите. В полночь пришаражится. Обязательно. Ружье-то есть?

— Да нет.

— Ну, тогда паевкой его!— рассмеялся пастух и поскакал на лошади прочь.

Не спали всю ночь. Часто выходили к ульям. Били обухом топора в заслонку, в пустую железную бочку. Кричали.

Где-то часа в два малость вздремнули, сидя у печки на топчане.

— Жердь треснула!— всполошился сын.— Точно — жердь...

Я схватил топор и заслонку, сунул Игорю спички и специально свернутую трубкой газету.

— Беги за мной,— приказал я.— Как только проскочим первые улья, поджигай газету. И не мешкай. Тут дело такое...

Перебежали в овражке маленький ручей, затрусили по дорожке к омшанику и начальному ряду пчелиных «небоскребов».

— Давай!— сердито шепнул сыну, так как дальше первых ульев ничего не видел: небо застили плотные перистые облака, и в них начисто затерялась тонкая серебристая скобка ущербной луны.— Поджигай, тебе говорю!— совсем уже яростно зашипел я и остановился.— Что там у тебя?

— Да вот... С-с-сейчас.

Выхватил из трясущихся рук Игоря коробок, чиркнул спичкой. Разорванная у края на клочки газета разом занялась огнем.

— Свети!— я выпрямился и тотчас же увидел в ярком свете темного лохматого зверя.

Он, вероятно, только что столкнул с кольев длинный

составной улей и приспосабливался взять в беремя один из разъединенных корпусов, хватал его лапами, принюхивался к рамам: много ли меду, не прогадать бы. Трепетные блики огня встревожили его, он, фыркнув, резко обернулся к нам, алыми угольками полыхнули его глаза, и мне показалось, что на звере вздыбилась шерсть. Может быть, только показалось...

Я прыгнул несколько шагов вперед и со всей мочи ударил обухом топора по звонкой заслонке. Медведь взъярился. Рявкнув, встал на дыбы и тут же исчез в темноте. Игорь, видать, выронил с перепугу факел.

— Что с огнем?! Где газета?!— орал я уже не столько для сына, сколько для того, чтобы устрашить зверя, и очумело лупил по заслонке.— Давай ого-о-онь!!!— и эхо проломило затем горы и загромыхало, загудело где-то в их каменной утробе.

Наконец пыхнул свет. Косолапый разбойник был уж за пряслом, на горе. Крупными прыжками уходил он к скалам.

— Живой?— обернулся я к сыну.

— Д-да ж-живой... Н-ну и з-зверина! З-здорово м-мы его. Чешет б-без оглядки.

— Здорово, здорово. Ты лучше штаны пощупай.

— Что — штаны?— не понял Игорь.

— Ладно. Пошли в избушку. Теперь можно спать. Больше не пожалует. Во всяком случае — сегодня.

— Пап, а почему он не бросился на нас? Я боялся. Честно.

— Мишка редко нападает на людей. Он свирепеет лишь тогда, когда его в берлоге шурнут. Кости переломает. Берлога — его вотчина. Неприкосновенная.

— Как у людей.

— Что ж, и у людей бывают порой берлоги-вотчины.

— Неприкосновенные,— уточнил сын, и в голосе его послышался подвох.

— Ну и неприкосновенные.

— Как у директора бывшего твоего института. Потревожил его берлогу, а он тебе и бока намял.

— А ты злой, Игорь.

Сын ничего не ответил. Молча зашли мы в избушку. Молча разделись и легли на койки.

— Ты извини, пап,— проговорил он наконец.— Но ведь я тоже об этом думаю.

— Ладно, ладно. Я не обижаюсь. Ты в чем-то, конечно, прав. Спи.

— Сплю, сплю!

Он и в самом деле скоро уснул. Тревоги и сомненья подростка, какими бы они ни были, чаще всего мимолетны. А я еще долго ворочался с боку на бок: снова одолели раздумья о житье-бытье. Снова прокручивались те же проблемы. Только уже с другой стороны.

Да, Игорь в чем-то прав, думал я. Но лишь в чем-то. Один мудрец сказал: человек всегда будет рабом какой-то конкретной системы. Да, да, примерно так он сказал. Тысячу раз нет и нет! Да, он и при коммунизме будет рабом. Но только рабом своей совести. А это уже не рабство. Это свобода. Удивительный парадокс. И рабство и свобода. И вот что любопытно: в этих парадоксах и есть истина. В парадоксах-противоречиях. Да, диалектические парадоксы — вечные истины.

Я подумал: вечные истины, и передо мной тотчас же возникла картина тургусунского переката с мокрыми, сверкающими от брызг каменными глыбами-чудищами, застывшими в своем вечном немом покое. Летит мимо гранитных валунов нескончаемый белый поток воды. Летит и улетает куда-то..., как сама жизнь. Река мелеет в жару, беснуется весной от мутных вешних ручьев. Каждую секунду она иная. А глыбы, будто изваянная вечность, немы и недвижны, и всегда одни и те же. Они немы, но в них есть какие-то свои неразгаданные тайны бытия. Они как бы говорят нам: все меняется в самодвижении и саморазвитии, все исчезает и вновь возникает в ином качестве, а смысл жизни, главный ее закон — неизменны. Смысл жизни во вселенском ее масштабе. И смысл маленькой, человеческой жизни.

Стой, стой,— сказал я сам себе и сел на койке, свесив к полу босые ноги. Разрешение противоречий через парадоксы, то есть само развитие через парадоксы — это и есть, наверное, коронная истина бытия. Соль его. Так если ж открыть через эти парадоксы общечеловеческую истину, то можно открыть и свою маленькую, но тоже главную для себя истину.

Я встал и прошелся по неровным доскам пола. Сын крепко спал. Его длинные раздумья впереди.

Итак, все нужно прощупать — звено за звеном.

Вот одно звено: частный капитал. Он мне сразу представился в образе безумного Сэма с ястребиным носом. Чокнутый американский дядя подвешивал к земному шару связку ядерных бомб. Подвесил, потер руки и, злорадно улыбнувшись, поджег бикфордов шнур. С радост-

ным восторгом посмотрел на бегущий огонек смерти и нырнул в бункер. В бункер, то есть в тот же шар земной. Идиот!

Да, этот спятивший от своей берлоги-вотчины дядя взорвет, не моргнув глазом, и Землю, и себя. Как пить дать — взорвет. Это безумие от роскоши, от ожирения, от эгоизма. Уродливая крайность собственников-скопидомов, сбесившихся миллиардеров.

А вот и другая крайность — полпотовский «казарменный коммунизм». Никакой собственности! Казармы и руки человека-робота. Но живых роботов много. Лишних подводят к черным зевам глубоких ям. Щелкают выстрелы. Бесстрастно курятся стволы винтовок и автоматов. Иных лишних убивают лопатами, тяпками, палками... Жалко патроны. Омерзительная пародия на социализм, рожденная разнузданным деспотизмом властолюбивых полпотовских бандитов.

Так где же истина? Ни в безумном собственнике, ни в человеках-роботах нет истины. И то и другое ведет людей к катастрофе. Истина лежит где-то между двух крайних противоположностей, как между черных космических дыр...

Нет, нужна не та конечная истина, к которой мы идем. Не коммунизм. Он бесспорен и ясен. Нужна истина сегодняшнего дня. Мы говорим: и личный интерес, и коммунистическая сознательность. Но тут есть маленькая загвоздка. Личный интерес, частная инициатива ох уж как падки на высокомерие, зазнайство и всеядный вещизм. Что ж нам делать? Как нам поощрить и укротить частный интерес? Как разрешить этот парадокс? Как соединить личный и общественный интерес?

Я вышел в сени, нащупал рукой кружку, зачерпнул из бака воды и выпил ее без продыха, благодатно-прохладную, освежающую тело и душу. Звякнул щеколдой, тягуче скрипнула тяжелая, неподатливая наружная дверь. Устало опустился на ступеньку, потер грудь. За темной стеной березняка будоражно шумел Тургусун, от которого так и веяло бодрящим холодком и грозовым озоном. А восточная кромка неба уже слегка омылась просинью акварели: зарилось.

Любопытен этот диалектический парадокс. Чем-то напоминает он артиллерийскую стрельбу. Первый снаряд, к примеру, перелет. Другой — недолет. Третий попадает в вилку, то есть накрывает цель. В вилку, между двух крайностей. И закономерность эта пронизывает

все. От нее не уйдешь. От нее не увильнешь. Как не увильнешь от болевых вопросов века.

Но ведь я совсем не об этом подумал, когда выходил из избушки. На чем же я остановился-то? А, на личном интересе. Так и здесь надо бить в вилку, между пристрельных двух снарядов. Вот именно: в самую сердцевинную точку. Между черных дыр. Значит, личная инициатива и при развитом социализме нужна? Нужна. Но, видно, только с таким жестким условием, чтобы не перерастала она в вотчину-берлогу. Ни у кого. Так, так. Разгадка вроде бы близка. Долой вотчины-берлоги! Да ведь я уже об этом думал. В бригадном подряде нет ни вотчин, ни уравниловки. Это и есть вилка — разрешение противоречия. Не придется теперь Петру Зубилову размахивать кулаком, пробивая путь к своим новшествам. Напряжение недоверия начисто снято. Общая выгода победит в коллективе эгоизм каждого. Вот тут-то, как в чистом поле, и брызнут всходы новых качеств человека. И скажем мы тогда нашим недругам: вот она, наша коммунистическая реальность! Черт возьми, а здесь что-то есть. В самом деле, есть в этом какая-то ясность. И надежда. Но ясность пока — в низшем трудовом звене. А как быть с моим, теперь уж для меня бывшим директором? Ведь он же чхает на все на свете. Но попробуй тронь его вотчину!.. А сколько по стране таких институтов, таких контор! Пускают по ветру десятки миллионов рублей — и хоть бы что.

Так что же надо сделать, чтобы все конторы закрутились на полную мощь?

Как оградить честных людей от бюрократов и чинуш? Как заглушить очаги возникновения негативных цепных реакций? Как? Опять подряд? А что — идея подряда может охватить, этаж за этажом, все сферы нашей жизни. Вотчин-то вот и не станет...

Нет, не зря я погладил против шерсти Давлеева. Не зря. Пусть еще пять работ потеряю. Пусть. А гладить против шерсти необходимо. Иначе — застой. Иначе замрет слом старых основ...

Вот и покопошился я, мама, в своей душе. Покопошился. Знаю, много ошибок делаю в жизни. Много. Но хочу-то я хорошего... Ведь все нашенское, советское у меня от него, от отца, от его светлой партизанской веры в коммунизм.

Рано утром я разжег дымарь. Надели сетки и пошли к поверженному улью. Роса, еще не обданная солнцем,

голубела на траве точно иней. Шагали по кошенине, между ульев, и за нами оставался зеленый-зеленый след.

Медведь успел надломить только одну, выпавшую из корпуса рамку, толстую, сплошь закрытую хрупкой белой восковой коркой. Из проломов сот жидким янтарем стекал на траву первородный горный мед, пахучий, как тысяча букетов полевых цветов. Пчелы гнездились на рамках темными кучками, тревожно шумели, но почти не двигались.

— Обдай дымом тот и другой корпус. Побольше, побольше. Не бойся, не задохнутся. А теперь поставь дымарь. Берись за корпус с той стороны. Вот так. Поднимай, будем ставить на днище.

Удивительно: ни одна рама нижнего корпуса даже не помялась. Водрузили на место и другой корпус. Прилепил обломанные сотины к покореженной раме, выправил ее и вставил в улей.

— Давай возьмем одну сотинку,— звучно глотнул слюну Игорь.— Одну. В избушке-то меда нет... Так хочется!

— Да, не оставил пасечник,— вздохнул и я с сожалением.— Забыл. А вот отец у нас никогда не забывал... Уйдет в деревню — обязательно оставит полное корытце меда. Под навес унесет кружку и лагун с медовухой.

— Ну вот... А тут никто и ничего не оставил. Давай одну? Одну сотиночку? А? Ма-аленькую.

— Нельзя. Вернется пасечник — угостит.

— А если не вернется?

— Что ж, обойдемся и без меда. В Кутихе купим.

— Да кто узнает? Медведь-то попортил же рамину! Мог и съесть...

— Не съел.

— Ну ты даешь!..

— Знаешь, Игорь, не хочется мне хвалиться своим отцом. Да придется,— я аккуратно уложил на верхний корпус потолочины узкие дощечки, густо облепленные по краям тягучим темно-зеленым прополисом, набросил на улей крышку и, отряхнув руки, снял сетку.— Идем к избушке. Сварим уху из последней рыбы. Там за ухой и закончим разговор о меде.

Не стали есть в ибушке, за столом. Ушли от духоты к мягко пожуркивающему роднику, постелили плащи на заросшую низкой муравой и подорожником поляну, налили в свои походные чашки ухи, присыпали ее перцем, мелко нарезанным зеленым луком и приступи-

ли, наверное, к последнему своему завтраку на природе. Сын не терпел горячее, то и дело дул в пластмассовую чашку, зачерпывал неполную ложку и потихоньку, осторожно швыркал подернутую жировыми пятнами уху.

— Так что ты мне хотел сказать о меде?— Игорь обжегся, крякнул и отложил деревянную ложку.— Я сначала харюзов поем, а потом ухи попью. Прямо кружкой. Можно?

— Валяй. Нажимай на харюзов.

— Так что там о меде, отец?

— Да это собственно не о меде. О моем отце. Ну и о меде... Твой дед был партизаном. Ты это знаешь...

— Знаю...

— Так вот... Он так всю жизнь и оставался в душе красным партизаном. Первым в колхоз вступил. Кутихинские мужики жили тогда справно. Трудно было сшевелить... За отцом в колхоз записался Илья Сорокин. Тоже бывший партизан. Ну, и пошло дело...

— Ты давай ближе к меду.

— Не торопись. Дойдем и до меда. С тех пор до самой войны отец и работал пчеловодом. Кроме колхозной пасеки, ничего не имел. Даже лошади ему колхоз не давал. Иногда пастухи продукты подбрасывали нам. А чаще мы сами на своем горбу все носили. И муку, и соль... Пехом. Чертовой тропой. Думаешь, он роптал? Коня просил? Нет. И насчет меда строг был. Мать както налила две бутылки. Хотела домой унести. Отобрал Вылил мед в бадью. В деревне, сказал, есть своих три улья, вот и пользуйся ими. Так и не дал.

— Чудак был он, оказывается, дед-то мой.

— Не чудак. Честный. В большом и малом. Честь-то, говорил он мне, с крох начинается. Оно так и есть. С крох. С маленького куска меда.

— С того самого?— вздохнул сын.

— С того самого... Вот я тебе рассказывал, как тут зиму жил в войну. Ты, думаешь, не хотелось мне в Кутиху, к матери? Еще как хотелось! Хоть на часок, думал, вырваться бы. О войне что-то узнать... И мог бы вырваться... Мог бы. Но мог и буран ударить в тот же день, и отрезать меня от пасек. И почти пятьсот ульев погибли бы. От перепада температуры. Один раз совсем было собрался... И лыжи уже одел. Да вспомнил отца... Слезы так и посыпались из глаз. Понял: не уйду. Не брошу пасеки. До ночи проплакал...

— Не соблазнился, выходит, сотовым медом.
— Выходит. Подавил в себе эгоизм. Все пакости в жизни от него, от эгоизма.

Не вернулся пасечник и к полудню. Оставили записку и пошли.
Еще раз оглянулись посмотреть на те места, где отдыхали, на зеленый Развильский луг, заляпанный сахарными лепешками морковника, на темно-синие пихтачи Канайки и Кедровки. Горы выглядели лучезарно-ласковыми. Мне показалось, что они прощались с нами добрыми материнскими глазами.
— Пап, давай будем друзьями.
Сын взял меня за руку.
— Друзьями?
— Да. Просто друзьями. Давай?
— Что ж, давай.

РАССКАЗЫ, НОВЕЛЛЫ



НА КРАСНЫХ ТАКЫРАХ

— Здорово, Иван!— коренастый, с русыми усиками егерь Жогов шагнул к Жилину.

— Здравствуй,— крепкий на руку, ладно скроенный Жилин согнулся над приземистым другом, который до боли сжимал его задубелые пальцы.— Что такой хмурый?

— Завтра суд.

— Так с тебя же все обвинения сняли.

— Второй раз будут судить. Нашлись новые свидетели. Все из числа браконьеров.

— Ну и фокусы!

— Зайдем в кафе. Расскажу.

Они взяли по кружке пива, сели за столик. Жогов с полчаса изливал свою печаль.

— Приходи завтра,— попросил он,— послушаешь. Все свидетели будут уличать меня во взятках.

— У лжи белые нитки.

— Как сказать. Приходи.

— Не могу. Через два часа уезжаю к сестре. Билет на поезд уже в кармане.

— Жаль. Ну, всего хорошего!

— И тебе удачи.

Они поднялись из-за стола. Жилин, поправляя стул, обернулся назад и встретился взглядом с Григорием Налимовым, шофером областной автобазы, самым изворотливым и безжалостным браконьером, давним своим недругом. Туго сбитый, скуластый, с широкой грудью, он так весь и дышал подчеркнутым самодовольством и незаурядной силой. Все его звали Косым. Нет, карие глаза у парня были нормальные. Только глядели они на людей как-то искоса и хитро. Налимов, нагло ухмыльнувшись, кивнул Жилину головой: привет, мол, разиня.

Иван Жилин ехал на вокзал в каком-то непонятном

для себя смятении. Разговор с Жоговым, встреча с Косым расстроили и встревожили его. К горлу комом подступала горечь обиды и тоска. Почему ему обидно? И откуда эта тоска? Вот она здесь. Давит и давит грудь, как тяжелая каменная плита.

Обидно, может быть, потому, что он никак не может поймать на месте преступления Налимова. Везет ему, что ли? Или уж, действительно, дьявольски ловок?

А вот истоки тоски-кручины понять трудно. Почти тридцать лет работает он егерем. Против совести никогда не шел. Не щадил никого, перед высоким должностным лицом шапку не снимал. Все губители природы были для него равны в своей жестокости. Не раз и ему ставили подножки пойманные и оштрафованные хапуги, но он мужественно переносил удары судьбы, противопоставляя подлости единственное свое оружие — правдивость и терпение. К недоброжелательным взглядам привык. И ведь вот что странно: бьются егери, не щадя собственной жизни,— и все для самих же людей, а они, эти хамовитые охотнички, платят им лютой ненавистью, глядят на любого инспектора, как на заклятого врага.

— А не бросить ли все к ядреной бабушке?— оставшись один на сиденье автобуса, проговорил Жилин.— Сколько ж можно мыкаться?.. Что я заимел за эти годы? Одни раны от картечин... Уйду. Навещу сестру, поставлю ей сарай, а потом возьму отпуск и подыщу работенку.

На перроне вокзала уже ждали поезда. Жилин встал в сторонке, закурил. Какой-то малый с округлым лицом уставился на него. Затем в развалочку подошел к нему, попросил сигарету. Усмехнувшись, поблагодарил.

В памяти сразу же всплыло кафе, столик и широкое, скуластое лицо Косого. Слыхал он их разговор с Жоговым или нет? Наверняка, слыхал. Говорили они громко. И незаметно подсел сзади тоже, видно, не случайно. Знает теперь, куда и когда едет егерь, и не замедлит воспользоваться подходящим моментом. Раз, мол, билет в кармане — не передумает. И отправится на промысел Налимов не послезавтра, в субботу, а в пятницу: так, в рабочий день, решит он, вернее, надежнее. А отгул Косому дадут. Он все может.

Показались зеленые коробки скорого поезда. Цветная масса пассажиров начала растекаться по перрону. Жилин, раздумывая, плотно сжал губы. У обветренных скул упруго перекатывались желваки. Посмотрев на ча-

сы, он бросил в урну недокуренную сигарету, круто развернулся и пошел к вокзальной кассе, чтобы взять другой билет, до Чиликама — в противоположную сторону, на юг. Поездку к сестре Иван отложил.

Тревожная, горькая тоска приглохла. Она не исчезла начисто, а как бы отошла на покой, и ничто теперь не сковывало душевные силы Жилина. Все напряглось и возбудилось в нем в порыве какой-то одной злой решимости.

В степь охотинспектор выехал ночью. Ясные, по-осеннему спелые звезды глядели на землю с холодным равнодушием. «Небушко промытое — к перемене погоды»,— отметил Иван.

Он вел свой потрепанный ГАЗ-51 очень осторожно, не доверяя слабому свету фар. На любой рытвинке машина сильно подпрыгивала, гремела. Так бегает старая костистая лошаденка: трусит, высоко скачет, а скорости нет.

Вскоре на востоке заиграли отблески рассвета. Неведомый художник накладывал на них мазки теплой акварели, сперва нежно-розовые, прозрачные, а потом алые, багряно-малиновые, и до того крутые, сочные, словно середка перезревшего арбуза.

Стало свтло, а заря все не унималась. Пожарно млело в ее сполохах и красноватое полотно такыра. Вверху — зарево, внизу — раскаленная плита степи. Казалось, машина двигалась в зев какого-то адского пекла...

Пошарпанный «драндулет» держал курс к Солотюбинским такырам, голой земле, туда, где почти всегда промышляет Косой.

В кузове сидел молодой инспектор Оспанов. Сверху степь просматривается лучше, и егерь не отрывался от бинокля.

Ехали утомительно долго. Вылили в баки запасное горючее. Солнце клонилось к вечеру. Глаза сонно слипались. Иван включил самодельный радиоприемник, поерзал бегунком по волнам — ни песен, ни музыки. Один треск. Лишь у края шкалы эфир отозвался. Бодрый голос диктора вел репортаж о полете сверхзвукового лайнера. Жилин резко щелкнул выключателем.

Вдруг по крыше кабины забарабанил кулак Оспанова:

— Антилопы и два самосвала. Вот там, у скважины.

Жилин взял у Совета бинокль. Да, метров 800 от скважины, окольцованной желтым тростником, два го-

лубых ЗИЛа зажали в кучу большое стадо сайгаков. Над машинами поднимался голубой дымок, слышались частые выстрелы. Животных били, видимо, из автоматического оружия.

— Гони!— крикнул Оспанов.— Застанем врасплох.

«Газик» надсадно взвыл старым мотором, чихнул и покатился по твердому, кирпичного цвета грунту. Неожиданно Иван крутнул баранку влево. Потерявший равновесие Оспанов чертыхнулся. Машина ткнулась в кружевной закраек высокого охристого бархана.

— Ты что — ошалел, ядрена палка!— возмущался Совет, потирая зашибленный локоть.— Знакомых увидал? Передумал ловить?

Жилин до хруста в суставах сжимал баранку, сомкнув густые брови у переносья. Молчал.

— Да что с тобой, Иван?!

— Нельзя счас ехать: заметят — сбегут. Ты в такой передряге впервой, а я здесь не один бой принял. Переждем за барханом. Сложат обработанную сайгу — подъедут к воде обмыться. Тут и накроем их. Понял?

Охотинспекторы поднялись на сыпучий ребристый угор. Пальба прекратилась. Уцелевшие антилопы разбежались по степи. Около двухсот животных остались лежать у самосвалов. Они походили на светлые копешки сена. Браконьеры торопливо отрезали головы сайгакам...

— У, сволочи!— Совет сплюнул на песок, закрыл глаза руками.

Как и предполагал опытный егерь, степные разбойники, управившись с делами, подъехали к скважине. Егерская машина, вынырнув из-за бархана, понеслась к нагруженным сайгой голубым ЗИЛам.

Приблизиться скрытно до самого водопоя не удалось. Когда осталось до него несколько сот метров, преступники заметили охотинспекторов и метнулись в кабины.

Началась погоня. Новенькие ЗИЛы шли ровно и уверенно, оставляя за собой легкие шлейфы ярко-красной пыли. Иван выжимал из своего гремучего «тарантаса» все, что мог, скрипел зубами. Ему казалось, что сверкающие небесной бирюзой самосвалы самодовольно смеются, торжествуют, загодя уверенные в своей победе.

Они мчались вдоль канала, прямо на север. Жилин держался чуть левее. Через канал самосвалы не перепрыгнут, а если свернут в сторону Кзыл-Орды, на за-

пад,— можно броситься наперерез. Егерь хорошо знал эти гладкие Солотюбинские такыры. Именно здесь он не раз настигал беглецов. Через пять-шесть километров пойдут промоины и кочки. Вот там-то самосвалы и погасят скорость.

Жилин всегда жалел свою машину, но сегодня не щадил ее. Расстояние между «газиком» и ЗИЛами сокращалось.

— Давай, давай!— перегнувшись через борт, бешено, с хрипотцой прокричал Совет.— Ишо мал-мало — и они наши.

На первом небольшом кочкарнике из самосвалов вылетело несколько сайгачьих туш. Из кабины левого ЗИЛа высунулся человек. Вроде бы он, Косой. Браконьер что-то крикнул шоферу второго ЗИЛа и махнул рукой в сторону областного центра.

Левый самосвал притушил скорость, развернулся и пошел прямо на ГАЗ-51. Шел в лоб. Да, по всему видно,— это Гришка Налимов. Почерк его.

— Идет, гад, на таран!— процедил сквозь зубы Иван.— Уверен, что сверну я и уйду далеко в сторону.

Баранка застыла в руках егеря. ЗИЛ приближался. В груди Жилина поднялась какая-то жаркая и в то же время ознобная волна. Пробежала по жилам и свернулась где-то у сердца в ноющий комок. В том коме, как в шаровой молнии, закипала страшная сила. Вся боль, вся неосознанная тоска, весь гнев и вся ненависть к безжалостным хапугам клокотали в этом сгустке энергии.

— Не сверну!— крикнул сам себе егерь.

Это было безрассудно. Но иначе он не мог поступить.

Не выдержал психологической дуэли Косой. Шофер ЗИЛа свернул в сторону и нажал на тормоза. Машины замерли. Григорий высунул из кабины длинный ствол десятизарядного ружья. Прищурил левый глаз, косо поглядел на Жилина, который открывал дверцу.

— Не подходи!— зло крикнул он.— Продырявлю! Я на все пойду,— и хлопнул шофера по плечу:— Гони!

— Я буду стрелять по баллонам,— подал голос Совет.— Не уйдет!

— Пока нельзя. Потерпи.

Налимов выиграл время. Передний ЗИЛ, миновав кочкарник, уходил в сторону города. За ним, огибая промоины слева, ходко устремился и второй самосвал.

Минуя последнюю колдобину, задний ЗИЛ увяз в песчаных свеях, забуксовал.

— Жми, Иван!— обрадовался Оспанов.— Счас мы его заарканим.

В голубом кузове самосвала, за нашитой желтой доской, появился Косой. Гришка опустил шапку до бровей. Не целясь, выстрелил в ГАЗ-51 подряд три раза. Жилин открыл дверцу и крикнул Оспанову:

— Ложись за кабину! Убьет.

ЗИЛ вырвался из песка. ГАЗ-51 развернулся у рытвины бортом к самосвалу. Прогремели еще два выстрела. Косой бил по баллонам. Но промахнулся.

Новый самосвал быстро оторвался от егерской «старушки» и вскоре вышел на твердую дорогу. Переднего ЗИЛа уже не было видно. С каждой минутой удалялся и второй. Золотой ком закатного солнца тонул в малиново-алых облаках. Гладкий асфальт, отражая зарю, точно струился розовой речкой, и по этому тревожному огненному «потоку», шипя колесами, скользили машины.

У древнего «газика» закипела вода в радиаторе. Жилин подлил холодной воды.

— Ушли,— укоризненно ворчал Совет.— Надо было стрелять.

— Выстрел охотинспектора — козырь в руки браконьера,— запаленным голосом ответил Иван.— Номера у их машин замазаны грязью. В центр не поедут. Укроются где-то на окраине города. Будем прочесывать улочки.

Егери наткнулись на самосвал Косого в узком проулке. Голубой ЗИЛ стоял у нового коттеджа. Браконьеры меняли одежду. Жилин поставил свою машину поперек дороги. Проулок заканчивался тупиком. Охотнички попали в ловушку. Егери кинулись к дому.

Браконьеры, оставив одежду, бросились в кабину. Самосвал, точно танк, двинулся на огороды. Хрустнул штакетник, ЗИЛ преодолел каменный фундамент, смял еще одну изгородь и ушел.

Два милиционера, следователь, главный охотинспектор осмотрели окровавленные вещи браконьеров. Взяли их с собой.

— Чем закончился суд?— спросил у главного охотинспектора Жилин.

— Пока ничем. Дело запуталось. Жогов под стражей.

— Н-да,— грустно протянул Иван.— Вот таки-то наши делишки, Совет.

Дома, в Чиликаме, егерь осмотрел свой «драндулет». Кузов, как мишень, зиял желтыми пробоинами. Картечь прошила доски насквозь. Иван почувствовал, как снова тяжелой плитой наваливается на него тоска.

Сердце полоснула боль. Егерь, схватившись за грудь, сел на нижнюю ступеньку крыльца, запрокинул к небу замутненные болью пепельно-голубые глаза и не двигался в таком положении долго. Затем потер кончиками заскорузлых пальцев виски и резко выпрямился, хрустнув суставами в коленях. Подошел к рукомойнику и поставил под тонкую струю студеной воды голову.

Через несколько минут в его руках играл острый походный топорик. Егерь вытесал колышки и заделал ими пробитые картечью отверстия в кузове. Сровнял срезы колышков стамеской, покрасил желтые точки зеленой краской и с угрюмой решительностью проговорил:

— Можно снова в степь!

БЕРЕСТЯНОЙ ТУЕС

Силы мои таяли, как снег в костре. Вымотали меня вконец старые, перекошенные охотничьи лыжи. Конская шкурка на них — камуса — обтрепалась, и я не скользил по лыжне, а брел, словно в кандалах.

До города предстояло топать еще километров двадцать, а день уже гас. Солнце нырнуло за темный ежик горы. Мне почудилось, что оно показало на прощание язык. Так, мол, тебе, упрямцу, и надо. До встречи Нового года три дня, а ты бросился тайгу шагами мерить.

За черным росплеском пихтача показалась пасека деда Мамая. Я обрадовался: поправлю лыжи — и в путь при луне!

С пасечником я не был знаком. О старом бобыле ходили разноречивые слухи. Одни его считали добряком, другие, наоборот,— угрюмым отшельником.

И вот оно — жилище Берендея, сплошь заваленное, как медвежья берлога, снегами. У омшаника виднелась лишь норка на чердак. Избушка угадывалась по сизой дымовой свече да по оконцу, которое синим зрачком глядело из-под седой брови сугроба. Полупрозрачный

дым валил и от бугра, что взбух у самой промоины речки. Там, видно, дотапливалась баня.

— Эй, есть кто-нибудь живой?— Я скатился в узкую траншею дорожки.

Через минуту скрипнула дверь. Снежный туннель дохнул белесыми клубами. Сперва выплыла из них бородатая простоволосая голова, потом — широкая грудь пчеловода. Старик выбредал из прядей пара, точно из пенных волн. Один глаз его щурился, отчего левая щека казалась веселой, приветливой, а другой глаз, распахнутый настежь, придавал правой стороне лица холодную суровость, диковатость.

— Вот, на дымок зашел,— растерянно промямлил я. Дед долго с удивлением глядел на меня, а затем неожиданно приветливым голосом прогремел, как старому знакомому:

— Здорово, братка! Сымай лыжошки-то!— он влажно заморгал глазами, засуетился, потеплел всем лицом.— Милости просим — в сени не бросим, за постой не спросим.

В избе все выглядело необычно. В прихожей черепахой возвышалась серая глинобитная печка. У окна — самодельный стол с массивными ногами, на стенах вместо вешалок — сучья, рога. В горенке — фотографии, портреты космонавтов, современный сервант, а рядом, меж двумя простенками,— толстенное бревно, покрытое шубами и ватниками.

— Откуда путь?

— От геологов. Автобус задержался, вот я и подался домой прямиком через горы.

— Во-она как! Рисково, братка, рисково.

— Да лыжи дрянь. Камуса задралась...

— Хе-хе — пустячок! У меня банька нажарена. Помоемся, а после я лыжошки распарю, обдеру да подобью — будто новы подарю.

Хозяин говорил и делал все так проворно и складно, будто песню пел.

— Пропусти-ка с устатку,— он сбросил с бревна шубу и открыл какую-то вогнутую деревянную заслонку. В нос ударил терпкий специфический запах.

— Вот это колода!

— До двадцати ведерок вмещает, милая.

Я остолбенел. Ну, думаю, такое озеро и до следующего Нового года не переплыть. Хозяин зачерпнул литровую кружку и подал мне.

— Медовуха?

— Не брезгуй: пользительная — почище женьшеня. На горном медке да на сорока лекарственных травах. По праздникам ко мне соседи наезжают. А нонче никого...

Старик сел на бочку-колодину, опустил голову. Расстроился.

Я глотнул травянушки. По жилам побежали мурашки. Затылок отозвался благостным звоном.

— Да ты угощайся, угощайся!

— Что-то... того,— я поставил кружку на подоконник.

Дедок недовольно заходил по избе, заломив руки за спину.

— Дак откуда, говоришь, идешь-то?— прищуренные глаза подозрительно прицелились в меня.

— Что вы так вдруг? Я же все рассказал...

— Сказать все можно. Показывай пачпорт.

Старик долго вертел в руках паспорт, раз десять сверял фотокарточку с моей личностью. Затем склонился над сундуком, окованным стальными пластинами, открыл крышку. Паспорт мигом полетел в ларь. Щелкнул ключ.

Э, дедок-то занятный! Кованый самодельный сейф не сулил ничего доброго. В голове зароились нехорошие догадки.

А бородач провел рукой по крышке сундука и вдруг успокоился, одарив меня кроткой и радостной улыбкой.

— Завтра при солнышке все и рассмотрю.

— Как — при солнышке?! Я в ночь идти хочу.

— Что так спешишь? Жинка дома ждет?— пасечник посмотрел на меня с опаской.

— Нет, не обзавелся еще.

Дедок аж присел от радости.

— Ух, и попаримся мы, братка! Да березовым-то веничком — будто сызнова родимся.

Я ожидал, что попаду в баню «по-черному», в дымную и угарную. Но нет, от каменки в стенку уходила труба. Когда пасечник плеснул ковшом на раскаленные камни, они не зашипели, а прямо-таки снарядами взорвались. После второго ковшика я свалился с полка.

— Брось-ка мне, сына, рукавички, шапку да поддай ишо черпака два.

Парился он неистово. Охал, ахал, выбегал из бани, падал в снег и снова лез на полок.

В избу дедок вернулся с морковным цветом лица, веселый.

— Закуси да ложись отдохни,— он поставил на стол соленые груздочки и берестяной туес.— У меня в приемнике, как на грех, батареи сели. Вовсе отстал от жизни... Что там нового?

Он клещами вытягивал из меня всевозможную информацию: о метелях в Европе, об американских президентах, о Райкине, о хоккее. Потом Лукич, так он представился мне, вернулся с высокой орбиты на таежный материк.

— Давай-ка подымем. С наступающим тебя!

После второго стакана Лукич стал для меня самым близким на свете человеком. В голове было светло, как в хрустальной воде, а оторваться от лавки я не мог: ноги отнялись.

— Это не с травянухи,— с усталости.— Старик взял меня на руки, точно младенца, и положил на печку.— Спи, а я шкуру с лыж сдеру да запарю их в бане.

Утром пчеловод доложил: старые лыжи при выпарке не сдюжили, лопнули.

— Не тужи,— успокоил меня дедок.— Два осиновых бруса — и я за день вытешу новые. А ты пока сходи к полынье, полови на бокоплава харюзков. Полюбуйся леском. На природе душа расцветает.

День занимался какой-то ярый, солнечный. Ночью выпала пороша, и крохотные чешуйки, как зеркальца, пыхали мириадами огней.

Я вытаскивал из темно-зеленого зева полыньи крупных синих хариусов. Они шлепались на лед, бились в снегу и разом обелялись.

А на сердце скребло. Лыж нет. Документы в сундуке. В городе ждут приятели... Вот ситуация.

Вся ситуация повторилась и 31 декабря. Пасечник занемог и прилег отдохнуть. А мне вновь пришлось взяться за удочку.

В окне показалась курчавая бледно-желтая борода старика. Проснулся.

Я зашел в горенку. Странно. Хозяин по-прежнему лежал на кровати и храпел, как мотоцикл.

Соскочил он часов в пять. Сразу оживился. Внес в избу усыпанную шишками пихтовую вершинку и вставил ее в крестовину.

— Ну, чем не праздник?— он с мольбой глянул на меня.

Я понял хитрость Лукича и махнул на все рукой. Была не была! Остаюсь в «плену».

Мы пригубляли «пользительную» травянуху, закусывали грибами и жареной рыбой, пели песни, смеялись. А на елке горели настоящие, восковые свечи!

Разговор плескался водопадом. Нашлись и общие знакомые. Я рассказал, как меня однажды не пустил переночевать пчеловод Окунев.

— Это какой Окунев? Заика, с козлиной бородой?

— Заика.

— У, злой, скандальный мужичишка! А заикаться он стал с перепугу. Поди, слыхал байку об том, как один чудак с медведем спал?

— Слыхал.

— От него, от Окунева пошло... Как-то выгнала жинка из дому его. Да хмельного. В омшанике, у самой пивной бадейки топчан стоял. С тулупом. Впотьмах нашарил Окунев шерсть да и хлопнулся спать. Утром кто-то тревожить его начал. Он думал — жинка. Да в сердцах и ломонул медведя. Зверь-то ночью тоже налакался зелья. Очнулся, рявкнул и швырнул рыжего в угол. Стрельнул в него с переполоху сивушной жидкостью и — в дверь!

Одна побасенка сменялась другой. Дедок разошелся. И даже «барыню» сплясал на бревне.

А утром, уже в новом году, он подал мне новые камусные лыжи.

— Свои, запасные,— Лукич виновато улыбался.— Прости, что слукавил, сразу не дал. Больно тоскливо было одному праздник справлять. Возьми и это для дружков. Заместо шампанского,— он подал мне туесок с медовухой и толстую, покрытую белой восковой коркой медовую раму.

— Добрый вы человек!

— Э, что там! Свои люди. Ну бывай, братка!

Лыжи ходко заскользили по мягкому снегу. Я ни о чем не жалел. Это была у меня самая чудная, самая экзотическая встреча Нового года, сдобренная свежей ушицей, банным парком, овеянная звездным блеском снегов, хвойным духом леса.

ПОСМОТРЕТЬ БЫ НА ГОРЫ С ВЫСОТЫ...

Воскресным днем из горной деревеньки Кутихи выехал моторизованный отряд, состоящий из полутора десятка мотоциклов самых различных марок. Накануне вечером пробрызнул дождик, и дорога не пылила. Отряд шел плотной цепочкой.

У Погорельского моста ведущий колонну Сидор Хохотушкин, белобрысый, как снег, малый остановил свой ходкий «ИЖ».

— Слазь, братва! У кого радиатор перегрелся — в речку.

Механизаторы спешились и рассыпались по берегу Погорелки, небольшой речушки, тихо пожуркивающей в синеватых камнях.

— Дак как, братва, трепанулся Чемолин, али нет?— спросил мотоциклистов все тот же ослепительный блондин Сидор.— От его все можно ожидать. Чудик. Расфорсился, разгордился, мой мотоцикл — лучше вездехода, а сам, ядрена моталка, сдрейфил. Нету его.

— Не может того быть, штобы Иван Чемолин слова свово не сдержал,— возразил кто-то.— Не такой он человек. С лесоучастка ж дальний путь. Прискачет.

— Так где же он?

— Не, Иван никогда здря не гоношится. Раз вдарили по рукам — приедет. Как пить дать. Вот-вот пожалует. Состязания состоятся.

— Чо ж, посмотрим. Посмотрим, кто первым в Парыгинском болоте увязнет.

Посидели. Покурили. Почесали языки.

— Кажись, движется.

За кустами раздалось рычание мотора какой-то странной машины. Не шум, не треск, а именно рычание. Лесорубы, сельские механизаторы, прикрыв ладонями глаза от утреннего солнца, устремили взгляд на дорогу. Лица их тотчас посветлели от улыбок.

— Иван Чемолин копотит.

К мосту подкатил довольно необычной конструкции мотоцикл, высокий и длинный, трехосный, с большой, похожей на лодку, люлькой. На нем восседал полноватый с округлым розовощеким лицом мужчина, на вид лет пятидесяти — не больше. Он лихо притормозил свою оригинальную махину у самой обочины.

— Но, здоровы были, землячки!— лицо Чемолина

сияло.— Готовы к сражению? А может, передумали тягаться с моей милушкой?— и он с нарочитой картинностью смахнул какие-то соринки с еще не очень запыленного бензобака.— Честно говорю вам: токо позору хлебнете.

— Ну, замолола чемолинская мельница!— в тон ему, с таким же артистизмом сыпанул свою скороговорку Сидор Хохотушкин.— Не петушись, Ваня, раньше времени, не хвались до драки. Ишо сам в лужу торнешься пухлым местом.

Слова Сидора поддержала вызывающе-задористым хохотом вся его моторизованная дружина.

— Как на крылышках долечу,— ни капельки не задевали насмешки Чемолина.

— Токо у болота притормози,—Сидор предупредительно поднял ладонь правой руки.— А то врюхаешься в грязь — и конец твоей дымливой тарантайке.

— Куды оси, куды колеса...

— А куда Чемолин...

И опять взрыв веселого, задористого хохота.

Невозмутимый владелец самодельного мотоцикла спокойно улыбался. И когда смолкли горластые мужички, добродушно молвил:

— Но, земели, отвели душеньку — и будет. Теперь каждый должен себя в деле показать. Как на фронте. В болоте острый язычок не поможет. По машинам.

— Ну, Иван! Ишо и командует... Дак что уж — поехали.

Отряд мотоциклистов растянулся метров на триста, направляясь к грязному, заболоченному ручью близ села Парыгино. Чья машина беспрепятственно преодолеет все топкие колдобины и ямы, та и будет признана лучшей. В этом и состояла соль затеянного состязания.

Бульдозерист леспромхоза Иван Чемолин вечно что-то изобретал, что-то мастерил, чем-то увлекался до самозабвения. Уж такая у него натура: не мог сидеть без выдумок.

Друзья его, тоже, как и он, семейные, рубили себе пятистенные дома под железной крышей, покупали дорогую мебель, ковры, а он всю как есть зарплату ухлопывал на приобретение различных гаек, шестеренок и моторов.

Вот и в этот свой дивный мотоцикл вложил все свои годовые сбережения. Конструировал его месяца три, а потом всю осень и зиму, придя с работы, стучал мо-

лотком, ширкал напильником. Пропадал ночами в слесарной мастерской. Полочки кладовки его опустели начисто. Все запасные части «слопала», как сам он говорил, затейливая новинка.

К маю мастер-чародей одолел свою задумку. Да не рассчитал малость: обычный мотор не справился с его внушительным созданием, не потянул. Тогда Иван спарил два двигателя от мотоцикла «ИЖ-56» — и дело пошло на лад. Машина брала с места разом, точно горячий застоявшийся конь.

Ликованию конструктора-самоучки не было предела. В приподнятом духе он и ляпнул однажды дружкам:

— Никакая грязюка, никакие болота мне не страшны. Везде мой зверушка пройдет.

— Ну, д-даешь, Иван! На первом косогоре завалишься.

— Ни на каком косогоре я не завалюсь, милый Сидорушка. Даже болото, что у Парыгино, запросто перемахну. Это уж точно, земеля.

— Парыгинскую трясомелину? Ни в жись.

— И ни раз не буксану.

Заспорили, ударили по рукам. Сидор Хохотушкин собрал самых лихих мотоциклистов, и в назначенный день и час все они выехали к месту испытания машин на проходимость. Каждый втайне надеялся проучить заносчивого изобретателя, остудить его пыл в грязевой ванне топкого ручья. И не ведали они того, что сам-то Чемолин не очень заносился и куражился. Вынес он на людской показ свою трехосную диковинку вовсе не из хвастовства, а просто так, ради потехи, захотелось ему повеселить, позабавить народ своей сметкой да лихостью.

А вот дружков заело, уж больно уязвил он их самолюбие. Не могли допустить они того, чтобы какое-то там трехосное чудовище Чемолина обставило по всем статьям их шикарные современные мотоциклы.

Правда, большой уверенности в легкой победе над чудаковатым изобретателем они не испытывали. Знали: в технике он кумекает здорово. Работал в свое время киномехаником, шофером, крановщиком, вальщиком, трелевщиком, бульдозеристом... Казалось, не было на свете таких машин, к каким бы он не сумел подобрать отмычки. Любую техническую специальность осваивал как бы шутя, играючи, без особых усилий.

Есть с избытком в русском человеке что-то такое от озорства. И сидит эта буслаевщина в нем издавна и глубоко. Порой она выливается в чудачества, порой — в безоглядную смелость... Удальцы и затейники — это точно кипень могучей волны. Без них и свадьбы — не веселье, и труд — не в радость, и сама жизнь — зеленая скука. Ивану Чемолину отпустила природа того и другого без урезки. Кипит и бродит в нем крепкий жизнелюбивый заквас, неуемная страсть ко всякого рода выдумкам да забавам...

Железная кавалькада остановилась у топкого ключа. Гонщики спешились и приступили к рекогносцировке болотистой местности, наметили трассу перехода через бедолажную низинку.

— Ты нас, Иван, подзудил — тебе и открывать трассу,— не без ехидной усмешки заметил белобрысый Сидор Хохотушкин.— Давай, выходи на старт. Тонуть будешь — помаши ручкой, ядрена моталка.

— Тебе, Сидорушка, и двумя помахаю,— без всякой обиды отшутился Чемолин и нажал ногой на заводную ручку. Мотор, громыхнув, дымно чихнул.

— Будь здоров, Иванушка!— опять сорвал хохот друзей злоязыкий Сидор.

— Спасибочко, земеля,— и пятиколесная громадина Чемолина ринулась в густое кофейного цвета месиво кочковатой придорожной топи.

Сердито рыча, отфыркиваясь, машина легко шла вперед, звучно хлюпая грязью. На самом осередыше она как бы захлебнулась в вязкой кашице и затонула.

— Ага! Кажись, наелся Иванушка.

— Ко дну пошел.

Но машина, неистово взвыв моторами, вновь ходко двинулась к близким уже твердым заберегам, раскатывая по сторонам грязевые волны.

— Выкарабкался, ядрена моталка,— не то с радостью, не то с обидой и завистью вымолвил занозистый Сидор.

— Ну и ну-у...

— Вот тебе и гремучая самоделка.

— Пошли и мы. Наши тоже не подведут.

Затрещали, заревели моторы. Над долинкой вскинулся голубой дымок. Со звоном, смачно хлюпала и хлопала под колесами коричневая клейковина топи.

Мотоциклы, один за другим, увязали в болоте. Мотоцикл Хохотушкина наскочил на какую-то скрытую

под темной жижей кочку и молниеносно встал на дыбы. Сидор слетел с него, словно с норовистого коня.

— Сидора, Сидора спасайте,— кричал на берегу Чемолин.

— Да ладно тебе, ядрена моталка!— огрызнулся тот.— Сам вылезу.

Ни один из заводских мотоциклов не пришел к финишу. Кое-как вызволили их из трясины водители. Обмыли в ручье. Ополоснулись и сами. Закурили. В полнейшей тишине. Не зубоскалил и Чемолин. Жалел земляков.

— А ничо машинешка-то,— заговорил, наконец, кто-то.

— Прет, как зверь.

— Дак ишо бы — три оси, пять колес.

— Если б просто были оси да колеса — я бы на ем и с места не тронулся в грязи,— пояснил Чемолин.— Вся штуковина в том, что оси не простые.

— Эт как так?

— Все три — ведущие.

— Не может того быть.

— Иди, смотри.

— А ну — покажи.

Мотоциклисты окружили машину чемпиона.

Иван завел мотор, показал.

— И верно. Чудно. От отчебучил так отчебучил Иван!

Затеплилась добринка в глазах у мужиков. Заговорили с Иваном уважительно, солидно. В общем-то любили его сельчане. Чудак, правда, да и больно простодыр, а вот башка вроде бы варит.

Обо всем, кажется, пересудили. Помолчали.

— А болото-от глыбко,— вздохнул кто-то задумчиво и изумленно.

— Да уж глыбко так глыбко. И как токо, Иван, пробуравил ты его — прямо диво!

Зря, конечно, так похвалили Чемолина. Подлили, называется, масла в огонь. Понесло его опять, распалило. Полное лицо так и зарделось от прилива чувств. Голубые глаза сузились, утонули в тонкой сетке веселых морщинок. По всему видно было, что подмывало его сказать что-то такое необычное, невероятное — на грани фантастики.

— Что болото, Сидорушка. Я на своем трехосном и

по Тургусуну проплыву. Как на амфибии. От самой Кутихи до Парыгино.

Мужики примолкли, переглянулись. От неожиданности и слова сказать не могли.

— Не верите?— спокойно этак спросил Иван.— В самом деле — проплыву.

Сидор Хохотушкин мелко-мелко заморгал белыми ресницами выпуклых глаз.

— А ты, И-иван, с-случайно н-не т-того?— по-настоящему, уже без игры начал заикаться он.

— Не, я в полном здравии. Говорю: проплыву — значит, баста.

И опять заспорили. Опять ударили по рукам...

Стоял жаркий июнь, таяли белковые снега, и горная река кипела, выходя из берегов. По такой пучине и на лодке не каждый отважится проплыть, а тут — на мотоцикле.

Без малого все кутихинские жители вышли на крутояр, к бесноватой реке, чтобы подивиться на Ванькину затею.

На фоне дымчато-синих стрел пихтача Чемолин со своим диковинным созданием выглядел внушительно и воинственно. В люльке сидел, в качестве добровольного наблюдателя, Акиндин Ананьев, сухопарый мужичок с бледным тоскливым лицом. Пока напрашивался в добровольцы — храбрился, а как сел в люльку да поглядел на седые загривки мутных валов — сник.

Сам же изобретатель, казалось, и ухом не вел. Видно, загодя планировал водные прогулки и все предусмотрел в конструкции загадочной машины. А может быть, надеялся на авось? Кто его знает. Одной жене Марии он признался как-то, что строит свой «вездеход» для самых трудных горных дорог.

— По любой тропке,— говорил он,— я должон пробраться на ем. И даже безо всякой тропки... Куды захочу — туда и покачу. Я же грузный, Марея. Ходить не могу. Все промежду ног стираю. А другие ходят. За груздями, на рыбалку. Лежат под березой где-нибудь. А то под самы белки учертомелят. У ночного костра сидят... А я — дома. А мне зеленые долы нужны... Поняла, милушка?

— Поняла. Ладь свою тарахтелку, чучело ты огородное,— беззлобно ворчала жена.

Но и Марии в голову не могли прийти, чтобы «непутевый» муженек ее пошел на такое безрассудство: плыть

по реке на «мотоциклете». Она гостила у сестры в Кутихе, и как только ей сообщили об этом всезнающие пацаны, она рысцой пустилась к Тургусуну. Да он што — очумел?

А старт меж тем приближался. Чемолин еще раз осмотрел замысловатую пятиколесную махину, превращенную его волей в судно, поправил удлиненную и задранную вверх выхлопную трубу и сел на свое место.

— Иван, а Иван,— плаксивым голосом окликнул Чемолина вездесущий Сидор.— Слышь, Иван! Погодь немного. Я те баллон накачаю. Оденешь заместо спасательного круга.

— Себе на шею одень — меньше балабонить будешь.— Мотоцикл Чемолина сердито рыкнул.

— Ну, прощавай тоды.

Иван поднял руку. Но в это время за толпой раздался истошный крик Марии.

— Ох, тошнешеньки мне!.. Остановите его, мужики, окаянного! Чо же вы стоите-то? Ить он же плавать не умеет. Топором ко дну пойдет.

— Но — ко дну!— дурашливо хохотнул Сидор.— Иван не утонет. Его баржой понесет.

— Тьфу ты! Ишо и ржут жеребцы!— Мария схватилась за рулевое управление мотоцикла.— Не пушшу. Хыть што. Чо он удумал-то, на вот те! Мужики, да вы гляньте-ка на ево. Он же не в своем уме. Ишь, как улыбатся-то. Образумь его, Сидор. Богом прошу.

— Да в своем уме мы, не боись, Мария,— подал писклявый голос Акиндин.

— А ты сиди, сухостоина. В смертники определился, что ли?

— Марея!— Чемолин привстал на подножке.— Охолонь. Ты меня знаешь: я не трепло. Если за что берусь — стало быть, надеюсь...

Мария отступила на шаг и сразу как-то сникла. С мольбой посмотрела на толпу, на Ивана с Акиндином и снова прильнула к мотоциклу.

— Да вы поглядите на Тургусун. Трубой идет. Свалит и слона.

— Слона, может, и свалит, а меня — нет.

— А подь ты к чемиру,— махнула рукой Мария.— Плыви хучь в тартарары!— и отошла в сторону.

— Ну, спасибо, Марeюшка,— обрадовался Чемолин.— Смотри, какая прыть у реки. Их, и красота! Люблю я это. Акиндин, готов?— спросил он.

— Давай.

— Ну тогда — поехали!— Иван направил мотоцикл с крутого берега в мутно-белую бурю реки. Колесное суденышко ударилось в одну волну, в другую — устояло. Затем взлетело на седой и косматый загривок стержня и понеслось, колыхаясь, вниз по течению.

— Ох ты, матушки!— раздавались голоса на крутояре.

— От дает, так дает!

— Матачэкл-та ровно пароход,— прошепелявила горбатая старушонка.

— Да у него же люлька что твоя лодка.

— Но, уморил Иванушка. Ну, отчаюга! Но, космонавт!

Потешная «амфибия», управляемая Чемолиным, проплыла без приключений больше десяти километров и благополучно пришвартовалась в одном из затонов близ Парыгино, где ее уже ждали восторженные мотоциклисты. Они с почетом проводили Чемолина до самого лесоучастка.

Сызмальства отведал Иван горечь сиротства. Совсем мало поучился в школе. Правление колхоза пристроило малого на курсы механизаторов. Тут-то и забурлила в нем страсть к машинам...

Колхоз уж совсем было отправил «башковитого» тракториста на дальнейшую учебу в город, да помешала война. В сорок первом же он ушел на фронт. Попал в ремроту одного из столичных заводов.

— Вот что, братики, требуются водители на тягачи,— сказал как-то на проверке командир.— Есть желающие?

Трое сибиряков шагнули из строя. В их числе был и Иван. Они ходили к передовой, цепляли тросами еще горячие подбитые танки и буксировали их в Москву. Не раз на передке попадал Чемолин в окружение, но непременно прорывался к своим на бешеной скорости тягача. Давил порой немецкие мотоциклы, машины...

Оплошал только под Великими Луками. Напоролся на мину. Контузило...

После госпиталя — пехотура. Не унывал Иван и тут, хотя тосковал по машине, не расставался со шлемом. Однополчане подтрунивали над ним, намекая на его самозванное танкистское звание.

— Ну, вот что, танкист,— сказал ему взводный не то всерьез, не то с подвохом.— Видишь в болоте, на нейтралке, итальянский танк?

— Вижу.

— Заведешь — тогда поверим твоему шлему.

Ночью Чемолин пробрался к назначенному месту. В осоке, неподалеку от танка, приметил бревно. Обрадовался: пригодится.

Залез в машину. Огляделся. Механизмы, приборы целы. Попробовал аккумулятор — ток дает. И стартер отзывается. Проверил горючее. Давление в баках есть. Это уже дело!

Завел мотор с первой попытки. С помощью бревна и цепей рывком вырвал машину из болота. Переждав за кустом артналет, подкатил затем к блиндажу и, проворно выскочив из люка, спокойненько так доложил:

— Вот, получайте трофей.

На этом же танке он и во вражеский тыл хаживал уже как разведчик. Добывал нужные сведения, за что и получил первый орден Красной Звезды.

— Ну, а второй орден Красной Звезды за что ты получил, Иван?— трепетал белесыми ресницами Сидор.— Расскажи. Да валяй ты. Любопытно же.

— Да что там!— отнекивался Иван.— Тут уж ничего интересного нет...

— Да не ломайся. Расскажи.

— Дали ни за что. И говорить-то неохота.

— Эт как ни за что?— удивлялся кто-нибудь.

— Ну, зря. После пополнения и отдыха танковые ученья проходили. Кой-кто трусил по бревнам овраги преодолевать. А я возьми и брякни: пролечу на всей скорости. Командир и прицепился: «Пролети». Ну, сел за рычаги, завел мотор и — жиманул. Токо траки гремели. На пределе и перемахнул овраг. Прямо по середке бревен угодил... Ребята рты пооткрывали. Командир — тоже. Потом скоро так подошел ко мне, руку пожал, обнял... Вот за это лихачество, земели, и... прицепили мне вторую Звезду

Сидор назубок знал эту историю, но все равно, когда Иван попадал в новую компанию, заставлял его рассказать о ней, будто зуд какой нападал на него. И чего он пристал с этим случаем к нему, как банный лист?.. Что там у него на душе? Поди — догадайся.

А Чемолин что? Безобидный и веселый, он весь на виду, всей душой своей с людьми. И чудил-то, наверно,

не для своего удовольствия, а скорее от желания позабавить народ. Нравились ему разные потехи.

Вездеход оправдал надежды конструктора, был он безотказен по любым тропкам и дорожкам. Забирался на нем Чемолин в самые дремучие уремы. Заглушит мотор, отойдет в сторонку и упадет спиной на траву, руки от блаженства разбросит. Хорошо-то как! Горное небо чистое-чистое, ясное-ясное, кажется, что это и не небо вовсе, а ровное, безмятежное синее зарево. Вокруг зеленой полянки черные пихты. Стоят, точно космические корабли на старте, глядящие в синюшное полымя выси. У изголовья покачиваются огнисто-сиреневые султанчики иван-чая, над которыми вьются золотобрюхие осы, шмели. Тишина. Только где-то сбоку, словно малое дитя, тихо и ласково лепечет родничок...

В такие минуты Иван, наслаждаясь лесной благодатью, любит помечтать. Он замечает все: и белые, желтые, алые всплески цветов в зеленом разнотравье, и стройные шеренги темного леса. И в то же время явственно витает перед ним его мастерская, вся как есть, с ее многочисленными моторчиками, шестеренками, гайками, ключами. И будто бы сам он там, в этой мастерской, сидит, думает, вертит в руках запасные части, соединяет их. И странно: всем телом он здесь, на траве, под кистями иван-чая, а душа его вот у этой груды железяк. И упоительно восторженно и сладко ему, даже как-то жутковато сладко и хорошо...

И вот груда железяк превращается вдруг в какую-то машину. Над головой Ивана пофыркивает пропеллер и плавно тянет его, Чемолина, вверх. Затем пропеллер журчит — уже спереди, а под кабиной вырастают широкие лыжи, перед которыми все больше и больше развертывается снежное поле. Лыжи скользят по белому целику, набирая скорость; глаза Ивана слезятся от ветра.

Они и в самом деле слезятся у него.

— Ах, черт, хорошо!— проговорил Чемолин, вытирая слезы.

Нет, вертолет ему покуда не осилить. А вот аэросани можно сладить. Вполне можно. Да и очень нужно. Зима-то на Алтае страсть как лютая. Взвоет буран — нацело переметет все дороги, и сидят люди неделями на участке, отрезанные от большого села.

И новой задумкой увлекся Чемолин так, как увлекается затейливой игрой ребенок. Провозился в мастерской и август и всю осень. И сработал-таки аэросани,

добротные, красивые — на загляденье. И легкие, ходкие — ветер в ушах.

Забьет вьюга проселки — диво-сани тут как тут. Надо срочно попасть на деляну, пожалуйста,— Чемолин довезет. А то понасадит на сани, как галчат, учеников, затарахтит мотор, поднимет тучи белой пыли, и самокатки полетят. Везет Иван ребятишек в Парыгинскую школу и цветет маковым цветом. Доволен...

Все уже попривыкли к чудо-мотоциклу и зимним самокаткам Чемолина, поуспокоились, перестали складывать о них байки. Но вот нежданно-негаданно весть,— словно гром среди ясного неба: Иван Чемолин ладит вертолет. И снова ахи и охи, снова пересуды, анекдотики — один забавнее другого. Многие посчитали это хвастовством самодеятельного изобретателя. Кое-кто давал нехорошие намеки насчет конструктора, пальцем у виска вертел...

— Не, и эту штуковину я одолею,— взбадривал сам себя Чемолин, занося в мастерскую узлы от разобранного мотоцикла; запасных частей, по его расчетам, явно не хватало на вертолет, и он раскурочил всю великолепную пятиколеску.— Одолею. Это уж точно. Вертолет мне нужон. Очень нужон. Лето, говорят, будет страшно сухое. Опять в лесах пожары займутся. Беды не оберешься. Рази один лесхозный вертолетишко поспеет всюду? Где там ему! А я и буду патрулировать в небе в выходные дни, подмогать лесничим. Да и горы посмотреть с высоты страсть как хочется! Вот красота-то: летишь, а под тобой — кордоны, пасеки, Тургусун, как змея, серебрится, хвойная падь Барсука чернеет. Ых, матушка ты моя! Душа зайдется от радости.

Набрал Иван научно-популярных книг, специальных журналов и начал всерьез изучать самолетостроение. А схватил суть дела — взялся за чертежи.

И вскоре в его сарайчике, именуемом мастерской, снова начал раздаваться по вечерам звонкий дробный стукоток. Чародей-механик приступил к работе. Кончились необходимые детали. Не колеблясь, Чемолин пустил с молотка аэросани. И вновь опустели полочки. Что делать? Подкупить бы кое-чего. Да вот лихо — деньги в кошельке у Марии иссякли, а до зарплаты еще десять ден. Жена как раз собралась на попутке в Парыгино.

— Марея, а Мареюшка,— взмолился Иван с тоскливым и печальным лицом,— забеги, милушка, к Сидору, перехвати два-три червонца. А?

— Ох, горюшко ты мое!— всплеснула руками жена и опустилась на завалинку.— И докэль я с тобой мучиться буду? Непутевый ты, непутевый... Все люди живут как люди, паласы покупают, дорогие кустюмы, а мы? Тьфу ты! Одни колесики да ржавые шурупчики в сарайчике.

— Да не обижайся ты... Мне чуток осталось. Полечу. Вот посмотришь — полечу.

— Полечу, полечу! Тоже мне Гагарин нашелся!— дородная Мария встала, отряхнула юбку.— Ладно уж, забегу, попрошу. Не привыкать.

Но вернулсь Мария ни с чем.

— Нету, грит, денег. А я когда уходила, с его Настеной во дворе разговорилась. О том о сем. Пять тысяч, грит, в чулке лежит, на венгерску стенку. Я уж промолчала. Пошла к машине. И пошто это так ожаднели люди? Чем толще мошня — тем скупей.

— Не обижайся. Мебель же покупают.

— Дак осенью же, сказала, покупают.

— Ладно, ладно. Я как-нибудь сам все смастерю. Вот токо шестеренки бы раздобыть. Хотя бы две.

Долго сидл он, думал, обхватив голову руками. Потом встал, полез на чердак. Вспомнил: там лежала не у дел старая медогонка. Постоял над ней, посоображал, ощупал шестеренки.

— Подойдут.

Вертолет он слепил быстро, месяца за четыре. На пробный полет сбежались и старики, и дети. Не верилось сельчанам, что «стрекоза» Чемолина вздымется в небеса. Впрочем, кое-кто и верил в успех алтайского Кулибина, знали: все, что ни задумывал, «сполнял». Чудной «амфибии» его не забывали.

С Иваном теперь уже никто в спор не встревал, он стоял как бы особняком. Публика разделилась на два противоборствующих лагеря болельщиков, которые и вели спор меж собой. Даже бились об заклад.

— Ха, чугунок на треноге да и только. Рази взлетит этакая молотилка? Ни за что.

— Токо на взъем пойдет — и вдребезги. Пожару б не наделал, окаянный.

— А я уверен: полетит,— неожиданно пробасил сам начальник лесоучастка Бочкарев, русобородый великан.— Золотые руки у Ивана. Забарахлит в машине новичка, положим, муфта сцепления. К кому он с поклоном? А? К Ивану. Посмотрит Чемолин, поколдует — и

готово. А если что-то непонятное с зажиганием? К кому бегут?

— Опять же к Чемолину,— кричат уже из толпы.

— Так-то, други.

— Иван безотказный. Я знаю. Как-то застало меня ненастье в верховье Тургусуна. Кое-как доковылял до участка. Стал спускаться вот с этого пригорка. А тут же, язви ее, глина. Я и подвернул ногу. Сразу разбарабанило... Какой-то праздник был, из изб песни доносились. Собирался куда-то принаряженный и Чемолин. Тогда он меня почти и не знал, но поглядел на мою ногу и тут же сказал: «Мать, накорми человека, а я приготовлю «амфибию». Ну, и повез он меня. Река-то разбушевалась в то лето. С корнем тополя вырывала. Дорогу размыла. Камни биллиардными шарами под колесами гремели. А мотоцикл шел. И по валунам токо «бум-бум». Да на скорости. Как ходовой части ничо не доспелось — ума не приложу. Правда, крыло погнуло, ножки повело. А Чемолин: «Исправлю».

— Так это же Иван. Он такой. А я в прошлом годе у брата в городе был. Махнули отдохнуть в Горную Ульбинку. Хорошо было так... А тут одну женщину змея укусила, гадюка. Мы кровь из раны отсосали и на дорогу ее, бабу-то. Ну, и стали, значит, легковые машимы останавливать. Ни в какую. И налегке многие «частники» ехали. Но все мимо нас — ширк, ширк. Ну, думаем, сволочи! Взялись за руки и дорогу перекрыли одной гадине. Эх, как он завзъерепенивался, зашибутился. Я ему тогда, грешным делом, вот эту свою кастрюлю под нос.

— Да уж у тебя кастрюля!

— Токо тогда смяк.

— Для него видать, лимузин навроде высокого звания.

— Вот в душе и перекос от этого звания.

— А где же Иван-то?

— Как где! Готовится. Щас пожалует.

Наконец Чемолин появился на узкой березовой аллее. Шел важно и степенно меж снежно-светлых стволов, окрапленных редкими черными родинками. На нем свежо синел комбинезон с глухим воротом, на голове ладно сидел оранжевый шлем, глаза плотно прикрывались большими очками.

— Ровно космонавт шагает к кораблю.

— И правда.

Лица у всех «провожающих» торжественно-праздничны и серьезны — даже у въедливых скептиков. У одного белобрысого Сидора лучились от ухмылки блеклые глаза. И он поддел-таки Чемолина:

— Иван, на всякий пожарный случай запасных кальсон не прихватил?

Чемолин точно предвидел этот коварный вопрос своего приятеля. Остановился, спокойно вытащил из полевой кожаной сумки что-то белое с завязками.

— Прихватил, Сидорушка. Прихватил,— и опять зашагал к треногой «стрекозе».

Публика покатилась со смеху. Сельчане дивились находчивости и доброму, незлобивому шутейству Чемолина. Молчал и не смеялся один Сидор.

Кабина вертолета с множеством оконцев и смотровых разрезов напоминала округлую корзину. Чемолин сел в свое дырявое гнездышко, привязался ремнями, окинул взглядом ближний угор с сосняком, притихшую толпу и улыбнулся: все, мол, в порядке, живы будем — не помрем.

Запустил мотор. Чугунок задрожал, скакнул разок на месте, как игривый козленок, а потом, под ликующие крики лесорубов и рабочих совхоза, плавно пошел вверх. Расчет винта оказался удачным, и машина поднималась послушно, уверенно.

— А ить летит.

— Летит, мать честная!

— На базар Ванюшка с корзиной метнулся.

— Но, сатана. Но, варначина. От отчебучил!

— Ну, надо же!

Вертолет поднялся над сосновой горушкой, сместился в сторону, пошел над Тургусуном и снова заскребся ввысь, минуя отвесный скальный срез правобережной высокой горы Чебричихи.

Ударил внезапный ветер. Корзина крепилась на свободных шарнирах, и ее начало болтать, как авоську. Испытатель оробел, хотел сбавить газу, да, наоборот, даванул на акселератор — вертолет еще резвее устремился в густую голубень неба.

— Да он што — с ума спятил?— испуганно закричала Мария.— Куды мотонул-то!

— Попрошшайся, Мареюшка, с Иваном. К луне навострился.

То ли зашлось у пилота сердце от скорости и высоты, то ли еще что случилось, но дал он еще одну промашку,

выпустил на какие-то мгновения из рук штурвал, и чугунок пошел комом вниз.

Толпа на лужайке ахнула.

Но вот падение вертолета притушилось, и он, снизившись и обогнув кудрявый от сосенок угор, медленно поплыл к зеленой полянке. Пилот посадил его точно на стартовую точку.

— Влепил, как в яблочко...

Толпа многоголосо взревела и тут же притихла. Что там с ним? Через несколько минут в дверце «корзины» показался Чемолин. Приветливо помахав рукой, спрыгнул на землю.

— Машина, скажу я вам, земели, хороша. Очень хороша. Да токо вот не пилот я. Поджилки трясутся, язви ее. Может, буду я на ней летать, а может, и не буду. Там видно будет,— и Чемолин, поправив шлем, прямиком направился к тургусунскому плесу.

— Обмываться потепал,— съязвил Сидор.

— Да замолчи ты, пустомеля!— оборвал его начальник.— Чемолин — это человек. Геройский мужик. Эх, путевку бы ему на курорт! Бесплатную. В Сочи или Ялту. А тебя, Сидор, я сейчас сам прокачу на вертолете. Я ту машину знаю. Привяжу тебя веревками ниже корзины и — вверх. Ну, айда,— и бородатый силач Бочкарев на полном серьезе схватил щупленького Сидора за шиворот.

Зная крутой нрав начальника участка, Хохотушкин вырвался из его рук, пал на двухколесный мотоцикл, одним рывком ноги завел мотор — и с горки вниз. Толпа, обращенная к удирающему Сидору, зло и хлестко хохотала.

Иван уже не слыхал этого хохота. Спустившись с берега, он взобрался на огромную гранитную буловину, вокруг которой бесновались волны и ниже которой разливался глубокий плес. Встал. Запрокинул голову в небо. Посмотрел-таки он на горы с высоты! Ох, и ошеломил же его до щекотки безумный испытательный полет на резвом чугунке! Сердце заходилось в жутковато-истомном и сладостном страхе. Чемолин взнял руки вверх, потряс ими над головой, затем сорвал с себя шлем и бросил его в ноги.

— Я летал!— прокричал он.— Лета-ал я!..— и эхо гор согласно подтвердило: лет-а-ал!..

ЛЕТУЧИЙ ПАНТАЧ

Двое суток в горах валил снег, без ветра, тихий, но спорый, с крупными ажурными хлопьями, тот снег, который ложится осенью в горах прочно, сразу придавая высокогорному лесу зимний вид. Обильная пороша набросила на крыши рубленых листвяжных изб ослепительно белые пуховые платки. Казалось, все вокруг посвежело, обновилось, хотя природа впала в долгий и глубокий сон.

У старого мараловода Мукана Болгабаева перестала ныть поясница: видно, к ведру, и аксакал, набросив на себя овчинный полушубок, лисий треух, вышел на двор. Постоял малость на крыльце, жмурясь от снежного полымя, весело крякнул, ловко спрыгнул со ступенек и побрел по целику вниз, к дому бригадира Боты Молдабаева. Мягкий без блесток снег был какой-то удивительно легкий и летучий, как тополиный пух. Он будто бесшумно взрывался под валенками и тихо, замедленно разлетался по сторонам. Мукан с удовольствием брел по этому необычному снегу, чувствуя, как все его тело наливается неизъяснимой силой и бодростью. К старику точно возвращалась молодость.

Бригадир, высокий, ладно скроенный мужчина лет тридцати пяти, со скуластым сухощавым лицом, разгребал у дома дорожку.

— Аманба, сынок,— старик остановился, стряхнул с валенок снег.

— Ассаламалейкум! Как спина?

— Ничего. Размяться вот надо. Завтра погода будет хорошая.

— Да ну уж,— Молдабаев безнадежно махнул рукой.— На неделю зарядил, однако.

— Нет, нет. Ночью, гляди, звезды проклюнутся. Вишь, как валит из труб дым. Так и подпирает небо столбами.

— А у вас что за дело объявилось?— бригадир воткнул в сугроб лопату, хитро покосился на гостя.— Уж не охотничий ли зуд напал?

— Угадал.

— Не люблю бесбармак из зайца.

— Зачем мне заяц?— обиделся аксакал.— Пусть косой по лесу гуляет. За маралами надо ехать. За маралами...

— Ой, это дело худое! Такая охота скользяком вре-

жет,— Бота выразительно ударил себя по затылку и снова взялся за лопату.

— Совсем меня не понимаешь, бригадир! Маралы живые нужны. Зима нынче злая будет, и дикие звери хватят беды. Так пусть лучше в парке живут.

— Ах, вон оно что!— изумился Бота. В темно-карих глазах его вспыхнули и заметались веселые бесики, но тотчас же угасли. Смолевые брови сдвинулись у переносья.— Ничего не выйдет из этой затеи,— голос у бригадира стал резким, металлическим.— Снег хоть и глубокий, но рыхлый. Порешим коней в россыпях и колоднике.

— Я знаю тут каждый камушек...

— Нет, нет. Коней на такое дело не дам,— и Молдабаев начал сосредоточенно скрести лопатой дорожку, давая этим понять, что разговор окончен.

Аксакал стоял в стороне и неодобрительно глядел на бригадира. Он уважал его за хозяйственную сметливость и прямоту, но ему не нравилось, когда тот вдруг переходил на начальственный тон и делался каким-то жестковато-суровым, недоступным. Мукан любил говорить с людьми по-простому, даже если речь шла о работе, и терпеть не мог непререкаемо-повелевающих интонаций.

Неприязнь к Боте Молдабаеву появилась у него давно, но он и сам не понимал, за что именно недолюбливал его, то ли за самодовольство, то ли за болезненное его стремление чем-нибудь выделиться среди людей, доказать им свою исключительность.

А с августа прошлого года аксакал и вовсе охладел к Молдабаеву. Шел забой старых маралов. Били их из мелкокалиберных винтовок. Один за другим падали звери, загнанные за высокий забор из жердей. Раненые животные гордо держались на ногах и валились на землю лишь тогда, когда теряли последние силы...

Всех дольше не сдавался Буян, самый могучий из зверей, с головы которого каждое лето снимались мощные, невиданных размеров панты. В конце июня он уже не мог их носить и постоянно опускался на траву, положив царственную голову на кочку, и отдыхал, а золотые, пронизанные солнцем рога медленно покачивались из стороны в сторону, как колышутся на ветру два ветвистых дубочка.

Подряд три лета Буян убегал перед съемкой пантов в тайгу, и никакая изгородь не могла удержать вольнолюбивого рогача. Опьяненный свободой, он бесцельно

носился по раздольным незнакомым лугам; резвясь и балуясь, озорно прыгал, как в воду, в зеленый разлив пышных и высоких трав; жадно припадал к журчащему в камнях ручью, пил долго, то и дело отрываясь от воды; гордо вскидывал свою тяжелую корону к черным лапам пихтача; и с губ его, пыхая звездами, падали крупные капли хрустальной влаги.

И странно: в парк возвращался сам. Заслышав осенью трубный зов своих сородичей, он с тревогой, но сладостной болью в груди направлялся к человеческому жилью...

И вот устарел он, люди больше не нуждаются в нем, а убежать, перемахнуть через изгородь седой пантач не пытается: утаяла в нем былая легкость. Много раз уж наводили на него люди черные палки. Высекался огонь, бичом щелкал выстрел, и тело пронзала огненная стрела. Сочилась кровь, темнело небо, сводило судорогами ноги, но он все стоял, упрямо и зло изогнув упругую шею.

Он окаменел на ногах...

— Да разве так бьют!— бригадир выхватил из рук молодого кормача винтовку и в тот же миг вскинул ее к плечу.

— Дяденька, не надо больше стрелять!— со слезами на глазах вцепился в полу пиджака Боты мальчишка.

Бригадир отбросил ногой ребенка, прицелился и выстрелил. Улыбка слетела с его лица: марал гордо стоял на том же месте, только слегка повел головой, точно от укуса овода. Молдабаев выстрелил еще раз. Передние ноги предательски подкосились у Буяна, но могучий марал задержался-таки на коленях. Он как бы поклонился людям, точно прося у них за что-то прощения. Да только и всего. Пантач, вожак стада, не пал и на этот раз.

Бригадир все стрелял и кусал от злости тонкие губы. А марал уже был мертв. Тогда Бота подошел к нему и пнул его ногой. И лишь теперь зверь рухнул на землю. «Охотник» удовлетворенно ухмыльнулся. Холодом души веяло от этой усмешки. Старик, ссутулившись, подошел к плачущему мальчонке и взял его на руки...

— Значит, не дашь коней?— еще раз спросил аксакал.

— Нет, нет.

Мукан потоптался на месте, сердито цыкнул языком и быстро зашагал к своей избе.

В лес он собирался неспроста. Еще в сентябре, заготавливая дрова близ горы Шанрак, он встретил стадо диких маралов, среди которых выделялся стройный и

высокий самец. Он сразу узнал его. Это был Вихрь, в жилах которого билась кровь знаменитого Буяна. Он перенял от отца все: редкую грациозность, гордую осанку, тонкие ноги с реактивной силой.

Рогач вырвался на волю летом, во время срезки пантов. В загоне оставалось всего три марала. Когда кормачи начали прижимать одного из них к узкому коридору, Вихрь беспокойно заметался в углу. Высота парковой изгороди — два с половиной метра, а в загоне и того выше — почти три метра. Вихрь примерился ясными глазами к пряслу и без разбега взмыл вверх. В своем великолепном полете марал даже не задел ногами жердей. Кормачи пустились вдогонку за ним, но тщетно: рогач с такой же легкостью перелетел и через внешнюю парковую изгородь, унеся в лес свои огромные разлапистые панты, налитые целебной рубиновой кровью.

К Вихрю старик был привязан всем сердцем, и его неудержимо влекло теперь к встрече с ним.

— Ну как?— вопросительно поглядел на Мукана сын Мырза.

Отец только махнул рукой и, кряхтя, тяжело опустился на стул.

— Не умеешь ты с начальством ладить. Попробую я. Зайду к зоотехнику. Вдвоем мы его живо уломаем.

Молдабаев все-таки дал разрешение на охоту. Правда, без особого восторга, и назавтра утром мараловоды с любопытством ждали, что предпримет бригадир: поедет вместе со всеми или останется дома.

Вот уже кормачи оседлали лошадей, и на площадку у коновязи высыпали ребятишки, чтобы проводить взрослых в лес, вот уже солнце позолотило пикообразные верхушки темно-зеленых пихт на лобастой сопке, что круто обрывается в речку Фадиху, омывающую село с северной стороны, а дверь квартиры Молдабаева все не распахивалась.

Мукан Болгабаев держал под уздцы свою рыжую кобылицу и наблюдал, как золотой солнечный свет бежит по пихтам все ниже и ниже. И вскоре яркие лучи залили всю сопку, и она засияла всем своим таежным великолепием. Хвойный лес, одетый в горностаевый мех пороши, был величав в своем тихом умиротворении.

Болгабаеву не хотелось портить прекрасного утра ожиданием бригадира, ненужной перепалкой с ним, и он бодро, с возбуждением произнес:

— Едем!

Толпа задвигалась, зашумела. Мараловоды вскочили на коней и направились к воротам парка, переговариваясь и смеясь. Настроение у всех было приподнятое. Ехали в лес, как на праздник.

Сразу за воротами началось густое чернолесье. Всадники сдерживали разгоряченных коней, кидавших по сторонам раздуваемыми ноздрями клубы пара. Было очень тихо. Широко, как дубы, стояли кряжистые кедры, облепленные причудливыми серебряными наростами. Чешуйчатый снег, откристаллизовавшись за ночь, жил, вспыхивал, играл мириадами огней и блесток. От деревьев, от пней падали четкие, точно выписанные акварелью голубые тени.

Мукан зорко глядел в чащу. Зеленоватые глаза его, такие всегда кроткие и мягкие, полыхали теперь решимостью, неукротимой страстью. Скобка седых усиков, тонкий орлиный нос, выдвинутый вперед подбородок придавали его лицу воинственность.

Властным движением руки он остановил свой отряд и почти шепотом, прерывисто заговорил:

— Впереди гора Шанрак. Там — звери. Гору надо со всех сторон обложить.

Сзади подъехал на взмыленном коне бригадир. Мукан встретил его коротким безразличным взглядом и продолжал отдавать распоряжения охотникам. Молдабаева он назвал в числе тех, кто должен был «отрезать» гору с восточной стороны. Согласия его на это не спрашивал: аксакал выполнял роль главнокомандующего.

— Всем глядеть в оба,— начальственно добавил, обращаясь к своей группе, бригадир.— Наша сторона ни одного рогача не упустит,— заверил он Мукана, приосанившись на коне.— Пусть и другие ворон не ловят.

— Остальные семь человек поедут со мной,— не удостоив взглядом Молдабаева, закончил летучее совещание Мукан и направил свою нетерпеливую кобылицу к солнечному скату Шанрака. Он видел, как Бота рысью спускался к ручью, угощая потного саврасого жеребца плетью. Зоотехник Султан Раимбеков, симпатичный, с багряным румянцем на пухлых щеках молодой человек, понимающе переглянулся со стариком и не смог сдержать искрометной улыбки: не выдержал, мол, бригадир, присоединился к массе. И что-то сердится.

Семеро охотников неторопко ехали цепью. Каждый из них медленно поворачивал голову то влево, то впра-

во, простреливая глазами все кочки, рогатульки под кедрами и пихтами. Внезапно под копытами Мукановой Рыжухи раздался сухой и резкий трескоток крыльев. Кобылица вздыбилась и шарахнулась в сторону. Болгабаев молча сдержал ее, успокоил ласковым хлопком ладони по шее. Из ночной лежки выпорхнул заспавшийся вороненый косач, и вскоре мягкое похрумкивание его крыльев растаяло в лесной тягучей тишине.

Впереди, на самой гриве, показалась чистая проплешина. Слева она была прострочена сдвоенным швом следа хорька. Посредине поляны стыли ультрамариновые лепестки заячьих отпечатков. А у кромки леса кто-то оставил глубокие дорожки. Кто же? Маралы? Так и есть! Совсем недавно здесь пробрело стадо диких животных. Мукан склонился и потрогал звериную тропу черешком бича. Да, след ни капельки не затвердел. Он подал знак Султану. Тот отсигналил следующему всаднику...

Цепь ускорила движение. Сердце учащенно билось. По телу пробегала знакомая дрожь охотничьего азарта. Старик волновался пуще всех. У него теплилась надежда залучить в лесу могучего Вихря. Он узнал бы его из тысячи самцов. Это какой-то особый пантач.

Мукан чувствовал свою вину. Как-то приметил он, что верхняя жердь одного звена загона чуть прогнулась. Хотел заменить ее, да в суматохе летних хлопот запамятовал. И вот приключилась беда. Именно через это звено перемахнул беглец Вихрь. Какого рогача потеряли! Где же он гуляет? Далеко от села не должен уйти. Его надо поймать во что бы то ни стало.

Болгабаев заметил стадо сразу. Передний марал оглянулся на него, испуганнно вскинул гордую голову с короной золотистых рогов, фыркнул и пустился наутек, увлекая за собой быстроногих собратьев. Звери шли вскачь, задевая кусты калины и черемухи. Снежные комья на кустах, казалось, лопались и осыпали своей пудрой беглецов.

— Ого-го-о!— крикнул аксакал, подавая знак охотникам, охватившим сопку снизу, по расщелинам.— Это он,— думал Болгабаев о предводителе стада.— Вихрь и у диких животных стал вожаком. Молодец! Доброе племя от него должно пойти. Только бы не упустить!

Перекличка мараловодов покатилась по всему распадку. По крикам хорошо чувствовался ход облавы. Стадо бежало в нужном направлении. Всадники мчались

за ним на всем скаку. Что ж, бешеные скачки по горам кормачам не в диковину. Летом, во время отбивки пантачей, им приходится сменять в день по две-три лошади.

Примерно через час маралы были притерты к Фадихе, к тому месту, где мараловоды убрали два звена изгороди. Туда и устремился на взмыленной кобылице Мукан. Успеет или опоздает?

Первым, распластываясь в одну вытянутую линию, бросился от изгороди вожак. Аксакал направил коня прямо на него. Конь осел на дыбы перед самыми рогами зверя. Взметнулся на задние ноги и Вихрь, хищно ощерившись и клацая зубами. Мукан взмахнул плетью, и рогач бросился назад к проему изгороди.

Когда молодой вожак пересек проход в заплоте, аксакал щелкнул бичом и громко гикнул, как бы пугая марала. В самом створе заплота он зачем-то вздыбил коня и нарочито замахал плетью, ругая «непослушную» кобылицу. Оставшиеся между ним и другими охотниками звери, задрав головы, ошалело бросились наутек. Бригадир, пытаясь задержать скачущих мимо него оленей, взмахнул плетью. Конец бечевы захлестнулся на суку. Разгоряченный преследованием саврасый жеребец бросился вперед, и одетая на руку Молдабаева плеть сдернула его с седла. Бригадир, совершив сальто, врезался головой в сугроб. Кое-как выбрался из рыхлого снега, отряхнулся, проскреб залепленные порошей глаза и сердито крикнул:

— У, шайтаны!— бросив недовольный взгляд в сторону Мукана, сердито буркнул:— Упустили маралов. Разини! Какая прибыль была бы в стаде!.. И надо же — упустили.

— Зачем так сердиться?— спокойно возразил старик.— Звери в тайгу ушли, к хозяину.

— К какому такому хозяину?

— В тайгу, в тайгу ушли,— уклончиво ответил Мукан.

— Тьфу!— ничего не поняв, скрипнул зубами бригадир.

Аксакал щурил зеленоватые глаза и поглаживал скобку своих седых усов. Он-то был доволен «уловом»: в парк возвращен король маралов — Вихрь, отпрыск Буяна.

Молодые мараловоды, кажется, поняли тайный маневр Мукана. Поглядывали на незадачливого бригадира,

который садился на разгоряченно танцующего жеребца, и прятали в рукавицах усмешки.

— Хорошо, что так получилось,— и радовался и озабоченно вздыхал Мукан, направляясь к своему дому.— А что если бы и диких залучили? А ничего. Выпустил бы ночью!— усмехнулся старик и покачал затем головой, удивляясь негаданно нахлынувшей на него мальчишеской бесшабашности. Заходящее за сизую, курчавую от кедрача сопку солнце слепило ему глаза.

Когда Мукан подошел к дому, справа, в школьном тире резко щелкнул выстрел. Потом еще один, еще... Старик остановился, ссутулился, будто что-то придавило его к земле. Медленно обернулся к парку. Выше сеновала, на крутом бугре, печально водил коронованной головой плененный пантач. Неистовым бичом распорол тишину морозного воздуха еще один выстрел. Аксакал вздрогнул и сморщился, как от боли: в памяти всплыли выстрелы, что когда-то повергли Буяна...

Старик опустился на приступку крыльца, прикрыл увлажненные глаза заскорузлой рукой...

В ТАЙГЕ

С низовий Тургусуна дохнуло теплой потягой — легким ветерком, обещающим перемену погоды. Ясная бездонная синь неба как-то незаметно обернулась белесой мутью, без теней, без просветов, как обычно бывает зимой, мороз, лютовавший с полмесяца так, что на деревьях лопались сучья, враз остепенился, помягчал; увлажненный воздух стал прозрачнее, будто омыв собой скалистые вспучины Развильских лбов, черные от пихтача пади Нарымки. Солнце скрылось за тучами, а вдруг сделалось как-то светлее, уютнее. Константин Васильевич Ошлыков, старый соболятник, повеселел: осточертели ему морозы. Угодья у него новые, еще необжитые, а две кем-то давно срубленные избушки (одна стоит в вершине Нарымки, друга — на устье Талового Тургусуна) пришли в полную негодность, и в них трудно спасаться от стужи. А охоту не бросишь.

Седая, прокопченная в дыму окладистая борода Ошлыкова, с утра подернутая белой настывью, теперь понемногу оттаивала; щеки его рдели, как у Деда Мороза, а из-под суровых, свисающих вниз густых бровей

глядели голубые глаза, чистые и ясные, точно две капли родниковой воды.

Он неторопко приближался к звериной сбежке, однорядной строчкой тянущейся от одного каменного курума к другому. Соболь — зверек очень осторожный, свободно, без опаски бегает только в густом лесу или в курумах,— россыпях. В каменных завалах обитают пищухи, небольшие серые грызуны, заготавливающие на зиму сено. Ими-то и лакомится хищник.

След у пушного зверя как бы стелется пунктиром. Прыгнет соболь — и оставит на снегу своеобразную скобку, прыгнет другой раз — и опять отпечатает скобку. Повторно он пробежит по поляне точно так же, след в след, будто ему в другом месте и ход заказан. На таких-то вот сбежках, серебряных тропках и промышляет Ошлыков. Капканы ставит на подрез. Осторожно подроет снег под следом передних лапок и тщательно замурует там свой снаряд. Здесь он оставил капкан позавчера. Вон там, между двумя камнями.

— Штой-то потоска нету,— с тревогой прошептал Константин Васильевич, вглядываясь в пятачок у валунов.— Должно быть, оторвался соболек. Куда же он делся, бедолага? Видать, выром уполз.

...Преследование длилось километра четыре, и Ошлыков изрядно упрел, но дышал ровно и шел еще довольно легко: привык к большим нагрузкам.

У высокой рыжевато-палевой сухостоины след пропал и больше нигде не появлялся.

— Значит, притомился. Тут отдыхает,— и Константин Васильевич начал разгребать слежалый снег своей крохотной лопаточкой.

Вскоре показалась черная дужка капкана. Как быть? Тащить капкан? Но зверек может оторваться. Ошлыков с минуту думал, что делать, а потом вставил в петлю капкана новый потоск, отоптался и только тогда осторожно выдернул пленника из снега...

Ошлыков отлавливал всегда положенное количество дичи и никогда не злоупотреблял своим правом хозяина, распорядителя тайги. Даже если не дотягивал за зиму до плана — все едино оставлял в угодьях несколько пар соболей для расплода. Так надо.

А живность лесов все-таки убывает с каждым годом. Завезенная в Сибирь американская норка, сплошные вырубки лесов вершат свое злое дело. Тайга становится неуютной. Порваны, видать, какие-то связки в матушке-

природе. Норка сжирает сеноставок, тетеревов. Оставляет соболька на голодном пайке, тот и скудеет. Все вяжется одно к одному.

— Нету рябчиков, нету,— вздыхал охотник, оглядывая алые стылые гроздья калины.— Даже ягодка остается до весны несклеванной. Это мыслимое ли дело, чтобы в тайге мяса негде было раздобыть! Из дому все припасы сюда прешь.

Из-за приземистого, покореженного сверху молнией кедра, что стоит в самой развилке двух Тургусунов — Талового и Большого,— показались бугристый сугроб и занесенная снегом крыша избушки.

Первым делом Ошлыков занес в избу беремя таловых поленьев и затопил каменку, черную, без трубы. Оттаял бороду, торопливо оттеребил от длинных прядей остатки ледышек, сунул к алым угольям котелок с водой и выскочил из сторожки, плача, чихая и кашляя от едкого дыма.

Горы уже утопали в синем настое сумерек. Подул ветер, полетела колючая снежная сечка, которая вскоре перешла в большие рваные клочья.

— Покэль дым выходит, дровишек подрублю,— разговаривал сам с собой Ошлыков.— Все глаза за нонешнюю зиму выел этот дым, язви его! Нет, летом надо обязательно нову избушку ставить. Даже две. Управлюсь. Да, поди, и напарник найдется. Не может того быть, чтоб угодья без охотников остались. Вдвоем легче станет. Можно и каменки с трубами сладить. Приемник возьму. По вечерам песни будем слушать,— Константин Васильевич явно размечтался, даже топор в чурку воткнул, на поленницу присел.— Ах, из сынов бы кого-нибудь заполонить. Михаила бы свово к промыслу пристрастить. Добрый был бы охотик. Да и Фектист в удали-то не удаст ему. Здоровяк. Смышленый. Но не хотят. Чижола, виш ли, моя работа для них. Отошли, грят, времена бирюками в лесу жить. Вот те на. Совсем избаловались люди. Каждый норовит в город, в светлую квартиру. С удобствами там... Вот кака катавасия приключается.

Без малого до полночи старик боролся со стужей на ветру. А когда дрова в каменке стали прогорать, он зашел, наконец, в пропахшую банным дымом избушку. Лег на топчан и моментально заснул. Спал тихо, словно ребенок.

Проснулся Константин Васильевич тоже разом и

ощупью направился к двери. Нажал на нее рукой — она ничуть не поддалась.

— Пристыла, што ли, язви ее? — он повернулся к двери задом и со всей силы лягнул ее ногой. Пятку отбил, а дверь хоть бы что. Будто намертво прикипела.

— Неужто снегом так забутило? Должно быть. Вон как валил-то! И ветер дул такой, что деревья трещали. Ах ты беда! Какой же это остолоп дверь-то повесил снаружи: шиворот-навыворот? Окромя геологов некому.

Ошлыков нащупал в изголовье топчана спички, засветил восковую свечку. Мертвенно-желтушный свет затрепетал на высохшем кундраке, что клочьями выбивался из-под плаща, заменявшего старику матрац, на вороненых горбылях потолка, на просмоленных строчках моха в пазах бревен.

Пленник ледового капкана еще несколько раз грохнул ногой по толстым доскам двери, затем попробовал их устойчивость плечом — никаких сдвигов. Старик беспокойно забегал глазами по избушке, потом нагнулся и заглянул под топчан, обшарил все за каменкой. Что за оказия? Нет нигде топора. Тогда он метнулся к ножнам. Они оказались без кинжала.

— Вот те, бабушка, и юрьев день! — Ошлыков опустился на топчан и несколько минут оцепенело сидел, недоуменно моргая глазами.— Топор, должно, в чурке остался,— вспомнил, наконец, он.— А куды ножик делся? Ай-яй, вот память-то окаянная! Теперича околевать придется тут.

Эта мысль возникла у него сама собой, почти непроизвольно, автоматически, как простая реакция на сложившуюся ситуацию, но через несколько мгновений, когда он успел подумать о безвыходности своего положения, до него дошла вся страшная суть случившегося. Дверь сломать нечем, а иным способом из избушки не выберешься. И придется ему, здоровому, еще ловкому и сильному, медленно погибать под снежным завалом. На помощь прийти некому. Продукты в сторожке есть, но нет воды.

Ошлыков вдруг явственно представил себе тот мир, который остался там, за дверью, за ледяной завалью. Пихты, набросившие на себя пышные песцовые дошки, стоят после снежного гульбища кроткие и мирные, точно ничего не случилось в лесу, и все вокруг идет своим чередом. В ущелье Тургусуна еще стынет просинь утреннего полумрака, а с гор уже огненной лавиной плывет

солнечное полымя. Вот оно коснулось ближнего хвойного гайка, осветило верхушки деревьев...

И все это уйдет от него. Навсегда. Жизнь будет так же яростно сверкать солнцем, полыхать звездной россыпью снегов. А его не будет. Он больше не напьется из скрипучего баданового листа ломотной родниковой воды, не собьет росных капелек с бордовых наперстков спелой малины...

— И хоть бы старость пристигла, или хворь бы заела, а то ить так, по глупости.

Ошлыков с остервенением начал колотить ногами дверь. Неистовствовал долго. Потом удары стали размереннее, но не менее отчаянные, злые.

Наконец он выдохся и ничком свалился к порогу. В памяти одна за другой вспыхивали картины его таежной жизни. Вспомнился случай с глухарем и соболем. Возвращаясь в избушку сивером Черновой, он заметил на небольшой лужайке, близ каменной россыпи, заваленной снегом, свежую утолоку: следы соболя и крупные глухариные перья. Подивился удачному случаю и поставил капкашек на подрез — под верхним слоем снега, у самых птичьих перьев.

Наведался к россыпи рано утром. Есть! Соболек метался у потоска.

Ошлыков из любопытства обошел тогда весь лесистый сивер Черновинской пади — соболиных тропок нигде не было. Да и вообще в этих угодьях соболи не водились. Откуда же он взялся?

— Прилетел на глухаре?— мелькнула мысль.— И верно. Сцапал его, видно, сонного. А тот, бедолага, и полетел. Соболь-то сперва, поди, напужался, а после начал его помаленьку грызть. Порешил и вместе с ним торнулся в снег.

Старик останвился на голом, заснеженном обмыске, посмотрел в лазурное небо, на дальние синие горные хребты и улыбнулся. Он ясно представил, как хищный соболь летел верхом на большом черном глухаре. От страха крепко вцепился когтями в спину своей жертвы, сгорбился и косил глаза вниз: никогда судьба не заносила его на такую огромную высоту.

— Чудно!— Ошлыков тяхнул своей седой окладистой бородой, густо заиндевевшей на морозе.— И чего только не приключается в лесу!

Мало ли таких историй случалось в его охотничьей бытности! А теперь — каюк! Все уходит....

— Фектист прав был, чертенок! Допрыгаешься, грит, ты, тятя, в своем лесу. Вот и допрыгался. Околею скоро.

Долго бился он у двери. Задыхался от нехватки кислорода. Отдыхал и снова брался за свое. И все лихорадочно думал, думал.

Дверь между тем малость ослабла. Появилась надежда на спасение.

— Брошу охоту, коли выберусь,— свелись к одной точке его думы.— Брошу. Подамся к какому-нибудь сыну. Проживу. А может, в Кутихе работать стану, в совхозе. Вместе со старухой.

Он верил этому решению и не верил. А щель между косяком и дверью становилась все шире и шире. Вот уже пролезла в нее рука. Он стал торопливо отгребать в избушку снег.

Выбрался на волю изможденным, но ликующим, радостным.

— И вправду: все снегом затрамбовало. Даже лыжня моя незнатка.— Ошлыков зажмурился от вечернего солнца и засмеялся. На льняные волны окладистой бороды падали прозрачные горошинки влаги — то ли капли пота, то ли слезы.

...Золотокрылой птицей пролетело лето.

Напарника Ошлыков так и не нашел. Никого на зиму не тянуло в тайгу, в дымную и тесную избушку. Решил было махнуть на промысел рукой и Константин Васильевич, да тут вдруг объявился претендент на его угодья — Никита Глотов, мужик жаднющий и безжалостный.

— Решит всех зверей и на расплод не оставит,— подумал старик и снова начал собирать свои промысловые пожитки.— Померзну еще сезон, попрошшаюсь с лесом — и тогда уж на покой лыжошки.

Вместе с провизией он притащил в зимовье маленький транзистор, но голосистый ящик выглядел каким-то чужим среди древних охотничьих пял, шомполов, прокопченной каменки и широких кержацких чембар. Ошлыкову не сиделось в избушке. Стоя на берегу Тургусуна, он любовался темно-бирюзовой глыбью плеса, снежной кипенью порога, впитывал прелесть жизни всеми порами, и грустно было ему сознавать, что скоро все это уйдет от него навсегда.

— Не, могута будет — и после пенсии зимку поживу тута,— вздохнул он.— Прикипела к тайге душа.

А откуда-то снизу, от Кедровки, где лысели недавно

обритые лесорубами взлобки, доносились взрывы, грохот камней. Это люди наступали на горы, на тайгу. Старику казалось, что взрывы рвут и корежат не зеленые горы, а душу его.

СКУПАЯ ОДИНОКАЯ СЛЕЗА

Василий Иванович Одинцов занемог и, кажется, очень серьезно: почувствовал головокружение и какую-то странную тяжесть во всем немощном, высохшем за долгие годы теле, тяжесть от слабости. Такого с ним сроду не случалось.

Он знал, чувствовал, что это не простуда и никакая-нибудь другая временная хворь, и тревожное ожидание худшего все больше и больше охватывало все его существо. Он страдал, мучился. Нет, не только от боязни конца, хотя смерти он всегда трепетно боялся. К страху присоединялась непонятная пока ему душевная боль.

Одинцов ложился на топчан, что стоял у русской глинобитной печки; страдальчески кряхтел, поправляя под собой старую фуфайку; протяжно стонал.

Но и не лежалось ему. Медленно поднимался, также медленно слезал с жесткого топчана и, сгорбившись, положив по привычке левую руку на поясницу, выходил на улицу, заглядывал зачем-то в сарайчик, стоял там несколько минут в забытьи, потом, махнув рукой, направлялся к двери. Останавливался посреди ограды, заросшей зеленой муравой, чесал затылок.

— А ить я што-то хотел сделать?— спрашивал сам себя.— А што — не знаю. Запамятовал, едять-ё мухи. Спрошу у Груняши... Груня, а Груня? А ить я собирался куда-то пойти седни. Ты не помнишь?

— А я-то почем знаю. Да што ты все слоняешься да мельтешишь, как неприкаянный? Лег бы уж. Захворал, што ли?

— И сам не знаю. Тяжко чо-то мне. Тело-то ничо. Поясница ныла, кишки болели... А щас ничо. Вроде бы внутри все пусто. И легко, легко. А вот тут, в душе-то, саднит. Тоска какая-то, Груняша. Помру я, должно быть. Сон плохой видел. Будто лежу я в ограде на муравке. А тут как ветер поднимется. Понесло все. Крышу с избы сорвало, она и летает, летает... И — на меня, закрыла... Помру.

— Да ты што? Не хворал, не лежал и сразу — помру. Обыгаешься ишо. Чайку с медом дать?

— Медовушки бы чуток... Один глоточек. Может, успокоюсь. И схожу... Сходить к кому-то хотел. Вот память-то, едять-ё мухи. Будь она неладная.

Груня залезла на топчан, отдернула цветастую занавеску, подвинула к краю печки деревянный логушок. Расшатала ладонью затычку, вынула ее, и в кружку ударила золотистая струя духовитой медовой бражки.

— Один глоточек.

— Да я больше и не дам, раз хворый. Отпил свое. Каждый день в рюмку заглядывал. От и одряб,— Груня плеснула в граненый стакан медовухи.

Одинцов взял стакан сухой дрожащей рукой. Выпил бражку, звучно передернув острый кадык. Поохал, повздыхал.

— А ить отлегло, полегчало. Дай-ка, Груняша, ишо чуток.

— Дак вовсе плохо станет.

— Глоток. Вот сэстоль. Ишь, как хорошо.

— Всю жизню было тебе хорошо, когда пил ето зелье, а после худо доспевалось.

— Славно стало, славно,— не слушал ее муж.— Теперь я и пойду... Токо куда? Ах, забыл...

— Может, к Борковым? Шура же вчерась из городу приехал. Художник-то.

— А-а, и правда! К Шуре, к Шуре хотел... Повидаться надо. Друг все-таки.

— Уж и друг.

— А как же. Помнишь, как я им помогал из дому убегать? Што они удумали-то — объехать весь белый свет.

— Малые дети дурью маялись, и ты с ними вертелся, ровно дите.

— Отчаюжные ребятушки были. Ах, отчаюжные! Вот жись-то была.

— А больше и спомнить неча. Самое антересное в нашей с тобой жизни — это разводы. Токо знали сводиться да расходиться.

Одинцову не хотелось слушать такого рода воспоминания, и он махнул рукой:

— Ладно уж... Пойду я к Борковым. К Шуране.

— Ступай. Да как бы худо не доспелось? День-то жаркий.

— Ничо, ничо. Я поманеньку.

Одинцов тихонько поковылял к дому Борковых. Кое-как открыл дверцу створных ворот. Постоял малость, потирая поясницу и хватая воздух широко открытым ртом. Дошел до крыльца, сел на желтую нижнюю ступеньку, поохал, закатывая белесые, некогда красивые голубые глаза, потряс головой туда-сюда и поднялся, опять почувствовав во всем теле страшную усталость.

— А, Вася!— дверь распахнул хозяин дома, Аркадий Иванович.— Заходи. У нас гость.

— Шураня?

— Он, он. Заходи к другу. Потолкуй.

— Какой там толковать! Хочу поглядеть на него. Занедужил я, Иваныч. Может, последний разок и стретимся. Помру скоро...

— Да подь ты весь. Заходи. Дерябнем по одной — враз оживешь.

Одинцов вошел в дом и, как всегда, заискивающе улыбнулся, швыркнув губами так, точно он пил горячий чай.

— Лукерьюшка моя разлюбезная,— пожал он руку старенькой бабке.

— Как здоровьице? Ничо? Ну, и слава богу. А я вот скрючился... Здорово, Шура. На рыбалку, поди?

— Да можно и порыбачить.

— Доброе здоровьичко, Малаша,— заметил гость хозяйку, плотную женщину с румяным скуластым лицом. Гость сел на краешек скамейки.

— Не подвигайтесь ко мне,— любезно предупредил он,— а то от меня нехорошо пахнет. Прохудился весь... Помру вот-вот. Повидаться зашел с Шурой. Все споминаю, как удирать-то вы задумали с ребятами. Потеха...

— Дурачье!— рассмеялся Аркадий Иванович.— Весь свет хотели общастать, даже от дому не сумели отойти. Поймали.

— Но ить все ладно приготовили: и ружья припасли, и одежку, и карту, и сухарей насушили...

— Дак ты же помогал им! Кто за притором провиант-то ихний прятал? Ты же. Вот додумался. В пещеру все, как бурундук, стаскал.

— Ах, ты... Было дело!— Одинцов так весь и засиял от приятных воспоминаний.— И кто же это тода выдал нас? Ума не приложу.

— Припасы были у нас в пещере, а ружья — на чердаке нашего дома,— разулыбался и художник.— Только мы на чердак, а мать Юрки Щеткина к дому бежит и ис-

тошно кричит: «Лу-уша! Держи ребятишек. Убегать решили! Держи их!»

— И поймали, субчиков,— расхохотался Аркадий Иванович.— Всыпали им, помню. Да и тебе, товарушка, попало, как организатору. Большой, сказали, а дурной. Баламутил, мол, ребят, самущал на худое дело.

Маланья Леонтьевна презрительно поджала губы.

— А он що, рази на доброе-то горазд. Всю жись, как мусор в проруби болтался...

— Зачем ты так поганишь меня, Маланьюшка?— слезливо взмолился Одинцов. Он знал бесцеремонную прямоту и грубоватость хозяйки и потому старался как можно натуральнее изобразить на лице страдание, чтобы вызвать к себе снисхождение и жалость.

— Я же больной. Чижолую контузию на фронте получил...

— Осподи!— Маланья Леонтьевна опять скобочкой поджала губы, сузила карие, монголовидные глаза.— Когда и где ты был на фронте — никому не известно. А вот Аркадий мой от Москвы до Берлина дошагал. Весь избитый. Медали, ордена имеет. И ни одного дня не придурялся што-ись. Сорок лет скот пас. Летом под белками, у черта на куличках, зимой — в степи у Зайсана, на всех ветрах и морозах.

— Дак правда,— Вася согласно затряс головой и улыбнулся хозяину как-то совсем по-другому, не заискивающе, как это он делал почти всегда, а по-доброму просто и светло.— Я Иваныча шибко уважаю, Малаша. Аркадий Иваныч — святой человек.

— Святой не святой,— все так же сурово, ничуть не теплея, проговорила хозяйка,— а сорок восемь годков прожили мы с ним нищо. Ни разу не цапались. А у тебя и в семье сладу нету. Разов сорок, наверное, с Груней-то сходился да расходился.

— Сорок не сорок, а с полсотни будет,— беззлобно пошутил хозяин.— Правда, Василий Иванович?

— Да уж правда,— со вздохом признался Одинцов и тонко швыркнул губами.— Она у меня, Груня-то, шибко поперешная, едять-ё мухи с комарами. То ей не так, это не так. Я тоже с характером. Вот и разбегались с ей...

— Да уж разбегались,— только теперь строгая Маланья Леонтьевна едва усмехнулась, настроилась на веселый лад.— Смотрим в окно: везет Вася на конной двуколке Аграфенины пожитки. Полный воз — под бас-

трык. Сзади Аграфена идет. Плачет. Месяца через два сходются. Манатки обратно едут. Но возок уже пожиже. А последний-то раз — помнишь, Вася? Ты увозил ее не на лошади, а на детских саночках. Помнишь?

— Помню. Как не помнить!

— А що обратно через полгода вез?

— Да самовар один, Малаша,— покорно отвечал Одинцов.

— Вот. Один старый самоварчик.

— Доразводились!— расхохотался Аркадий Иванович.— Теперь, поди, и делить нечего?

— Кажись, и нечего. Точно — нечего.

— Дак откудова што будет?— совсем развеселилась Маланья Леонтьевна. Так вся и зарумянилась щеками.— В прошлом годе последню нетель зарезал и свез в город. К молодой невестушке. Ить свез, Вася?

— Свез, Малаша, свез. Ы-ых и мяско было! Без малого четыре центнера. Одной мякоти сколь нарезал на пельмешки.

— Вот Зойка-то Оборотова узрела это мясцо!— плутовато почесал затылок сухощавый, живой, как ртуть, Аркадий Иванович.

— Ишшо бы не узреть!— развела руками скуластая хозяйка.— Эстоль мяса! И сразу — в женушки. Давай, грит, Васенька, поживем вместе, покэль Груни нет.

— Не, она насовсем замуж выходила.

— Насовсем, покэль мясо не съем,— съехидничала хозяйка.— Ну, а как пожили? Зойка-то она що — баба сдобная.

— Ну тебя, Малаша,— застеснялся Одинцов.

— И сколько побыл ты у ней?

— Дак осенью сошлись. Ноябрь, декабрь, январь,— всерьез загибал пальцы Вася.— И... до апреля. Пять месяцев с гаком.

— Мясо-то все вышло?

— Дак последнюю лытку на холодец сварила... Шмутки мои в узелок и — за дверь. И меня — за дверь. Топай, грит, Васек, по холодку, покэль жары нету.

— Осподи, осподи, от уморил!— до слез смеялась краснощекая Маланья.

— Значит, топай по холодочку, покуда нет жары?— Аркадий Иванович так хохотал, хватаясь за живот, что сполз со скамьи.— Ой, не могу.

Бабка Лукерья Николаевна меж тем собрала на стол. В большой тарелке дымилась белая рассыпчатая

картошка, политая сливочным маслом. Еще в двух тарелках розовели крупные пластики помидоров. Городской гость открыл бутылку коньяка.

— От насмеялся!— Аркадий Иванович вытер тыльной стороной ладони глаза.— Проходи, Вася. Садись к столу. Дернем.

— Не, я тут посижу. Не стану вам аппетит портить. Да и хворь душит меня. Ни ись, ни пить не могу. Я на Шуру поглядеть пришел. Последний раз...

— Да що ты все умирашь-то?— опять посуровела Маланья Леонтьевна.— Поживешь ишо. Не изработался. До старости лет шутействовал да филонил.

— Я же робил, Малаша. Лесничим.

— Хэх, лесничим! Это до войны ишо. С год и робил, однако. И все. Да на совхозном воскреснике, кажись, один раз был. На сенокосе... И правда — был. Помнишь? На Парыгинском лугу.

— Помню, помню, Малаша!— весь радостно встрепенулся Вася, взволнованно теребя свою рыжую и курчавую, изрядно засаленную бородку.— Люблю я стога ставить. Особенно вершить люблю.

— Да уж вершить-то ты можешь. Этого у тебя не отымешь. Сделашь стог — залюбуешься. Картинка. Но ить все на себя работал. Коня имел. Коров держал, пчел... А що сталось с тобой? Ы-ы... Смотреть тошно. Страмота одна. Все сторонился от людей. А теперь к ним же бежишь. Слюну пускаешь. Тьфу! От тебя судьба и наказала за все.

— Да што ты, Малаша, все наотмашь-то меня бьешь? Хворого, слабого. Я душу утешить пришел... Вася заплакал. Тихо и печально.

— Да выпей ты!— Аркадий Иванович подсел к Одинцову.— Давай вместе.

— Не могу, Аркашенька. Все тело немеет... Это конец.

— Ну, хоть губы помочи. Помирать, так с музыкой!

Вася отпил из рюмки, возвратил ее хозяину, низко поклонился.

— Спасибо, люди добрые. И простите меня, старика. Не споминайте лихом, если што,— он медленно развернулся и медленно вышел из избы. Оставшиеся в доме помолчали.

— Всю жись в тени под кустом отлынивал да пил,— с неприязнью проговорила хозяйка,— а теперь, когда землей отдаст, заныл: душу успокоить хочу!

— Мается,— как бы защищая Одинцова, заметил Аркадий Иванович.— Совесть-то все одно в человеке осталась.

— У его — совесть? Хых. Вася хитрый — так его и звали завсегда. Ране надо было о душе-то беспокоиться. А то как к нему с делом — он враз: ой, в прозвоночник ударило. Контузия...

— Артист, ох, артист!— Аркадий Иванович, усмехаясь, покрутил головой.— Я тоже в тридцатые годы игрывал на клубной сцене. Но и мне до Васи далеко. У него — талант. Иду это я однажды по забоке, за вторым скопом. Слышу: трескоток стоит, ровно медведь валежны ворочает. А это Вася дрова заготавливает. Вот-таки хлысты, как жердочки бросает. Заметил меня — пал на лесину, глаза закатил, за спину схватился: «Ой, в прозвоночник вступило. Полешко, Аркаша, схватил — и каюк». А там — полешко!

Вася Одинцов знал, что Борковы и после его ухода будут смеяться над ним, и еще больше печалился. Отбеленные временем голубые глаза его туманились неизбывной тоской, непреходящей душевной болью.

— За што они меня так? Што я им худого доспел? Жил, как хотел, никому не мешал...

В затяжелевшей памяти, в хаосе каких-то тенетных нитей и пятен всплывали вдруг яркие картины былого. То видел он себя голоштанным мальцом, то рослым красивым парнем; в пушистых ресницах глаза — яснее небушка, золотистые кудрявые волосы — кольцо в кольцо, до самых плеч. Мать его так и звала: ангелок ты мой ненаглядный.

Любил в молодости Василий Иванович проехать по деревне, покрасоваться на своем рыжем белоногом рысаке. Конь, бывало, не шел, а плясал, грива его плескалась огненным водопадом, глаза дико горели, а хвост точно подметал пыльную дорогу.

Отъезжал от своего дома Одинцов не спеша; придерживая жеребца, незаметно горячил его, чтобы потом, приотпустив удила, пролететь по улице этаким бравым и важным Еросланом. И, действительно, сидя на живом породистом скакуне, картинно гарцующем на фоне причудливых скал притора и длинной зелено-черной горы с игольчатым ельником, Василий Иванович казался сказочным молодцом. Девки выбегали в ограды, переваливались через плотные тесовые прясла так откровенно и бойко, что из цветастых сарафанов спелыми дыня-

ми выглядывали литые груди. Улыбались молодому Одинцову невесты, что-то кричали ему. И на вечерних посиделках, на воскресных игрищах молодки так и вертелись, так и хихикали возле него. Только одна робкая Груняша, словно белая лебедушка, держалась в стороне. И лишь изредка украдкой взглядывала она на кудрявого деревенского силача.

Осиротел Василий Иванович в девятнадцать лет и вскоре женился на скромной красавице Груняше. Жили ладно, хоть и небогато. Да к лучшей доле Одинцов и не стремился. В общем-то добрый и общительный по натуре, он вначале не чурался людей. Наоборот, нередко помогал чужим старикам рубить избы, убирать сено, мастерил для ребятишек санки и лыжи. Уважали его в деревне.

Наперекос его жизнь пошла с тех пор, как стал он лесничим. Люди-то тоже всякие бывают. Иные хитрые мужички, чтобы получить хорошие покосы или сухостой в удобном угодье, тайком несли лесничему туески меду, свиные окорока. Поначалу-то Василий Иванович стеснялся брать взятки, то ли боялся огласки, то ли душевно противился нечистому делу. А позднее начал привыкать к приношениям. Брал иногда подарки, но все еще ломался, отказывался, то ли так, для солидности, то ли всерьез — не могла понять Груня. Поведение мужа становилось ей все более неприятней.

— Уж брать — так бери, а не брать — откажись наотрез,— сказала как-то она, брезгливо морщась.— А то...

— Что то?

— Да тошно как-то... Ломаешься, крутишься. Не к лицу тебе.

— Ну, ладно, ладно.

Василий Иванович понял ворчание жены по-своему и стал брать взятки гораздо смелее. Дальше — больше.

И захотелось ему первым быть не только в красоте, силушке да трудовой удали, но и в личном достатке. Уж чтоб корова была — так ведерная, а конь — быстрей и хлеще молнии.

— Вот хозяин!— стали через два-три года говорить о нем сельчане, и эта похвала песней отзывалась в его душе.

Уж недосуг ему стало помогать другим строить дома да сено косить. Все норовил урвать для своего двора. Отгрохал себе домину, бревно к бревну, с железной крышей, с кружевной резьбой по карнизам и наличникам —

загляденье. Сараи, амбар, пчелиные ульи — все это было сработано ладно, красиво.

При коллективизации он отсиделся в тихой заводи, хотя из лесничества к тому времени ушел. В трудный неурожайный год, когда жмых и отруби были для сельчан величайшим лакомством, Одинцов определился в мельники, приворовывал зерно, муку, сметал в торбочку осевший на бревнах бус, и жил, что называется, припеваючи — для себя. Стал жадным, скаредным, все больше и больше выделяя себя из массы людей, искренне веря в то, что ему дано преимущественное право на лучшую долю. В колхоз так и не вступил, пропадал на своей усадьбе день-деньской.

И ведь вот парадокс. Раньше сельчане, говоря об Одинцове, неизменно величали его с большим почтением: Василий Иванович, наш Иваныч, а с годами как-то незаметно перешли на другое: Васькин дом, Васькины пчелы, Васькин покос... Два их таких мужика определились в деревне: он, Вася, и лоботряс Иван Яборов, который тоже в свое время отшатнулся от колхоза, упрятался в раковину собственного двора.

В конце тридцатых годов в моду вошла игра в лото. Так ребята, когда извлекали из лоточного мешочка единицу, неизменно объявляли: «Единоличник Иван-одноногий!», а когда доставали одиннадцатый номер — с усмешкой кричали: «На две ноги сам по себе!»

— Это кто такой?— нарочно спрашивал кто-нибудь, будто это была для него новость.

— Ва-ася-я бла-аже-енный,— нараспев отвечал крикун.

— А!— разом спохватывался «незнайка», и тотчас играющие отзывались привычным уже в таких случаях гоготом.

Вася и сам замечал в себе странную перемену — охлаждение к людям, но воспринимал это все как должную необходимость, как движение самой жизни и собственного возраста — хочется побыть наедине.

Но вот одно явление казалось ему загадкой из загадок. Он совершенно не мог понять, почему появился у него холодок и к собственному надворью. Чем злее греб он добро в свой дом, тем больше черствело его сердце, тем сильнее наваливалась на него беспричинная тоска. Мало-помалу начал попивать.

В сорок первом вместе с другими мужиками ушел на фронт, но быстро вернулся обратно —«больной», вы-

хлопотал пенсию. Несколько лет держался на прежнем уровне. Но потом сдал. Окончательно запил, опустился. И пошло у него все прахом...

— А Боркова Маланья — злыдня,— вслух ворчал он, мотая головой.— У-у, злыдня, едять-ё мухи! Ишо страмит, толстобрюхая корова! Нет бы пожалеть... Спомнила ж воскресник-то,— и он слабо улыбнулся, сипло швыркнув синеватыми, потрескавшимися губами. Ему уж казалось, что он стоит на стогу и принимает снизу, с длинных вил пахучие, приятно шуршащие охапки зеленого сена, аккуратно укладывает их, приминает ногами.— Ах, славно-то как!..

Размечтался Вася, забылся и не заметил, как проковылял мимо своей избы, мимо скалистого притора. Остановился далеко за деревней, с удивлением огляделся, понял, куда попал.

— Хых, куда меня занесло!— недовольно цыкнул он губами.— Да ладно. Посмотрю лес, попрощаюсь. И — в последнюю избушонку. Темную, безоконную. Тут окочурюсь — тоже ладно.

Он свернул вправо и пошел по заросшей муравой тропе, виляющей вдоль говорливого ручья. Сбился с дорожки и уткнулся в зеленую стену густого сосняка. Перед ним возвышался настоящий сосновый лес с прямыми, иссиня-оранжевыми стволами, с терпким настоем смолистой хвои. Сосны сроду в Тургусунской пойме не росли. Откуда же этот-то бор взялся?

И вдруг точно молния высеклась догадка:

— Так это ж, должно, мои сосенки-то! Мои. Наверняка мои.

Он подался влево. И точно. Вот поляна со старыми березами, а ниже — мокрый, заросший осокой луг. Здесь стояла когда-то пасека тетки Опрасиньи. Все ясно. Его сосны. Говорили, что они сгорели в последних жестоких пожарах на Алтае, но, видно, ошибся кто-то: зеленеют, живут сосны! Вот они, милые!

И надо же так вымахать за полвека! А сажал он их махонькими-махонькими, тонюсенькими-тонюсенькими. Изумрудно щетинились они на поляне, ровно твои тощие болотные хвощинки. А теперь, смотри-ка, во что превратились крошки-саженцы — в настоящие дерева. Кроны широкие, мощные, будто темно-зеленые взрывы взметнулись в голубое небо с белыми клубами кучевых облаков. И стволы-то, стволы-то — толстенные, крепкие и не с отсинью подроста, а с червонным золотом у ком-

лей, с жаром кузнечного горна. Искристо сияют кончики длинных хвоинок — то ли в росе они, то ли в слезной наплыви смолы. И весь лес сияет, и желтые пятна тонкой травы под соснами сияют. Красота-та какая!

Пораженный неожиданной радостью Одинцов пал на колени, низко склонил голову, раздвинул руками траву и поцеловал землю:

— Спасибо тебе, мать-земля родная! Ублажила, успокоила старика. Осподи, хорошо-то как!— и он, выпрямив корпус и все еще находясь на коленях, заплакал. Плакал тихо, с судорожными всхлипами. По иссохшему морщинистому лицу, по седой, грязноватой бородке ручьями текли слезы...

Он прильнул душой к этому бору, словно хотел отогреть себя перед смертью, ухватился за него, как утопающий за соломинку: не зря прожил. Правда, если не лукавить, то он лишь посадил саженцы, а потом бросил их. Ухаживали за деревцами другие лесоводы. Они и вырастили на века этот могучий рукотворный бор.

Еле тащился Одинцов домой. По дороге, совсем некстати, с пронзительной ясностью вспомнил, что он только воткнул саженцы в землю. Воткнул и — в лесничество с заявлением. Уволился.

— И тут я сбежал,— простонал он, и из глаз его вновь полились слезы — горше прежнего.

Кое-как доплелся Вася до утесов придеревенского притора и пал у обочины в мураву, рядом с обрывом в реку. Подобрал и подвез его на мотоцикле к самому крыльцу дома родной брат Зойки Оборотовой. Помог занести больного в избу и положить на койку. Попрощался и уехал.

— Ой, тяжко мне, Груня!— Одинцов с трудом шевелил губами.— Тяжко... Укрой ноги-то. Позови Борковых. Шураню позови,— он замолчал, закрыл глаза.

— Да кто пойдет-то к тебе?— с печалью отмахнулась Аграфена, вздохнула и сурово заключила:— Нету тебе прошшения от людей. Нету. Помирай один,— и она смахнула у глаза скупую одинокую слезу.

И не надо было этих слов говорить. Да не стерпела Груня.

СТЕПЬ ОСЕННЯЯ

В шесть часов утра, когда близкое солнце, давая о себе знать, бросило лиловый отблеск на всю восточную сторону небосвода, механизаторы были уж в сборе. Бригадир Виктор Николаевич Дзарданов, сухощавый осетин с черными усиками, осмотрел комбайнеров, точно командир бойцов, уходящих в дозор.

— А где Субботин?— спросил он.— Неужто заболел? Не может того быть.

— Не заболел, не беспокойтесь,— отозвался кто-то.— Что с ним случится? Железный.

— Так где же он есть? Ну, фокусник!..

— Нет его. Третью ночь его на стане нет.

— Домой летает, что ли?— голос бригадира зазвенел, темные глаза гневно сверкнули.— В такую-то пору! Да он что?

— Там он.

— Где там?!

— Ну, там, на своей полосе, в Волчьей балке.

— Вот это номер!— опешил Дзарданов.— ЧП! Совсем осатанел человек. Да он же угробит себя! И нас подведет... Ну, я ему, упрямцу, покажу!— и Виктор Николаевич бросился к «Москвичу».— Я его живо отучу своевольничать, нарушать дисциплину в бригаде!

До Волчьей балки, где расположено самое дальнее поле бригады, больше десяти километров. Дзарданов промчал их на предельной скорости, оставив на проселке высокую пыльную завесу. Когда подкатил к загонке Субботина, тот уже убирал хлеб в валки. Комбайн лучшего механизатора приближался к дороге, к месту разворота. Бригадир поднял руку.

Владимир Субботин остановил агрегат, вышел из кабины, но вниз спускаться не стал: по виду Дзарданова понял, что тот не в духе. Руки на бедрах, как птичьи крылья... Над орлиным носом сомкнуты черные брови. «Счас врежет за ночевку»,— подумал Владимир и надвинул на глаза клетчатую, вконец замасленную и запыленную кепку.

— Послушай, дорогой,— начал бригадир, сдерживая ярость.— Ты что тут такое творишь?! Пойми: ты совхозу нужен не на один день, не на одну неделю. Твои золотые руки нужны людям до конца уборки и еще на сто лет! Понял?

— Понял.

— Меня не жалеешь — себя пожалей. Всю ночь косил? Да?

— Нет, спал.

— Где спал?

— В бункере. Ночь теплая. Да у меня и шуба есть.

Дзарданов прислонился к «Москвичу», обхватив голову руками.

— Ребенок, чистый ребенок!

— Я время экономлю. Загонка-то у черта на куличках. Два-три часа теряется на разъездах. Люди спят на стану лишь три часа. Работают не больше семнадцати часов. А я сплю пять чистых часов, а жну — девятнадцать.

Говорил Субботин рассудительно и спокойно, загибая для убедительности пальцы на левой руке: вот, мол, какой выигрыш у меня. У него светлые, словно голубой рассвет, глаза, простое русское лицо. К вискам тонкими ниточками бежит иней седины.

— Сколько отмахал вчера?— жесткие нотки чуть поутаяли в голосе бригадира.

— Пятьдесят шесть гектаров. Норма — двадцать.

— А с начала жатвы?

— Тысячу... и еще гектаров сто.

— Рекорд! Опять придется поднимать в честь ослушника флаг трудовой славы,— сказал совсем было подобревшим тоном Виктор Николаевич, да тут же осекся.— Но я не подниму! Хулиганишь, голодом себя изводишь. Понял?

— Понял,— ухмыльнулся Владимир, затем пододвинул к себе сумку и показал бригадиру кусок гусятины, румяную курочку, помидоры.— Это на завтрак. Жинка присылает с шоферами.

— Ну, Субботины! Ну, семейка! Они все за одно!— опять вскипел Дзарданов.— Я на обед тебе ничего не пришлю. Живо на стан явишься! Вот так-то,— крикнул он уж из машины.

А на полевом стане бригадир отошел, отмяк, и алый флаг в честь упрямца все-таки взвился на высоком стяге.

— Вы там Владимиру Дмитриевичу подбросьте что-нибудь такое,— шепнул пожилой поварихе Дзарданов.— Подкормите его. Он у нас настоящий механизаторский ас. Комбайн, можно сказать, на ходу ремонтирует.

Субботин и на этот раз остался ночевать в поле. Выгоду во времени он получал большую — несомненно.

И такое решение подсказывали ему совесть и рассудок. Но, может, кроется здесь и что-то другое?

Погода портилась, и Владимир укладывал хлеба в валки чуть ли не до двух часов ночи. Стих мотор. Субботин сел на край бункера и вобрал в себя полной грудью свежий воздух. Пахло зерном и размятой соломой. Внизу сухо шелестела на ветру, шумно вздыхала, как затихающее море, несжатая пшеница. Сдавленный с одного бока лимонный катышек луны утопил темно-золотую степь в зеленом океане света. Все вокруг казалось таинственным и прекрасным.

Хлебороб впитывал в себя все краски и запахи земли.

Любил он осеннюю степь.

ЧИСТЫЕ РОДНИКИ

Без Родины невозможно жить. Она всегда с нами, во всем нашем существе, в каждом сокровенном уголочке памяти. Мы можем не произносить о ней высоких слов, но всегда, в крутые минуты жизни, когда нам становится больно или тяжко, она встает перед глазами в своей пронзительной ясности и необоримой силе.

И не всегда ее образ многосложен, но всегда конкретен и весом. Чаще всего это какая-нибудь простая вещь или какой-нибудь самый обыкновенный пейзаж — одинокая березка на холмике с заросшим травою рвом, широкий проселок, уходящий в голубую зыбь далеких лесистых взгорий, тихий зелено-синий речной омут с притихшей фигурой юного рыболова, звенящий золотом осени листок на гранитной ступеньке памятника Неизвестному солдату.

Порой память вырывает картины из глубинных пластов далеких-далеких, как древняя сказка, детских лет. И пусть было оно, наше детство, и горьким, и печальным, но все равно найдутся в нем даже самые малые крупицы алмазных искр, из которых в любой момент может вспыхнуть горячее солнце твоих ослепительных воспоминаний, тех нетускнеющих меток радости, восторга, или глубокой грусти, которые в совокупности своей и дают нам великое всеобъемлющее чувство любви к Родине.

Мои первые жизненные впечатления почему-то непременно связаны с утром. Как сейчас вижу бричку, накрытую соломой, отца с длинными вожжами, круп гне-

дого коня. Мне, видно, года три. Ноги укрыты зипуном, и я только туда-сюда вожу головой. Смотрю на идущее впереди стадо коров, оставляющих после себя запах парного молока. Воздух прохладен, и каждая корова, глубоко вздыхая, пускает клубы светлого малинового пара. И от коня идет красноватый парок, и от лица отца. Я открываю рот. И вот чудо! Надо мной тоже вьются светлые зоревые струи. Одна огнистая струйка, вторая... Да какая же это прелесть, какая красотища!

А еще помню, как первый раз пошел с пастухами на рыбалку по горной реке. Сперва пробирались по ельнику, потом шли по цветущему прилавку. С духовитых смородиновых веток, с лилово-красных кисточек кипрея срывались хрустальные катышки росы. Они осыпали нас с головы до ног, холодили коленки.

Но вот рыбаки останавливаются у широкой ямы, разматывают лески. Я сажусь на камень и оглядываюсь вокруг. Первое, что поразило меня,— это сочность и яркость красок. Большой плес окружен огромными мраморно-белыми, охристыми и синеватыми валунами. Зеленая вода ходит кругами, обнажая чистое каменистое дно, искристый песок и темные спины хариусов. Сотни рыбин то поднимаются вверх, то медленно опускаются ко дну. Завидев над водой добычу, хариус схватывает ее моментально, сверкнув на солнце пламенным хвостом.

Справа над плесом — высокий коричневый утес с клочками узорных мхов, с крупными зелеными, бордовыми и алыми листьями бадана. А где-то выше плещутся ручьи берез, дымятся в тумане черные стрелы пихт. И от всего веет свежестью, жизненной силой. Да не снится ли все это? Да может ли быть на свете такая неизъяснимая красота?!

Я понял потом: может, она есть всюду. Надо только всматриваться в нее, ждать ее — и природа откроет перед вами все свое волшебство, все богатство, войдет в вашу жизнь чистым родником радости.

В 44-м мы ехали через Сибирь к фронту. Молодые солдаты сидели на досках у распахнутой двери товарного вагона и тихо пели. Стучали колеса, мелькали телеграфные столбы, кружились печальными хороводами березовые колки. На полустанках стояли босоногие, худые, в рваных рубашонках мальчуганы и тоскливо махали вслед нам руками... И так везде, по всей Сибири, по Уралу, в Подмосковье — прощались с нами еще голые и

стылые весенние рощи, и эти славные малыши с поднятыми, как семафор, руками...

А потом был фронт. Кладовая памяти работала всегда, она согревала в стужу, ободряла в беде. И даже тогда, после взрыва, когда в глазах почернела зеленая роща, память не отказала. Где-то рядом со мной шагало деревенское стадо, клубилась дорога, рдели над зеленым плесом алые листья бадана, стояли на полустанках мальчишки с суровыми лицами, с призывно поднятыми руками на фоне горестно белых российских берез...

И сейчас, уже на склоне лет, когда на висках пробивается черемуховый иней, память о золотых впечатлениях моего жизненного утра не стушевывается. Детство и юность живут с нами всегда в сердце, в картинах памяти. И если станет вдруг невмоготу, я тотчас цепляюсь за драгоценные метки памяти, как за вечный, негаснущий огонь, и стужа грусти или горя отходит. Боль души истаивает, точно снег на ладони...

В СОСНОВОМ БОРУ

Есть своя неповторимая прелесть в ленточных сосновых борах. Зелеными жгутами перехлестнули они прииртышские и приобские степи — от широких сибирских долин до песчаных дюн Казахстана. Сосны точно бежали с севера на юг, рассекли изумрудными стрелами Семипалатинскую область, передохнули в сырых ключевых балках, заросших узорчатым папоротником и кустами черной смородины, и уж снова было двинулись вперед, да задержались, увидев перед собой волнистые барханы. Рыжие горки пересыпались с места на место, пуская серые пыльные шлейфы. Встали сосны, пустили в землю мощные узловатые корни, чтобы не упасть от ударов жаркого ветра, заслонить собой тыловые леса от песчаной напасти. Съежились, напугались зеленой стены и ползучие дюны, застыли их зыбкие свеи. Не раз порывались сыпучие курганы двинуться на лес, завалить его, смять, но недоставало силы. И только серыми становились от злости песчаные гидры.

И стоят сейчас в Прииртышье крепкие сосновые леса, настаивают воздух на терпкой пахучей смоле. Ветер наметает к розовым ногам деревьев высокие снежные копны, а весной, когда растеплится, засочатся сугробы

капелью, побегут вешними ручьями и напоят досыта луга и пашни...

Я люблю бывать в сосновом лесу по утрам. Вот и сегодня забрался в самые густые уремы спозаранку. Еще не растаяла синь сумерек, еще бор мрачен и угрюм. Но мало-помало развидневается, светлеет, все четче прорисовывается серебряная парча закуржавленных ветвей редких талинок и березок.

Горизонт затянут не то дымкой, не то слоем тонкой и ровной облачной наволочи. Солнце показывается в этой туманной мгле как-то неожиданно. Я останавливаюсь у пня отдышаться, снимаю варежки, поднимаю голову и вдруг вижу над заснеженными макушками сосен огромный тускловато-багряный диск. Он до того тускл и неярок, что не бросает от себя никаких отсветов, и как бы не выходит из-за горизонта, а выплывает, приближается к земле откуда-то из космоса. Впечатление усиливается тем, что диск с каждым мгновением становится ярче, светлее. Багряная тусклость смывается. И вот уже диск огненно-алый, оранжевый. На лес, на Иртышскую излучину падают первые легкие малиновые блики.

А светило все распаляется. Края его размываются. Вместо диска над лесом вскоре повисает бесформенный желтый сгусток, который все растет, увеличивается и, наконец, превращается в громадный светящийся шар, и этот золотой ком, кажется, теперь уж точно падает на землю, летит ко мне на фоне алого полотнища зари.

Весь лес пожарно полыхает, бездымно горит. И без того красноватые стволы сосен так и заструились в знойном пламени. Горит огнем и золотом каждый сучочек, каждый пучок хвои. Весь мир объят каким-то дивным, небывалым сиянием...

Через полчаса теплые краски угасли, не стало ни багрянца, ни яркого пурпура. Но солнце будто оставило в прямых стволах сосен утренний жар. Оттого деревья всегда такие солнечные — теплые, золотисто-оранжевые.

Сосна раскрывает свою прелесть, редкостную красоту не сразу. Надо попросту понять ее душу, а уж потом она сама заколдует вас, «приворожит» к себе навсегда.

Вырос я на востоке, в черно-зеленых пихтовых лесах. И привязан был к пихтовой тайге беззаветно, всем сердцем любил ее суровую угрюмость и величественную красоту. Но пихта, эта древнейшая представительница хвойного леса, не любит изобилия света и тепла. Она

тянется к сырым местам, северным склонам гор, а сосна не боится ни мороза, ни солнца. Растет на песках, на болотах. Лишь пугают ее мглистые тени...

Сосновые боры Семипалатинска я увидел впервые в 1943 году, когда прибыл туда в учебный полк. Окраины города утопали в песке. Выросший среди буйных горных трав, я ненавидел пески, а с ними и их спутника — сосновый лес. Мне казалось, что от него веет пустынным зноем, колючей сухостью, нелюдимостью.

И вот однажды, после недельных холодных дождей, мы рано утром выехали в бор, чтобы наломать на дрова хворосту. Чего скрывать, жили тогда сурово, солдатской пайки не хватало. Топаешь, бывало, в строю и с удовольствием вспоминаешь мягкую, пахнущую печным подом хлебную краюху или румяный кусочек пареной тыквы. И ничего не замечаешь вокруг. Пасмурно было на душе от стужи и в то утро, ни на что не гляделось. Я молча ломал сучья и не заметил, а скорее почувствовал какую-то теплоту сзади себя, оглянулся — да так и застыл от изумления. Солнца не было видно из-за стволов, но оно угадывалось там, где пылало, оттуда веером расходились широкие «дымные» лучи, и лес в этих лучах казался каким-то медным, притягательным, краснота его все больше и больше разбавлялась золотом, и вот уж все утонуло в волшебном огне, какое дают по весне жарки-цветки. Все затихло в ликующем безмолвии: и раскаленные прутья стволов, и веер лучей. И запахло чем-то с детства родным, милым. Потеплело в груди, заскребло, защемило сердце...

Дорогим чудом запеклась в памяти эта картина. И потом, на передовой, лежа в мокрых окопах болотистой белорусской земли, слушая сиплый посвист, крадущийся шелест пролетающих снарядов и мин, я не раз вспоминал и родимые тургусунские пихты, и эти гордые сосны, что стоят у Иртыша, близ Семипалатинска.

Родина, Родина... Как огромна и необъятна она в нашем сознании. Но если нет у тебя в памяти этих малых кусочков — заветных березок, речушек иль сосен — как много теряешь ты и в гордости своей и стойкости!

Много воды утекло с тех пор. И я иду в этот лес, как в святыню. Солнце стало обычным сияющим шариком, потухли краски, заструились густые тени.

Чистый снег Букебаевского заказника измережен голубой вязью звериных тропок. Вон прошло стадо косуль, а эти граненые лепестки оставил на поляне заяц. Жир-

ными черными занятыми уцепились за березовые ветки косачи. Вокруг тихо-тихо. Не слышно перестука топоров, звона пил, гулких выстрелов. Это зона покоя. Она охватывает 62 тысячи гектаров уникальных ленточных боров. Пусть ничто не беспокоит обитателей леса. Человек охраняет природу, сокровенные уголки своей Родины.

Зона покоя. Сейчас, спустя четыре десятилетия после того, как смолк грохот последних военных канонад, зоны покоя звучат символично. Мир и покой тебе, родная земля, вечную жизнь вам, милые и дорогие сердцу солнечно-огненные сосны Прииртышья!

ДИВО ДИВНОЕ

В озере Маркаколь есть нечто таинственное, нечто интригующее. Марка — это значит ягненок. Само это слово как бы говорит о кротком спокойном нраве озера. Я бывал на нем десятки раз, и всегда оно своим поведением неизменно подтверждало это нареченное название.

Но заговорите о кротости озера с местным старожилом, и он удивится вашей неосведомленности, снисходительно улыбнется и непременно скажет с некоторой гордостью и загадочностью:

— О-о! Должно быть, вы совсем не знаете Маркаколя. Так, бывает, расходится, разыграется, что и не подступишься к нему. А коли застигнет на воде — берегись. Слопает. Каждый год случаются беды... И никогда не угадаешь, когда он взбушует. Буря налетает разом, что твой коршун. Вот такое, брат, и кроткое наше море.

Странно. Видно, не везет мне на штормовое озеро. Вот и сегодня оно снова тихое, незлобивое, манящее к себе ласковостью и могучим простором.

За плечами у нас рюкзаки. Мы идем мимо огородов Урунхайки к причалу. Поднимаемся на прибрежный зеленый обмысок, чтобы полюбоваться открывшейся панорамой.

Озеро величаво... Нет, не то слово. Оно величественно. Тут не скажешь: горы со всех сторон обступили, сжали его. Это оно само расшвыряло их подальше, чтобы дышалось вольнее и глубже, чтобы вбирать в свое черное лоно тихими ночами все звездные рои мирозданья, чтобы гляделись ясными утрами в его покойную глубину и вороненые зубцы прибрежных ельников, и

золотые прочерки песчаных отмелей с белыми тесемками берез над ними, и скалистые мыски, увенчанные темными стожками кряжистых хвойных великанов, и снежная оторочка на загривках высоких гор. Вода так тиха и зеркальна, что нет на ней, как на лице ребенка, ни единой морщиночки, ни единой складочки; смотришь на небо, на озеро и не поймешь, какие купы облаков свежее и румяней — те, что вверху, или те, что светятся на дне Маркаколя.

От крайнего огорода подходит к нам бабка Луша. Она какая-то вся по-мужски крупная, степенная, волевая, как, впрочем, почти все женщины Урунхайки. Видно, здешняя природа, размашистая и суровая, «кроит» людей по своему подобию. На бабке брезентовые брюки и куртка, резиновые сапожищи.

— Далече путь держите, милые?— она прикрывает задубелой ладонью глаза от закатного солнца.

— На Тополевку, а завтра — к Чумеку.

— И-и, вон куды! Токо завтра, милые, ветерок с Чумека может ударить. На рожон-то не суйтесь.

— Какой же ветер?— изумляемся мы.— Смотрите, какая благодать.

— То-то и оно-то,— бабка Луша загадочно и хитровато прищурила глаза.— От нашего ягненочка в любую пору подвоха жди!— и она размашисто зашагала с крутояра к каменистому берегу, подарив нам для расшифровки свои намеки и недомолвки о здешней природе. В нашем воображении еще более сгустилась дымка таинственности Маркаколя.

У причала уже колдует над мотором лесничий Александр Аполосович Чураков, высокий сухощавый мужчина средних лет, в шапке-ушанке и меховой куртке с брезентовым покроем. Протерев очки и окинув нас изучающим взглядом, он замечает:

— Набросьте на себя что-нибудь потеплее: на ходу просквозит.

С лесничим лесхоза я встречался не однажды, но все как-то не мог уловить его характера. Бывают люди, у которых вся натура как на ладони. А есть и другой сорт людей, не то чтобы скрытных, но многогранных, у которых каждая черточка характера как бы спрятана за семью замками. Чураков и относится к этому последнему разряду натур.

Мелкие черты лица его, сухощавость никак не вяжутся с должностью лесничего, с жителем таежного уголка.

По внешности он скорее напоминает усидчивого конторского работника. Первый раз я его и увидел в конторе лесхоза за счетами и арифмометром. Глядел на его бледное очкастое лицо и никак не мог уловить в нем ни мужской решимости, ни волевой струнки.

Но затем я послушал отзывы о нем работников лесхоза — и руками развел.

— Крутоват. Ох и крутоват!..

— Кипятной и дымливый... Чуть что, так врежет — три дня затылок чесать будешь.

Послушал — и не поверил: наговоры. Беседовал потом часто с ним и еще больше укрепился в первом своем впечатлении: мягок, эмоционален, но не злобив. Он показывал свои этюды, написанные маслом, неудовлетворенно вздыхал: не то, не уловил, мол, настроения в пейзаже.

Артистичность проявляется у Чуракова во всем. Есть у него магнитофонная запись токования глухаря — одни щелчки и скрип,— а он сидит, слушает тетеревиную песнь и с восхищением восклицает: «Какая музыка жизни — прелесть!»

И вот с таким-то бухгалтером, чувствительным артистом нам и предстояло путешествовать по озеру, да еще после такого загадочного предупреждения бабки Луши. Гляжу я на бзмятежное лицо Чуракова, на его тонкие пальцы рук, и в сердце закрадывается смутная тревога...

Через четверть часа мы выходим на водный простор. Бледно-голубая гладь озера расчерчена синими вихрями и перистыми полосами — точно летела над водой гигантская птица и оставила на ней след от взмаха крыльев. А пристально вглядишься в прозрачную, сине-зеленую глубину водоема — и приметишь, как тихо колышутся там длинные гирлянды зеленых и коричневых водорослей...

На ночлег решаем устроиться в устье Тополевки. В озеро впадает 27 речек, но эта самая большая, представляющая главное нерестилище ускуча и царственного хариуса.

Едва успели разбить палатку и сварить уху, как сгустилась студеная сентябрьская сумеречь.

Сыпучий Млечный Путь, голубым газовым шарфом упавший в Маркаколь, рассек его на две черные краюхи. Над головой жестко шуршат, точно стружки, сухие березовые листья. Чураков с увлечением рассказывает

об озере такие подробности, будто живет здесь с детских лет, хотя приехал сюда лет пять назад.

Озеро, оказывается, возникло сравнительно недавно, где-то в межледниковую эпоху. Речной ленок (ускуч), как бы пойманный здесь в ловушку, сильно изменился, Совершенно другую форму приняли его плавники, голова. Некогда хищная пасть приобрела более миролюбивый вид, и к столу бывшего речного обитателя попадают теперь не столько пескари и другая мелкая рыбешка, сколько всевозможные личинки, насекомые и особенно бокоплавы. Ленок выделился в особую расу, стал эндемиком — единственным в мире подвидом рыбы.

— Лет пятнадцать-двадцать назад,— говорит лесничий,— ускуча в озере было в десять раз больше. Во время нереста протоки Тополевки нельзя было переехать на коне: рыба шла плотом. Ускучи нередко достигали 10—12 килограммов, а теперь если попадется на четыре килограмма — это уже рекорд.

— А почему такое случилось?

— Так браконьеры ведь каждую весну перегораживают протоки, хапают крупного ускуча, а икра и молодь гибнут. Вид постепенно мельчает. А тут еще другая беда крадется. Лес по речкам вырубили. Обратили внимание на Урунхайку? Только пни торчат по берегам. За полвека уровень озера пал на полтора метра... В общем, Маркаколь под угрозой гибели.

Потом уже мы узнали, что жители Урунхайки били тревогу, писали письма по многим инстанциям, и воз с места тронулся. В газетах появились проблемные статьи об уникальном водоеме. На озере побывала научная экспедиция, определила границы заповедника. Государство взяло Маркаколь под свою строгую охрану.

Просыпаемся рано утром от холода. Трава, опавшие листья, палатка подернуты инеем. Мы с Николаем Петровичем позевываем спросонья, беспечно переговариваемся, приглядываемся к сушняку, чтобы развести костерок. Аполосович бросает в нашу сторону недовольный взгляд и предупредительно поднимает вверх палец правой руки:

— Тише. Бросьте свои дрова! С этим успеем. Смотрите, слушайте сейчас красоту!..

Мы сконфуженно умолкаем. Окидываем взглядом зеленые, синие и голубые горы, бирюзовую воду. В мире загорается новый день. Солнца еще нет, но небо уже расцвечено его лучами. Тишина, девственный покой. Блек-

лое озеро в легких струйках пара. Прочерк высоких хребтов с зелеными проплешинами косогоров и черным частоколом пихтачей очень четок.

И вот из-за щетинистой вершины вырывается сноп солнечных брызг, и все разом утопает в золотом настое утра. Точно проснувшись, взволновался поголубевший Маркаколь, побежала по нему косматая поземка тумана, вздохнули у берегов волны, закричали чайки, застонали от восторга взлетевшие мартыны.

Мы, словно завороженные, молчим. Разговором только спугнешь открывшееся чудо.

Через час направляемся вдоль реки вверх. Под ногами что-то лопается и похрустывает. Это мы нечаянно наступаем на скрытые под листвой грибы — сыроежки, подберезовики, грузди. Опять становится тихо. Всплеснется в омуте пескарь — и звук этот слышен за сотни метров.

Солнце мощным огнем продирается сквозь березовую чащу, отражаясь в воде ослепительным сгустком. Сияет разом два солнца, только то, что в омуте, светится мощнее и яростнее.

Речка заводью уходит вправо и скрывается в высоком осочнике. Мы идем через березовый колок, наперерез этой излучине, туда, где раздается звон шиверков Тополевки. Первые хрустальные струйки ее цедятся с ноздреватых кромок ледников грозного Курчумского хребта, а потом она шаловливым зверьком скачет по синеватым камням глубокого ущелья, азартно точит базальтовые валуны, швыряет голубые горошины брызг в черные лапы кедрачей, лихо ныряет с уступов в зеленые омуты, взбивая горки хрупкой пивной пены. За пять километров до устья, вырвавшись на раздольные луга, река рассекается на множество проточек и, прикрытая ивняком, тополями, лиственницами, катится все тише и покойнее к заросшему осокой озерному берегу.

Вот и первый шивер. А ниже — глубокая яма.

— Осторожно,— подает команду Чураков.— Не спугните рыбу. Подходите к смородиновому кусту и глядите вниз.

Сердце тотчас: тук, тук. В прозрачной воде хорошо видны темные, словно просмоленные, спины больших ускучей. Бока у них салатные, осыпанные зеленоватыми родинками. Чуть в сторонке, где над водой желтеют редкие листья старой березы, курсирует стая хариусов. Загривки у них синеватые, с крупными радужными плав-

никами. Брось на воду «мушку»— поклевка будет взрывная, как удар электротока.

— А что здесь творится весной!— глаза нашего проводника пыхают огоньками восторга.— Рыба кишит в каждом омутке и чумеет от свадеб. В других краях речки весной мутные и нерест скрыт от глаз, а тут все видно, как в аквариуме. Сиди, наблюдай, упивайся игрой природы.

Весь день наша лодка «казанка» полосует синюю стынь озера, пролетает мимо покосных лугов, зеленых и чистеньких от поздней отавы, мимо остроконечных прибрежных пихтачей — вольного хвойного царства соболей, рысей, медведей, диких маралов, козлов, патриарха сибирских таежных урем — глухаря.

У истока Кальджира, единственной речки, вытекающей из Маркаколя, нас застает вечер. Ничто не внушает беспокойства. Догорающая заря расписным палевым полушалком выстилается по светящейся фосфором воде. Впрочем, это будто вовсе и не вода, а остывающий расплав металла. Природа замерла, остановилась. Быть может, перед новым явлением, перед каким-нибудь взрывом? Уж не это ли предвестие бури имела в виду бабка Луша?

Беспечно отплываем от берега. Держим путь на Урунхайку, до которой отсюда без малого полсотни километров.

И вдруг... Да, именно вдруг. Шквал ветра обрушивается на нас откуда-то сверху, точно из гигантской трубы. Маркаколь тяжело ухнул, зашумел, вздыбился волнами. И началось!..

— Не повернуть ли нам назад?

— Поздно!— резко произносит Чураков.— Волна идет вдоль озера, прямо на нас. Чуть разверни лодку — и ее опрокинет. Теперь только вперед. Держитесь!

Лесник как-то весь преобразился. Его не узнать. Властный голос звенит. В движениях, во всем силуэте фигуры чувствуется воля. Куда девался бледнолицый художник, худощавенький бухгалтер! Его нет. У рулевого управления сидит совсем другой человек, такой же ярый и сильный, как взбунтовавшийся Марка. Сошлись, выходит, характером...

Штормовая ночь поглотила все окрестные предметы. Лишь справа мигают две-три оранжевые лампочки Матобая, да слева, километрах в десяти, на мгновение всплывают звездным гнездом огни Верхней Еловки.

Смотреть вперед жутковато. Волна идет на нас черной птицей, сперва маленькая, потом вытягивается до размаха орлиных крыльев и все ширится, растет, и, наконец, закрыв собой горизонт, рушится на нас темной массой. Черные крылья мгновенно превращаются в белые, лодку с шипящим треском осыпают гроздья крупных брызг.

Всю предыдущую ночь Аполосович не спал, тушил возникший в лесу очаг пожара, и ему трудно вести лодку. Он беспрерывно курит. Пачка сигарет у меня, и как только он бросит окурок, я укрываюсь с головой плащом и чиркаю спичкой. Держась за борт, подаю ему горящую сигарету.

А волны становятся все мощнее. Грозный ритм набирает силу. Черные крылья — и лодку вздымает вверх. Белые крылья, шипящий треск брызг — и мы проваливаемся куда-то вниз...

Кончается третья пачка сигарет, а береговые огни почти стоят на месте. Наконец впереди мутным созвездием обозначается Урунхайка.

— Только бы хватило бензина!— говорит капитан нашего суденышка.

— Может, свернем чуть влево, к Тополевке,— малодушно предлагаю я.— Там и заночуем.

— Выбора нет!— в голосе капитана раздражение.— Курс один — Урунхайка. Сигарету!

И вот затухает волна. Близок залив. Электрические огни рядом. Все. Пронесло.

У самого берега мотор чихнул и захлебнулся. Иссякло горючее...

На чистом угоре качнулся человеческий силуэт. Послышался недовольный голос бабки Луши.

— Ну, окаянные неслухи! Да рази можно в таку непогодь в море кидаться? Вся душа извелась...

Старуха, оказывается, несла пост на берегу, ждала возвращения шальных путешественников.

...А утром мы опять выходим к брегу, поднимаемся на мыс.

Маркаколь снова дышит прежней кротостью, величавостью, сияет поднебесной синевой.

Да, озеро — диво дивное. Но диво и сам человек, умеющий ценить и понимать земную красоту. Но только ли красоту? Поднимитесь на Мраморный перевал — и вы увидите внизу белые горы. Это огромные дюны пустыни. Маркаколь, как печная заслонка, прикрывает собой

жар барханного спрута, охраняет лесную страну от мертвых песков.

Мир тебе, голубое чудо Алтая!

ПЕРВЫЙ СНЕЖОК

Высокие ели урочища облеплены первым снежком. Стоит удивительная тишина. Все вокруг точно пытается понять, что же произошло в природе, почему так яростно засеребрился подлунный мир.

Первозданно белый снег еще непривычен для глаз, и, быть может, поэтому воспринимаешь его всем существом, с пронзительной ясностью. Голые стволы берез на фоне пороши кажутся еще ослепительнее и нежнее. Освещенные солнцем контуры их стволов сияют и светятся.

Направляюсь берегом шумливой речки вверх. Влажная кухта мягко и сочно похрустывает под ногами. Приглушенно шуршат волглые теперь палые листья. Дышится легко. Явственно пахнет снегом. Только запах первой пороши и улавливаем мы. Потом обоняние притупляется, и запах снега начисто пропадает для нас.

А сейчас я наслаждаюсь ароматом пороши. В его букете выделяется острый дух пресной влаги и озонированного дождя.

ЛЮБОПЫТСТВО

Идешь на лыжах по сыпучему снегу, смотришь на притихший лес, стараясь постигнуть тайны его жизни, и вдруг начинаешь примечать все интересное и забавное. Вот стоит аккуратненькая елочка. Она — тихоня, трусиха. И растет-то, наверно, не очень прытко. А вон ломится к небу, таращась по сторонам лохматыми загребущими ветвями, могучая пихта. Одна ветка на ее вершине выбросилась в сторону и точно кричит: «Ура, мне виден лес, мне видно все!»

Я присел отдохнуть на валежину. Меж сизых стволов прострочены белками знаки равенства. Оставил у талинки голубые «ухватики» заяц. Над парным незамерзшим омутом речки склонилась коромыслом рябина. То ли сама хотела посмотреться в зеркало воды, то ли стайка серебристых мальков привлекла ее внимание. Обкрошенная гроздь с двумя алыми бусинками висит над

самыми струями, и рыбешки нет-нет да и ткнутся носом в том месте, где маячит яркий «мотылек».

Залюбовался, не заметил, как пожаловала ко мне по колодине белка. Смотрю на нее прищуренными глазами, и она глядит на меня двумя черничными ягодками. Пританцовывая, цокнула языком. Подумала, видно, что перед ней пень, и подбежала еще ближе. Тут я, наверное, моргнул — гостья вздрогнула и отскочила назад метра на два. Обернулась, сжалась в голубой комочек и замерла. Только пушистый хвост ее, поднятый вверх, слегка колышется.

Переждав минут пять, снова начала подвигаться ко мне. Что же ее привлекало? Может быть, острый запах хлебной краюхи, укрытой за пазухой?

Вот она у самой варежки, вот уже на руке... Одного я боялся: прыгнет, думаю, на плечо, примет ухо за грибок и тяпнет его острыми зубами.

И прыгнула-таки! Я невольно вскрикнул. Белка тоже с перепугу запищала. С плеча ее — как ветром сдуло! Добежала до средины валежины и оглянулась. Любопытство и на этот раз победило страх. Убедилась еще раз, что за существо перед ней, и уж тогда молнией взлетела на пихту.

Я оставил на лесине кусок хлеба и ушел. Неуютно, жутковато одному в лесу. Но я все шагал и шагал в неизведанные чащи тайги, влекомый все тем же любопытством.

Любопытство и страх живут рядом — в вечном союзе и споре.

СКАЗКИ ЗИМНЕГО ЛЕСА

Есть ли что-нибудь в природе более чистое и пышное, более роскошное и фантастическое, чем зимний лес? Нет, только здесь, в серебряном царстве чащоб, в целомудренном море снегов, можно встретить такое разнообразие причудливых картин, такую затейливую игру голубых теней и такую россыпь драгоценных алмазов и жемчугов.

Вы входите в притихший лес, как в храм, как в страну волшебства. Все в ослепительно белой парче — и остроконечные ели, и ажурные березы, и кусты калины. В узорной кипени деревьев хрупкость и легкость. Кажет-

ся, взмахни рукой — и вся эта белопенная вязь инея рухнет, испарится, как туман.

Нет, если идти, уткнувшись в лыжи и думать лишь о своих личных житейских делах, ничего, кроме обыкновенных снежных сугробов, и не приметишь. А вы остановитесь и окиньте взглядом вокруг себя. И не надо ничего додумывать, не нужно фантазировать. Сказки зимнего леса откроются сами собой.

По откосу в овраг скатываются снежные комья, подпрыгивают, мельтешат — будто это удирают от вас напуганные ласки и горностаи.

Что ни поворот, то новые чудеса. Вот из-под мохнатых лап старой пихтины выглядывает хитроватый леший, а там вон остановилась в раздумье Снегурочка. Ей, видно, взгрустнулось: солнце клонится к весне. Скоро отгуляет она по долам да взгорьям, разольется вешними ключами, рассыплется по полянам подснежниками, огоньками, незабудками...

Вот откуда и пошли народные сказки. Отсюда, из зимнего леса. И леший отсюда, и Дед Мороз, и чертики, и Змей Горыныч. Зима научила нас лепить, ваять, фантазировать. Тончайшая вязь куржака показала, какие надо расшивать кружевницам узоры...

Словом, все от нее, от природы. Она самый первый творец и художник.

СТУЖА ВЯЖЕТ ИНЕЙ

На буйном стрежне времени, когда студеная зимняя волна схлестывается с весенней, теплой и напористой, все вокруг становится летучим, изменчивым. Сколько неожиданных картин возникает в эту чудную пору, какая волшебная игра света и красок затевается по утрам у парных промоин речек и в густых лесных уремах!

Встаю рано и спешу за околицу села Бутаково: ясное, бодрящее утро предвещает необычную, богатую на впечатления прогулку.

И вот я на снежной целине. Слабый наст хрупок. Сахаристая корка его ломается под лыжами с жестяным хрустом, а нижний рыхлый снег, будто от боли, отзывается звонким взвизгом.

Ближний сосновый бор у речки, черные игольчатые пихтачи в глубоких лощинах еще погружены в иссиня-бурый сумрак, а невидимое солнце уже размашисто поджигает вершины хребтов мазками киновари и кадмия

лимонного, очерчивает окоемы западных кряжей пепельно-синей обводкой. Вскипевшие на макушках гребней огненные сполохи, ширясь и набирая силу, плывут по крутым скатам ярой пожарной лавиной и только где-то у подножия гор глохнут, истаивают в холодный блеск...

А вот и солнце. Добела раскаленное, оно окутывает в сияющую мглу восток. Кажется, что там, под мощным светилом, хлынул вдруг и застыл в воздухе мелкий золотой дождик.

Зачарованно гляжу вокруг. Длинные тени от деревьев сине-голубые — намного сочнее и гуще неба. Ночь была теплая, а утром изрядно подморозило. При таких температурных перепадах земля отдает испариной, и стужа ткет на кустах белые узоры. Куржак возникает, проклевывается, растет, ворсится прямо на моих глазах. Влага и мороз вяжут его сначала у комлей деревьев, затем набрасывают пышные кружева на самые нижние ветки и устремляются вверх. Но кружевницы зимы не успели обрядить деревья до вершин. Дохнувшее тепло растопило пряжу, и верхняя половина берез и сосен осталась нетронутой. Зато нижняя их часть опушена седой чешуей густо и щедро. Кажется, что ночью кусты окунулись по пояс в воду, вышли мокрые на бережок да оттого и подернулись до середки белой льдистой пеной.

Полая ото льда Ульба, разморившись в теплых лучах, дохнула паром. Над кипятком шиверов летучие космы тумана мечутся неистово, сшибаются, клубятся, исчезают. Над плесами тянутся белесые шлейфы, которые нет-нет да и выползут на берег, оплетут озябшие зеленоватые ноги осин, перехватят, точно обручем, черно-синий пихтовый колок, оранжево-багряные космы краснотала, похожие на языки бездымного пламени.

А солнце распаляется все мощнее и ярче. Угольным жаром млеют стволы старых кряжистых сосен, звездными искрами вспыхивает на полянах ослепительный снег, и весь восток полыхает, горит в каком-то живом серебряном сиянии, лучисто светится, поет гимн возбужденному и ликующему миру.

И вдруг, на самой высокой ноте, утренняя песня как бы обрывается. Природа точно устает и решает отдохнуть. Краски блекнут...

Черемуховым цвеом сыпанул с веток подтаявший чешуйчатый куржак, и вмиг деревья оголились. Сказка исчезла, растаяла вместе с неповторимыми волшебными красками, улетучилась.

ЗЕЛЕНЫЕ ВЬЮГИ АЛТАЯ

У весны особый аромат. Если осенью природа увядает, а зимой как бы дремлет, отдыхает, то в марте, и особенно в апреле, она вскипает всеми своими животворными силами, гремит вешними потоками, поет птичьими голосами, ликует в их звонких песнях, захлебывается от восторга, радуясь новому всплеску жизни.

И почти все эти таинства обновления совершает апрель. Недаром в народе его зовут снегогоном, водолеем, цветенем.

В зимнюю пору всех больше боится стужи черемуха. Тонкие черемушинки, облепленные снегом, низко кланяются Деду Морозу, точно просят у него пощады. А теперь они освобождаются от белых шуб, распрямляются, устремляясь к солнцу. В мае, будто в память о снежной одежке, кусты черемухи покроются серебряным инеем буйного цветения.

Что ни день, то новые перемены в апреле. Посмотрите — еще вчера пламенели на рябинах алые гроздья ягод, а сегодня нет ни одной рубиновой бусинки: оттаяли плоды, и дрозды устроили пир, оголили кусты за один присест. Ягод уже нет, а дрозды по привычке льнут к рябинам, обследуют снова и снова опустевшие кисточки.

— Згинь, згинь,— точно подает команду всему зимнему большая синица.

И ускоряет шаги весна, идет по полям и лесам, гонит стужу на север, птиц в родные края зазывает. Прилетели белые чайки, трясогузки, заворковали в березняке косачи, закружились, заметались на первых полянах глухари.

Каждый ивовый куст будто заклубился роем золотых шмелей, дохнул настоем душистого меда, и голубые жилы рек и ключей засветились по краям желтыми оторочками вербного разгулья.

Заработали древесные «насосы», встрепенулись, взбухли от сока на ветвях гроздья почек. Стукнет дятел по березе, а в глаза ему — пахучие, бражные брызги. Попробует он соковицу и заорет на весь лес: «При-и-я-ятно!» Побегут по белой березовой груди янтарные струйки, потянутся к хмельной поживе муравьи...

Хороша, будоражна весна всюду — и в Илийской долине, и в прибрежных чащах Урала. Но в малоснежных степях и перелесках приход ее слегка стушеван. Солнце еще не так сильно греет, а земля уже всюду

видна, буреет прошлогодней прелой травой. И только потом, через несколько дней, когда проклюнется на полянах зеленка, природа дохнет всею мощью своего обновления.

А в горах Алтая, где снега глубоки, все не так. Тут весна внезапна, как удар, как первый гром. Уже и солнце палит по-летнему, а горы все еще спят под ослепительным настом. Люди с нетерпением ждут земли. Мутнеют от паводков реки, лопаются на деревьях почки, а земли все нет и нет. Проглядели глаза мальчишки...

Но вот наконец и она! На солнцепеке — крохотный, единственный пятачок земли.

— Ура!— восторженно кричат ребятишки и, сломя голову мчатся на гору, проваливаются в снег, падают, ползут на четвереньках. Прыгнув на разогретую влажную землю, смельчаки радостно визжат и топают ногами. А полянка-то не черна и не устлана бурой листвой — вся горит, полыхает буйным цветом подснежников.

А вон и вторая поляна, третья! И пошло, взбудоражилось все, загудело: истосковалась земля по свету, мечет фонтаны зелени и цветов, точно озорная волшебница; и нельзя удержать, остановить напора трав, пронзают они и ледяной наст подпалыми наконечниками кандыка, и вот уже колышутся, красуются над снегом нежнейшие лепестки алых, розовых, голубых цветов, охватывают пожаром один белый косогор за другим...

В этом горном чуде есть что-то от первой любви. Ее также долго ждешь, и всегда она вспыхивает внезапно, как радуга, как молния.

Нет, я люблю и тихое, величавое цветение степи в апреле, но зеленые, огненные вьюги алтайской весны и волнуют меня, и пьянят пуще всего на свете.

ХРУСТАЛЬНЫЕ КАПЛИ

Белесые нити дождя с мягким шумом прошивают ветви пихт, с хрустом ломаются о голые стволы осин. С крыши текут ручьи, которые внизу, под окнами, падая в лужи, булькают и точно причмокивают от удовольствия губами.

Спорый дождик идет уже третьи сутки. Нам, отпускникам, живущим в Лениногорском доме отдыха, дождь

осточертел, а темно-зеленым пихтам — хоть бы что. Хлещут по лапам пихты водяные струи, а ветви только упруго покачиваются, встряхиваются и, умытые, делаются еще пышнее, красивее и еще больше радуются и хмурым тучам и влаге.

По веткам осин, алмазно поблескивая, скатываются крупные капли воды. Они то задерживаются на кончиках сучков, то снова падают вниз, ударяются о прутья и, невредимые, отлетают в сторону хрустальными горошинами.

Такие же дождевые горошины скользят и по мягким иглам пихт. Скользят, прыгают, не меняя своей формы. Кажется, что это срываются вниз не капли влаги, а мелкие прозрачные катышки града.

Как много таинств, как много скрытой красоты у природы!

В ЭТОМ ВЕСЕННЕМ ВОСКРЕСШЕМ МИРЕ...

Разморенный тихим и ласковым весенним утром не спеша иду берегом Тополевки вверх, минуя заросли кустарников и густого молодого березняка. Вокруг меня весело сияет, точно улыбаясь, венец ясных ледниковых вершин Курчумского хребта. Солнце обливает землю тем нежным и в то же время щедрым теплом, какое и пробуждает, будоражит в земле все ее жизненные соки, вздувает почки на деревьях, гонит вешние потоки по всем логам.

От Маркаколя я удалился изрядно — километров пять. Озера не видно из-за темного, как крыло ворона, гребешка хвойного леса. Сочно пламенеют еще голые, но уже омытые весной ветви берез, то там, то здесь в низинах ржавую корку прошлогодней листвы пробивают медные стрелки кандыка и марьиных кореньев, а на южных припеках уже вовсю буйствуют белые и желтенькие подснежники. Откуда-то сверху доносятся звонкие и чистые звуки — будто динамик стократно усиливает воркотню родников. Это доигрывают последние свадьбы тетерева.

Миную излучину Тополевки и натыкаюсь на миниатюрный плесик небольшого ручья, впадающего в реку. В прозрачном омутке стоят десятки ускучей и хариусов. Они хорошо выделяются на серовато-палевом песчаном

донышке, особенно крупные ускучи. Сразу видно, где самки, а где самцы. У самца спина очень темная, бока посветлее, с россыпью темно-зеленых горошин. У самки бока салатные, будто выцветшие, и вся она какая-то томная, малоподвижная.

Хариусы проявляют больше прыти, они почти все время двигаются. Одна пара останавливается совсем рядом, ясно вижу напряженно вздыбленные радужные плавники с розовыми и голубоватыми пятнами. Цвет плавников постоянно, вероятно, в зависимости от освещения, меняется, розовые пятнышки превращаются в фиолетовые, а голубые — в зеленые.

Рыбки будто выполняют фигуры высшего пилотажа, делают «мертвые петли», приветствуют друг друга плавниками, сближаются, и иные из хариусов, оглушенные истомой, замирают, и течение сносит их на несколько метров вниз...

И здесь, в голубой стихии воды, вместе с серебряным плеском струй самозабвенно играет в весеннем разгулье вечно обновляющаяся жизнь...

Через некоторое время спускаюсь к Тополевке и медленно иду берегом, пристально вглядываясь в воду в надежде увидеть еще что-нибудь любопытное, новое. Ожидание не обманывает меня.

В неглубокой ямке, у светло-охристого камня, замечаю ускуча и ускучиху. Они спокойно, даже несколько лениво курсируют вокруг, повиливая оранжевыми хвостами. Но вот к ним подлетает на всех парах еще один ускучонок.

Эх, что тут вдруг происходит! Хозяин уединенного уголка встречает незваного гостя в штыки, нанеся ему молниеносный удар в бок. Завязывается яростная схватка, своеобразная дуэль без секундантов.

Правда, у новичка духу хватает ненадолго. Почуяв могучую силу противника, он скрывается в бирюзовых волнах реки. Но через минуту побежденный снова храбро показывается у желтого валуна.

Бой закипает с новой силой. И опять пришелец, несолоно хлебавши, удирает восвояси. Однако опыт не проходит даром, теперь он принимает другую тактику. Победителю это не видно, зато я с высокого яра все замечаю. Ниже по течению, метрах в десяти от места битвы, громоздится у берега синеватый кремниевый валун. Его-то и выбирает для укрытия молодой ускуч. Наблюдательный пункт очень удобен. За ним кружит

ноздреватую пену тихая заводь, в ней можно отдохнуть, сил набраться.

Минут через пять юный соперник показывает из-за валуна свою хищную головку. Еще не уплыл! Какая досада! Что ж, не к спеху, можно подождать.

Такой маневр он повторяет несколько раз, пока, наконец, не замечает, что «дама» покинута. Тут уж он подлетает к ней без опаски, и та встречает его, к моему изумлению, довольно миролюбиво, даже подставляет ему белое брюхо, чтобы он почесал его, словно и не было у нее более старшего друга. У рыб, выходит, дружба очень коротка.

Два существа направляются вверх. Плывут бок о бок, не спеша. Я с восхищением наблюдаю за ними, пока они не скрываются в белопенной кипени шивера.

Сегодня я не могу думать о рыбалке. Присаживаюсь у бревенчатой охотничьей избушки и достаю из рюкзака на ужин... свиную тушенку.

ИЮНЬ ПАХНЕТ ЗЕМЛЯНИКОЙ

Озорная, волшебная и сочная кисть у июня, у этого удалого и неистощимого на выдумки художника. Еще недавно осыпали землю серебряным куржаком фруктовые сады, синими слезами дрожали лепестки медуницы, в снежно-белых соцветиях утопали зеленые узорные кроны рябины, вспыхивали светлыми капельками ландыши... Казалось, более роскошных картин и невозможно сотворить. Но нет, это были только эскизы. Живописец как бы пробовал кисти. В мелких мазках еще не было настоящего размаха и смелости мастера.

И вот — пора зрелости. Июнь точно поджигает долины и горы. Розовым утром занимается над миром румянец года. Художник в творческом ударе. Ему уже не до мелочей. Что ни мазок — то крупный образ. Июню не жалко белил на воспетую в песнях калину, один удар — и стоит она, матушка, словно боярыня, вся в песцовом меху. Еще мазок, еще... И вот заплескались на прибрежных полянах, у обочин дорог озерки синяка. И пошла гулять, резвиться кисть. Заколыхалось ржаное поле, стеною встали на горных увалах богатырские травы. И вздымаются все выше и выше, будто джунгли. Не продерешься. Поедешь на коне — и все равно белые зонтики дягиля да борщевика бьют тебя по голове.

Хорошо июньским утром в лесу. Выберешься воскресным днем из города — и не пожалеешь. Досыта напоит тебя лето эликсиром жизни.

Много прелестей у июня, но одна его особенность несравнима ни с чем. Это аромат земляники. Почему именно земляника врезается в память больше всего? Отчего лишь одно упоминание о ней радостно тревожит и волнует нас? Не знаю. То ли неповторимый запах ее привораживает, то ли нежность и хрупкость ягодок — трудно объяснить.

В прошлом году побывал я на родном Тургусуне. И кажется, открыл одну маленькую тайну этой ягоды.

Не спеша бреду по старой, густо заросшей муравой дороге. Сажусь отдохнуть на прибрежные голубоватые катыши бурной речонки Щебнюхи, с ревом несущейся из черной пихтовой пади.

И вдруг улавливаю терпкий, до боли знакомый запах. Провожу рукой по росистой траве, и в глаза брызжет рубиновым светом земляника. Смотрю на веселые, алые ягоды, а у самого кругом идет голова: детством повеяло от лесного июньского чуда. Именно она, земляника,— самое любимое и самое первое лакомство детворы в летнюю пору.

Помню, первый раз увидел ее в лесу лет шести. Шли мы с отцом по Чертовой тропе на пасеку в Развилы, к самым дальним медоносным угодьям Тургусуна. Вышли к протоке. Я как ступил на тонкую травку, так и замер: вся она глядела на меня, тянулась ко мне румянистыми сосками. У иных ягодок еще один бок бледно-зелен, а другой лишь чуточку опален. Но другие ягоды спелым-спелы, с ярко-бордовыми подпеками на открытых боках.

— Ешь,— говорит отец,— чего рот раскрыл? Это ж земляничка!

Срывал я пахучую ягоду обеими руками и, уплетая ее, то и дело вскрикивал, ахал, причмокивал губами от блаженства. Весь испачкался и счастливо смеялся.

Мы ходили потом в березняки за этой ягодой с маленькими берестяными паевками. Наполняли кузовки до ободка и накрывали алую россыпь бархатным листом. Шли домой и все открывали кузовки и глубоко вдыхали в себя лесную духовитость земляники. Дома мать вываливала ягоду в большую чашку, наливала туда свежего молока, и наши деревянные ложки начинали греметь, ударяясь в края семейной столовой посудины...

Нескончаемо пышен июнь-разноцвет. В нем, как в

зеркале, отражена вся земная благодать. Вот вы останавливаетесь у лесного родника и оглядываетесь вокруг. На песчаном донце пульсируют хрустальные струи воды, над которыми склоняются большие и длинные листья девясила. Затененный берег ключа сыр, и от него несет грибным духом, а весь южный песчано-каменистый скат усыпан пунцовыми дольками земляники. Наиболее крупные румяные плодики, отяжелев от сока, припадают острыми носиками к зеленым ладошкам подорожника — так и просятся в рот.

А вверху, над вашей головой, неистово мечет в небо лилово-красные языки иван-чай, вздымают почти на четырехметровую высоту зелено-желтые парашюты медвежьи пучки. Над разнотравьем вьются пчелы. Побегает пчелка по цветам, напьется нектара, оденет на ноги золотые туфельки из липкой пыльцы и тяжело полетит к пасеке.

Удивительной свежестью, торжеством жизни веет от всего. Смотришь на лес, любуешься могучим девственным травостоем, ключевою водой, рубиновыми огоньками земляники и вдруг представишь себе мертвые долины луны, пыльные пустыни Марса, и покажется тебе родная планета редкостным дивом Вселенной.

СВИДАНИЕ С ЛЕСОМ

Свидание с лесом — всегда радость. Тайга живет, изменяется и каждый раз встречает нас неповторимо новым ароматом.

Лет семь не был я в Банном урочище, и все здесь переменилось. Еще выше поднялись на старых вырубках осинник и молодой пихтач. Заброшенная дорога заросла густой и пышной муравой. Обмелевшая за лето речушка едва побулькивает в камнях. Продираюсь сквозь кустарник к берегу, чтобы напиться. Небольшой омуток зарос мятой и кустами черной смородины. Не могу удержаться и срываю несколько мягких стебельков мяты. Терпкий приятный запах листочков заставляет вспомнить детство...

Пасека. Раскрытый улей. Старый пчеловод держит одной рукой рамку, а другой сметает мятной метелочкой темных пчелок. Вся рамка закрыта белой восковой коркой и сквозь нее просвечивает янтарный мед.

Потом мы идем под навес. Я беру из горячей воды

нож и осторожно снимаю с сотов сдобную корку. Часть срезок, похожих на белые блинчики, бросаю в деревянное корытце, а часть (самых аппетитных) — отправляю в рот. Горячий мед и воск пахнут душистой мятой. Видно, и пчелы любят этот запах. Когда их сметаешь с рамок пряным пучком такой травы, они ничуть не сердятся.

Склоняюсь над омутком. В прозрачных струях слюдяными чешуйками мельтешат опавшие лепестки поздних цветов лабазника. Пью крупными глотками. Кажется, что и студеная родниковая вода отдает смородиной, мятой и чуточку медом.

Захожу в густой хвойный гаек. Голые стволы пихт фиолетовыми колоннами подпирают зеленую крышу из ветвей. Под ногами пружинит мох. Он точно ковер, сотканный из крохотных хвоинок. Там, где стволы редеют, где больше солнца, огромными рубиновыми цветами горят кусты красной смородины, которую местные жители зовут кислицей. Урожайна в этом году кислица. Ветки с тяжелыми алыми гроздьями гнутся к земле. Подставляю берестяную паевку под куст и начинаю «цедить» в нее сочную ягоду. Минут через пятнадцать берестяная кошелка была переполнена. Закрываю ее, как в былые годы, длинными листами бархатника. А сверху, под обруч, заламываю прутики. Так ягода никогда не рассыплется.

На обратном пути останавливаюсь в лиственной роще. Тихо. Последние августовские дни на Алтае характерны частыми заморозками, а нынче природа все еще дышит жарой. И тонкий кундрачок, палевые узорные ветки папоротника, и белый частокол берез — все излучает теплую влагу. Парно, как в бане. И вдруг приходит догадка. Может, здесь всегда так бывает в знойную пору? И не от этого ли нарекли кутихинские первопоселенцы урочище Банным? Вполне возможно.

А состояние природы меж тем достигает наивысшего внутреннего напряжения. Замерли даже осины. Не шелохнется ни один багряный листок. Кажется, вот-вот прорвется всеобщий вздох, и все придет в радостно-возбужденное движение.

И перемена, действительно, наступает. Разом налетел ветер, вздрогнула листва. Из-за черной щетины горы Чебричихи выплыла зловещая туча. Клубясь и извиваясь, она закрыла через несколько минут почти весь небосвод. Потянуло осенней прохладой.

Как ни спешил я убежать от дождя — не вышло.

Дождь настигает меня на берегу речушки. Укрываюсь под пологом пихты. Над головой шумят водяные струи, а на западе, в узкой прорехе, полыхает заря. Дождевые струи, обданные пламенем заката, кажутся огненными. Ударяясь о камни, они лопаются, словно снаряды, и весь берег речки пляшет, бушует от этих багровых взрывов.

АВГУСТОВСКИЙ РАССВЕТ

Мне надо было попасть на лесной кордон к семи часам утра. В четыре я уже отправился по сонной улице Кутихи к ферме, чтобы вместе с доярками доехать до Погорельского моста и вдвое сократить свой пеший путь.

То там, то здесь подают протяжные голоса петухи. Где-то лениво тявкает собака. Кажется, умаялись за ночь и звезды, слабеет их мерцание, глохнет их огонь. Неохотно переговариваются доярки в кузове обслужки.

— Настя пришла?

— Вон идет. Давай руку, Наська.

— Тогда все в сборе. Поехали!

Машина прыгает на ухабах. Клубится пыль. Едем таким манером минут двадцать, почти ничего не замечая вокруг.

У моста я оставляю обслужку и направляюсь по неторной дороге вдоль речки Кутихи, тихо бегущей под зеленой шубой тальника. Как хорошо без тарахтящего моторного транспорта! Ты один с глазу на глаз с лесной дорогой. Восприятие обостренное, взгляд приметлив.

Утро на редкость тихое и необычно теплое для затянувшейся ненастной погоды августа. Споро выполаскивается рассветная синева, но земля еще нежится в ночной дреме. В движение приходит лишь узкая долина речушки. От заберегов Кутихи, клубясь, извиваясь, закручиваясь в жгуты, бегут к горушке отбеленные космы испарины. Ползет и у самых моих ног тонкая струйка водяной пыли. В трех шагах от меня, у обочины дороги, живая тесемка натыкается на толстую изумрудную ножку дягиля, опоясывает ее, будто лентой, и тянется дальше вверх по крутому логу, минует осиновый пенек, усыпанный белыми и алыми шляпками грибов, поднимается на сургучно-рыжую каменную глыбу и запутывается затем в длинных гроздьях зеленой листвы старой березы.

Вся долина точно струится парным молоком, дышит умиротворением, нежной истомой. Земля только проснулась, только слегка открыла глаза и, улыбаясь, как мать, с любовью глядит на сотворенный ею зеленый мир.

В вышине, встретив полное безветрие, пряди тумана редеют, стушевываются, и вершины окружающих меня гор, сплошь поросших березняком и осинником, постепенно заволакивает ровная синеватая пелена.

Воздух чист и душист. Сладостью горячего солода отдает темно-палевая полоска поспевающего ячменя, разомлевшего от дождей и росы. Терпко пахнет переспелая малина. Густой медвяный аромат источают яичные желтки омика, сиреневые брызги кашки, озерные росплески синяка и васильков.

Идти легко, однако ноги не спешат: видно, невольно поддаются плавному, замедленному течению жизни, кроткому состоянию природы, пробуждающейся в таинственной и торжественной тишине.

Даже птицы молчат. Лишь одна легкомысленная перепелка нет-нет да и прокричит заполошно: «Пять подвод, пять подвод!» И все опять как бы впадает в забытье. Снова царит покой и безмолвие.

Где-то за грядой графитовых наконечников пихтача незаметно восходит солнце, и дымка туманца, пронизанная его лучами, слегка подергивается бронзой, а потом, вбирая в себя все больше и больше света, мало-помалу распаляется в изжелта-лиловое зарево...

Августовское утро, обремененное плодоношением, смягченное радостью материнства, некрикливо. Оно величаво в своей могучей силе. Оно сходит на землю без эффектов. Так, не спеша, со спокойной необходимостью просыпается после крепкого сна уставший на жатве хлебороб.

АЛЫЕ КРЫЛЬЯ ПТИЦЫ

Егерская моторная лодка, скользя меж двух зеленых стен высокого камыша, разрезает аметистовую стынь одной из многочисленных озерных проток Кургальджинского заповедника. За кормой вспучивается белая крутоверть воды, плавно накатываются на тростники тяжелые блескучие волны.

Это царство пернатых, эльдорадо для многочисленных

птичьих стай. В зеленых кущах розеста, камыша, рогоза и ряски, на открытой водной глади обитает около 260 видов птиц, многие из которых — редчайшие на земле.

Солидно и важно, с чувством собственного достоинства гогочут степные гуси. Не спеша оглядываются по сторонам тугодумки утки. Но крякают они всегда неожиданно и заполошно. Сквозь тоскливые вскрики лысух и чаек вдруг прорывается испуганный и истошный визг поганки.

В короткие паузы, когда чуть притухает многоголосый гомон дичи, откуда-то, из-за дальней гряды рогоза отчетливо доносятся трубные клики лебедей, с мелодичным отзвоном.

Да вон и они. В бинокль отчетливо видны их гнутые девственно-снежные шеи, точно высеченные из чистейшего, без прожилок, белого мрамора.

За лебединой стаей, в плеске солнечных лучей, светится пурпурно-оранжевая полоска зари. На фоне зоревого отсвета еще более ясно вырисовываются благородные, ослепительные лебединые шеи.

— А где же ваши сказочные красные гуси?— одолевает нас нетерпение.

— Да здесь они,— улыбается егерь, а сам все посматривает на приближающуюся к нам алую зорьку, которая становится все ярче и светлее.— Только тревожить их нельзя. Полюбуетесь в бинокль. Да вот уже и недалече жар-птицы. Глядите,— и наш гид приглушил мотор.— Загадочная и редкая птица, что и говорить. И гордая. Побывай у гнезд — откочуют. Да и яйца вдобавок расклюют. Вот какие они нелюдимы.

— Да где же они?

— Краснокрылы и есть краснокрылы. Как маки цветут. Где на озере зоренька — там и фламинго.

Я поднимаю бинокль — и светло-кумачовая озерная полоса превращается в удивительно грациозных птиц. Красные гуси, так называют их издавна в народе, кормятся на отмели близ изумрудных вееров рогоза.

— Крупная птица,— ведет пояснения егерь.— Поболе четырех килограммов встречается. А вытянет шею, насторожится — вот красота-то!.. Далеко видать фламинго. До полутора метров в высоту достигает.

Кормится фламинго не спеша, не жадно. Гибкий, пластичный, он неторопливо переступает довольно длинными розовыми ногами, к чему-то приглядывается, а

затем плавно опускает голову под воду и ищет там добычу. Выполняет он все эти операции размеренно, ритмично, словно под замедленный вальс.

— На земле всего шесть видов красных гусей,— сообщает егерь, одновременно делая какие-то заметки в блокноте.— Живут оседло, в тропиках. Лишь обыкновенный фламинго, вот этот, наш, перелетный.

В многотысячной колонии красных гусей что-то произошло. Птицы всполошились, замельтешили. Без бинокля казалось, что стая вскипает багрово-розовой пеной.

— Не дерутся ли краснокрылые?— подаю бинокль егерю.

— Да как сказать?.. И дерутся, и не дерутся. Так, свадебные схватки у самцов. Но это скорее игры, а не потасовки,— сотрудник заповедника вскидывает перед глазами бинокль.— Более сильные краснокрылые быстро отшивают от себя слабых самцов. Вот уже и успокаиваются. Поглядите.

В самом деле, птицы угомонились и снова зашагали по воде в своем обычном ритме. Но вдруг что-то вспугивает красных гусей, и они с шумом поднимаются в воздух. Ах, какое это прекрасное зрелище — летящая стая фламинго!

Птицы летят над фосфорически-бирюзовыми плесами Тенгиза точно облако, озаренное гигантским полымем огня. Красновато-алое облако движется, мерцает, переливаясь множеством тонких оттенков пожарного сурика. Диковинное живое облако.

Утренние или вечерние зори горят над землей в хорошую погоду. Зори, сотканные из фламинго, горят в любую погоду — и в ведренный и в пасмурный день. И даже в дождик.

Сколько же будут гореть над голубыми разливами Тенгиза негаснущие фламинговые зори? Столько, сколько будет охранять человек заповедные уголки своей родной земли.

ЗЛОЙ АКОНИТ

С трудом пробираюсь к Парыгинскому притору, путаясь в тонких кустах тальника и густой высокой траве. Темно-розовые метелки кипрея, серебристые кисточки кислицы, махровый, словно укроп, морковник, длинный

борщевик с крупными резными листьями на толстых дудках и крахмально-белыми платочками цветов наверху — вся эта пахучая масса пригоршнями швыряет в меня росные брызги, тяжелые и холодные.

Вот уже вижу я сквозь мережку таловых веток обритый косами угор, светло-коричневую верхушку стога, небольшой ложок, заросший иссиня-зеленым, блескучим на солнце малинником. Туда, к зарослям малинника, заманчиво сверкающего своими полированными листьями, я и направляюсь.

Поднимаюсь логом в гору. Малина за ночь вызрела, налилась бордовым соком. Не ягоды — крупные наперстки. Хоть на палец надевай.

Не спешу. Еще успею к полдню наполнить до ободка берестяную паевку. Надо перед сбором малость отдохнуть, чтобы благоговейно, с трепетом обобрать первый куст.

У ручья, где сел я отдышаться, одиноко торчит нагловато-горделивый стебель аконита. Перистые, как у рябины, листья ядовито пахнущего цветка сработаны прочно. Густо-зеленые, точно смазанные маслом, они какие-то злые и жадные. И не сами открываются солнцу, голубому небу, а как бы тянут, вбирают все это в себя. Даже толстые и жесткие кромки их, казалось, жадно загибаются вовнутрь.

Глядишь на них — и кажется: не листья это, а тонкие когтистые пальцы руки скупца, распростертые к сокровищам.

На вершине стебля темно-рыжая коробочка из пяти долек. От каждой дольки тянутся хищные красновато-сизые усики. У макушки аконита замечаю малиновый прутик, он прыснул выше усатой коробочки. Там, где малиновую ветку обхватывают, оплетают листья аконита, она суха и безжизненна, будто выпил все ее соки безжалостный спутник; а вверху, над рогатой головой злого цветка, на воле-волюшке, у солнышка, малиновый стебелек, обласканный добрым ветерком, отошел, распустил зеркальные листочки, выбросил два пламенеющих соска больших ягодок.

Смотрит самолюбец усатой головой ввысь, на девственные соски малины, смотрит алчно, с завистью и злится, исходит от бессилия. Никак не может понять ни с кем не роднящийся гордец, почему нежная ветка малины в его объятиях чахнет, а на воле — брызжет полнотой жизни, цветет и плодоносит. Ядовитому паразиту неве-

домо чувство сострадания, чувство братства. Губительны его холодные поцелуи...

И тоскует несчастная ветка малины. Обманулась, быть может, она когда-то. Прижалась к акониту, надеясь на его мощный стебель, покорилась ему да и попала в беду непоправимую.

Смотрят ее ягодки, как два фонарика, на хоровод подружек, что за моей спиной, и печалятся. Там настоящая жизнь. Там счастье. Да только ничего не поделаешь. От аконита не сбежишь.

ПАУК И МУРАВЬИ

Паук ловко довязывал свою сеть. Он бегал то туда, то сюда, и выпускаемые им липкие нити быстро наращивали кружевную ловушку, плотную, но едва заметную в зарослях леса. Паук гордился своим мастерством, своей профессией, до небес превозносил сотворенное им тенетное оружие. Тонкая вязь клубка коварна. Она хорошо замаскирована ветками калины и золотисто-зелеными зонтиками сибирского дягиля. Немало простачков попадается в цепкую паутину. Будет чем поживиться, полакомиться хозяину невидимого домика-капкана.

Поджидая добычу, паук с презрением поглядывал вниз, где под лапами ели мельтешила рыжая муравьиная кочка. Владелец воздушного замка не любил муравьев. Их жизнь, наполненная беспрестанным движением, постоянными хлопотами, казалась ему бессмысленной и смешной. Он предпочитал иное. Сидеть в тенетах и с трепетом ждать удачи — в этом виделись ему глубокий смысл и величайшее счастье.

Но вот прошел между кустом калины и елью могучий марал, задел рогами паутину — и она разлетелась в прах. Паук, вцепившись лапами в клочок нитей, еле удержался на зонтике дягиля. Лишенный сетей, он сразу стал жалким и ничтожным.

Меж тем по-прежнему деловито сновали под ветвями ели муравьи, неутомимые созидатели. Ритм их труда, устремленный в будущее, дышал оптимизмом и уверенностью.

Хрупки тенеты пауков. А внизу, у земли, будут вечно и надежно стоять муравьиные пирамиды, города работяг, основа жизни.

НА ЗОРЬКЕ

В мою память на всю жизнь запал один случай. Мне тогда было лет четырнадцать. Я первый раз пошел охотиться на глухарей. Какие бывают глухари и копылухи — понятия не имел. А в ту пору, надо сказать, в верховье Тургусуна водилось немало тетеревов.

Вышел из пасеки на зорьке и стал взбираться вверх по крутой лесистой гриве Развильских лбов. Стоял тот мягкий апрельский морозец, который лишь горячит щеки. Под ногами ядрено похрустывал и крошился мелкими льдинками чарым-наст.

Темные зубчатые пихты стояли неподвижно. И все вокруг было тихо и спокойно. Природа, словно затаив дыхание, встречала новый день.

Брызнули первые лучи солнца, и бугристая вершина белков засветилась пурпуром. Затем будто занялись рубиновым светом, точно в воздух добавили брусничной настойки.

Выйдя из-за скалы, я остолбенел. Впереди, метрах в двадцати от меня, белела полянка. На снегу возвышалась наподобие копны черная диковинная птица. Это «сказочное чудо» важно повернуло ко мне голову, посмотрело на меня, потом шагнуло несколько раз вперед, медленно взмахнуло огромными крыльями и не спеша полетело в лог.

Утро огненно расцвечивало вороненые перья необыкновенной птицы.

— Глухарь!— догадался я наконец и с восхищением поглядел вслед ему. То ли от восторга, то ли от перепуга ноги мои еще долго не могли двинуться с места. О ружье я начисто позабыл...

ПО СИНЕЙ ТРОПЕ

Игорь встал рано утром, выпил стакан парного молока и вышел на крыльцо. Промытые деревянные ступеньки золотились, как яичный желток. Игорь зажмурился: так ослепительно ударили в глаза лучи весеннего солнца.

Дядя Коля седлал коня, и это обрадовало городского гостя, который питал к лошадям великую страсть.

— Прокати, дядя Коля!— попросил он.

— Не могу сегодня, милый,— совхозный табунщик вскочил в седло.— Тороплюсь на ферму.

Игорь, оставшись один, заскучал. Любил он кататься на конях. К створным тесовым воротам подошел Сенька, просунул в щель широкое румяное лицо и молча уставился на городского друга. Славный это малый. Он почти всегда молчит. Может быть, именно за неразговорчивость, за кротость и уважал его словоохотливый Игорек, чуточку любивший прихвастнуть своей осведомленностью. Сеня благоговейно слушал его рассказы, не перебивал, ни о чем не переспрашивал.

— Пойдем за притор,— подал, наконец, голос молчун.

— Куда, куда?

— За утес.

Горожанин тряхнул белым волнистым чубом.

— Не хочется. Дождусь дядю Колю.

— Пойдем. Я покажу тебе... что-то.

— Лес? Фи! Кусты — да и все.

— Нет, покажу что-то такое!— с волнением произнес Сеня и зажмурил глаза.

— Какое?

— Там увидишь. Красивое, красивое!

С большой неохотой отправился Игорь за деревню, вдоль берега мутной, бешено ревущей реки. Слева, за рекой, тянулся длинный хребет темно-сизым гребешком ельника. Справа, прямо от дороги возвышалась округлая скалистая гора, поросшая осинами, пихтами и березняком. Всюду еще лежал крупяной, пробитый капелью, точно пулями снег. Лишь на припеках темнели проталины.

Сенька шел и чему-то таинственно улыбался. Зеленые глаза его сияли. У конопатой пуговки носа двумя снегирями пламенели щеки. Заметив возбуждение приятеля, Игорь спросил:

— Где же они, чудеса-то твои? Уж не эта ли грязища?!— и он нарочно затопал сапожками по самой глубокой земляной жиже.

— Подожди еще немного,— Сеня сделал рукой предостерегающий знак, словно где-то впереди находилось диковинное сказочное существо и его можно было спугнуть.

Приятели миновали небольшой бугор. Все явственнее доносился какой-то грохот, треск и шум. Дорога огибала узкую расщелину. И вдруг за темно-синим, нависшим над кюветом камнем дружки увидели нечто необычайное. С высокого коричневого уступа седыми космами срывался вешний поток. Он падал на корявую, агатового цвета плиту и взрывался мириадами брызг. Над вьюжной кру-

товертью водопада то затухала, то вновь вспыхивала ярким поясом радуга.

Игорь замер. Грохот потока звучал для него торжественным гимном. Веер стеклянных брызг трепетал над агатовой плитой огромным подснежником. Радуга играла бордовыми, пунцовыми, лилово-розовыми, золотыми, зеленоватыми сполохами северного сияния...

— Вот это да!— после долгой паузы прокричал Игорек.

— Так-то у нас,— Сеня гордо вскинул голову и удовлетворенно шмыгнул носом.

— Хорошо!— согласился друг.— Давай посидим на камнях, а уж потом двинем обратно.

— Не, это еще не то,— конопатый нос юного следопыта наморщился.— Идем дальше.

Горный проселок уходил вдоль реки влево, а вправо, по снежному целику, тянулась от него синей струной узкая тропа. Утыкалась она в некрутую горушку и ломалась, теряясь в густом осиннике с голыми еще, но уже позеленевшими от земного сока ветвями.

Они свернули к солнцепечному скату лога, поднялись на него. Две большие проталины были сплошь усыпаны белыми, голубыми, синими, золотисто-малиновыми цветами кандыка. Крупные бутоны на красноватых ножках скрывали всю землю, всю прошлогоднюю пожухлую траву. Желтые личики головок кандыка радостно глядели на солнце и точно смеялись.

— О-го-го! Сколько цветов! Ступить некуда,— Игорь решил, что пышно цветущие полянки и есть самое редчайшее лесное диво.

Но Сеня искал глазами что-то другое. Затем позвал приятеля под пихту, заставил его лечь на сухие рыжие ветки.

— Видишь маленький бугорок в снегу?— спросил он.— Лежи и смотри на него.

Долго глядели они на расколотый посередке снежный комочек. И вдруг бугорок как бы вздрогнул, одна его отколотая половинка свалилась на бок, и вверх устремился, упруго качнувшись, острый подпалый наконечник.

— Ну и ну!— прошептал Игорь.

— Кандычинка запросто прошивает и лед. А сейчас замри и гляди в оба.

Как ни напрягал зрение Игорь, но не заметил, в какой именно момент плотный наконечник превратился в багря-

ную трубочку. А потом из трубочки вынырнул белый тугой челночек. Через час, а может быть, через три часа челнок неожиданно лопнул и мало-помалу разделился на отдельные ярко-розовые язычки — тонкие и нежнейшие. Вместе с темно-бордовой ножкой кандычинки выпрыснули, от самого снега, два крупных продолговатых листа, похожих на бережно поднятые вверх, к хрупкому цветку, ладошки. Казалось, что листья кто-то высек из мрамора с зелеными и коричневыми разводьями.

— Ну что — видел?— Сенькины глаза пыхнули звездами.

Игорь согласно кивнул головой. Говорить он не мог, боялся спугнуть в себе привычными словами чувство неизъяснимого восторга. Все вокруг изумляло и радовало его какой-то кричащей свежестью и обнаженностью. Природа, словно омытая ключевой водой, доверительно распахнула перед ним всю свою прелесть.

Вечерело. День пролетел, как минута. Они бежали домой, взбивая сапогами фонтаны талой воды.

У дома, где гостила городская семья, ребята остановились, чтобы попрощаться. Во дворе расседлывал потную лошадь дядя Коля. Та устало отфыркивалась, мотала головой. Дядя Коля, заметив племянника, заулыбался.

— Ну, всего,— Сеня протянул шершавую ладонь другу.— Как завтра? Будешь на коне кататься?

Игорь стушевался, поглядел на расседланного уже коня и дядю Колю, потом — на дружка. Они стояли друг перед дружкой как два цветка. Один походил на подсолнух, а другой — на подснежник. Игорь решительно мотнул белым чубом:

— Нет, завтра я не стану на коне кататься,— голос его зазвенел.— В лес хочу! Опять туда же. А ты как?

— Как ты, так и я. По рукам?

— По рукам!

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

РАССКАЗЫ, НОВЕЛЛЫ

Александр Иванович Егоров

ДОЛ БЕРЕЗОВЫХ ТУМАНОВ

повести, рассказы, новеллы

Редактор *С. Кадырова.* Художник *Л. Тетенко.* Художественный редактор *Б. Табылдиев.* Технический редактор *Н. Сайфуллина.* Корректор *Т. Сажина.*

ИБ № 4013

Сдано в набор 22.04.87. Подписано в печать 16.07.87. УГ 19253. Формат 84×108 1/32. Бумага книжно-журнальная № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 19,3. Усл. кр.-отт. 20,1. Уч.-изд. л. 20,8. Тираж 50 000 экз. Заказ 553. Цена 1 р. 70 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Жазушы» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 480124, г. Алма-Ата, пр. Абая, 143.

Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «Кітап» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480124, г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93.

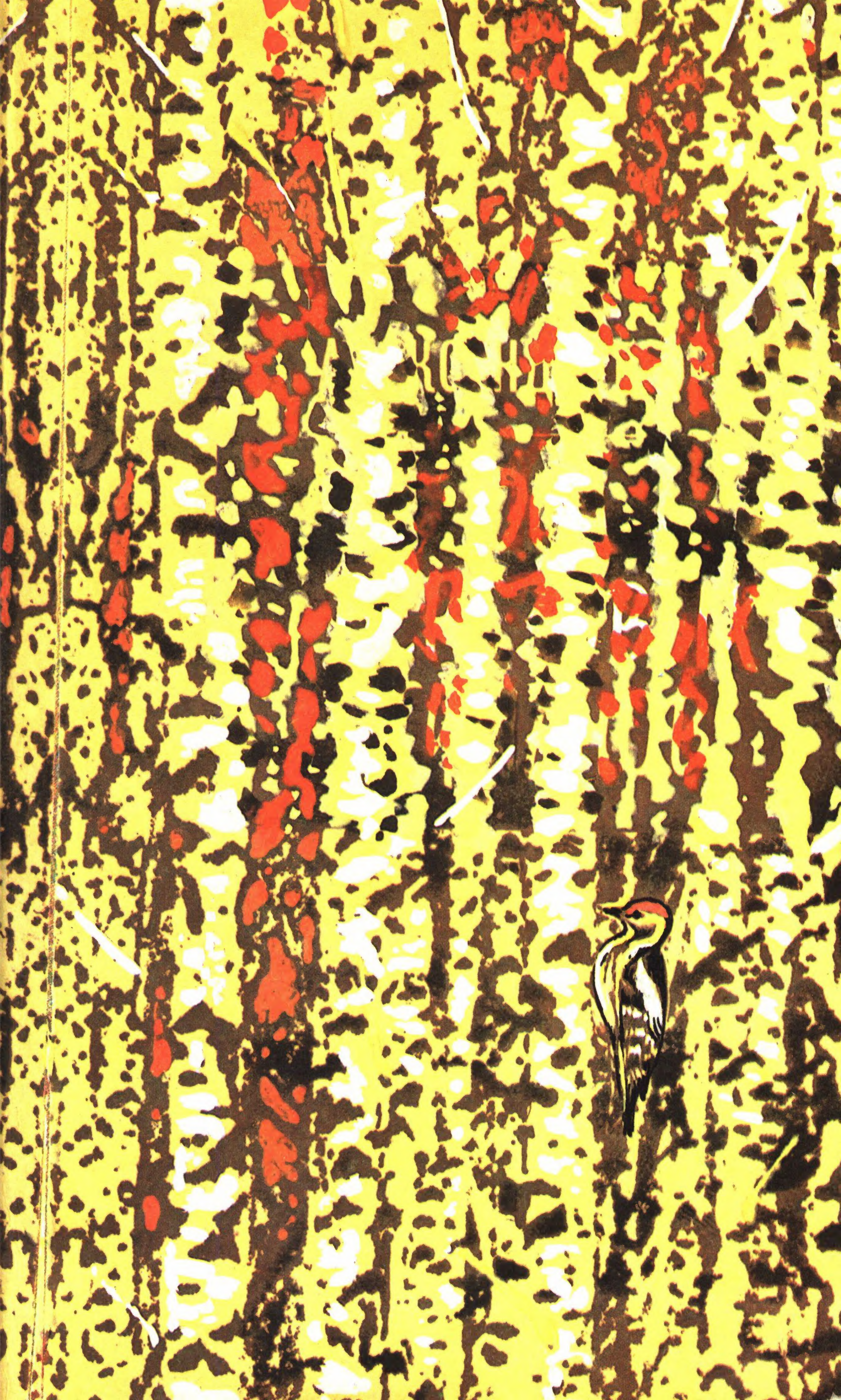
тор
на.

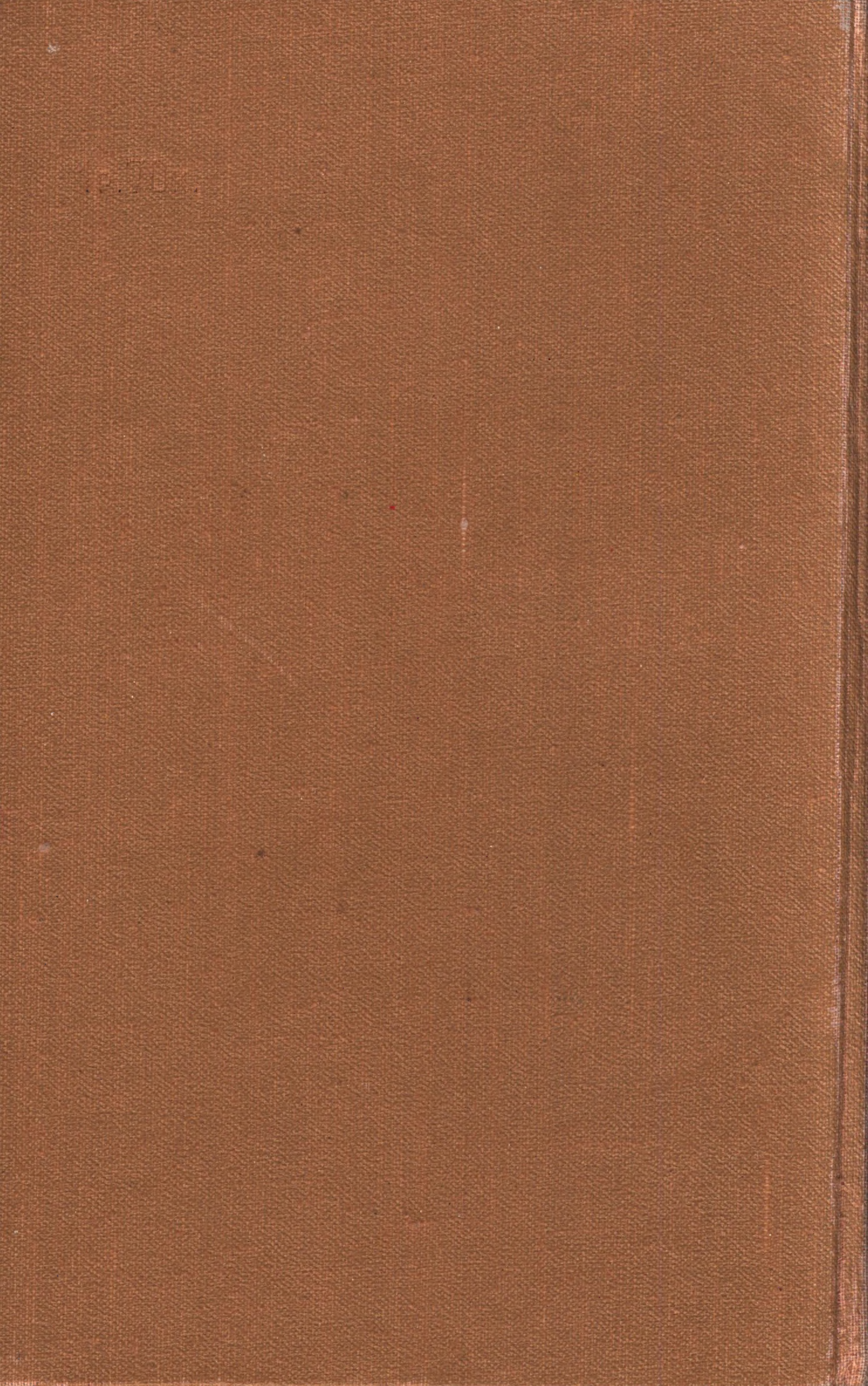
мат
я».
аж

ета
ли,

ий
тв,








АЛЕКСАНДР ЕГОРОВ